Джон Фаулз

ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА



Женщина французского лейтенанта

Джон Роберт Фаулз

Аннотация
Джон Фаулз. Женщина французского лейтенанта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Аннотация

Джон Фаулз – один из наиболее выдающихся британских писателей XX века. Он – современный классик, автор мировых бестселлеров «Коллекционер», «Дэниел Мартин» и «Куколка». Его книги разошлись многомиллионными тиражами, были переведены на несколько десятков языков и успешно экранизированы.

«Женщина французского лейтенанта» – один из главных романов Фаулза. Завлекая читателя пикантной любовной фабулой, сочетая реалистическую традицию с элементами детектива и мистики, Фаулз вступает на поле постмодернизма.

Эта книга – яркий пример необузданного воображения.

Джон Фаулз
Женщина французского лейтенанта

Всякая эмансипация состоит в том, что она возвращает человеческий мир и человеческие отношения самому человеку.

Карл Маркс. К еврейскому вопросу (1844)

1

На запад лишь
В даль морскую
Твой взгляд устремлен,
В ненастье и тишь,
Тайны взыскуя,
Похожей на сон;
Так ты стоишь
С давних времен,
Ног под собой не чуя.

Томас Харди. Загадка

Хуже восточного ветра в заливе Лайм ничего не бывает — этот залив отхватил самый большой кусок от нижней части ноги, которую Англия выпростала в юго-западном направлении, — и любой зевака выдвинул бы не одну серьезную гипотезу по поводу парочки, которая прохаживалась по набережной Лайм-Риджиса, маленького древнего эпонима этого огрызка, на редкость ветреным и пронизывающим утром позднего марта 1867 года.

Мыс Кобб приучал постоянных наблюдателей к своему виду на протяжении по меньшей мере семи столетий и для жителей Лайма был всегонавсего древней серой стеной в виде длинной лапы, принимающей на себя морские вызовы. А поскольку он расположен вдалеке от главного городка — такой крошечный Пирей по отношению к микроскопическим Афинам, — они почти перестали смотреть в его сторону. За все эти годы им пришлось изрядно раскошелиться на ремонт, чем до известной степени объяснялась их некоторая неприязнь. Но для не столь придирчивого взгляда стороннего налогоплательщика он из себя представлял красивейший морской вал на южном побережье Великобритании. И не столько потому, что, как говорится в путеводителях, от него веет семисотлетней английской историей, или что именно отсюда отплывал флот навстречу Армаде, или что на берег неподалеку отсюда высадился Монмут…[1] а просто это великолепный образчик народного искусства.

Примитивный, но достаточно сложный; слоно-

---

[1] Примечания: 1

Герцог Монмут (1649–1685), побочный сын английского короля Карла II. После смерти Карла II предпринял попытку взойти на престол, свергнув брата Иакова II. В июне 1685 г. высадился в Англии, но, не найдя поддержки у населения, потерпел поражение в битве при Седжмуре, был взят в плен, а затем казнен. *(Здесь и далее примеч. переводчика.)*

подобный и при этом изящный; тонкие изгибы и формы, как у Генри Мура или Микеланджело; весь из чистой прозрачной соли, само олицетворение массы. Я преувеличиваю? Возможно. Но меня легко проверить, поскольку Кобб почти не изменился со времени моего описания, в отличие от Лайма, поэтому, если развернуться лицом к берегу, проверка будет выглядеть некорректной.

А вот если бы вы развернулись к берегу, то есть в сторону севера, в 1867 году, как это сделал в тот день мужчина, вашему взору открылся бы очень гармоничный вид. Живописное скопление десятка домов и пристроившаяся у основания мола скромная лодочная мастерская, где, подобно арке, на стапели вздымалась грудная клетка парусного судна. В полумиле к востоку, среди покатых лугов, виднелись соломенные и черепичные крыши Лайма, городка, пережившего свой расцвет в Средние века и с тех пор постепенно приходившего в упадок. К западу мрачные серые утесы, получившие у местных название Бдительной гряды, отвесно торчали над галечным берегом, на который Монмут сошел когда-то в помрачении рассудка. За грядой, еще дальше от моря, толпились другие утесы, замаскированные густыми лесами. Так что Кобб представлялся последним

оплотом дикого, постепенно разрушаемого берега. Это тоже легко проверить. Ни тогда, ни сейчас в этой стороне не просматривалось ни одного жилого дома, если не считать прибрежных хижин.

Местный шпион, а таковой присутствовал, мог бы сделать вывод, что эти двое — приезжие, люди со вкусом, пожелавшие насладиться видами, невзирая на ветродуй. Однако телескоп с сильным увеличением позволил бы ему предположить, что одиночество вдвоем интересует их куда больше, чем морская архитектура, и он наверняка отметил бы, что, судя по их внешнему виду, они принадлежат к высшей касте.

Молодая дама была одета по последнему писку моды с учетом того, что в 1867 году подул новый ветер: женщины восстали против кринолина и больших шляп. Телескоп позволял увидеть пурпурную юбку, вызывающе узкую и достаточно короткую, так как из-под нее и сочно-зеленой накидки выглядывали белые щиколотки в черных ботинках, деликатно цокавших по камням, убранный под сеточку шиньон венчала нескромная шляпка с круглой плоской тульей и загнутыми кверху полями, а сбоку изящный пучок перышек цапли — шляпный стиль, какой местные дамы не рискнут себе позволить по

меньшей мере еще год. А высокий джентльмен в безукоризненном светло-сером костюме и с цилиндром в свободной руке радикально укоротил бакенбарды, что арбитры английской мужской моды еще год или два назад расценили бы как некоторую вульгарность, присущую разве что иностранцу. Даже сегодня цвета одежды этой дамы многие сочли бы смелыми, но надо учесть, что мир тогда с удивлением открывал для себя анилиновые красители, и женский пол, компенсируя всевозможные запреты, требовал от наряда не столько скромности, сколько блеска.

Но кто по-настоящему озадачил бы вооруженного телескопом наблюдателя, так это еще одна фигура. Она стояла в самой дальней точке сурового изогнутого мола, опираясь на ствол торчащей вверх старинной пушки, издали напоминавшей швартовую тумбу. Она была во всем черном. Ветер развевал ее одежды, но она, не шевелясь, все глядела, глядела в море, больше похожая на живой мемориал утопленникам, мифологическую фигуру, чем на неотъемлемую часть заурядного провинциального дня.

2

В том году (1851) население Великобритании составляло 8 155 000 женщин старше десяти лет и 7 600 000 мужчин. Из чего следует, что если общепринятая судьба викторианской девушки заключалась в том, чтобы стать женой и матерью, то она должна была столкнуться с нехваткой женихов.

Э. Ройстон Пайк. Человеческие документы викторианского золотого века

Серебряный парус раскину,
Уйду от родимой земли;
Фальшивой слезой сверкнете за мной,
Когда я исчезну вдали.

Народная песня «Провожая Сильвию»

— Моя дорогая Тина, мы уже воздали должное Нептуну. Он нас простит, если мы сейчас повернемся к нему спиной.

— Вы не очень-то галантны.

— Простите, вы это к чему?

— Мне казалось, что вы желаете продлить возможность подержать меня за руку, и вдруг подобная бесцеремонность.

— Вы стали такой чувствительной.

— Мы же не в Лондоне.

— У Северного полюса, если не ошибаюсь.

— Я хочу дойти до самого конца.

Мужчина с выражением отчаяния на лице, как будто материковая часть теперь для него навсегда закрыта, снова развернулся, и пара продолжила свой променад по молу.

— А еще я хочу знать, что произошло между вами и папа в прошлый четверг.

— Ваша тетушка уже вытянула из меня все подробности этого приятного вечера.

Девушка остановилась и заглянула ему в глаза.

— Чарльз! Чарльз, вы можете быть сухим как палка со всеми вокруг. Но только не со мной.

— Дорогая, но как нам тогда склеиться в священном браке?

— А свои шуточки вы придержите для одноклубников. — Она повлекла его за собой. — Я получила письмо.

— А-а. Были у меня такие опасения. От мама?

— Я знаю, что-то произошло… за портвейном.

Они молча прошли несколько шагов, прежде

чем он решил ответить. На мгновение показалось, что Чарльз намеревался взять серьезный тон, но передумал.

— Признаюсь, у меня с вашим достойным отцом вышел небольшой философский спор.

— Весьма дурно с вашей стороны.

— Я старался быть предельно честным.

— И что же вы обсуждали?

— Ваш отец высказал мнение, что мистера Дарвина следовало бы выставить в зоологическом саду. В клетке для обезьян. Я постарался привести научные аргументы в пользу позиции Дарвина, но безуспешно. *Et voilà tout*[2].

— Как вы могли? Зная папины взгляды!

— Я был предельно уважителен.

— То есть предельно некорректны.

— Он действительно сказал, что не отдаст свою дочь за человека, который считает ее деда обезьяной. Но, я думаю, по зрелом размышлении он вспомнит, что в моем случае речь идет о титулованной обезьяне.

Она бросила на него быстрый взгляд и, не сбавляя шага, отвернулась, слегка склонив голову набок; этим характерным жестом она обычно вы-

---

[2] Примечания: 2
Вот и все *(фр.)*.

ражала свою озабоченность, в данную же минуту это относилось к главному, в ее представлении, препятствию на пути к их помолвке. При том что ее отец нажил огромное состояние, ее дед был простым драпировщиком, тогда как дед Чарльза был баронетом. Он улыбнулся и свободной рукой слегка прижал женскую ручку в перчатке, державшую его под локоть.

— Дорогая, мы уже разобрались. Вы испытываете страх перед отцом — это совершенно нормально. Но женюсь я не на нем. И вы забываете, что я ученый. Я как-никак написал монографию. А если вы будете вот так улыбаться, то я посвящу все свое время окаменелостям, а не вам.

— Я не расположена вас ревновать к окаменелостям. — Она взяла искусную паузу. — Вы по ним ступаете по меньшей мере уже целую минуту и даже не удосужились заметить.

Он кинул взгляд себе под ноги и стремительно опустился на колени. В Коббе здесь и там обнаруживаются ископаемые останки.

— Господи, вы только гляньте. *Certhidium portlandicum.* Это же оолит из Портленда.

— В чьих каменоломнях я вас похороню навечно, если вы сию же минуту не встанете.

Он с улыбкой подчинился.

— Это я привела вас сюда, а вы не цените. Смотрите. — Она подвела его к краю вала, где плоские камни, врезающиеся в стену, служили своего рода грубыми ступенями к прогулочной дорожке ниже уровнем. — С этих самых ступенек Джейн Остин столкнула Луизу Масгроув в «Доводах рассудка».

— Как романтично.

— Джентльмены были романтиками… тогда.

— А нынче стали учеными? Ну что, рискнем спуститься?

— Когда пойдем назад.

Они продолжили путь. Только сейчас он заметил — или, по крайней мере, осознал — половую принадлежность фигуры на конце мола.

— Мать честная. Я думал, это рыбак, а ведь это женщина!

Эрнестина обратила в ту сторону свои красивые серые глаза, вот только она была близорука и потому различала лишь темный силуэт.

— Молодая?

— Отсюда не разберешь.

— Кажется, я догадываюсь. Это, вероятно, Трагедия, бедняжка.

— Трагедия?

— Ее прозвище. Одно из многих.

— А другие?

— Рыбаки дали ей грубое имя.

— Тина, дорогая, вы можете мне смело…

— Они ее называют… женщиной французского лейтенанта.

— Да уж. Она такой изгой, что приходится целыми днями стоять на пирсе?

— Она… немного не в себе. Давайте повернем назад. Я не хочу к ней приближаться.

Они остановились. Он вглядывался в черную фигуру.

— Вы меня заинтриговали. Кто этот французский лейтенант?

— Мужчина, которого она…

— Полюбила?

— Хуже.

— Он ее бросил? Остался ребенок?

— Кажется, ребенка нет. Всё сплетни.

— Но что она здесь делает?

— Говорят, ждет его возвращения.

— И… за ней никто не присматривает?

— Она служит у старой миссис Поултни. Но во время наших визитов я ее ни разу не видела. Хотя она там живет. Давайте вернемся, я вас прошу. Мы с ней не знакомы.

Он улыбнулся.

— Если она на вас набросится, я вас защищу, и вы убедитесь, что я не лишен галантности. Идемте.

Они приблизились к фигуре возле пушечного ствола. Женщина держала свою шляпку в руке, а ее волосы были плотно заткнуты назад под воротник довольно странного черного жакета, больше похожего на мужскую охотничью куртку, чем на деталь женского туалета, если говорить о моде последних сорока лет. Хотя она тоже не носила кринолина, было очевидно, что это никак не связано с последними лондонскими веяниями, а просто по забывчивости. Чарльз громко произнес какую-то банальность, тем самым давая женщине понять, что она больше не одна, однако та не отреагировала. Они подошли к точке, откуда был виден ее профиль и взгляд, нацеленный, как винтовка, к горизонту. Из-за сильного порыва ветра Чарльзу пришлось поддержать Эрнестину за талию, а незнакомка еще сильнее вцепилась в пушечный ствол. Сам не зная зачем, возможно чтобы показать своей подруге, как гоняют гусей, он шагнул вперед, как только ветер немного стих.

— Госпожа, мы тревожимся за вашу безопасность. Если ветер усилится…

Она повернулась и посмотрела на него или, как ему показалось, сквозь него. В этот момент его память зафиксировала не столько ее черты как таковые, сколько то, чего он совсем не ждал, — в ту эпоху женское лицо должно было выражать скромность, покорность и стыдливость. Чарльз испытал такое чувство, словно он вторгся на запретную территорию: это лицо принадлежало мысу Кобб, а никак не старинному городку Лайм. Она не была хороша собой, как Эрнестина. Ее лицо ни по каким стандартам или вкусам не назовешь красивым. Но это было незабываемое, трагическое лицо. Из него струилась печаль, такая же чистая, естественная и непреходящая, как вода в лесном ключе. Ни наигрыша, ни ханжества, ни истерии, ни маски и, главное, никаких признаков безумия. Безумными скорее выглядели пустое море и пустой горизонт — не дававшими повода для печали; как будто явление весны естественно само по себе, исключая пустыню.

Впоследствии Чарльз снова и снова уподоблял этот взгляд копью, имея в виду не только предмет, но и производимый им эффект. На короткое мгновение он ощутил себя вероломным врагом, пронзенным и по заслугам низвергнутым.

Женщина ничего не ответила. Ее взгляд задер-

жался на нем не больше чем на две-три секунды, а затем она вновь обратила его к югу. Эрнестина схватила его за рукав, и он, пожав плечами, повернулся к ней с улыбкой. Когда они уже покидали мол, Чарльз сказал:

— Зря вы мне сообщили эти низменные подробности. Вот в чем беда провинциальной жизни. Все про всех известно, и не остается никакой тайны. Никакой романтики.

В ответ она его подколола:

— Вы же ученый, вы презираете романы.

3

Но еще важнее другое соображение, что все главнейшие черты организации любого живого существа определяются наследственностью; отсюда многие черты строения не связаны в настоящее время непосредственно с современным образом жизни, хотя каждое создание, несомненно, хорошо приспособлено к занимаемому им месту в природе.

Чарльз Дарвин. Происхождение видов (1859)

Из всех десятилетий нашей истории человек мудрый предпочел бы провести свою молодость в 1850-х.

Дж. М. Янг. Портрет века

После обеда в гостинице «Белый лев» Чарльз разглядывал себя в зеркале. Его блуждающие мысли с трудом поддаются описанию. Они крутились вокруг малопонятных вещей, связанных со смутным ощущением собственного поражения, не имеющим прямого отношения к неожиданной встрече в Коббе. Чарльз перебирал в уме всякие

мелочи из разговора за обедом с тетушкой Трантер, когда он сознательно уходил от каких-то тем: в полной ли мере его интерес к палеонтологии раскрывает его природные способности; сумеет ли Эрнестина когда-нибудь понять его так, как он понимает ее; не испытывает ли он чувство бесцельности от одной мысли, что впереди тягучий дождливый день. Не будем забывать, на дворе у нас 1867 год. Ему еще нет тридцати трех. И жизнь ставит перед ним бесконечные вопросы.

Чарльз, видевший себя молодым ученым, вероятно, не так сильно удивился бы, узнав новости из будущего о самолете, реактивном двигателе, телевизоре и радаре; но вот что его точно обескуражило бы, так это совсем другое отношение ко времени. Страшной бедой нашей эпохи считается его нехватка. Наши чувства — поскольку это не вопрос бескорыстной любви к науке и уж точно не особая мудрость — порождают вопрос: почему мы посвящаем столько изобретательности и немалые общественные деньги тому, чтобы ускорить разные процессы? Как будто наша конечная цель — не приблизиться к более совершенному человечеству, а уподобиться молнии. А вот для Чарльза и людей его круга темп человеческого существования твердо определялся словом *адажио*.

Проблема заключалась не в том, чтобы вместить в отпущенное тебе время все, что ты вознамерился сделать, а в том, чтобы это как-то растянуть под длинной колоннадой нерастраченного досуга.

В наши дни одним из самых распространенных симптомов богатства являются всякие неврозы; а в ту эпоху главным его симптомом была безмятежная скука. Это правда, что волна революций 1848 года и память о ныне забытых чартистах тогда стояли за спиной современников зловещей тенью, однако для многих, в том числе для Чарльза, самым существенным в этих отдаленных перекатах было то, что они не привели к взрыву. Шестидесятые были безоговорочно тучными годами, и благоденствие, свалившееся на класс ремесленников и даже рабочих, сделало вероятность революции, по крайней мере в Великобритании, практически немыслимой. Само собой разумеется, Чарльз не имел ни малейшего представления о том, что в это самое время в библиотеке Британского музея один бородатый немецкий еврей тихо работал и что его труды в этих величественных стенах принесут столь яркий красный плод. Если бы вы описали Чарльзу сей фрукт или то, как вскоре его станут поглощать все без разбора, он бы вам не поверил, хотя всего

через каких-нибудь шесть месяцев после этого мартовского дня 1867 года в Гамбурге выйдет первый том «Капитала».

Но было еще множество личных причин, по которым Чарльз не годился на удобную роль пессимиста. Его дед, баронет, попал во вторую из двух больших категорий английского поместного эсквайра: любители кларета, они же охотники на лис, они же ученые — собиратели всего, что рождено под солнцем. В основном он собирал книги, но в зрелые годы бросил деньги и, главное, терпение семьи на раскопки безобидных холмиков, покрывавших, наподобие прыщей, три тысячи акров его земли в Уилтшире. Кромлехи и менгиры, кварцевые вкрапления и могилы эпохи неолита — все это было предметом его педантичных поисков. А его старший сын, вступив в наследство, с такой же педантичностью выносил сумками все трофеи из дома. Небеса его за это покарали (или вознаградили): он так и не завел семью. Зато младший сын старика, отец Чарльза, получил всего в достатке — и земли, и денег.

В его жизни случилась лишь одна трагедия: смерть в родах молодой жены и мертворожденный ребенок, не ставший сестрой годовалого Чарльза. Но эту скорбь он проглотил. Он дал

своему сыну если не настоящую привязанность, то по крайней мере целую команду домашних учителей и мастеров муштры, а сына он любил чуть меньше, чем себя. Он продал свою долю земли и толково вложил деньги в акции железных дорог… и бестолково — в азартные игры (за утешением он ходил не к Всевышнему, а в «Альмак»[3]); короче, жил так, словно родился в 1702-м, а не в 1802-м, то есть жил в свое удовольствие… и умер, в общем-то, от того же в 1856-м. Чарльз был единственным наследником, и не только сильно пострадавшей отцовской собственности (в конце концов, баккара отыгралась на железнодорожном буме), но со временем и солидного дядиного состояния. Впрочем, в 1867 году дядюшка, несмотря на то что хорошо запал на кларет, не обнаруживал никаких признаков скоротечной жизни.

Чарльз любил дядю, и тот отвечал ему взаимностью. Но это не всегда отражалось в их отношениях. Он частенько соглашался, когда дядя приглашал его поохотиться на куропаток и фазанов, а вот от охоты на лис отказывался наотрез. Ему не было дела до того, что мясо жертв

[3] Примечания: 3

Сеть лондонских клубов для высшего света. Первый такой клуб Уильям Альмак открыл в январе 1762 года.

несъедобно, а вот безнаказанность охотников вызывала у него отвращение. К тому же он испытывал неестественное пристрастие к ходьбе, но не к езде верхом, а пешие прогулки считались неподходящим времяпрепровождением для истинного джентльмена, за исключением разве только швейцарских Альп. В принципе он не имел ничего против лошади как таковой, однако невозможность наблюдать за всем не спеша, с близкого расстояния вызывала у него, прирожденного натуралиста, резкое отрицание. Но судьба была к нему благосклонна. Как-то осенью, много лет назад, он выстрелил в необычную птицу, убегавшую с пшеничного поля, не единственного в дядином владении. Поняв, какую редкую особь он лишил жизни, Чарльз испытал смутную досаду, ведь это была одна из последних дроф на равнине Салисбери. Зато дядя был в восторге. Из нее набили чучело, и отныне она на всех таращилась своими глазками-бусинками, этакая индюшка с примесью негритянской крови, из стеклянной клетки в гостиной дома в Уинсайетте.

Дядя докучал заезжим мелкопоместным дворянам рассказами о том, как все произошло, и всякий раз, когда ему взбредало в голову лишить

племянника наследства — при этом он делался пунцовым, так как недвижимость по определению переходила по мужской линии, — дядя вспоминал, с какой сердечностью он по-родственному смотрел на бессмертный трофей племянника. Да, у того были свои недостатки. Он не всегда писал дядюшке раз в неделю. А приезжая в Уинсайетт, с любовью, достойной лучшего применения, проводил полдня в библиотеке, куда сам хозяин заходил крайне редко, если вообще когда-нибудь заглядывал.

Но числились за ним грехи и посерьезнее. В Кембридже, добросовестно проштудировав классиков и признав «Тридцать девять статей»[4], он (в отличие от большинства молодых людей того времени) ступил на путь познания. Однако на втором курсе он попал в переплет и туманной лондонской ночью познал нагую девушку. Из пухленьких рук простой кокни он кинулся в объятья Церкви, а днем позже привел в ужас отца известием о том, что желает принять духовный сан. На кризис такого масштаба существовал только один ответ: нечестивый юноша был отправлен в Париж. Там его запятнанная девственность

[4] Примечания: 4

Нормативный вероучительный документ, регулирующий жизнь англиканской церкви.

очень быстро почернела до неузнаваемости, как и его планы обручиться с Церковью, на что и рассчитывал отец. Чарльз ясно увидел, кто стоял за Оксфордским движением[5] — римский католицизм *propria terra*[6]. Он отказался растрачивать протестную, но комфортную английскую душу — доля иронии на долю условности — на ладан и папскую непогрешимость. Вернувшись в Лондон, он проштудировал десяток религиозных теорий (*voyant trop pour nier, et trop pen pour s'assurer*[7]) и в результате вышел из воды здоровым агностиком[8]. Своего божка он обнаружил в Природе, а не в Библии. Родись он на сто лет раньше, был бы деистом или, возможно, пантеистом. За компанию он ходил на утреннюю воскресную службу, но в одиночку выбирался крайне редко.

---

[5] Примечания: 5

Движение, члены которого часто ассоциировались с Оксфордским университетом, выступало за восстановление традиционных аспектов христианской веры. Постепенно это развилось в англо-католицизм.

[6] Примечания: 6

Как таковой *(лат.).*

[7] Примечания: 7

Видя слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы уверовать *(фр.).*

[8] Примечания: 8

Хотя сам себя он бы так не назвал по той простой причине, что это выражение было придумано Олдосом Хаксли только в 1870 году, и очень кстати. *(Примеч. автора.)*

В 1856-м, проведя в «столице греха» полгода, он вернулся в Англию. Через три месяца умер его отец. Большой дом в Белгравии был сдан в аренду, а Чарльз поселился в скромных апартаментах в Кенсингтоне, более подходящих для молодого холостяка. О нем заботились слуга, повар и две служанки — более чем скромно для человека с его связями и состоянием. Но ему там было хорошо, и еще он много путешествовал. Одно или два эссе, посвященных этим странствиям, он отдал в модные журналы. Предприимчивый издатель даже предложил ему написать книгу о девяти месяцах, проведенных в Португалии, но Чарльз усматривал в авторстве что-то не совсем достойное, и к тому же это потребовало бы серьезного труда и долгой концентрации внимания. Он немного поиграл с самой идеей — и отказался. Вообще игра с идеями сделалась его главным занятием на третьем десятке.

Медленно дрейфуя в потоке викторианского времени, он, в сущности, не был таким уж легкомысленным. Случайная встреча с человеком, знавшим о маниакальном увлечении его деда, открыла ему глаза: это только в их семье бесконечная муштра, которую старик устраивал ничего не понимающим местным мужичкам,

брошенным на какие-то раскопки, была предметом шуток. Другие его знакомые вспоминали сэра Чарльза Смитсона как пионера-археолога, изучавшего Британию до римского вторжения, а отдельные предметы из его утраченной коллекции с благодарностью приютил Британский музей. И постепенно Чарльз осознал, что по своему темпераменту он ближе к деду, чем его родные сыновья. В последние три года он все больше увлекался палеонтологией, новой областью его интересов. Он стал посещать *conversazioni*[9] Геологического общества. Дядя смотрел на племянника, покидающего Уинсайетт с молотками и сумкой для сбора камней, с неодобрением; в его представлении поместному джентльмену пристало иметь при себе только хлыст и охотничью винтовку, но по крайней мере это был шаг вперед, если вспомнить чертовы книги в чертовой библиотеке.

Однако еще больше дядю расстраивал в племяннике другой изъян. Желтые ленты и нарциссы, символы Либеральной партии, были для Уинсайетта как красная тряпка для быка. Старик, лазурнейший тори, имел свой интерес. Но Чарльз

---

[9] Примечания: 9
Обсуждения *(итал.).*

вежливо отклонял все попытки сделать из него поборника Парламента. Он заявлял о своей политической неангажированности. Втайне же восхищался Гладстоном, который в их родном городке считался злейшим предателем, чье имя даже не упоминалось. Таким образом, не проявив уважения к семье и продемонстрировав социальную праздность, он сам себе перекрыл возможности естественного карьерного роста.

Боюсь, что праздность была его отличительной особенностью. Как многие современники, Чарльз ощущал, что былая ответственность за свои действия уступает место все возрастающему самомнению; новую Британию двигает вперед стремление быть уважаемой вместо прежнего желания делать добро ради добра. Он понимал, что слишком придирчив. Но как можно писать историю, когда у тебя за спиной стоит Маколей[10]? Сочинять прозу и стихи в центре галактики, состоящей из величайших талантов в английской литературе? Быть креативным ученым при живых Лайелле[11] и Дарвине? Быть

---

[10] Примечания: 10

Томас Маколей (1800–1859) — британский государственный деятель, историк и литератор.

[11] Примечания: 11

Чарльз Лайелл (1797–1875) — основоположник современной геологии.

государственным деятелем, когда Дизраэли и Гладстон, будучи на разных полюсах, заняли все свободное пространство?

Как видите, Чарльз поставил для себя высокую планку. Праздные умники делают так всегда, чтобы оправдать перед своим умом свою же праздность. Короче говоря, он позаимствовал байроническую тоску, но был лишен двух важнейших качеств Байрона: гениальности и любвеобильности.

Но хотя смерть можно отодвинуть, в чем не сомневаются матери с дочками на выданье, рано или поздно она милостиво наносит нам визит. При том что у Чарльза не было широких перспектив, он оставался интересным молодым человеком. Заграничные путешествия, увы, несколько сняли с него патину человека, напрочь лишенного чувства юмора (это качество с викторианской прямотой называлось благонравием, честностью и прочими словами, уводящими от сути), что требовалось от истинного английского джентльмена того времени. В его поведении присутствовал налет цинизма, верный признак внутреннего морального разложения, вот только при его появлении в обществе мамаши тут же начинали его разглядывать, папаши похлопыва-

ли его по спине, а девицы принимались нервно хихикать. Чарльзу нравились красивые девушки, и он был не прочь подыграть им и их честолюбивым родителям. В результате он снискал репутацию человека осторожного и холодного; вполне заслуженная награда для того, кто в тридцать лет владел этим искусством не хуже лесного хорька: обнюхав приманку, он ловко ускользал от хорошо завуалированных матримониальных капканов, расставленных у него на пути.

Дядя частенько выводил его на эти разговоры, а Чарльз отшучивался: сами-то пользуетесь гранулированным порошком. Старик принимался ворчать:

— Я еще не встретил подходящую женщину.

— Глупости. Вы по-настоящему и не искали.

— Неправда. Когда я был твоего возраста…

— Вы жили ради своих гончих и охоты на куропаток.

Старик мрачно глядел в стакан с кларетом. Он не особенно жалел о том, что не женат, но горевал, что у него нет детей, которым можно покупать пони и оружие. Вот так уйдет, не оставив никакого следа.

— Я был слеп. Слеп.

— Дорогой дядюшка, не переживайте. У меня

отличное зрение, и я высматривал подходящую девушку, но увы.

4

Что сделано, останется в веках!
Тех ждет удача,
Кто выполнил любовную задачу.
Он мир покинул, сознавая ясно,
Что прожил не напрасно.

Каролин Нортон. Леди из Ля Гарай (1863)

Большинство британских семей среднего и высшего класса жили над выгребной ямой…

Э. Ройстон Пайк. Человеческие документы викторианского золотого века

Большой дом эпохи регентства, принадлежавший миссис Поултни и элегантно подтверждавший ее социальный статус, возвышался на одном из обрывистых холмов на задворках набережной Лайм-Риджис. А вот кухня в подвале с ее функциональными недостатками по сегодняшним меркам явно не выдерживала критики. Хотя

обитатели этого дома в 1867 году недвусмысленно дали бы понять, кто является их тираном, все-таки настоящим монстром, глядя из нашего века, вне всякого сомнения, была кухонная плита во всю стену огромного и плохо освещенного помещения. Она состояла из трех печей, которые надо было два раза в день растапливать и два раза в день чистить, чтобы жизнь в доме текла гладко, и не дай бог огоньку потухнуть. Как бы ни припекало летнее солнце, как бы юго-западный ветер ни разгонял над участком монструозные черные облака дыма из трубы, от которых перехватывало дыхание, немилосердные печи надо было кормить. А во что превратились стены! Они взывали: покрасьте же нас в беленький цвет! Но они оставались свинцово-зелеными, словно от разлития желчи после отравления мышьяком, — о чем даже не подозревали простые обитатели, не говоря уже о жившем на верхнем этаже тиране. Хорошо еще, что в кухне было влажно — монстр выводил наружу дым с топленым салом. И все оседало смертной черной пылью.

Старшиной в этой стигийской казарме была миссис Фэйрли, худенькая, маленькая, всегда ходившая в черном, и не столько как вдова, сколько по настроению. Возможно, ее обостренная ме-

ланхолия подогревалась видом бесконечного потока простых смертных, наводнявших ее кухню: дворецкие, посыльные, садовники, конюхи, горничные верхних покоев, горничные нижних покоев… они отнимали так много времени и сил, а потом исчезали. Как недостойно и трусливо с их стороны! Когда тебе приходится вставать в шесть и работать с половины седьмого до одиннадцати, а потом с одиннадцати тридцати до четырех тридцати, а потом с пяти до десяти вечера, и так каждый день, по сто часов в неделю, от твоих запасов милосердия и отваги мало что остается.

Легендарный итог того, что испытывают слуги, подвел дворецкий, после которого сменились еще четверо, при расставании с миссис Поултни: «Мадам, лучше я проживу остаток дней в приюте для бедных, чем еще неделю под этой крышей». Некоторые усомнились бы в том, что кто-то в принципе мог так дерзить грозной хозяйке, но когда этот человек спустился вниз с вещами и процитировал себя, они с пониманием отнеслись к тому, что он испытал такие чувства.

Каким образом миссис Фэйрли (вот уж неподходящая фамилия[12]) так долго выносила свою

---

[12] Примечания: 12
Дословно: прекрасная, неземная (*англ.*).

хозяйку, оставалось для всех загадкой. Возможно, при ином раскладе она сама стала бы такой миссис Поултни. Ее удерживала зависть, а также мрачное злопыхательство по поводу бед, регулярно обрушивающихся на этот дом. Короче, обе дамы были потенциальными садистками и не без тайного удовольствия терпели друг друга.

У миссис Поултни были две навязчивые идеи — или две стороны одной идеи. Грязь (хотя она делала своего рода исключение для кухни, так как там находилась только прислуга) и Аморальность. Ни то ни другое не ускользало от ее бдительного ока.

Подобно разжиревшему стервятнику, она без устали кружила с неуемным наслаждением и, потворствуя первой навязчивой идее, проявляла невероятное шестое чувство в отношении пыли, отпечатков пальцев, недостаточно накрахмаленного белья, запахов, пятен, поломок и прочих бед, коим подвержено всякое жилище. Садовника рассчитывали за появление в доме с перепачканными землей руками; дворецкого — за винное пятнышко на одежде; неряху служанку — за моток шерсти, оказавшийся под кроватью.

Но, самое ужасное, даже за пределами собственного дома она не признавала каких-либо

ограничений своей власти. Отсутствие на воскресной церковной службе, как утренней, так и вечерней, воспринималось ею как безоговорочное доказательство крайней моральной распущенности. Не дай бог увидеть служанку прогуливающейся с молодым человеком в редкий для нее свободный день — раз в месяц, со скрипом. И не дай бог влюбленному молодому человеку тайно подобраться к «дому Марлборо», где ему назначили свидание; сад был нашпигован человеческими капканами — «человеческими» в том смысле, что поджидавшие его челюсти, хоть и лишенные зубов, запросто могли сломать ему ногу. Эти железные охранники были у миссис Поултни в самом большом фаворе. Вот от кого она никогда не избавлялась.

В гестапо для нее точно нашлось бы местечко. Она умела так допрашивать, что самая твердая девица через пять минут ударялась в слезы. Она была, на свой лад, олицетворением самых вызывающе грубых черт восходящей Британской империи. Ее единственным представлением о законе было сознание своей правоты, а ее единственным представлением о правительстве была безжалостная бомбардировка дерзкого населения.

При этом среди равных себе, в очень узком кругу, она славилась своей щедростью. А поставь вы под сомнение эту репутацию, ваши оппоненты привели бы в ответ неотразимый аргумент: разве добрая, милейшая миссис Поултни не взяла в дом женщину французского лейтенанта? Надо ли добавлять, что добрая, милейшая леди в те дни знала ее под другим, вполне греческим именем.

Эта примечательная история случилась весной 1866-го, ровно за год до описываемых мной событий, и имела отношение к страшной тайне миссис Поултни. А тайна-то — проще не бывает. Она верила в ад.

В то время викарием Лайма был сравнительно свободомыслящий, с теологической точки зрения, мужчина, но при этом он хорошо знал, с какой стороны намазывается маслом его пасторский хлеб. Он вполне устраивал местную паству, традиционно принадлежавшую к низкой церкви[13]. Его проповеди отличались пылким красноречием, а сама церковь обходилась без распятий, икон, украшательств и прочих признаков римской раковой болезни. Когда миссис Поултни объявила ему свои теории грядущей жизни,

---

[13] Примечания: 13
Направление в англиканской церкви с евангелическим уклоном.

он воздержался от дискуссии, ибо достаточно скромному священнику не пристало вступать в спор с богатыми прихожанами. Ее кошелек был настолько же открыт для него, насколько был закрыт для ее прислуги, состоявшей из тринадцати человек. Прошлой зимой (уже четвертый год в викторианской Великобритании свирепствовала холера) миссис Поултни приболела, и викарий посещал ее так же часто, как доктора, которые решительно заверяли ее в том, что она страдает от обычного желудочного расстройства, а вовсе не от страшной восточной заразы.

Миссис Поултни была женщиной неглупой. Она отличалась проницательностью в практических вопросах, а ее судьба, как и все, что относилось к личному комфорту, имела сугубо практическое значение. Если она себе представляла Бога, то с лицом герцога Веллингтона и с характером бывалого адвоката — к этой когорте она испытывала особое уважение. Лежа в своей спальне, она пыталась разобраться в непростой математической задачке, которая неотвязно ее преследовала: оценивает ли Господь благотворительность по тому, сколько ты дал, или сколько мог бы дать? Тут она располагала более точными цифрами, чем викарий. Жертвуя церкви прилич-

ные суммы, она знала, что они недотягивают до предписанной десятины, с коей должен расставаться серьезный претендент на попадание в рай. Она, конечно, скорректировала свое завещание в сторону более сбалансированных расходов после ее смерти, однако не факт, что Всевышний будет присутствовать во время чтения этого документа. А кроме того, так случилось, что, пока она болела, миссис Фэйрли, читавшая ей перед сном Библию, выбрала притчу о вдовьей лепте[14]. Эта притча, всегда казавшаяся миссис Поултни жутко несправедливой, лежала в ее сердце несравнимо дольше, чем бациллы энтерита в ее кишечнике. Однажды во время болезни она воспользовалась заботливым визитом викария и осторожно устроила проверку собственной совести. Его первой реакцией было отмахнуться от ее душевных переживаний.

— Дорогая мадам, вы твердо стоите на скале. Создатель всевидящ и премудр. Не нам сомневаться в Его милосердии или в Его справедливости.

— Но если Он меня спросит, чиста ли моя совесть?

Викарий улыбнулся.

---

[14] Примечания: 14
Евангелие от Луки 21: 2–3.

— Вы ответите, что она охвачена тревогой. И Он, чье сострадание не знает границ, отпустит вам…

— А если нет?

— Дорогая миссис Поултни, за такие речи мне придется сделать вам реприманд. Не нам обсуждать Его решения.

Повисло молчание. Для миссис Поултни викарий как бы раздваивался. Один был не ровня ей в социальном отношении, и от нее зависело, насколько богат его стол и достаточно ли денег на церковные нужды и на исполнение нелитургических обязанностей среди бедных; а другой был представителем Бога, пред коим, выражаясь метафорически, ей следовало преклонить колена. Вот почему ее поведение часто выглядело чудновато и непоследовательно. То *de haut en bas*, то *de bas en haut*[15], а порой ей удавалось соединить их в одной фразе.

— Если бы бедный Фредерик был жив. Он бы мне дал нужный совет.

— Несомненно. И этот совет не отличался бы от моего, можете быть уверены. Я знаю, он был христианином. А то, что я вам говорю, есть прочная

---

[15] Примечания: 15
Сверху вниз, снизу вверх *(фр.).*

христианская доктрина.

— Это было мне предупреждение. И наказание.

Викарий строго на нее посмотрел.

— Поосторожнее, госпожа, поосторожнее. Это прерогатива Создателя, и не нам туда вторгаться.

Она решила переменить тему. Интересно, как все викарии мира обоснуют раннюю смерть ее мужа? Это осталось между ней и Богом загадкой, подобной черному опалу, и он то сиял грозным предзнаменованием, то казался суммой, которую она уже оплатила в счет будущего покаяния.

— Я жертвовала. Но я не совершала добрых дел.

— Жертвовать — это и есть доброе дело.

— Мне далеко до леди Коттон.

Столь неожиданное снижение в мирскую плоскость викария не удивило. Миссис Поултни уже не раз давала ему понять, как сильно она уступает этой даме в своеобразной гонке набожных. Леди Коттон, жившая в нескольких милях от Лайма, славилась своим рвением по части благодеяний. Она ходила на исповедь, возглавляла миссионерское общество, открыла приют для падших женщин… правда, там установили такое суровое покаяние, что большинство выгодоприобретателей в этом «обществе Магдалины» при первой

возможности пробирались обратно в яму плотского греха — вот только миссис Поултни знала об этом не больше, чем о вульгарном подтексте прозвища «Трагедия»[16].

Викарий прокашлялся.

— Леди Коттон является примером для всех нас. — Сам того не зная, он подлил масла в огонь.

— Я должна прийти на исповедь.

— Прекрасно.

— Просто я потом так расстраиваюсь. — Поддержки от викария не последовало. — Это дурно, я знаю.

— Ну-ну.

— Да. Очень дурно.

Во время затянувшейся паузы викарий подумал об ужине, до которого оставался еще час, а миссис Поултни — о своем дурномыслии. А потом заговорила с непривычной для себя робостью, найдя компромиссное решение проблемы:

— Если вам известна благородная дама, столкнувшаяся с неблагоприятными обстоятельствами…

— Я не вполне понимаю, к чему вы клоните.

— Я хочу взять компаньонку. Мне самой сейчас

---

[16] Примечания: 16
Дословно, по-гречески, «пение козла».

трудно писать. К тому же миссис Фэйрли скверно читает вслух. Если найдется подходящая женщина, я готова предоставить ей жилье.

— Что ж, воля ваша. Я наведу справки.

Миссис Поултни слегка поежилась от того, что так бесцеремонно припала на грудь служителю христианской веры.

— Ее моральный облик должен быть безупречен. Я пекусь о своей прислуге.

— Разумеется, госпожа, разумеется.

Викарий поднялся.

— И желательно без родни. От родственников подопечной часто одни хлопоты.

— Я вам порекомендую, не сомневайтесь, только подходящую кандидатуру. — Он сжал ей ладонь и направился к двери.

— И еще, мистер Форсайт. Чтобы она была не слишком юной.

Он отвесил поклон и покинул комнату. Уже спустившись до середины лестницы, он вдруг остановился. Кое-что вспомнил. Подумал. И испытал некое чувство, возможно, не столь уж далекое от злорадства на почве затяжного лицемерия — или, уж точно, недостаточной откровенности с его стороны — в разговоре с облаченной в бомбазин миссис Поултни. В общем, какой-то порыв

заставил его развернуться и снова подняться в гостиную. Он остановился на пороге.

— Я вспомнил о подходящей кандидатуре. Ее зовут Сара Вудраф.

5

Что тут сказать? Когда бы Смерть
Несла всему уничтоженье,
То и Любовь была бы тленье
Иль тягостная круговерть

Влечений грубых и пустых —
Так в лунных чащах на полянах
Толчется сброд сатиров пьяных,
Пресытясь на пирах своих[17].

Альфред Теннисон. In Memoriam (1850)

Молодые люди все рвались увидеть Лайм.

Джейн Остин. Доводы рассудка

У Эрнестины лицо идеально соответствовало возрасту: овальное, с маленьким подбородком, нежное, как фиалка. Вы и сейчас можете его увидеть в рисунках великолепных иллюстраторов

---

[17] Примечания: 17
Здесь и далее In Memoriam в переводе Татьяны Стамовой.

того времени: Физа, Джона Лича. Ее серые глаза и бледность кожи только подчеркивали изящество всего остального. При первом знакомстве она красиво потупляла взор, словно готовая упасть в обморок, если джентльмен осмелится к ней обратиться. Но легкий изгиб век и такой же изгиб в уголках губ — продолжая сравнение, почти незаметный, как запах февральской фиалки — перечеркивали, вкрадчиво, но вполне очевидно, ее готовность безоговорочно подчиниться Мужчине, этому земному богу. Ортодоксальный викторианец, возможно, с неодобрением отнесся бы к этой неуловимой отсылке к Бекки Шарп, но что касается Чарльза, то он находил ее неотразимой. Она была так похожа на маленьких чопорных куколок, всяких Джорджин, Викторий, Альбертин, Матильд и прочих, сидевших на балах под надежной охраной… ан нет.

Когда Чарльз покинул дом тетушки Трантер на Брод-стрит, чтобы пройти примерно сто метров до своей гостиницы, а потом подняться в свой номер и с серьезным видом — все влюбленные слабы умом, не так ли? — удостовериться перед зеркалом, какое у него красивое лицо, Эрнестина, извинившись перед тетушкой, ушла к себе, чтобы проводить взглядом суженого из-за кружевных

занавесок. Это была единственная комната в доме, где она сносно себя чувствовала.

Отдав должное его походке и в еще большей степени тому, как он приподнял цилиндр перед их служанкой, возвращавшейся после выполнения поручения… и *возненавидев* его за это, поскольку девушка могла похвастаться живыми глазками дорсетской крестьянки и заманчивым румянцем, а Чарльзу было строжайшим образом запрещено обращать свой взор на женщин моложе шестидесяти, — к счастью, тетушка не попала под запрет, имея лишний год в запасе, — Эрнестина отошла от окна. Комната была обставлена с учетом ее вкусовых предпочтений, подчеркнуто французских: мебель такая же громоздкая, как принято у англичан, но с легкой позолотой и малость поизящнее. А так дом непреклонно, массивно и безоговорочно был выдержан в стиле двадцатипятилетней давности — такой музей предметов, созданных в высокомерном отрицании всего декадентского, легкого и изящного, что могло бы ассоциироваться с памятью или моралью одиозного Георга Четвертого по прозвищу Принни[18].

Тетушку Трантер невозможно было не любить;

---

[18] Примечания: 18
Prinny — уменьшительное от *prince* — принц.

сама мысль о том, чтобы сердиться на это невинно улыбающееся и воркующее — да-да, воркующее — существо, казалась абсурдной. Она обладала оптимизмом успешных старых служанок. Одиночество озлобляет — или учит независимости. Тетушка Трантер научилась доставлять радость себе, а закончила тем, что доставляла радость окружающим.

Эрнестина же умудрялась сердиться на тетушку по разным поводам: отказ ужинать в пять часов, похоронная мебель во всем доме, повышенная озабоченность собственной персоной (она не понимала, что жених и невеста желают посидеть одни или погулять вдвоем) и, самое главное, требование, чтобы Эрнестина жила в Лайме.

Бедняжке пришлось пройти через страдания, известные с незапамятных времен единственному ребенку в семье — тяжелый, давящий балдахин родительской заботы. В раннем детстве даже легкое покашливание заканчивалось вызовом врачей; в период половой зрелости по первой ее прихоти появлялись декораторы и портнихи; а стоило ей накукситься, и папу с мамой еще долго мучили угрызения совести. Все это было еще полбеды, пока дело касалось платьев и стенных драпировок, но была одна

тема, когда ее *bouderies*[19] и жалобы не могли возыметь никакого действия. Это касалось ее здоровья. Родители не сомневались в том, что у нее чахотка. Обнаружив влажность в подвале, они переезжали в другой дом, а после двухдневного дождя перебирались в другой район. Ее осмотрела половина докторов на Харли-стрит и ничего не нашла. Она никогда ничем серьезным не болела. Ни летаргии, ни хронических слабостей. Она могла бы — если бы ей, конечно, разрешили — протанцевать всю ночь, а утром еще поиграть в волан как ни в чем не бывало. Но шансов поколебать дрожащих над ней родителей у нее было не больше, чем у младенца сдвинуть гору. Если бы они могли заглянуть в будущее! Эрнестина пережила всех своих современников. Она родилась в 1848 году, а умерла в день, когда Гитлер оккупировал Польшу.

Неотъемлемой составляющей столь необязательного режима стало ее ежегодное пребывание в доме родной сестры ее матери в Лайме. Обычно она сюда приезжала для смены обстановки, а в этот раз ее отправили пораньше — набраться сил перед свадьбой. Хотя бриз с Ла-Манша, очевид-

---

[19] Примечания: 19
Возмущение, недовольство *(фр.).*

но, был ей полезен, каждый раз она садилась в экипаж, чтобы ехать в Лайм, с тоской арестанта, отправленного в Сибирь. Местное общество было таким же современным, как тетушкина громоздкая мебель красного дерева, а если говорить о развлечениях, то для девушки, избалованной светским Лондоном, это было хуже, чем ничего. Так что их связь с тетушкой напоминала скорее отношения между пылкой английской Джульеттой и страдающей плоскостопием няней, чем родственные. Если бы прошлой зимой на эту сцену, к счастью, не вышел Ромео, пообещавший скрасить ее тюремное одиночество, она бы взбунтовалась… по крайней мере, сама была в этом почти уверена. Сила воли у Эрнестины явно превосходила пределы допустимого — с учетом эпохи. Но, по счастью, она очень уважала условности. С Чарльзом ее роднили — и это сыграло не последнюю роль в их быстром сближении — юмор и самоирония. Без них она превратилась бы в жутко испорченного ребенка. Так она частенько отзывалась о самой себе («Ты жутко испорченный ребенок»), что во многом ее оправдывало.

В тот день, стоя перед зеркалом, она расстегнула платье и осталась в сорочке и нижней юбке.

Несколько секунд она занималась нарциссизмом. Шея и плечи выгодно подчеркивали ее лицо. Она действительно была хороша собой, редкая красавица. И, словно в доказательство этого, она распустила волосы — жест отчасти греховный, как она догадывалась, но такой же необходимый, как горячая ванна или теплая постель в зимнюю ночь. На воистину греховную секунду она вообразила себя порочной женщиной — танцовщицей, актрисой. А затем, если бы вы за ней наблюдали, то увидели бы нечто весьма любопытное. Вдруг она перестала поворачиваться то одним боком, то другим, изучая собственный профиль, бросила короткий взгляд к потолку, пошевелила губами и, поспешно открыв платяной шкаф, облачилась в пеньюар.

Совершая свои пируэты, она поймала в зеркале уголок кровати, и в голове промелькнула сексуальная мысль, фантазия, что-то вроде Лаокоона, обвитого обнаженными женскими конечностями. В совокуплении ее пугало не только собственное глубокое невежество, но еще и окружающая сей акт аура боли и насилия, все это перечеркивало и мягкость жестов, и целомудренность дозволенных нежностей, что так привлекало ее в Чарльзе. Один или два раза она

видела совокупляющихся животных, и эта картина насилия надолго врезалась в ее память.

В результате она выработала своего рода внутренний приказ, непроизносимые вслух слова «Я не должна» на случай любых телесных проявлений — сексуальных, менструальных, детородных, когда ее посещали подобные мысли. Да, можно отгонять волков от жилища, но они продолжают завывать в ночи. Эрнестина желала мужа, и конкретно Чарльза, желала детей, но цена, которую придется за все это заплатить, как она себе смутно представляла, казалась ей чрезмерной.

Она периодически удивлялась, почему Господь разрешил эту животную версию Долга, омрачающую невинное желание. Многие женщины того времени считали так же, как и многие мужчины, и нет ничего удивительного в том, что долг стал ключевой концепцией в нашем понимании викторианской эпохи — и, если на то пошло,

обескураживающим понятием в наше время[20].

Усмирив волков, Эрнестина подошла к туалетному столику, открыла ключом выдвижной ящичек и достала свой дневник в черном сафьяновом переплете с золотым замочком. Из другого ящичка она извлекла потайной ключик, которым открыла дневник. Она сразу обратилась к последней странице, куда в день обручения с Чарльзом она вписала месяцы и дни, остающиеся до свадьбы. Два месяца уже были аккуратно вычеркнуты, оставалось еще примерно девяносто дат. Эрнестина отделила от переплета инкрустированный слоновой костью карандаш и вычеркнула 26 марта. Хотя до полуночи оставалось еще девять часов, она по обыкновению позволила себе этот невинный обман. Затем она обратилась к началу дневника, то есть не совсем к началу, поскольку это был рождественский подарок. Где-то после пятнадцати страниц, испи-

---

[20] Примечания: 20

Процитированные в начале этой главы строфы из In Memoriam в данном случае весьма уместны. Безусловно, самые озадачивающие из всех озадачивающих аргументов в знаменитой поэме о нашей озабоченности посмертным бытием отражены в этой тридцать пятой строфе. Утверждение, что если не существует бессмертия души, то любовь является нам исключительно в образе Сатира, есть не что иное, как паническое бегство от Фрейда. Для викторианцев рай был раем во многом потому, что плоть оставалась на земле — вместе с Id. (*Примеч. автора.*)

санных мелким почерком, обнаружились пустые страницы с вложенной веточкой жасмина. Пару секунд она ее разглядывала, а затем наклонилась и понюхала. Прядка волос упала на страницу. Она закрыла глаза, пытаясь воскресить в памяти ни с чем не сравнимый день, когда казалось, что она умрет от счастья, слезы текли безостановочно, что-то непередаваемое…

Но тут она услышала шаги тетушки Трантер на лестнице, спешно убрала дневник в ящичек и начала расчесывать свои воздушные каштановые волосы.

6

Ах, Мод, молочно-белый фавн,
Какая из тебя жена!

Альфред Теннисон. Мод (1855)

Когда викарий вернулся с этим известием, на лице миссис Поултни отразилась озадаченность. А с дамами вроде нее безуспешные обращения к знаниям чаще всего приводят к успешному неодобрению. Ее лицо прекрасно выражало это чувство: глаза уж точно не были «приютом безмолвной молитвы», как сказано у Теннисона, а щеки — каждая как второй подбородок — сдавили губы в заслуженном отвержении всего, что угрожало ее двум жизненным принципам: 1) «цивилизация — это мыло» (я позаимствовал саркастическую формулу Трейчке[21]) и 2) «уважение — это то, что не оскорбляет моих чувств». Сейчас она была похожа на белого пекинеса, а точнее, на чучело пекинеса, поскольку прятала на груди мешочек с камфарой в качестве профилактики

[21] Примечания: 21

Генрих Трейчке (1834–1896) — немецкий историк и публицист, автор «Истории Германии в XIX веке» в пяти томах.

от холеры, так что от нее всегда попахивало шариками от моли.

— Я такой не знаю.

Викарий, получивший щелчок по носу, про себя подумал, что было бы, если бы добрый самарянин встретил не несчастного прохожего, а миссис Поултни.

— Ничего удивительного. Девочка-то из Чарнмута.

— Девочка?

— Сейчас женщина лет тридцати. Или чуть больше. Не хочу гадать. — Викарий уже понимал, что начал свою рекомендацию не лучшим образом. — Но случай весьма печальный. Она, безусловно, заслуживает вашего благодеяния.

— Она получила образование?

— Да. В качестве гувернантки. И уже успела поработать.

— А чем занимается сейчас?

— Насколько мне известно, безработная.

— Почему?

— Это долгая история.

— Хотелось бы ее выслушать, прежде чем идти дальше.

Пришлось викарию снова сесть и рассказать ей все, что он знал, или часть того, что знал (в

своем отважном стремлении спасти душу миссис Поултни викарий готов был поставить под удар свою собственную) о Саре Вудраф.

— Отец девочки снимал жилье в доме лорда Меритона, недалеко от Биминстера. Простой фермер, но человек высоких принципов и весьма уважаемый в округе. Он поступил мудро, дав ей отличное образование, что трудно было ожидать.

— Он умер?

— Несколько лет назад. Девушка стала гувернанткой в семье капитана Джона Талбота в Чармуте.

— Он ей даст рекомендательное письмо?

— Дорогая миссис Поултни, если я правильно понял наш предыдущий разговор, речь идет о благотворительном деянии, а не о приеме на работу.

Она подтвердила коротким кивком, и большего извинения от нее ожидать не приходилось.

— Без сомнения, такое письмо может быть получено, — продолжил он. — Она покинула его дом по собственному желанию. Дело было так. Вы же помните, как французский барк — кажется, он приплыл из Сен-Мало — прибило к берегу в Стоунбэрроу во время жуткого шторма в про-

шлом декабре? И вы наверняка помните, что трех членов команды спасли жители Чармута. Два из них — простые моряки. А третий, как я понимаю, морской лейтенант. Ему раздробило ногу, но он уцепился за лонжерон, и волны вынесли его на берег. Вы, конечно, про все это читали.

— Очень может быть. Вообще-то я не люблю французов.

— Капитан Талбот, сам морской офицер, милостиво препоручил домашним заботу о… об иностранце. Тот не говорил по-английски. Так что мисс Вудраф пригласили переводить и выполнять его просьбы.

— Она говорит по-французски?

Тревога, с какой миссис Поултни восприняла столь пугающее известие, едва не похоронила все надежды викария. Но он с поклоном учтиво улыбнулся.

— Дорогая мадам, как практически все гувернантки. Не их вина, что миру требуются такие навыки. Но вернемся к французу. Я сожалею, но он не заслужил таких слов.

— Мистер Форсайт!

Она привстала, но не слишком резко, чтобы ее визави не проглотил язык.

— Спешу добавить, что ничего неприличного

в доме капитана Талбота не случилось. Как и впоследствии, если говорить о поведении мисс Вудраф. В этом меня заверил мистер Фурси-Харрис, знающий все обстоятельства гораздо лучше меня. — Он имел в виду чармутского викария. — Но француз сумел пробудить к себе чувства мисс Вудраф. Когда его нога зажила, он добрался в экипаже до Уэймута, а оттуда, как считают, уже до дома. Через два дня после его отъезда мисс Вудраф настоятельным образом попросила миссис Талбот ее отпустить. Та, насколько мне известно, пыталась добиться каких-то разъяснений, но безуспешно.

— И она ее отпустила без рекомендательного письма?

Викарий зацепился за этот шанс.

— Я с вами согласен, это было необдуманное решение. Другой работодатель на ее месте не совершил бы такого печального поступка. — Он взял паузу, давая миссис Поултни возможность оценить скрытый комплимент. — Одним словом, мисс Вудраф встретилась с французом в Уэймуте. Ее поведение, безусловно, заслуживает осуждения, но, как мне сообщили, она там поселилась вместе со своей кузиной.

— В моих глазах это ее не извиняет.

— Разумеется. Но вы должны помнить, что она не аристократка по рождению. Низшие классы не так задумываются о приличиях, как мы с вами. А кроме того, я пропустил важную деталь: француз поклялся ей в верности. Мисс Вудраф отправилась в Уэймут в полной уверенности, что ее ждут брачные узы.

— Разве он не католик?

Миссис Поултни видела себя этаким невинным островом Патмос[22] в бурном океане папства.

— Боюсь, что его поведение доказывает отсутствие какой-либо христианской веры. Но он, надо думать, представлялся ей несчастным единоверцем в своей заблудшей стране. Вскоре после их встречи он отбыл во Францию, пообещав мисс Вудраф — после свидания с семьей и получения нового корабля (очередная ложь, что его сделают капитаном) — вернуться в Лайм, заключить брак и увезти ее с собой. С тех пор она его ждет. Совершенно ясно, что этот человек — бездушный обманщик. Я не сомневаюсь, что он рассчитывал надругаться над ней в Уэймуте. А когда ее строгие христианские принципы показали ему тщетность его намерений, он уплыл восвояси.

---

[22] Примечания: 22

Согласно преданию, сюда был сослан апостол Иоанн Богослов и в одной из пещер имел откровение, легшее в основу книги Апокалипсиса.

— А что стало с ней? Едва ли миссис Талбот взяла ее обратно.

— Миссис Талбот, дама эксцентричная, сделала ей такое предложение. Но тут я подхожу к печальному завершению этой истории. Мисс Вудраф не сумасшедшая. Даже близко. Она в состоянии выполнять любые поручения. Но она страдает острыми приступами меланхолии. Отчасти это, конечно, связано с угрызениями совести. Но также, боюсь, с ее устойчивым заблуждением, что лейтенант достойный человек и что однажды он к ней вернется. По этой причине ее часто можно видеть на берегу нашего залива. Мистер Фурси-Харрис постарался показать ей всю безнадежность, чтобы не сказать неуместность, такого поведения. Не хочется заострять на этом внимание, мадам, но женщина немного не в себе.

Повисло молчание. Викарий вверил себя языческому божку, то бишь отдался на волю случая. Он понимал, что миссис Поултни просчитывает варианты. При ее самомнении она обязана была изобразить состояние шока и тревоги по поводу самой идеи пустить в «дом Марлборо» такую особу. Но нельзя сбрасывать со счетов Божий промысел.

— У нее есть родственники?

— Нет, насколько мне известно.

— На что же она жила, с тех пор как…

— Как-то перебивалась. Занималась рукоделием. Кажется, миссис Трантер иногда ей что-то заказывала. Но в основном жила на прежние сбережения.

— Вот, значит, что ее спасло.

Викарий сделал глубокий вдох.

— Если вы, мадам, ее к себе возьмете, то тогда можно будет считать, что она спасена. — Он выложил свою козырную карту. — И, быть может, — хотя не мне судить, что мучает вашу совесть, — она, в свою очередь, спасет вас.

Миссис Поултни вдруг посетило ослепительное небесное видение: леди Коттон со своим праведным вывихнутым носом. Она, нахмурившись, уставилась на ковер с длинным ворсом.

— Пусть мистер Фурси-Харрис ко мне заглянет.

И через неделю он заглянул, вместе с местным викарием, пригубил мадеру и высказался — но при этом, по совету духовного коллеги, о чем-то умолчал. Миссис Талбот предоставила длиннющее рекомендательное письмо, принесшее больше вреда, чем пользы, поскольку оно вызывающим образом не осудило в полной мере поведение гувернантки. Одна фраза особенно

возмутила миссис Поултни. «Месье Варгенн был человеком большого обаяния, а еще капитан Талбот просил вам сказать, что жизнь моряка — не лучшая школа высокой морали». Она безо всякого интереса отнеслась к тому, что мисс Сара «знающая и ответственная учительница», а также к словам «моим детям ее очень не хватает». Однако очевидная заниженность стандартов и глупая сентиментальность миссис Талбот в конечном счете сыграли Саре на пользу — миссис Поултни восприняла это как вызов.

Итак, Сара пришла на интервью в сопровождении викария. С первой минуты миссис Поултни в глубине души почувствовала к ней расположение: такая поникшая, отверженная в силу обстоятельств. Выглядела подозрительно на свой возраст — скорее двадцать пять, чем «тридцать или чуть больше». Печаль в глазах явственно указывала — грешница, а ни с кем другим миссис Поултни, собственно, и не желала иметь дело. Сдержанность девушки она интерпретировала как молчаливую благодарность. Больше всего, помня всех рассчитанных домочадцев, пожилая дама не выносила дерзости и рвения, что, как подсказывал ей опыт, приводило к двоякому результату: человек заговаривал первым и

предвосхищал ее требования, что лишало ее удовольствия строго спросить с подчиненного, почему он их не угадывает.

По совету викария миссис Поултни продиктовала Саре письмо. Почерк великолепный, орфография безупречная. За этим последовал более хитрый тест. Она протянула девушке Библию и приказала прочитать. При выборе отрывка пришлось поломать голову; миссис Поултни разрывалась между Псалмом 118 («Блаженны непорочные») и Псалмом 139 («Избавь меня, Господи, от человека злого»). В конце концов она остановилась на первом, и при этом ее интересовала не только звучность голоса, но и малейшие признаки того, что девушка не принимает слова псалмопевца близко к сердцу.

Голос был твердым и довольно глубоким. В нем чувствовался деревенский акцент, но в то время дворянское произношение еще не стало важным социальным атрибутом. Да в Палате лордов какой-нибудь герцог мог сохранять провинциальный акцент, и это не роняло его в глазах окружающих. Возможно, Сарин голос понравился миссис Поултни по контрасту с обескураживающими спотыканиями миссис Фэйрли. Он ее даже очаровал, как и подача, с которой девушка

прочла: «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!»

Затем последовал небольшой допрос.

— Мистер Форсайт сообщил мне, что вы сохраняете привязанность к иностранцу.

— Я не хочу об этом говорить, мэм.

Если бы другая служанка осмелилась сказать ей в лицо такое, на нее обрушился бы *Dies Irae*[23]. Но это было сказано открыто, бесстрашно и уважительно, и миссис Поултни — редчайший случай! — не воспользовалась прекрасным поводом поставить на место бесстыдницу.

— Я не позволю держать в моем доме французские книжки.

— У меня их нет. Как и английских, мэм.

Книг у нее не было, позволю себе добавить, так как ей пришлось все продать, и не потому, что она была предтечей одиозного Маклюэна[24].

— Но Библия-то у вас есть?

Девушка покачала головой. Викарий счел нужным вмешаться.

---

[23] Примечания: 23

День гнева *(лат.).* Зд. Страшный суд.

[24] Примечания: 24

Маршалл Маклюэн (1911–1980) — канадский философ и филолог, исследователь воздействия электронных средств коммуникации на человека.

— Это, дорогая миссис Поултни, я возьму на себя.

— Я слышала, что вы постоянно посещаете богослужение.

— Да, мэм.

— Продолжайте. Господь утешает нас в беде.

— Я стараюсь разделять вашу веру, мэм.

И тогда миссис Поултни задала самый трудный вопрос, который викарий просил ее не задавать.

— Что будет, если этот… человек… вернется?

Но Сара вновь поступила наилучшим образом: ничего не ответила, просто покачала опущенной головой. А миссис Поултни, испытывавшая к девушке все бóльшую симпатию, истолковала это как молчаливое раскаяние.

И она совершила благодеяние.

Она даже не подумала спросить Сару, которая отказалась пойти работать к не столь суровым христианам, как миссис Поултни, почему девушка выбрала именно ее дом. На это было два простых ответа. Во-первых, из «дома Марлборо» открывался великолепный вид на бухту Лайм. А второй был еще проще. У нее в кармане оставалось семь пенсов.

7

Чрезвычайно возросшая производительная сила в отраслях крупной промышленности… дает возможность непроизводительно употреблять все увеличивающуюся часть рабочего класса и таким образом воспроизводить все большими массами старинных домашних рабов под названием «класса прислуги», как, например, слуг, горничных, лакеев и т. д.

Карл Маркс. Капитал (1867)

Сэм раздвинул шторы, и утро затопило Чарльза, а в это время миссис Поултни, еще посапывавшая во сне, грезила о том, как ее затопит райское сияние после необходимой священной паузы, когда она отдаст Богу душу. Раз десять в году мягкий дорсетский климат выдает такие дни — не просто приятные, не по сезону, а с роскошным средиземноморским теплом и разливанным светом. И тогда Природа немного сходит с ума. Пауки, выйдя из зимней спячки, бегают по нагретым ноябрьским скалам, в декабре начинают петь

дрозды, в январе расцветают примулы, а март изображает из себя июнь.

Чарльз сел в кровати, сорвал с головы ночной колпак, приказал Сэму распахнуть окна и, опираясь на отставленные назад руки, смотрел, как солнечный свет заливает комнату. Легкое уныние, овладевшее им накануне, унеслось вместе с облаками. Он чувствовал, как теплый весенний воздух ласкает кожу там, где распахнулась ночная рубаха, и поднимается к открытому горлу. Сэм стоя правил бритву, и пар поднимался соблазнительными клубами, вызывая у Чарльза цепочку богатых воспоминаний в духе Пруста: счастливые деньки, прочные позиции, порядок, покой, цивилизация, — и все это льется из медного кувшина с водой. По уличной брусчатке мирно процокала лошадка в сторону моря. Порыв ветра всколыхнул уже далеко не новые красные атласные занавески. Но даже они казались красивыми в этом освещении. Все было лучше некуда. Это мгновение распространится на весь мир и на целую жизнь.

Раздался дробный стук маленьких копытцев вперемежку с беспокойным «мэ-э-э». Чарльз встал и подошел к окну. Два старика в гофрированных холщовых халатах вели о чем-то беседу.

Один из них, пастух, опирался на посох. Дюжина овец и целое стадо ягнят нервно топтались посреди улицы. Подобные сельские персонажи выглядели живописно в 1867 году, хотя не были такой уж редкостью; в каждой деревне нашлось бы несколько таких вот старичков в халатах. Чарльз даже посетовал, что он не художник. В загородной жизни все-таки есть своя прелесть. Он повернулся к слуге.

— Клянусь тебе, Сэм, в такой день глаза бы мои не видели Лондона.

— Если еще п’стоите у открытого окна, сэр, то ’днозначно не увидите.

Хозяин осадил его взглядом. За четыре года вместе они узнали друг друга лучше, чем иные партнеры по бизнесу.

— Сэм, ты опять наклюкался.

— Нет, сэр.

— Новая комната тебе больше нравится?

— Да, сэр.

— А удобства?

— А че, сэр, меня устраивают.

– *Quod est demonstrandum*[25]. В такое утро даже скупец запел бы от радости, а ты не в духе.

---

[25] Примечания: 25
Что и требовалось доказать *(лат.)*.

Ergo[26], ты пил.

Сэм проверил своим коротким большим пальцем опасно наточенную бритву с таким выражением, как будто он сейчас полоснет себя по горлу, — а может, и не себя, а своего ухмыляющегося хозяина.

— Эт ’на, кухарка миссис Трантер, сэр. Я не с’бираюсь…

— Будь добр, положи этот инструмент. И объясни, что ты там увидел.

— Эт ’на, стоит напротив. — Он ткнул пальцем в окно. — И раз’ряется!

— Да? А поконкретнее?

Сэм все больше закипал.

— «Гоните сажу!»… сэр, — закончил он угрюмо.

Чарльз улыбнулся.

— Я ее знаю. В сером платье? Такая дурнушка.

Вообще-то она этого не заслуживала. Не перед ней ли, хорошенькой и молоденькой, он с готовностью приподнял цилиндр накануне?

— Какая ж она дурнушка. Очень даже ничего.

— Ага. Значит, Купидон несправедлив к кокни.

Сэм бросил в его сторону негодующий взгляд.

— Да я к ней не п’дойду на пушечный выстрел!

---

[26] Примечания: 26
Следовательно *(лат.)*.

Коровница, блин!

— Я так понимаю, Сэм, что ты ее сравнил с блинчиком. Не зря ты мне клялся и не раз, что родился в пивной.

— П'соседству, сэр.

— Очень близкое соседство, я бы сказал. Мог бы и не употреблять этих слов в такое утро.

— А че она разоряется на всю улицу?

Так как «вся улица» сводилась к двум старикам, из которых один был к тому же глухой, Чарльз соблаговолил улыбнуться и жестом показал, чтобы Сэм налил ему горячей воды.

— Принеси-ка мне завтрак, дружище. Я сам побреюсь. Кексов двойную порцию.

— Да, сэр.

Сэм не успел дойти до двери, как в спину ему нацелилась кисточка для бритья.

— Местные девицы слишком робкие, чтобы хамить столичным джентльменам… ну разве что их сильно разозлить. Сэм, я подозреваю, что ты все-таки приложился.

У слуги отвисла челюсть.

— А если ты не приложишь усилий насчет моего завтрака, то я приложу ботинок к твоей недостойной лучшего филейной части.

Дверь за ним закрылась, и не то чтобы очень

вежливо. Чарльз подмигнул себе в зеркале. А потом вдруг добавил своему лицу еще десяток лет: такой серьезный, хотя еще молодой, отец семейства… снисходительно улыбнулся этим гримасам и общей эйфории — и замер, очарованный собственными чертами лица. Они были в самом деле очень правильными: широкий лоб, усы черные, как и волосы, взъерошенные после сдернутого ночного колпака, отчего он казался еще моложе. Кожа в меру бледная, хотя и недотягивала до бледности многих лондонских джентльменов, а не надо забывать, что в ту пору загар не считался желаемым символом социального и сексуального статуса, скорее наоборот, указывал на принадлежность к низшим классам. Если присмотреться, то в данную минуту лицо выглядело несколько глупым. Его снова накрыла легкая волна вчерашней хандры. Слишком невинное лицо, если с него снять показную маску; особенно нечем похвастаться. Разве что дорическим носом и холодными серыми глазами. Воспитание и самопознание — что есть, то есть.

Он стал замазывать это двусмысленное лицо кремом для бритья.

Сэм был моложе его лет на десять. Слишком юный для хорошего слуги и к тому же рассеян-

ный, самодовольный, тщеславный, высокого мнения о своих умственных способностях. Любитель повалять дурака, он прохаживался с соломинкой или веточкой петрушки в уголке рта; хозяин сверху пытался до него докричаться, а он в это время изображал из себя лошадника или ловил воробья с помощью сита.

Естественно, для нас любой слуга-кокни по имени Сэм сразу вызывает в памяти бессмертного Уэллера[27], и этот Сэм явился на свет явно с его подсказки. С тех пор как «Пиквикские записки» заблистали в этом мире, прошло уже тридцать лет. Любовь Сэма к парнокопытным не была такой уж глубокой. Его скорее можно сравнить с нынешним работягой, который считает, что способность разбираться в автомобилях свидетельствует о его социальной продвинутости. Он даже знал про Сэма Уэллера, правда не из книги, а из сценической версии, как знал и то, что с тех пор многое изменилось. Его поколение кокни было выше всего этого, и если он частенько заглядывал в конюшню, то исключительно для того, чтобы продемонстрировать свое превосходство провинциальным конюхам и мальчикам на

[27] Примечания: 27

Сэм Уэллер — слуга мистера Пиквика, главного героя романа Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба».

побегушках.

Середина века столкнулась с новыми денди на английской сцене — аристократами прежнего образца, бледнолицыми наследниками «красавчиков Браммела»[28], также известными как «шишки». Но в умении одеваться с ними вступили в состязание новоявленные преуспевающие ремесленники и пробившиеся наверх слуги вроде Сэма. «Шишки» называли их «снобами», и Сэм был отличным примером такого сноба, в узком смысле этого слова. Он обладал обостренным чувством стиля одежды, не хуже, чем «моды» 1960-х, и тратил большую часть заработанных денег на модные тряпки. А еще он демонстрировал свою принадлежность к новому классу, добиваясь правильной речи.

В 1870 году пресловутая неспособность Сэма Уэллера произносить «v» вместо «w», что на протяжении веков выделяло лондонского простолюдина, вызывала одинаковое презрение как у снобов, так и у буржуазных романистов, которые по привычке и без должных оснований еще какое-то время вставляли этот изъян в речь своих персонажей кокни. Если говорить о снобах, то

[28] Примечания: 28

Щеголи, по имени Джорджа Браммела, лондонского модельера первой половины XIX века.

они больше воевали против придыхательного согласного звука; в случае с Сэмом эта борьба была особенно отчаянной и в основном безнадежной. А его неправильное употребление всех этих «а» и «h» было не столько комичным, сколько знаком социальной революции, что Чарльз просто не осознавал.

Возможно, это происходило потому, что Сэм давал ему нечто очень важное в его жизни — ежедневную возможность поболтать, вспомнить о своем школьном прошлом, а в процессе, так сказать, экскретировать характерное и довольно жалкое пристрастие к каламбурам и намекам, этой разновидности юмора, базирующейся с какой-то отталкивающей изысканностью на образовательном превосходстве. Но при том что позиция Чарльза выглядела как дополнительное оскорбление и без того вызывающей эксплуатации, справедливости ради отметим, что его отношение к Сэму отличалось приязненностью, между ними существовала человеческая связь, и это было куда лучше ледяного барьера, который нувориши в век повального обогащения воздвигали между собой и своей домашней челядью.

Понятно, что за спиной у Чарльза было не одно поколение держателей прислуги; что же каса-

ется нуворишей, то многие из них были детьми лакеев. Если он не мог себе представить мир без слуг, то эти люди могли, что делало их особенно придирчивыми. Они старались превратить своих слуг в автоматы, тогда как для Чарльза слуга был одновременно компаньон, его Санчо Панса, персонаж низкой комедии, дополняющий его высокие чувства перед Эрнестиной-Дульсинеей. Иными словами, он держал Сэма, потому что тот его забавлял, а не потому, что под рукой не было «автоматов» получше.

Разница же между Сэмом Уэллером и Сэмом Фарроу (то есть между 1836-м и 1867-м) заключалась в следующем: первый был доволен своей ролью, а второй от нее страдал. Сэм Уэллер на такое требование сажи дал бы словесную отповедь. Сэм Фарроу остолбенел, вздернул брови и удалился.

8

Где лес – морская гладь была.
Земля, как твой изменчив вид!
Где площадь людная шумит,
Там гордо высилась скала.

Холмы тенями убегают.
Ничто не устоит в веках.
Провалов много в облаках —
Материки не так же ль тают?

Альфред Теннисон. In Memoriam

Если же вы хотите жить в праздности и чтобы вас при этом уважали, то лучше всего сделать вид, что вы заняты серьезным исследованием…

Лесли Стивен. Кембриджские заметки (1865)

Не только Сэм был мрачен в то утро. Эрнестина проснулась с таким настроением, которое многообещающий яркий день лишь усугубил. Ее нездоровье было в порядке вещей, но важно оградить от этого Чарльза. Поэтому, когда он в

десять утра, как штык, поднялся на крыльцо, его встретила тетушка Трантер словами, что Эрнестина неважно провела ночь и нуждается в отдыхе. Может, он заглянет на файф-о-клок? К тому времени она наверняка придет в себя.

Его заботливые предложения вызвать врача были вежливо отклонены, и он ушел. Приказав Сэму купить побольше цветов и отнести их в дом очаровательной больной, с разрешением и даже советом вручить цветочек-другой от себя молодой особе, недолюбливающей сажу, за что ему предоставляется свободный день (не все викторианские хозяева были ярыми сторонниками коммунизма), Чарльз оказался предоставлен самому себе.

С выбором дело обстояло просто. Само собой, он был готов сопровождать Эрнестину куда ей заблагорассудится, но надо признать, что поскольку речь шла о Лайм-Риджисе, то он с особым удовольствием выполнял свои предсвадебные обязанности. Стоунбэрроу, Блэк Вен, Уэйрские утесы — эти названия вам, вероятно, ни о чем не говорят. Но дело в том, что Лайм находится в самом центре отложений редкого камня, известного как голубой леас. Обычному праздному гуляке он не покажется интересным. Угрюмого

серого цвета, по текстуре застывшая грязь, он скорее отвращает, чем радует глаз. А еще он губителен — слои хрупки, склонны к обвалу, так что не случайно за всю историю человечества эта двенадцатимильная полоса голубого леаса отдала морю больше суши, чем другие уголки Англии. Зато богатая ископаемыми и подвижная порода стала Меккой для британского палеонтолога. За последние сто лет, если не больше, самым распространенным животным на этом побережье стал человек, орудующий молотком геолога.

Чарльз уже побывал, пожалуй, в наиболее известной местной лавке тех дней — «Допотопные окаменелости», открытой несравненной Мэри Эннинг, женщиной без систематического образования, но обладавшей природным гением обнаруживать великолепные — и во многих случаях дотоле неизвестные — экземпляры. Она первая нашла кости *Ichthyosaurus platyodon*[29], и, хотя многие ученые того времени с благодарностью использовали ее открытие для продвижения собственной репутации, одной из самых позорных страниц британской палеонтологии остается то, что ни один вид этого ископаемого

---

[29] Примечания: 29
Ихтиозавр плоскозубый *(лат.).*

животного не носит ее имя. Чарльз отдал дань памяти этому выдающемуся местному открытию — а также свою наличность на приобретение различных аммонитов[30] и *Isocrina*[31], которые украшали рабочие шкафы в его лондонском кабинете. Но его постигло одно разочарование: он тогда специализировался на особи, которая была плохо представлена в лавке допотопных окаменелостей.

Речь об *echinoderm*'е, или окаменелых морских ежах. Иногда мы их называем «тестами» (от латинского *testa*, керамический или глиняный горшок), а американцы — песочными долларами. Тесты отличаются формой, но при этом все идеально симметричны, а объединяет их узор из изящных шипованных полосок. Помимо научной ценности (серия образцов с мыса Бичи Хед, взятая в начале 1860-х, стала одним из первых практических подтверждений теории эволюции), они хороши сами по себе, а дополнительное очарование им придает тот факт, что их довольно трудно обнаружить. Вы можете потратить

---

[30] Примечания: 30

Вымершие беспозвоночные животные класса головоногих моллюсков.

[31] Примечания: 31

Группа морских лилий *(лат.).*

впустую несколько дней, а если вам посчастливится в одно прекрасное утро найти два-три экземпляра, это запомнится надолго. Возможно, подсознательно это и привлекало Чарльза, палеонтолога-любителя, располагавшего свободным временем. Им, конечно, двигали научные интересы, и вместе с такими же коллегами-любителями он возмущался тем, что морских ежей «незаслуженно игнорируют», — удобное оправдание для многочисленных часов, потраченных на такое узкое направление. Но какими бы ни были его мотивы, он отдал тестам свою душу.

Сегодня тест извлекают не из голубого леаса, а из верхних кремниевых слоев, и хозяин лавки окаменелостей посоветовал Чарльзу делать раскопки на западной окраине города, а не на самом берегу. И вот, спустя полчаса после визита к тетушке Трантер, он уже снова был на мысе Кобб.

В этот день большой мол совсем не выглядел пустынным. Рыбаки смолили лодки, чинили сети, лудили оловянные ведерки для крабов и лобстеров. Состоятельные люди из местных, ранние посетители, прогуливались вдоль волнующегося, но уже куда более спокойного моря. Одинокой женщины, вглядывающейся в горизонт, он не заметил. Впрочем, ему было не до нее и не до Кобба;

быстрым пружинистым шагом, столь отличным от его обычной вальяжной городской походки, он направился вдоль пляжа под Уйэрскими утесами к месту назначения.

Вы бы улыбнулись, увидев его экипировку. Тяжелые кованые ботинки и полотняные гетры поверх норфолкских бриджей из плотной фланели. К этому прилагались узкий и до абсурдного длинный сюртук, широкополая фетровая шляпа неопределенного бежеватого цвета, громоздкий аппарат золоудаления, купленный им по дороге к Коббу, и объемистый рюкзак, из которого при желании можно было вытряхнуть тяжелую коллекцию молотков, намоток, записных книжек, коробочек для пилюль, тесел и бог знает чего еще. Педантизм викторианцев не укладывается у нас в голове. Лучше всего (и нелепее) он предстает в советах, щедро раздаваемых путешественникам в ранних изданиях Бедекера. А что, простите, остается им для удовольствия? Если же вернуться к Чарльзу, то неужели он не понимал, что легкая одежда была бы куда удобнее? Что шляпа ему не нужна? Что тяжелые кованые ботинки на пляже, усеянном камнями, так же полезны, как коньки?

Мы смеемся. Но, вероятно, есть нечто достойное восхищения в несовместимости того, что

по-настоящему комфортно, и того, что нам настоятельно рекомендуют. Мы снова видим это яблоко раздора между двумя столетиями: должны ли мы руководствоваться долгом[32] или нет? Если расценивать этот пунктик по поводу одежды на все случаи жизни как обычную глупость и игнорирование эмпирического познания, то мы совершим серьезную — или скорее легкомысленную — ошибку в отношении наших предков; именно люди вроде Чарльза, избыточно одетые и перегруженные, заложили основы современной науки. Их чудаковатые поступки были проявлением их серьезности в куда более важной составляющей. У них было ощущение, что общественные оценки неадекватны, что их окна реальности замазаны условностями, религиозной догмой, социальной стагнацией; короче, они понимали, что без новых открытий не обойтись, они будут определять будущее человека. Нам-то кажется (если, конечно, мы не работаем в исследовательской лаборатории), что никакие

[32] Примечания: 32

Здесь, в качестве напоминания о том, что средневикторианские (в отличие от современных) агностицизм и атеизм были строго связаны с религиозной догмой, мне следует процитировать знаменитую эпиграмму Джордж Элиот: «Бог непознаваем, бессмертие неправдоподобно, зато долг безоговорочен и абсолютен». И он еще более безоговорочен, можно добавить, при пугающе двойственном отсутствии веры. (*Примеч. автора.*)

открытия нам не нужны и важно только одно: настоящее человека. Вот и славно? Возможно. Только судьями в конечном счете быть не нам.

Так что я не склонен потешаться над тем, что Чарльз, работая молотком и пытаясь в энный раз пробить между валунами выемку пошире, поскользнулся и шлепнулся на спину. Его это, кстати, не обескуражило — прекрасный день, леасовые окаменелости в избытке, и он совершенно один.

Море сверкает, покрикивают кроншнепы. Впереди него, словно оповещая всех о его приближении, летела стая сорочаев, черных, белых и кораллово-красных. При виде соблазнительных заводей в мозгу пронеслись еретические мысли: может, было бы веселее… стоп, стоп, полезнее с точки зрения науки… заняться морской биологией? Уехать из Лондона, поселиться в Лайме… нет, Эрнестина никогда этого не допустит. А потом, приятно отметить, случилось нечто почеловечески подкупающее: Чарльз поозирался и, убедившись в том, что его никто не видит, аккуратно снял тяжелые ботинки, гетры и чулки. Он повел себя как школьник и даже попытался вспомнить строчку из Гомера, что придало бы моменту классический оттенок, но тут он отвлекся,

так как надо было поймать бегущего бдительного крабика, которого накрыла гигантская тень.

Возможно, вы презираете Чарльза за этот громоздкий аппарат золоудаления не меньше, чем за его неспособность определиться со специализацией. Но вы должны при этом помнить, что естествознание в то время не носило того уничижительного оттенка, как в наши дни, когда оно воспринимается как бегство от реальности — и зачастую в сантименты. Чарльз, если на то пошло, был довольно компетентным орнитологом и ботаником. Вероятно, было бы лучше, если бы он закрыл глаза на все, кроме ископаемых морских ежей, или посвятил свою жизнь водорослям, если уж мы заговорили о научном прогрессе. Но подумайте о Дарвине, о «Путешествии вокруг света на корабле «Бигль». «Происхождение видов» — это триумф обобщений, а не специализации, и даже если вы мне докажете, что для Чарльза, неодаренного ученого, второе было бы предпочтительнее, я все равно буду настаивать, что первое лучше для него как для человека. Дело не в том, что любители могут себе позволить заниматься чем угодно; они *должны* заниматься чем угодно, и к черту ученых резонеров, которые их загоняют в

oubliette[33].

Чарльз называл себя дарвинистом, хотя толком дарвинизм не понимал. А разве Дарвин себя понимал? Этот гений перевернул *Scala Naturae,* «лестницу природы» Линнея, чьим главным постулатом, столь же важным, как божественность Христа для теологии, было *nulla species nova*: для новых видов мир закрыт. Этот принцип объясняет, почему Линней был так одержим классифицированием и присваиванием имен, — он все живое превращал в окаменелость. Сегодня это воспринимается как заведомо обреченные попытки стабилизировать и зафиксировать все, что в действительности находится в непрерывном движении, и нет ничего удивительного в том, что Линней под конец сошел с ума: он оказался в лабиринте, но не в том, который вечно обновляется. Даже Дарвин сбросил с себя не все шведские оковы, так вправе ли мы обвинять Чарльза за мысли, когда он, задрав голову, разглядывал слои леаса на скалах?

Зная, что *nulla species nova* — полная чушь, тем не менее он видел в этих геологических слоях обнадеживающий знак упорядоченного суще-

---

[33] Примечания: 33
Узилище *(фр.).*

ствования. Возможно, издалека просматривался социальный символизм в том, как крошились серо-голубые уступы; по сути же он видел, как возносится время, в котором непреложные законы (и, следовательно, благодатные в своей божественности, ибо кто будет спорить с тем, что порядок не есть высшая человеческая ценность?) весьма удобно сочетаются с выживанием самых лучших и наиболее приспособляемых — *exemplia gratia*[34] Чарльз Смитсон, в прекрасный весенний день, наедине с природой, энергичный и пытливый, понимающий и принимающий, наблюдательный и благодарный. Не хватало только вывода о крушении «лестницы природы»: если новые виды *могут* появляться, то старые нередко должны уступать им дорогу. Вымирание индивида для Чарльза, как и для любого викторианца, не составляло секрета. А вот общее вымирание… этой концепции в его сознании не было, как не было ни одного облачка у него над головой, хотя вскоре, после того как он снова натянул на себя чулки, гетры и ботинки, он держал в руках очень конкретное тому подтверждение.

Это был замечательный кусок леаса с аммо-

---

[34] Примечания: 34
Например *(лат.)*.

нитовыми вкраплениями, изысканно светлый, микрокосм макрокосма, крученой галактики, которая прошлась своим колесом по десятидюймовой породе. Должным образом надписав ярлык — дата, место обнаружения, — он мысленно перескочил с научной темы на любовную. Он решил, что подарит этот камень Эрнестине. Такая красота не может ей не понравиться, к тому же очень скоро камень к нему вернется вместе с ней. А дополнительный груз за спиной лишь придавал веса его подарку. Долг, в приятном соответствии с течением эпохи, горделиво встрепенулся.

Как встрепенулось и его внимание: кажется, он замешкался. Чарльз расстегнул сюртук и достал серебряный брегет с отверстием в крышке. Уже два часа! Он резко развернулся и увидел, что волны уже перекатывают через мыс в миле от него. Опасность быть отрезанным от суши ему не грозила, так как вверх, на утес, и дальше, к густому лесу, уходила крутая, но безопасная тропа. А вот вернуться по берегу он уже не мог. Ничего, бодрым шагом в горку, где просматриваются кремневые образования. В наказание за свою мешкотность он взял слишком быстрый темп, и пришлось на минутку присесть, чтобы отдышаться. Под чертовой фланелью обильно

струился пот. Тут он услышал рядом журчание ручья и утолил жажду, а потом намочил носовой платок и протер лицо. Он стал озираться вокруг.

9

Узреть я в сердце том не мог
Любви несдержанной и знойной;
Но был в нем светлячок-дичок,
Неприрученный, беспокойный.

Мэтью Арнольд. Прощание (1853)

Я привел две самые очевидные причины, почему Сара Вудраф пришла наниматься на работу к миссис Поултни. Но вообще-то она не привыкла разбираться в причинах, даже на инстинктивном уровне, и на самом деле их могло быть больше, и наверняка было, поскольку ей ли не знать о репутации этой особы в не столь просвещенных *milieux*[35] города Лайма. Поколебавшись один день, она пошла за советом к миссис Талбот, даме с добрым сердцем, но не особо проницательной. Хотя она была не прочь снова взять в дом Сару и даже твердо пообещала ей это сделать, но понимала, что девушка в данный момент не способна уделять должное внимание исполнению обязанностей гувернантки. Однако при этом горела

---

[35] Примечания: 35
Круги *(фр.)*.

желанием ей помочь.

Она знала, что Саре грозит нужда, и по ночам, лежа без сна, рисовала себе картины из романтической литературы своей юности: сцены с истощенными от голода героинями, которые падают на заснеженные ступеньки незнакомого дома или мучаются от лихорадки на голом протекающем чердаке. Но один образ — непосредственная иллюстрация к поучительному рассказу миссис Шервуд[36] — воплощал ее худшие страхи: убегающая от преследования женщина прыгает со скалы. Вспышка молнии высвечивает буйные головы ее преследователей. Но страшнее всего этот душераздирающий ужас на бледном лице обреченной жертвы и взметнувшийся к небу ее черный просторный балахон — крыло падающей, обреченной на смерть вороны.

В общем, миссис Талбот умолчала о своих сомнениях по поводу миссис Поултни и посоветовала Саре поступить к ней на службу. Бывшая гувернантка на прощание расцеловала маленького Пола и Вирджинию и пешком вернулась в Лайм, как приговоренная. Вердикт миссис Талбот ею под сомнение не ставился — так и должна по-

[36] Примечания: 36

Мэри Марта Шервуд (1775–1851) — популярная английская детская писательница, автор более четырехсот книг.

ступать умная женщина, доверяющая женщине глупой, пусть и с добрым сердцем.

Сара была умна, но по-своему; это был не тот ум, который обнаруживают современные тесты. Не аналитический, не направленный на решение проблем, поэтому симптоматично, что ей никак не давался один предмет — математика. Отсутствовали и такие проявления, как живость ума или остроумие, даже когда все у нее было отлично. Речь больше идет о невероятной — для человека, никогда не бывавшего в Лондоне, не выходившего в свет — способности оценивать других людей, понимать их в самом глубоком значении этого слова.

Она была своего рода психологическим эквивалентом опытного барышника с его способностью навскидку отличить хорошую лошадь от плохой; или, если перенестись в наше время, с самого рождения у нее было не сердце, а компьютер. Я говорю «сердце», поскольку ценности, которые она просчитывала, относились скорее к нему, чем к голове. Она сразу улавливала претенциозность пустого аргумента, ученую фальшь, пристрастную логику, но были и более тонкие заходы в человеческую душу. Не умея это объяснить, сродни компьютеру, не способному объяснить, как он

работает, она видела людей такими, какие они есть, а не какими хотят казаться. Сказать, что она была хорошим моральным судьей, недостаточно. Ее проницательность выглядела куда шире, и если бы все сводилось только к морали, она бы не вела себя подобным образом; простой пример: она не поселилась бы в Уэймуте с кузиной.

Эта инстинктивная глубина прозрения стала первым ее проклятием, а вторым — образованность. Нельзя сказать, что ее образование отличалось особой глубиной, типичное для третьеразрядной женской семинарии в Эксетере, где днем она училась, а вечерами — иногда за полночь — оплачивала учебу, выполняя всякий ручной труд, например штопку. С другими ученицами отношения у нее не складывались. Они смотрели на нее сверху вниз, а она — сквозь них, наверх. В результате она прочла гораздо больше беллетристики и поэзии, чем ее сверстницы. Книжки замещали ей жизненный опыт. Она неосознанно судила людей не только эмпирически, но и по стандартам Вальтера Скотта и Джейн Остин, видя в окружающих литературных персонажей и давая им поэтическую оценку. Но, увы, то, чему она себя обучила, в значительной степени перечеркивалось тем, чему ее учили.

Приобретя лоск настоящей дамы, она сделалась идеальной жертвой кастового общества. Родной отец изгнал ее из низшего общества, но не сумел поднять до высшего. Для молодых людей покинутого ею класса она была слишком рафинированной, чтобы на ней жениться; а для тех, к кому тянулась, она оставалась слишком простецкой.

Ее отец, которого викарий Лайма описывал как «человека высоких принципов», на самом деле был полной противоположностью, средоточием худших качеств. Свою единственную дочь он послал в школу-пансион, движимый не заботой, а помешанностью на предках. Четыре поколения назад, по отцовской линии, в его роду прослеживались настоящие дворяне. Там даже была какая-то отдаленная родственная связь с семейством Дрейка, и с годами этот несущественный факт перерос в твердое убеждение, что он прямой потомок сэра Фрэнсиса. Его предок определенно когда-то владел поместьем в ничейной зеленой полосе между Дартмуром и Эксмуром. Сарин папаша три раза ездил, чтобы убедиться в этом своими глазами, и каждый раз возвращался на свою маленькую ферму, арендованную в обширных угодьях Меритона, чтобы предаваться

размышлениям, что-то планировать и о чем-то мечтать.

Наверное, он испытал разочарование, когда его дочь, вернувшись домой из школы-пансиона в восемнадцать лет (кто знает, на какой чудесный дождь, который на него прольется, он рассчитывал), сидела напротив, за столом из вяза, и слушала его хвастливые речи, поглядывая на отца с тихой сдержанностью, что его только распаляло еще больше, распаляло, как совершенно бесполезное механическое устройство (ведь он родился в Девоне, где деньги для мужчины значат все), и распалило до того, что он в конце концов свихнулся. Он отказался от аренды и купил собственную ферму, но уж очень дешевую, и отличная, на первый взгляд, сделка оказалась совершенно провальной. Несколько лет он бился, пытаясь справиться с закладной и сохранить нелепый аристократический фасад, пока окончательно не свихнулся и не был отправлен в дорчерстерский приют для умалишенных. Там он и умер год спустя. К тому времени Сара уже сама зарабатывала на жизнь — сначала в семье в том же Дорчерстере, поближе к отцу, а после его смерти заняла место гувернантки у Талботов.

Она была слишком хороша собой, чтобы не

иметь кавалеров, невзирая на отсутствие приданого. Но при этом всегда включался ее инстинкт, он же проклятие — своих самоуверенных претендентов она видела насквозь: их низкие помыслы, их снисходительность, их подаяния, их глупости. И таким образом неизбежно приговаривала себя к участи, которой должна была избежать, следуя велению природы на протяжении миллионов лет: старая дева.

Представим себе невозможное: миссис Поултни составляла список плюсов и минусов новой гувернантки, как раз когда Чарльз совершал свои высоконаучные эскапады, отвлекаясь от обременительных обязанностей жениха. В принципе это не так уж невероятно, если учесть, что в то утро мисс Сары не было дома.

А чтобы себя порадовать, начнем с плюсов. Самый первый, вне всякого сомнения, был менее всего ожидаем в момент ее поступления на службу годом раньше. Хозяйка могла записать это так: «Улучшилась домашняя атмосфера». Поразительно, но факт: до появления Сары ни один слуга и ни одна служанка (статистически это больше относилось к последним) не ушли из этого дома по собственному желанию.

Удивительная трансформация началась одна-

жды утром, всего через несколько недель после того, как мисс Сара принялась за дело, а именно взяла опеку над душой миссис Поултни. Пожилая дама с привычным для нее чутьем обнаружила непростительное служебное несоответствие: служанка, работающая на верхнем этаже, в чьи обязанности входило каждый вторник поливать папоротники в малой гостиной — один хозяйка держала у себя, а второй был для гостей, — этого не сделала. Папоротники смотрели по-зеленому снисходительно, в отличие от побелевшей миссис Поултни. Она вызвала к себе виновницу, которая покаялась в забывчивости. Хозяйка могла бы великодушно ее простить, однако за девушкой уже числились два или три других прегрешения. Пришло время похоронного колокола. И миссис Поултни с суровостью ретивого бульдога, готового вонзить зубы в лодыжки грабителя, ударила в колокол.

— Я многое готова вытерпеть, но только не это.

— Больше я такого не допущу, мэм.

— В моем доме точно уже не допустишь.

— О мэм. Прошу вас, мэм.

Миссис Поултни позволила себе несколько мгновений открыто и проникновенно понаслаждаться слезами жертвы.

— Миссис Фэйрли даст вам расчет.

Мисс Сара присутствовала при этом разговоре, поскольку перед этим хозяйка диктовала ей письма епископам… по крайней мере, в такой тональности обращаются к епископам. И тут она задала вопрос; эффект был примечательным. Начать с того, что она впервые задала вопрос, никак не связанный с ее служебными обязанностями. Во-вторых, он подспудно ставил под сомнение обвинительный приговор старой дамы. В-третьих, он был обращен не к хозяйке, а к девушке.

— Милли, вам плохо?

То ли на девушку подействовал участливый голос, то ли сказалось ее состояние, но она упала на колени и, отрицательно мотая головой, закрыла лицо руками, чем несколько обескуражила миссис Поултни. Мисс Сара поспешила присесть рядом и быстро убедилась, что девушка в самом деле нездорова: за прошедшую неделю она дважды падала в обморок, в чем побоялась кому-либо признаться…

Когда через некоторое время мисс Сара вернулась из комнаты прислуги, где она уложила Милли в постель, хозяйка, в свою очередь, задала ей ошеломляющий вопрос:

— И что же мне делать?

Мисс Сара заглянула ей в глаза и увидела в них то, что сделало последующие слова не более чем уступкой принятым условностям.

— Вам виднее, мэм.

Вот так редкий цветок — прощение — осторожно пустил корешок в «доме Марлборо». А когда врач осмотрел служанку и поставил ей диагноз «бледная немочь», миссис Поултни испытала извращенное удовольствие, оттого что проявила доброту. Позже случились еще инциденты, пусть не такие драматические, которые закончились подобным образом; всего один или два, поскольку Сара взяла на себя труд во всем разбираться самой, не доводя дело до кризиса. Разгадав хозяйку, она быстро научилась дергать ее за ниточки, как ловкий кардинал слабого папу, пусть и в более благородных целях.

Вторым, более ожидаемым пунктом в гипотетическом списке миссис Поултни был бы такой: «Ее голос». Если в житейских делах хозяйка дома явно недодавала своим слугам, то об их духовном здоровье она заботилась в полной мере. По воскресеньям им вменялось в обязанность дважды посещать церковь, и каждое утро дома проходила утренняя служба с псалмами, проповедями и молитвами под напыщенным присмотром старой

дамы. Но вот ведь досада, даже ее самые суровые взгляды не приводили слуг в состояние абсолютной покорности и раскаяния, чего, по ее мнению, от них требовал Господь (не говоря уже о ней). Их лица скорее выражали страх перед ней и тупое непонимание, что делало их больше похожими на смешавшихся овец, чем на покаявшихся грешников. И все это изменила Сара.

Голос у нее был необыкновенно красивый, сдержанный и чистый, при этом отмеченный печалью и сильным внутренним чувством; но главное — искренний. И миссис Поултни, жившая в своем неблагодарном мирке, впервые увидела в лицах слуг неподдельное внимание, а временами даже одухотворенность.

Уже хорошо, но предстояло сделать еще шаг. Прислуге разрешалось произносить вечерние молитвы на кухне под равнодушным присмотром миссис Фэйрли, читавшей их деревянным голосом. А вот хозяйке наверху все читалось наедине, и именно в эти интимные минуты Сарин голос бывал наиболее впечатляющим и действенным. Пару раз она совершила невероятное — выжала из этих неукротимых, отороченных мешками глаз слезу. За этим непреднамеренным эффектом скрывалась кардинальная разница между двумя

женщинами. Миссис Поултни верила в несуществующего Бога, а Сара знала Бога, который существовал.

Она подсознательно не стремилась, как это делают досточтимые священники и сановники, когда их просят обратиться с речью, придать голосу эффект отстранения в стиле Брехта («Это сам мэр зачитывает вам пассаж из Библии»); наоборот, прямо говорила о страданиях Христа, рожденного в Назарете, как будто не прошло столетий, и в полутемной комнате она, казалось, забывала о присутствии миссис Поултни и видела перед собой распятого. Как-то раз, дойдя до слов «*Lama, lama, sabachthane me*»[37], Сара вдруг замолчала. Миссис Поултни перевела на нее взгляд и поняла, что по лицу девушки текут слезы. Этот миг искупал все будущие трудности, а если еще учесть, что старая дама, привстав, тронула служанку за поникшее плечо, то это однажды спасет ее очерствевшую душу.

Я рискую изобразить Сару лицемеркой. Но она была очень далека от теологии и видела насквозь не только людей, но и викторианскую церковь с ее благоглупостями, вульгарными витражами

[37] Примечания: 37

Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил? (*древнеевр.*) (Марк, 15: 34).

и узостью буквального восприятия реальности. Она видела страдания и молилась, чтобы они прекратились. Я не могу сказать, что она могла бы жить в наше время; а в ранние века, я думаю, она могла бы стать святой или наложницей императора. Не в силу своей религиозности в первом случае и не из-за своей сексуальности во втором, а благодаря концентрации редкой силы, составлявшей ее суть, — понимания и эмоциональной отзывчивости.

Были и другие достоинства: впечатляющая и, можно сказать, уникальная способность практически не раздражать хозяйку, тихое исполнение разных домашних обязанностей без посягательства на чужие права, искусное рукоделие.

На день рождения миссис Поултни она подарила ей большую салфетку с изящно расшитой каймой в виде папоротников и ландышей — не потому что стулья, на которых та сиживала, нуждались в защите, просто в то время стул без такого приданого производил впечатление голого. Миссис Поултни была покорена. С тех пор эта салфетка — все-таки в Саре, вероятно, было нечто от ловкого кардинала — постоянно с какой-то хитрецой напоминала великанше-людоедке, когда та садилась на свой трон, о том, что грехи ее

протеже заслуживают прощения. По-своему этот подарок сослужил для Сары такую же службу, какую бессмертная дрофа некогда сослужила для Чарльза.

И, наконец, Сара прошла тест на церковные песнопения — самое суровое испытание для жертвы. Как многие викторианские вдовы, ведущие изолированный образ жизни, миссис Поултни очень верила в их силу. Неважно, что ни один из десяти получателей этих текстов не мог их прочесть — если на то пошло, многие вообще были неграмотные, — а кто мог, все равно не понял бы, о чем пишут преподобные отцы… но всякий раз, когда Сара отправлялась с пачкой листков, чтобы вручить их адресатам, миссис Поултни мысленно видела такое же количество спасенных душ, записанных на ее счет в раю. А еще она видела, как женщина французского лейтенанта совершает публичное покаяние — этакая вишенка на торте. То же самое наблюдали и жители Лайма из тех, что победнее, причем они относились к девушке терпимее, чем это себе представляла ее хозяйка.

Сара заготовила короткую формулу: «От миссис Поултни. Прошу вас прочесть и запечатлеть в своем сердце». Произнося эти слова, она смотрела людям в глаза. Те, что обычно ухмылялись

со знанием дела, довольно скоро спрятали свои ухмылочки; а у тех, которые привыкли не лезть за словом в карман, слова застревали во рту. Кажется, они больше прочитывали в этих глазах, чем в полученных ими листочках, исписанных убористым почерком.

Но пора перейти к минусам воображаемого списка. Первый и главный пункт, несомненно, был бы: «Она гуляет одна». С самого начала мисс Сара по уговору получила свободного времени полдня в неделю, что в глазах миссис Поултни было весьма щедрым признанием ее особого статуса по сравнению с обычными служанками, а позже это закрепилось необходимостью распространения церковных листков, о чем ее попросил викарий. Два месяца все было хорошо. Но однажды утром мисс Сара не пришла на домашнюю утреннюю службу. За ней послали служанку, и выяснилось, что она до сих пор в постели. Миссис Поултни сама пошла к ней. Она застала Сару в слезах, но сейчас у нее это вызвало только раздражение. За доктором она все же послала. Он пробыл у больной довольно долго. А когда пришел к теряющей терпение миссис Поултни, прочел ей целую лекцию о меланхолии (для того времени и для тех мест он был человек продви-

нутый) и посоветовал ей предоставлять юной грешнице больше свежего воздуха и свободы.

— Если вы настаиваете…

— Да, дорогая мадам. Более чем. В противном случае я ни за что не отвечаю.

— Для меня это сопряжено с большими неудобствами, — сказала она и, столкнувшись с жестким молчанием, выдохнула: — Я предоставлю ей еще полдня.

Доктор Гроган, в отличие от викария, не зависел в финансовом отношении от миссис Поултни; откровенно говоря, ни одно медицинское заключение о смерти он не подписал бы с меньшей грустью, чем ее. Однако он сдержал всю желчь и лишь напомнил ей о том, что она, выполняя его строгие указания, спит каждый день после обеда. Таким образом Сара получила свободу еще на пол-денечка.

Следующий минус в воображаемом списке: «Не всегда должна присутствовать при посетителях». Тут миссис Поултни загнала сама себя в угол. Ей, конечно же, хотелось, чтобы о ее добрых деяниях становилось известно, что делало необходимым присутствие Сары. Вот только это лицо оказывало самое пагубное влияние на присутствующих. Лежащая на нем печаль выглядела

немым укором, а ее редкие подключения к разговору, подсказанные вопросом, который требовал ответа (наиболее сообразительные посетители вскоре научились задавать хозяйке чисто риторические вопросы и тут же переводили взгляд на ее компаньонку и секретаршу), производили обескураживающий эффект — не потому что Сара желала похоронить данную тему, а просто в силу невинной простоты высказывания и здравого смысла, что разворачивало тему совсем в иную плоскость. В этом контексте миссис Поултни казалась себе вздернутой на виселице, как некто, кого она смутно запомнила в детстве.

И снова Сара проявила дипломатичность. Когда приходили какие-то старые знакомые, она оставалась; в других случаях она либо через несколько минут покидала комнату, либо незаметно удалялась, еще когда только объявляли о приходе гостя. Последнее объясняет, почему Эрнестина ни разу не видела ее в «доме Марлборо». Что по меньшей мере давало шанс миссис Поултни поразглагольствовать о кресте, который она принуждена была нести, хотя отсутствие или тихое исчезновение этого самого креста как бы намекало на ее неспособность справиться со столь тяжелой ношей. Но винить в этом Сару

было трудно.

А самый жирный минус я оставил напоследок. «Все еще обнаруживает знаки привязанности к своему соблазнителю».

Миссис Поултни предприняла несколько попыток вытащить из девушки детали ее грехопадения, а также всю глубину раскаяния. Даже мать-игуменья так сильно не желала бы услышать исповедь заблудшей овцы. Но Сара была начеку, что твой морской анемон; с какой бы стороны к ней ни подступали, грешница тотчас угадывала, куда клонит старая дама, и ее ответы по существу, если не буквально, мало чем отличались от того, что она сказала ей во время первого допроса.

Миссис Поултни редко выбиралась из дома, и никогда пешком, а в ландо только к ровням, поэтому в том, что касалось поведения Сары за пределами дома, ей приходилось полагаться на глаза посторонних. К счастью для нее, была такая пара глаз, плюс мозговые извилины, заточенные злобой и возмущением, так что их обладательница с радостью регулярно поставляла отчеты беспокойной хозяйке. Этим шпионом была не кто иная, как миссис Фэйрли. Хотя она не получала никакого удовольствия от чтения вслух, ее задел

сам факт отстранения, и при том что мисс Сара была с ней подчеркнуто вежлива и старалась никак не претендовать на полномочия домохозяйки, конфликты были неизбежны. Миссис Фэйрли вовсе не радовало, что у нее стало чуть меньше работы, поскольку это означало чуть меньше влияния. Спасение Милли — и другие, пусть не столь заметные вторжения — сделали Сару популярной и уважаемой на нижних этажах, и, возможно, самую большую ярость у миссис Фэйрли вызывало то, что она не могла сказать ничего худого своим подчиненным о секретарше-компаньонке. Она была женщиной обидчивой, находившей единственную радость в познании гадостей и ожидании гадостей; так у нее к Саре выработалась ненависть, которая постепенно пропитывалась настоящим ядом.

Она была слишком хитрой лаской, чтобы не прятать этого от миссис Поултни. Больше того, она изображала, как ей жаль «бедную мисс Вудраф», а ее отчеты обильно сдабривались словами «я опасаюсь» и «я боюсь». У нее были все возможности шпионить: помимо того что она часто выбиралась в город по своим обязанностям, в ее распоряжении также была широкая сеть родственников и знакомых. Последним она дава-

ла понять, что миссис Поултни заинтересована — разумеется, из лучших христианских побуждений — в информации о поведении мисс Вудраф за пределами высоких каменных стен вокруг «дома Марлборо». А поскольку Лайм-Риджис тогда, как и сейчас, был наводнен сплетнями в не меньшей степени, чем голубой сыр червячками, то каждое передвижение, каждая гримаса Сары — в сгущенных красках или сильно приукрашенные — становились достоянием миссис Фэйрли.

Маршрут дневных прогулок Сары (когда ей не нужно было разносить церковные листки) был достаточно простым, и она его никогда не меняла: вниз по горбатой Паунд-стрит и дальше по такой же Брод-стрит к воротам Кобба, квадратной террасе с видом на море, не имеющей ничего общего с самим Коббом. Там она стояла у стены и глядела на море, но обычно недолго — не дольше, чем капитан на мостике, внимательно оценивающий водную гладь окрест, — а затем поворачивала или на Кокмойл, или в другую сторону, на запад, по тропе длиною в полмили, огибающей непосредственно тихую бухту Кобб. Если она выбирала Кокмойл, то, как правило, заходила в приходскую церковь помолиться несколько минут (о чем миссис Фэйрли не считала нужным

упоминать), а потом по соседней аллее выходила к Церковному утесу. Поросшая дерном тропа поднималась к разрушенным стенам Обители чернеца. Там она гуляла, то и дело обращая взор к морю и месту, где тропа соединялась со старой дорогой в Чармут, а отрезок до Обители давно пришел в негодность, и вскоре поворачивала назад в Лайм. Эту прогулку она совершала, когда в Коббе было людно; если же обстановка и погода позволяли, то она частенько поворачивала туда и надолго останавливалась в том самом месте, где ее впервые увидел Чарльз. Там, считалось, она чувствовала себя ближе всего к Франции.

Эта информация, должным образом препарированная и задрапированная в черные одежды, подавалась миссис Поултни. Но она пока радовалась своей новой игрушке и была к ней расположена, насколько это возможно для столь угрюмого и мнительного персонажа. Впрочем, она без колебаний устраивала игрушке допрос с пристрастием.

— Говорят, что во время ваших прогулок, мисс Вудраф, вас видят в одних и тех же местах. — Под ее обвинительным взором Сара опустила глаза долу. — Вы смотрите в открытое море. — Ее гувернантка по-прежнему молчала. — Я довольна,

что вы обращены к покаянию.

Сарина реплика не заставила себя ждать.

— Я вам благодарна, мэм.

— Благодарность мне ничего не значит. Есть высший судия, который ее заслуживает в первую очередь.

— Мне ли этого не знать? — тихо произнесла девушка.

— Людям недалеким может показаться, что вы упорствуете в своем грехе.

— Если им известна моя история, они не могут так думать, мэм.

— Однако думают. Они говорят, что вы высматриваете паруса Дьявола.

Сара встала и подошла к окну. Раннее лето, запахи жасмина и сирени, смешанные с пеньем черных дроздов. Она взглянула на море, от которого ее призывали отречься, а потом повернулась к старой даме, застывшей в неумолимой позе в своем кресле, как королева на троне.

— Вы хотите, мэм, чтобы я ушла?

Миссис Поултни внутренне содрогнулась. В очередной раз наивность этой девушки разом погасила бурю гнева, поднимавшуюся в ее душе. Этот голос и другие чары! Хуже того, она могла лишиться процентов, которые получала за рас-

пространение небесных посланий. Пришлось сбавить тон.

— Я хочу подтверждений, что этот… человек… вытравлен из вашего сердца. Я знаю, все так, но это еще надо показать.

— Как я должна это показать?

— Выбрав другое место для прогулок. Не ставя себя в жалкое положение. Хотя бы потому, что вас об этом прошу я.

Сара стояла с опущенной головой. Повисло молчание. Потом она посмотрела ей в глаза, и впервые на губах мелькнула слабая улыбка.

— Как скажете, мэм.

Это была хитрая жертва, говоря шахматным языком. Миссис Поултни великодушно продолжила, что не собирается совсем лишать ее радостей морского воздуха и что она может иногда совершать такие прогулки, просто не всегда к морю и «пожалуйста, не стойте на одном месте и не глядите вдаль». Короче, этот пакт уравновешивал две навязчивые идеи. Сарино предложение уйти заставило обеих женщин посмотреть правде в глаза — каждую по-своему.

Сара свое слово сдержала — по крайней мере, в выборе маршрута. Отныне она редко выходила к Коббу, но когда это случалось, порой все же поз-

воляла себе постоять и поглядеть вдаль, как это было в вышеописанный день. В конце концов, сельская местность вокруг Лайма предоставляет много возможностей для прогулок, и почти все с видом на море. Если бы это было единственное Сарино желание, то она могла бы просто ограничиться лужайкой «дома Марлборо».

Миссис Фэйрли на этом сильно проиграла. Ни один случай выхода к морю не оставался без внимания, но они были нечастыми, и Сара научилась держать страдания миссис Поултни под контролем, что спасало ее от серьезной критики. И вообще, «бедная Трагедия сумасшедшая», о чем нередко напоминали друг другу шпионка и хозяйка.

Но вы-то без труда зрите в корень: она была не такая уж сумасшедшая, как казалась… и, по крайней мере, не в том смысле, какой в это слово обычно вкладывали. В ее демонстрации покаяния проглядывала некая цель, а люди целеустремленные знают, когда они чего-то достигли и могут на какое-то время позволить себе бездействие.

Но однажды, меньше чем за две недели до начала моей истории, миссис Фэйрли пришла к хозяйке в своем скрипящем корсете и с лицом человека, готового объявить о смерти близкого

друга.

— Я должна вам сообщить неприятную новость, мэм.

Эта фраза давно стала для миссис Поултни такой же привычной, как штормовой сигнал для рыбака. Но она решила соблюсти условности.

— Я надеюсь, это не касается мисс Вудраф?

— Если бы так, мэм. — Домохозяйка не сводила с нее глаз, словно желая убедиться в нескрываемом ужасе, который изобразится на лице госпожи. — Но боюсь, что мой долг — сказать вам правду.

— Мы не должны бояться исполнить свой долг.

— Да, мэм.

Но какое-то время рот оставался замкнутым на замок, и можно было только гадать, какая жуть сейчас откроется. Что-то вроде голых танцев на алтаре приходской церкви.

— Она теперь гуляет по Верской пустоши.

Какое падение! Хотя миссис Поултни, похоже, ей не поверила. У нее просто отвалилась нижняя челюсть.

10

Поднять глаза она рискнула
И вдруг румянцем залилась,
Ответный взгляд внезапно
встретив…

Альфред Теннисон. Мод

…Зеленые ущелья среди романтических скал, где роскошные лесные и фруктовые деревья свидетельствуют, что не одно поколение ушло в небытие с тех пор, как первый горный обвал расчистил для них место, где глазу открывается такая изумительная, такая чарующая картина, которая вполне может затмить подобные ей картины прославленного острова Уайт…[38]

Джейн Остин. Доводы рассудка

Между Лайм-Риджисом и Аксмутом, в шести милях западнее, открывается один из самых удивительных прибрежных ландшафтов Южной

---

[38] Примечания: 38
Перевод М. Беккер, И. Комарова.

Англии. Сверху это не так бросается в глаза, ты только замечаешь, что если в других местах поля утыкаются в скалы, то здесь они не дотягивают целую милю. Распаханная шахматная доска из зеленых и красно-коричневых квадратиков обрывается с каким-то веселым хулиганством темным каскадом из деревьев и кустарников. Никаких крыш. Если опуститься до бреющего полета, то можно увидеть, что местность пересеченная, разрезанная глубокими впадинами и подчеркнутая необычными утесами и башенками, меловыми и кремневыми, нависающими над густыми зелеными кронами, словно стены разрушенных замков. Но то сверху… а если пешком, то этот с виду неприметный безлюдный ландшафт странным образом растягивается. Люди тут пропадали часами, и когда потом смотрели по карте, где они потерялись, их поражало то, какой силы было ощущение оторванности — а в плохую погоду еще и подорванности.

Береговой оползневый уступ длиной в милю, появившийся в результате эрозии древней вертикальной скалы, по-настоящему крутой. Плоские прогалины в нем так же редки, как посетители. Но эта крутизна в действительности возносит ее саму и всю растительность к солнцу, что, вместе

с бесчисленными родниками, вызывающими каменную эрозию, придает горной гряде ботаническое своеобразие: дикие земляничные деревца, падубы и другие деревья, редко встречаемые в Англии, огромные ясени и буки, зеленые расселины, заполненные плющом и лианами клематиса, папоротник-орляк в семь-восемь футов, цветы, раскрывающиеся на месяц раньше, чем где-то по соседству. В летние месяцы это место, больше чем любое другое в стране, напоминает тропические джунгли. Как всякая земля, не обжитая и не обработанная человеком, оно таит в себе загадки, темные закоулки, опасности — буквальные, с геологической точки зрения, поскольку от всяких расщелин и внезапных обрывов можно ждать чего угодно, и если ты загремишь и сломаешь ногу, то можешь кричать хоть целую неделю, все равно тебя никто не услышит. Как ни странно, сто лет назад это место было не столь дикое, как сейчас. Сегодня здесь нет ни одного коттеджа, а в 1867 году стояло несколько, и в них жили егеря, лесники и свинопасы. Похоже, у косуль, предпочитающих полное одиночество, тогда были не такие мирные дни. Зато нынче оползневый уступ превратился в совершенно дикое место. От стен тех домов остались увитые плющом культи,

обходные пешеходные дороги исчезли, а до автомобильной еще топать и топать, единственная же сохранившаяся тропа часто становится непроходимой. И все это освящено парламентским актом: национальный природный заповедник. Не все приносится в жертву целесообразности.

Именно сюда, в этот английский эдем, забрел Чарльз 29 марта 1867 года, поднявшись от бухты по горной тропе в восточную часть оползневого уступа под названием Верская пустошь.

Утолив жажду и охладив лоб смоченным носовым платком, Чарльз начал внимательно осматриваться или, по крайней мере, решил внимательно осмотреться. Но окружающие виды, звуки, запахи, первозданно дикая растительность и буйство плодородия увели его далеко от науки. Почва вокруг была золотистой и бледно-желтой от чистотела и примулы, отороченная подвенечно-белым цветущим терновником. Там, где бузина с развеселыми зелеными кончиками затеняла мшистый бережок вокруг ключа, из которого только что пил Чарльз, кучковались мускусница и кислица обыкновенная, радующая глаз своими изящными весенними соцветиями. Выше по склону он увидел белые головки анемонов и сочно-зеленую листву колокольчиков.

Где-то поодаль дятел отстукивал мелкую дробь в высокой кроне, прямо над ним тихо посвистывали снегири, из каждого куста подавали голос пеночки. Повернувшись в другую сторону, он увидел плещущее далеко внизу голубое море, взору открывался весь залив с уменьшающимися утесами вдоль бесконечной изогнутой желтой сабли Чезилского побережья, чей далекий кончик утыкался в маяк Портланд Билл, отсюда казавшийся тощим серым призраком среди лазури — этакий диковинный британский Гибралтар.

Только однажды искусство сумело запечатлеть подобные сцены — я говорю о Ренессансе. По такой земле ходили персонажи Боттичелли, в таком воздухе разливались песни Ронсара. Не так уж важно, какие цели и задачи тогда ставила перед собой культурная революция, в чем состояли ее жестокости и поражения; по своей сути Ренессанс был зеленым концом одной из самых суровых зим цивилизации. Концом цепей, границ, несвобод. С универсальным принципом работы: все, что ни есть, хорошо. Короче, у него было все, чего лишен век Чарльза. Но только не думайте, будто, стоя там, он этого не понимал. Правда заключается в том, что для объяснения смутного ощущения болезни, своей неуместно-

сти и ограничений он возвращался к истокам — Руссо, детские мифы о «золотом веке», Благородный дикарь[39]. Иными словами, он пытался освободиться от свойственного его времени неадекватного подхода к природе, полагая, что возвращение в легенду невозможно. Он считал себя слишком избалованным, слишком испорченным цивилизацией, чтобы снова обитать в природе; и это поселяло в нем горько-сладкую печаль, по-своему даже приятную. В конце концов, он был викторианец. Нельзя же ожидать, чтобы он видел то, что мы сегодня только начинаем понимать, имея за плечами куда больше знаний и уроков экзистенциальной философии: желание удержать и желание насладиться оба деструктивны. Он должен был себе сказать: «Я сейчас этим владею, и потому я счастлив» вместо викторианского утверждения: «Я не могу владеть этим всегда, и потому я несчастлив».

В конечном счете наука все же взяла свое, и он начал поиски среди кремневых залежей вдоль русла ручья для проведения будущих экспери-

[39] Примечания: 39

Благородный дикарь (фр. *bon sauvage*) — тип персонажа, особенно популярный в литературе эпохи Просвещения. Призван иллюстрировать врожденную добродетельность человека до его соприкосновения с цивилизацией.

ментов. Ему удалось найти красивый образец ископаемого морского гребешка, а вот морские ежи не попадались. Он постепенно продвигался между деревьев на запад, останавливался, наклонялся, внимательно разглядывал почву и снова делал несколько шагов, чтобы повторить процедуру. То и дело он переворачивал привлекательный камень концом ясеневой трости. Но удача от него отвернулась. Пролетел час, и его долг перед Эрнестиной начал перевешивать страсть к иглокожим. Он глянул на часы, подавил желание чертыхнуться и повернул обратно туда, где оставил рюкзак. Поднялся по склону и вышел на тропу, ведущую в сторону Лайма, чувствуя спиной лучи заходящего солнца. Тропа шла вверх, слегка изгибаясь вдоль увитой плющом каменной стены, а затем, как это немилосердно делают подобные тропы, неожиданно раздвоилась. Поколебавшись, он прошел метров пятьдесят по нижней тропке, утопленной в поперечной промоине, уже накрытой глубокой тенью. Не зная местности, он принял решение: еще одна тропа неожиданно ответвилась вправо, в сторону моря, через крутой холмик с травяным венчиком, откуда удобно было сориентироваться. В общем, он продрался сквозь кусты ежевики

(этой тропой мало кто пользовался) и вышел на маленькое зеленое плато.

Отсюда открывался чудный вид, словно с альпийского лужка. Белые заячьи хвостики — три или четыре — исчерпывающе объясняли коротковатый дерн площадки.

Чарльз стоял под солнцем. Очанка лекарственная и сераделла украшали траву, а заметные зеленые бутоны душицы готовы были вот-вот распуститься. Он подошел к краю плато.

И прямо под собой увидел фигуру.

На одно жуткое мгновение ему показалось, что он наткнулся на труп. Но это была спящая женщина. Она выбрала очень странное место: широкий покатый, покрытый травой выступ, непосредственно под плато, которое его прикрывало от любого наблюдателя за исключением Чарльза, подошедшего к самому краю. Меловые стены этого природного балкончика превратили его в настоящий солярий, ведь своей широкой осевой линией он выходил на юго-запад. Но для многих не солярий определил бы выбор этого места. Склон под балконом обрывался на тридцать или сорок футов в дикие заросли ежевики. А чуть подальше настоящая скала уходила вниз, к самому морскому побережью.

Первым побуждением Чарльза было скрыться из виду. Лица женщины он не разглядел. Он постоял в растерянности, толком не видя открывшийся перед ним прекрасный ландшафт. Он уже собирался уйти, но любопытство заставило его вернуться.

Женщина лежала на спине, погруженная в глубокий сон. Полы пальто распахнулись, открыв темно-синее платье из набивного ситца, педантично застегнутое на все пуговицы, если не считать белого воротничка. Лицо спящей повернуто в обратную от него сторону, а правая рука по-детски закинута назад. Нарванные анемоны разлетелись по траве. В ее позе, на удивление изящной, таилось что-то сексуальное, разбудившее в Чарльзе смутные воспоминания о парижской жизни. Другая девушка, чье имя он сейчас даже не мог вспомнить, а может, и тогда не знал, вот так же спала на рассвете в спальне с видом на Сену.

Край плато изгибался, и он зашел сбоку, откуда лучше просматривалось лицо, и только тут до него дошло, чей покой он чуть не нарушил. Женщина французского лейтенанта. Часть волос распустилась и наполовину прикрывала щеку. На мысе Кобб ее волосы показались ему

темно-каштановыми, а теперь он увидел теплую рыжину, причем безо всякого масла для волос, которое всенепременно добавляли для блеска. Кожа очень смуглая, в лучах солнца почти красноватая, как будто девушку больше заботило здоровье, чем вошедшие в моду бледные, истомленные щеки. Выразительный нос, густые брови… рот в тени. То, что он ее видит лежащей вниз головой, вызывало у него легкую досаду, но обойти и рассмотреть ее под правильным углом нет никакой возможности.

Он стоял, глядя на нее как завороженный, в трансе от такой встречи, охваченный странным желанием — не сексуальным, а скорее братским или отцовским, осознавая всю невинность этого существа, несправедливо отвергнутого обществом, чем, как подсказывала ему интуиция, и было вызвано ее пугающее одиночество. А что еще, кроме отчаяния, могло привести женщину в возрасте, который отличают нерешительность, робость и непереносимость больших физических нагрузок, в это богом забытое место?

Он подошел к самому краю выступа, и ему наконец открылось ее лицо: никакой печали, увиденной им когда-то, сейчас оно отмечено безмятежностью и даже подобием улыбки. И в

этот момент, когда он над ней склонился, она проснулась.

Она так быстро подняла глаза, что прятаться было поздно. Настоящий джентльмен не вправе отрицать очевидное. Поэтому, когда Сара вскочила и, запахнув пальто, воззрилась на незнакомца, он приподнял широкополую фетровую шляпу и отвесил поклон. Она молчала, не сводя с него красивых темных глаз, в которых сквозили испуг, озадаченность и, возможно, доля стыда.

Так они стояли несколько секунд в оцепенении от взаимного непонимания. С виду совсем маленькая, наполовину закрытая каменным выступом, она вцепилась в воротничок платья, как бы давая понять, что если он сделает еще шаг вперед, то она от него побежит со всех ног. Наконец он вспомнил о приличиях.

— Тысяча извинений. Я случайно на вас наткнулся.

Он развернулся и зашагал прочь, не оборачиваясь. Продрался сквозь кусты к тропе и, лишь дойдя до развилки, посетовал, что у него не хватило духу спросить, как отсюда выбираться. Подождал полминуты — вдруг она последовала за ним? Но она так и не показалась. И тогда он решительно зашагал вверх по крутому склону.

Хотя Чарльз не отдавал себе в том отчета, но в эти несколько секунд на плато, под которым в ожидании плескалось море, нарушая тишину этого светлого вечера, викторианская эпоха потерялась. И не потому, что он пошел не той тропой.

11

Выполняй свой долг престрого,
Пусть в нем смысла и немного:
Пой церковные хвалы,
Посещай всегда балы,
Выйди замуж тихой сапой,
Как желают мама с папой.

Артур Хью Клаф. Долг (1841)

«Кто? Этот чудик? Молчи уже. Ша!
Я за него не дам ни гроша!
Да, я согласна, модный мальчонка,
Складно на нем сидит одежонка,
Но – ты же знаешь, что я не ханжа —
Не отличит он ежа от ужа!»

Уильям Барнс. На дорсетский лад (1869)

Примерно в это же время Эрнестина спрыгнула с кровати и достала из ящичка в туалетном столике свой дневник в черном сафьяновом переплете. Поджав губы, она прочла не слишком вдохновенную, с литературной точки зрения, утреннюю запись: «Написала письмо мамá. Не видела дорогого Чарльза. Не выходила из дома, хотя погода отличная. Не в настроении».

День для бедной девушки не задался, и свое недовольство она могла показать только тетушке. В комнате стояли нарциссы от Чарльза, но даже эти запахи поначалу ее раздражали. Дом был маленький, и она все слышала: как постучал слуга Сэм и ему открыла нечестивая и беспардонная Мэри, как они там шептались и она сдавленно хихикала, как она потом захлопнула за ним дверь. Страшное, одиозное подозрение промелькнуло у нее в голове: не Чарльз ли стоял внизу и флиртовал со служанкой? Эта мысль разбередила ее потаенные страхи.

Она знала о его жизни в Париже и Лиссабоне и о его частых путешествиях, о том, что он ее старше на одиннадцать лет, что женщины находят его привлекательным. Его ответы на ее умеренно игривые допросы по поводу прошлых побед звучали так же умеренно игриво, вот здесь-то и

была собака зарыта. Она носом чуяла: он от нее что-то скрывает — трагическую французскую графиню, страстную португальскую маркизу. Ее фантазия не простиралась до парижской гризетки или трактирной служанки с миндалевидными глазами в городке Синтра, что было бы гораздо ближе к истине. Однако в каком-то смысле, спал ли он с другими женщинами, волновало ее не так сильно, как современную девушку. Разумеется, Эрнестина пресекала всякую греховную мысль автократическим «Я не должна», но ее ревность больше относилась к сердцу Чарльза. *Его* она не готова была делить ни с кем — ни тогда, ни сейчас. Принцип Оккама[40] был ей неведом. Поэтому простой факт, что он никогда не любил, в часы меланхолии являлся для нее несомненным доказательством того, что у него в прошлом была настоящая страсть. Его внешнее спокойствие воспринималось ею как ужасное, хоть и молчаливое напоминание о любовном сражении, этаком Ватерлоо месячной давности, а не как банальная констатация — это сердце не хранило подобных историй.

Когда парадная дверь закрылась, Эрнестина с

---

[40] Примечания: 40
Закон минимума допущений.

достоинством проконтролировала себя в течение полутора минут, после чего ее тонкая кисть потянулась к золоченой ручке рядом с кроватью и настойчиво ее подергала. Снизу из кухни донеслось приятно-повелительное треньканье, вскоре послышались шаги, стук в дверь, и на пороге появилась Мэри с вазой, а в ней настоящий водопад из весенних цветов. Девушка остановилась у кровати. Ее лицо, наполовину скрытое букетом, озаряла улыбка, способная обезоружить любого мужчину… вот только на Эрнестину эта улыбка произвела обратный эффект: она встретила нежелательное явление богини Флоры кислой и враждебной гримасой.

Из трех молодых женщин, мелькающих на этих страницах, Мэри я бы назвал самой красивой. В ней жизнь била ключом, а эгоизм практически отсутствовал; добавьте сюда физические прелести… изысканно чистый, чуть розоватый цвет лица, волосы, что твой кукурузный початок, и восхитительные огромные серо-голубые глаза, провоцировавшие мужчин и с той же игривостью отвечавшие на их провокации. В них неудержимо пузырилось шампанское, и оно никогда не выдыхалось. Даже тоскливые викторианские наряды, которые ей приходилось надевать, не

могли скрыть фигуру со всей ее стройностью и многообещающими округлостями… последнее слово звучит как будто не слишком доброжелательно, но я недавно вспоминал Ронсара, и тут напрашивалось словечко из его лексикона, коему нет эквивалента в английском языке: *rondelet*[41] — то, что соблазняет своей округлостью, при этом не утрачивая стройности.

Праправнучка Мэри, которой как раз сейчас, когда я пишу эту книгу, исполняется двадцать два года, очень похожа на свою прародительницу, а ее лицо известно во всем мире — одна из самых видных британских киноактрис молодого поколения.

Но в то время — 1867-й — это лицо, увы, не казалось выигрышным. Например, той же миссис Поултни, которая впервые его увидела тремя годами ранее. Мэри была племянницей кузины миссис Фэйрли, уговорившей хозяйку подвергнуть неопытную девушку испытанию — взять ее на кухню. В результате «дом Марлборо» подошел Мэри не хуже, чем склеп подошел бы щеглу. Но однажды миссис Поултни, из окна спальни обводя суровым взором свои владения, увидела

---

[41] Примечания: 41
Пухленькая *(фр.).*

мерзкую картину: помощник конюха приставал к Мэри с поцелуями, и та не очень-то сопротивлялась. Щегол немедленно получил свободу и тут же перелетел в дом миссис Трантер, несмотря на грозные предостережения миссис Поултни, дескать, та поступает весьма неосмотрительно, давая кров отъявленной распутнице.

На Брод-стрит Мэри была счастлива. Миссис Трантер любила хорошеньких девушек, а хорошеньких хохотушек тем паче. Конечно, о родной племяннице Эрнестине она пеклась больше, но ее она видела один-два раза в год, а Мэри каждый день. За ее внешней живостью и флиртом скрывалось мягкое радушие, и она без колебаний возвращала полученную теплоту. Эрнестина не ведала о страшном секрете дома на Брод-стрит: когда повариха получала день отдыха, хозяйка с молодой служанкой вместе ели на кухне внизу, и это были не самые плохие минуты в жизни обеих.

Мэри была не без недостатков, и одним из них можно считать ее ревность к Эрнестине. Дело заключалось не только в том, что с появлением юной столичной дамы она сразу лишалась статуса подпольной фаворитки, но та еще заявлялась с полными чемоданами модных тряпок из Лон-

дона и Парижа — не самая приятная картина для служанки, у которой за душой всего три платья, и все три ей не по нраву, причем даже лучшее из них ее не устраивало лишь потому, что она его получила в подарок от столичной принцессы. А еще она считала, что Чарльз слишком хорош собой для женитьбы, тем более на таком бледном создании, как Эрнестина. Вот почему Чарльза так часто встречали серые барвинковые глаза, и не только когда она впускала его в дом, но и на улице. Мэри хитрым образом подстраивала эти случайные встречи, и когда он приподнимал перед ней шляпу в молчаливом приветствии, она мысленно задирала нос перед Эрнестиной. Она отлично знала, почему племянница миссис Трантер так резко поднимается к себе после каждого ухода Чарльза. Как все субретки, она позволяла себе думать о вещах, для юной госпожи непозволительных.

Должным образом, не без издевки продемонстрировав свой здоровый вид и веселость перед недомогающей, Мэри поставила на комод вазу с цветами.

— От мистера Чарльза, мисс Тина. Наилучшими пожеланиями. — Мэри говорила на диалекте, часто игнорировавшем всякие служебные слова.

— Переставь их на туалетный столик. Так близко не надо.

Мэри выполнила ее волю и уже по собственной начала тасовать цветы, прежде чем повернуться с улыбкой к Эрнестине, смотревшей на нее с подозрением.

— Он сам их принес?

— Нет, мисс.

— А где мистер Чарльз?

— Не знаю, мисс. Я ить не спрашивала. — Она сжала губы, словно боясь расхихикаться.

— Но я слышала, как ты разговаривала с мужчиной.

— Да, мисс.

— О чем же?

— О погоде, мисс.

— И это у тебя вызвало смех?

— Он ить так смешно говорит, мисс.

Сэм, которому она открыла, мало чем напоминал мрачного и недовольного молодого человека, который точил бритву. Он всучил проказнице Мэри красивый букет.

— Эт' для прекрасной м'лодой леди наверху. — Тут он ловко выставил вперед ногу, опережая закрывающуюся дверь, и не менее ловко вынул из-за спины букетик крокусов, зажатый в другой

руке, а освободившейся рукой сорвал с головы *à la mode*[42] цилиндр. — А эт’ для еще более прекрасной леди внизу.

Мэри заметно покраснела, а давление двери на ногу гостя странным образом ослабло. Он наблюдал за тем, как она нюхает желтые цветы, не формально, из вежливости, а с чувством, так что на кончике ее очаровательного дерзкого носика отпечаталась шафрановая пыльца.

— Пакет с сажей будет доставлен, как п’лагается.

Она немного подождала, прикусив губу.

— Тольк’ с условием. Никакого кредита. Живыми деньгами.

— И сколь эт’ будет стоить?

Рубаха-парень разглядывал свою жертву так, словно прикидывал реальную цену. Затем приложил палец к губам и недвусмысленно подмигнул. Это-то и вызвало подавленный смех, после чего Мэри захлопнула дверь.

Эрнестина смерила служанку взором, который оценила бы сама миссис Поултни.

— Помни, что он приехал из Лондона.

— Да, мисс.

---

[42] Примечания: 42
Модный *(фр.).*

— Мистер Смитсон говорил со мной об этом малом. Он считает себя дон-жуаном.

— Эт' что значит, мисс Тина?

Мэри явно горела желанием узнать подробности, что Эрнестине сильно не понравилось.

— Неважно. Но если он станет к тебе приставать, немедленно скажи мне. А сейчас принеси мне ячменного отвару. И в будущем веди себя осмотрительнее.

В глазах Мэри промелькнул вызывающий огонек. Но она тут же опустила взгляд вместе с кружевным чепчиком, сделала формальный книксен и покинула комнату. Три пролета вниз и три пролета с ковшиком вверх — притом что полезный для здоровья ячменный отвар тетушки Трантер был Эрнестине совершенно не нужен — успокоили служанку.

В каком-то смысле Мэри выиграла дуэль, напомнив Эрнестине, не столько домашнему тирану, сколько испорченному ребенку, что в обозримом будущем ей предстоит уже не играть роль хозяйки дома, а брать бразды правления в свои руки. Какая приятная мысль: собственный дом, свобода от родителей… вот только с прислугой, говорят, проблемы. Уже не та, что прежде. Сплошные хлопоты. Пожалуй, мысли Эрнестины

были не так уж далеки от раздумий Чарльза, обливавшегося по́том и устало ковылявшего вдоль морского побережья. Жизнь устроена правильно, считать иначе — ересь, свой крест надо тащить здесь и сейчас.

Чтобы отогнать мрачные предчувствия, до конца не отпускавшие ее с самого утра, Эрнестина вытащила дневник, устроилась на кровати поудобнее и снова вернулась к странице, отмеченной веточкой жасмина.

В середине века в Лондоне началось плутократическое выравнивание общества. Конечно, ничто не могло заменить чистоту крови, однако все сошлись на том, что хорошие деньги и хорошая голова способны искусственно породить вполне достойный заменитель социального статуса. Дизраэли — не исключение, а типичный пример того времени. В молодости дед Эрнестины был всего лишь зажиточным драпировщиком в квартале Сток Ньюингтон, а умер он уже очень богатым драпировщиком — больше того, переехав в коммерческий район центрального Лондона, он открыл в Вест-Энде большой магазин и расширил свой бизнес далеко за пределы драпировок. Ее отец дал ей то, что получил сам: лучшее образование, какое только можно купить за деньги.

Во всех отношениях, за исключением происхождения, он был безукоризненный джентльмен и женился, с некоторым повышением, в Сити на дочери успешного адвоката, у которого среди предков был ни много ни мало генеральный прокурор. Так что притязания Эрнестины по поводу социального статуса были далеко идущими даже по викторианским стандартам. Но Чарльза это нисколечко не волновало.

— Вы только вдумайтесь, — сказал он ей однажды, — какая у меня плебейская фамилия. Смитсон.

— Да уж. Если бы вы были лорд Брабазон Вавазур Вир де Вир, как бы я вас тогда полюбила!

За ее самоиронией скрывался страх.

Они познакомились год назад, в ноябре, в доме знатной дамы, которая положила на него глаз, имея в виду избалованную пташку из собственного выводка. К несчастью, перед началом вечера юных девушек проинструктировали родители, и они совершили кардинальную ошибку, изображая перед Чарльзом интерес к палеонтологии — мол, не подскажете ли названия наиболее интересных книг в этой области, — тогда как Эрнестина с прохладцей демонстрировала всем своим видом, что не принимает его всерьез. И

пообещала послать ему образец угля, который нашла в ведерке. Позже она ему призналась в том, что он показался ей жутким бездельником. «Это почему же?» — поинтересовался он. Потому что, входя в любую лондонскую гостиную, он сразу отмечает устремленные на него заинтересованные взгляды.

Та первая встреча обещала стать для них обоих еще одним скучным вечером, но, разойдясь по домам, они поняли, что это не так.

Они нашли друг в друге высокий интеллект, особый такт, приятную сухость. Эрнестина дала понять близким, что «этот мистер Смитсон» приятным образом отличается от скучных кавалеров, представленных ей в этом светском сезоне. Ее мать осторожно навела справки и посоветовалась с супругом, который в свою очередь прозондировал почву. Ибо ни один молодой человек не переступал порога дома с видом на Гайд-парк без предварительной проверки, сравнимой разве что с тем, как сегодняшняя служба безопасности проверяет ученых-атомщиков. Чарльз с блеском прошел это секретное испытание.

Эрнестина сразу осознала ошибку своих соперниц: все попытки навязать Чарльзу невесту обречены на провал. Поэтому, когда он стал по-

сещать приемы и суаре в их доме, он впервые столкнулся с отсутствием всяких признаков матримониальной ловушки: ни тонких намеков матери на то, что ее любимая дочь обожает маленьких детей и «втайне мечтает об окончании светского сезона» (предполагалось, что Чарльз окончательно обоснуется в Уинсайетте, после того как его путающийся под ногами дядя исполнит свой долг), ни более прозрачных намеков отца по поводу размеров приданого «его малышки». Впрочем, подобные намеки были бы излишни — особняк в Гайд-парке устроил бы даже герцога, а отсутствие братьев и сестер говорило больше, чем любые банковские отчеты.

Хотя Эрнестина очень скоро твердо для себя решила, как это умеют делать избалованные дочери, что Чарльз достанется ей, она не пошла ва-банк. Она держала рядом привлекательных молодых людей и не выказывала главной своей жертве особых знаков внимания. Она принципиально никогда не была с ним серьезной, и у него сложилось впечатление, что он ей нравится только потому, что с ним весело. Но при всем при том она понимала, что он никогда не женится. И вот наступил январский вечер, когда она решила бросить в землю роковое зернышко.

Чарльз стоял один, а в противоположном углу гостиной расположилась старая вдова, этакий мейферский[43] эквивалент миссис Поултни, женщина, которая должна была прийтись по душе Чарльзу примерно как касторовое масло здоровому ребенку.

— Вы не хотите поболтать с леди Фэйруэзер? — обратилась Эрнестина к Чарльзу.

— Я предпочел бы поболтать с вами.

— Я вас ей представлю, и это будет живая свидетельница того, что происходило в раннюю меловую эру.

Он улыбнулся.

— Меловой период. Не эра.

— Неважно. Достаточно давно. Я же знаю, какую тоску на вас наводит все, что произошло в последние девяносто миллионов лет. Пойдемте.

И они вместе направились через гостиную, но на полпути к «меловой даме» Эрнестина остановилась, коснулась его руки и заглянула ему в глаза.

— Если вы твердо выбрали путь старого угрюмого холостяка, мистер Смитсон, то вам надо попрактиковаться.

---

[43] Примечания: 43
Мейфер — фешенебельный район Лондона.

И пошла дальше, не дав ему ответить. Можно было бы подумать, что она лишь продолжает над ним подтрунивать. Однако ее глаза в этот короткий миг дали понять, что ему сделано предложение столь же недвусмысленное, как предложения гулящих женщин, толкавшихся вокруг Хеймаркета[44].

Ей было невдомек, что она затронула особенно чувствительную точку в глубине его души: ощущение, что он все больше становится похож на своего дядю, что жизнь проходит мимо, что он слишком привередлив, слишком ленив, слишком эгоистичен… чтобы не сказать хуже. Последние пару лет он не выезжал за границу и понял, что предыдущие путешествия заменяли ему семью. Они отвлекали его от домашних дел, а заодно позволяли уложить в постель какую-нибудь женщину; в Англии он строжайшим образом отказывал себе в таком удовольствии, возможно, хорошо помня черную ночь, связанную с подобной эскападой.

К путешествиям его уже не тянуло, а вот к женщинам — да, и он пребывал в состоянии сильнейшей сексуальной фрустрации, так как

---

[44] Примечания: 44

Улица в центральной части Лондона, где когда-то был сенной рынок.

моральные устои не позволяли ему простейшим образом разрешить проблему, проведя недельку в Остенде или в Париже. Такая цель не может быть поводом для поездки! Он провел целую неделю в раздумьях. И однажды проснулся с мыслью.

Все просто. Он любит Эрнестину. Как будет приятно проснуться вот в такое холодное серое утро, когда земля покрыта снегом, и увидеть рядом спокойное сладковато-терпкое спящее личико и к тому же — подумать только! это обстоятельство его как-то даже удивило — узаконенное как в глазах Божиих, так и в его собственных. Через пару минут он огорошил еще сонного Сэма, который к нему поднялся после настойчивого бренчания колокольчика, восклицаниями: «Сэм! Я полный идиот, да простят меня небеса!».

Спустя день или два у неисправимого идиота состоялась беседа с отцом Эрнестины. Короткая, но более чем удовлетворительная. После чего он спустился в гостиную, где мать Эрнестины сидела в состоянии обостренного треволнения. Она не смогла ничего сказать Чарльзу и только неопределенно махнула в сторону оранжереи. Он открыл двустворчатую белую дверь, и в лицо ему ударила волна теплого благоухающего воздуха. Ему пришлось искать девушку, и наконец

он ее обнаружил в дальнем закутке, наполовину сокрытую стефанотисом. Она бросила в его сторону беглый взгляд и тут же отвела глаза. В руке она держала серебряные ножницы, делая вид, что срезает засохшие соцветия сильно пахнущего растения. Подойдя к ней сзади, Чарльз кашлянул.

— Я пришел сказать адью. — Страдальческий взгляд, которым было встречено это сообщение, он постарался не заметить с помощью простой уловки — уставился в пол. — Я решил покинуть Англию. Буду скитаться до конца дней. А как еще может себя развлечь старый угрюмый холостяк?

Он собирался продолжать в том же духе, но заметил ее поникшую голову и побелевшие костяшки пальцев, которыми она вцепилась в столешницу. Обычно Эрнестина сразу угадывала иронию, сейчас же ее замедленная реакция выдавала глубокие переживания, и ему это передалось.

— Но если бы кто-то, кому я небезразличен, согласился разделить со мной…

Закончить он не смог, так как она подняла к нему глаза, полные слез. Их руки встретились, и он притянул ее к себе. Поцелуя не последовало. Конечно, нет. Можно ли в течение двадцати

лет безжалостно загонять в себя природный инстинкт и при этом ожидать, что пленник вдруг вырвется наружу вместе с рыданиями?

Через несколько минут, когда Тина немного успокоилась, Чарльз вывел ее из оранжереи, но перед этим остановился возле куста жасмина, сорвал веточку и шутливо пристроил у нее над головой.

— Хоть и не омела, но тоже сойдет, не так ли?[45]

На этот раз все произошло, но поцелуй был невинен, как у детей. Эрнестина снова заплакала, потом вытерла слезы и позволила Чарльзу отвести ее в гостиную, где молча стояли ее мать и отец. К чему слова! Дочь бросилась в материнские объятья, и тут уже слез было не остановить. А мужчины друг другу улыбались: один так, будто он только что заключил отличную сделку, а другой — словно не до конца понимая, на какой планете он приземлился, но искренне надеясь, что инопланетяне встретят его радушно.

---

[45] Примечания: 45

Рождественская традиция: влюбленные целуются под белой омелой, чтобы всю жизнь быть вместе.

12

В чем состоит отчуждение труда? Во-первых, он нечто внешнее для рабочего, не является частью его природы, и, как следствие, рабочий не реализует себя в труде, но отрицает свое «я», испытывает страдания, а не радость… Таким образом, рабочий чувствует себя как дома только во время отдыха, а во время работы чувствует себя бездомным.

Карл Маркс. Экономические и политические записки (1844)

Но был ли день моей услады

Так чист и чуден, как казался?

Альфред Теннисон. In Memoriam

Чарльз ускорил шаг через перелесок Верской пустоши, оставив позади мысли о загадочной женщине. Примерно через милю он увидел первый аванпост цивилизации. На склоне чуть пониже тропы стоял длинный, крытый соломой деревенский коттедж. Вокруг него раскинулись лужки, простиравшиеся до самых скал, и, выйдя

на пустошь, Чарльз заметил мужчину, выгоняющего стадо из приземистого коровника. Он мысленно увидел картинку: чаша с восхитительно холодным молоком. После двойной порции кексов на завтрак во рту у него ничего не было. Чай и заботливость миссис Трантер притягивали, но чаша с молоком отчаянно призывала… и до нее было рукой подать. Он спустился по крутому травянистому склону и постучал в заднюю дверь коттеджа.

Ему открыла женщина-бочонок с пухлыми ручками в мыльной пене. Да, молоко он получит в неограниченном количестве. Как называется ферма? «Сыроварня». Чарльз проследовал за ней в комнату со скошенным потолком. Темноватая, холодная, с шиферной половой плиткой и тяжелым запахом выдержанного сыра. Котлы и большие медные кастрюли на деревянных треножниках (каждая играла золотистой сметанной корочкой) выстроились в ряд под головками сыра, на открытых стропилах, этаким эскадроном запасных круглых лун. Чарльз вспомнил, что слышал про эту ферму от миссис Трантер. Здешняя сметана и масло пользовались популярностью у местных жителей. Когда он назвал тетушкино имя, женщина, налившая жирного

молока из маслобойки в простую сине-голубую чашу, какую он себе и представлял, ответила ему улыбкой. Теперь он был для нее не таким чужаком, а вполне желанным гостем.

Когда они разговаривали уже перед маслобойней, вернулся муж, выгнавший коров гулять. Это был лысый бородатый мужчина с угрюмой физиономией, такой Иеремия. Он окинул жену мрачным взглядом. Она тут же прикусила язык и ушла к своим медным кастрюлям. Муж явно был человеком неразговорчивым, хотя на вопрос Чарльза, сколько он ему должен за большую чашу отличного молока, откликнулся весьма живо. И один пенни — тот самый, с головкой очаровательной юной королевы Виктории, который и сегодня иногда еще попадается вместе со сдачей, изрядно стертый от векового употребления, только эта милая головка и сохранилась — перекочевал из кармана в карман.

Чарльз уже собирался снова подняться на тропу, когда из перелеска вышла черная фигурка. Это была она. Поглядев на двух мужчин внизу, девушка продолжила путь в сторону Лайма. Чарльз перехватил взгляд дояра, смотревшего на нее с нескрываемым осуждением. Никаких поблажек, если речь идет о Судном дне.

— Вы знаете эту даму?

— Да.

— И часто она сюда захаживает?

— Частенько. — Дояр не сводил глаз с удаляющейся фигурки. — Никакая она не дама. Шлюха французского лейтенанта.

Чарльз не сразу осознал смысл сказанного. Он окинул недобрым взглядом бородатого методиста, привыкшего все называть своими именами, особенно когда речь шла о чужих грехах. Для Чарльза он был олицетворением лицемерных сплетен, которыми жил Лайм. Это спящее лицо сказало Чарльзу о многом, только не о том, что оно принадлежало шлюхе.

Вскоре он уже сам шагал по гужевой дороге в Лайм. В прибрежном лесу, покрывавшем также высокий хребет, который наполовину скрывал море, петляли две меловые тропинки. А впереди маячила спина девушки в черном и в шляпке. Она шла не быстро, но ровной походкой, безо всякой женской аффектации, как человек, привыкший к большим переходам. Чарльз ускорил шаг и через сотню метров почти ее догнал. Она, скорее всего, слышала, как его кованые ботинки цокают по кремневой гальке, пробивающейся сквозь меловое покрытие, но не оборачивалась.

Он про себя отметил, что пальто на ней великоватое, а каблуки заляпаны грязью. Он вдруг заколебался, однако, вспомнив мрачный взгляд дояра-раскольника, все же утвердился в своем первоначальном намерении истинного кавалера: показать бедной женщине, что не все вокруг нее варвары.

— Мадам!

Она обернулась и увидела его без шляпы, улыбающегося. И хотя на ее лице изобразилось обычное удивление, оно снова произвело на него сильнейший эффект. Он как будто не верил своим глазам и каждый раз требовал нового подтверждения. Оно одновременно брало его в полон и отвергало, как образ во сне, который стоит неподвижно и при этом тает на глазах.

— Я должен перед вами дважды извиниться. Вчера, не зная, что вы секретарша миссис Поултни, я обратился к вам без должного почтения.

Она не поднимала головы.

— Пустяки, сэр.

— И вот сейчас я подошел… мне показалось, что вам нехорошо.

Не глядя на него, она повернулась и зашагала дальше.

— Я могу вас сопроводить? Нам ведь по пути.

Она остановилась, но поворачиваться к нему не стала.

— Я предпочитаю ходить одна.

— Это миссис Трантер помогла мне осознать свою ошибку. Меня зовут…

— Я знаю, кто вы, сэр.

Этот смущенный выплеск вызвал у него улыбку.

— Так я могу…

Она вдруг подняла глаза, и сквозь робость промелькнуло отчаяние.

— Позвольте мне идти одной.

Улыбка с его лица исчезла, и он, согласно кивнув, отступил назад. Но, вместо того чтобы продолжить путь, она секунду постояла, смотря себе под ноги.

— И, пожалуйста, никому не говорите, что вы меня здесь видели.

Она пошла прочь, словно осознав, что ее просьба невыполнима, и пожалев о своих словах. Застыв посреди дороги, Чарльз провожал взглядом удаляющуюся черную спину. С ним осталось лишь воспоминание о ее глазах, каких-то огромных, кажется, способных больше видеть и больше страдать. И ее прямой взгляд — пробирающий до печенок, хоть он об этом еще не догадывался — в

себе скрывал этакий вызов. Не подходи ко мне. *Noli me tangere*[46].

Он огляделся в попытке понять, почему она не хочет, чтобы стало известно о ее прогулках в этом невинном лесу. Некий мужчина? Любовное свидание? И тут, конечно, вспомнилась ее история.

Когда Чарльз наконец добрался до Брод-стрит, он решил заглянуть к миссис Трантер по дороге в гостиницу «Белый лев» и сказать, что после того, как он примет ванну и переоденется, он непременно…

Открыла ему Мэри, но миссис Трантер, которой случилось быть рядом — точнее, она специально вышла в прихожую, — призвала его не церемониться, тем более что с его одеждой все в порядке. Мэри с улыбкой забрала у него ясеневую трость с рюкзаком и провела в маленькую заднюю гостиную, освещенную лучами заходящего солнца, где больная возлежала в прелестном карминно-сером дезабилье.

— Я чувствую себя ирландским землекопом в королевском будуаре, — посетовал Чарльз, целуя пальцы Эрнестины и тем самым показывая, что до ирландского землекопа ему далеко.

---

[46] Примечания: 46
Не трогай меня *(лат.)*.

Она высвободила руку.

— Вы не получите даже глотка чая, пока не отчитаетесь во всех подробностях, как вы провели этот день.

Он должным образом описал все, что с ним случилось… или почти все, так как Эрнестина уже дважды давала ему понять, что тема женщины французского лейтенанта ей неприятна: первый раз на набережной Кобба и позже, за обедом, когда тетушка Трантер сообщила Чарльзу сведения об этой девушке, точь-в-точь совпадающие с тем, что местный викарий говорил миссис Поултни год назад. Тогда Эрнестина упрекнула тетушку-сиделку за то, что она утомляет гостя скучными сплетнями, и та, уже привыкшая к обвинениям в провинциальности, покорно умолкла.

Чарльз достал принесенный ей в подарок кусок аммонита, и Эрнестина, отложив пламегаситель, попробовала его удержать в ладони и не смогла, после чего все ему простила за этот подвиг Геркулеса и с шутливой серьезностью распекла его за то, что он рисковал переломом ноги и самой жизнью.

— Удивительное место — этот береговой оползневый уступ. Я себе не представлял, что такие дикие места в Англии еще существуют. Оно мне

напомнило некоторые приморские ландшафты в северной Португалии.

— Да вас заворожили! — воскликнула Эрнестина. — Чарльз, признайтесь, вы не рубили головы несчастным скалам, а развлекались с дриадами.

Чарльз скрыл за улыбкой охватившее его необъяснимое смущение. У него чуть не сорвалось с языка ироническое признание, как он наткнулся на девушку, что было бы предательством как ее неизбывной печали, так и его собственной чести. Он бы солгал, если бы отнесся к двум встречам с ней с показной легкостью, и потому посчитал, что в комнате, где звучат банальности, молчание будет наименьшим злом.

Следует объяснить, почему двумя неделями ранее Верская пустошь ассоциировалась у миссис Поултни с Содомом и Гоморрой.

Собственно, все исчерпывалось простым объяснением: это ближайшее от Лайма место, куда можно уйти, не рискуя, что за тобой станут шпионить. С затерянной длинной полосой была связана не очень хорошая правовая история. Эта земля считалась общинной до выхода акта об огораживании, после чего ее стали понемногу захватывать, как это случилось с «Сыроварней». Владелец большого дома за пустошью тихой

сапой совершил аншлюс с одобрения людей его круга, как это в истории обычно и бывает. А прореспубликански настроенные жители Лайма взялись за оружие — если топоры можно так назвать, — поскольку этот джентльмен решил прихватить еще и дендрарий на оползневом уступе. Дело дошло до суда, вынесшего компромиссное решение с правом прохода через чужую территорию. Таким образом, редкие деревья не пострадали, но общинная земля приказала долго жить.

Однако у всех сохранилось ощущение, что Верская пустошь — это общее достояние. Браконьеры, не слишком заморачиваясь, охотились там на фазанов и кроликов, а однажды — о ужас! — выяснилось, что банда цыган пряталась там в скрытой лощине бог знает сколько месяцев. Этих отверженных, конечно, тут же отвергли, но память об их пребывании сохранилась в связи с исчезновением девочки из соседней деревни. Считалось общим местом — извиняюсь за невольный каламбур, — что ее украли цыгане, мясо бросили в кроличье рагу, а кости закопали. Цыгане не англичане, а стало быть, почти наверняка каннибалы.

Но против Верской пустоши выдвигались об-

винения и посерьезнее, и связаны они были с поведением куда более постыдным. Хотя официально гужевая дорога, что вела к маслобойне и дальше, так не называлась, местные ее окрестили «шальной дорожкой». Каждое лето по ней уходили влюбленные парочки под предлогом попить молочка на ферме, а на обратном пути разные тропинки приводили их в убежища, надежно прикрытые зарослями папоротника и вереска.

Эта открытая рана сама по себе внушала беспокойство, однако была болезнь пострашнее. Существовала допотопная (и тем паче дошекспировская) традиция: в ночь Ивана Купалы молодые должны прихватить скрипача и с зажженными фонарями, а также с бочонком сидра добраться до покрытой дерном поляны, известной как Мечта ослицы, в самой лесной чаще, и там отпраздновать равноденствие веселыми танцами. Люди говорили, что после полуночи танцы уступали место попойке, а злые языки утверждали, что того и другого было не так уж много, зато кое-чего еще не в пример больше.

Современная агрокультура, изучающая миксоматоз[47], лишь недавно окончательно лишила

[47] Примечания: 47
Инфекционное заболевание кроликов.

для нас это место привлекательности, но сам обычай стал уходить в прошлое вместе с изменением сексуальных нравов. Уже давно в ночь Ивана Купалы на дивной поляне барахтаются разве что лисы да барсуки. Но в 1867 году все обстояло иначе.

Всего годом раньше женский комитет, возглавляемый миссис Поултни, потребовал от местных властей огородить «шальную дорожку» и проход по ней закрыть. Однако более демократические голоса возобладали. Публичные права являются священными. А кое-кто из мерзких сенсуалистов договорился до того, что дорога к маслобойне — всего лишь невинное удовольствие, а поляна Мечта ослицы — не более чем ежегодная шутка. Но в кругу уважаемых горожан одного упоминания, что какой-то юноша или девушка «захаживает на Верскую пустошь», было достаточно, чтобы запятнать его или ее репутацию навсегда. С этого дня юноша становился сатиром, а девушка проституткой.

Вернувшись домой после долгой прогулки, в течение которой благородная миссис Фэйрли исполняла ее обязанности по дому, Сара застала хозяйку застывшей в ожидании. Я написал «застывшей в ожидании», хотя правильнее, на-

верное, было бы сказать «готовой к отпеванию». Когда Сара вошла в приватную гостиную, чтобы почитать ей перед сном Библию, ее встретил взгляд, больше похожий на дуло пушки. Было ясно, что миссис Поултни может выстрелить в любую минуту, и грохот будет оглушительный.

Сара направилась к кафедре в углу комнаты, где в нерабочее время лежала большая «семейная» Библия, но не та, о которой вы могли подумать, а Священное Писание, откуда с должной набожностью удалили отдельные необъяснимые огрехи по части вкуса, вроде «Песни песней». Интуиция подсказала ей — ситуация тревожная.

— Что-то не так, миссис Поултни? — спросила она.

— Очень даже не так, — ответила аббатиса. — Мне рассказали такое, что я ушам своим не поверила.

— Это связано со мной?

— Зря я тогда послушала доктора. Надо было слушать голос собственного разума.

— Но что я сделала?

— Я вовсе не считаю вас сумасшедшей. Вы хитрое, изворотливое существо. Вы прекрасно знаете, что вы сделали.

— Я готова поклясться на Библии…

В глазах миссис Поултни вспыхнуло негодование.

— Еще чего! Это было бы святотатство.

Сара подошла ближе и остановилась перед хозяйкой.

— Я должна знать, в чем меня обвиняют.

К изумлению миссис Поултни, Сара, получив пояснение, не выразила никаких признаков стыда.

— Какой грех в том, что я была в Верской пустоши?

— Какой грех?! Вы, молодая женщина, гуляете одна в таком месте!

— Но, мэм, это же обычный лес.

— Мне хорошо известно, как она выглядит и что там происходит. А также какого рода люди там гуляют.

— Там никто не гуляет. Поэтому я туда хожу — чтобы побыть одной.

— Вы мне перечите, мисс? Я знаю, что говорю!

Факт № 1: миссис Поултни никогда не видела Верскую пустошь своими глазами, даже издалека, поскольку та не просматривалась ни с одной проезжей дороги. Факт № 2: она употребляла опиум. Опережая вашу мысль, что я решил пожертвовать достоверностью ради сенсационности,

сразу уточню: она ни о чем таком не подозревала. То, что мы называем опиумом, она называла лауданум[48]. Остроумный, хотя и несколько богохульный, доктор окрестил этот препарат «Наш Лорданум»[49], так как многие дамы девятнадцатого века — это достаточно дешевое лекарство в виде сердечных капель Годфри помогало представительницам разных классов одолеть черную ночь женской природы — прикладывались к нему гораздо чаще, чем к причастному вину. Короче говоря, это был близкий эквивалент наших сегодняшних успокоительных таблеток. Почему миссис Поултни стала обитательницей викторианской «долины кукольного дурмана»[50], мы ее спрашивать не будем, существенно же то, что лауданум, как однажды обнаружил Кольридж, порождает яркие сны.

Мне трудно представить, что за картины о Верской пустоши в духе Босха рисовала в своем воображении миссис Поултни — какие сата-

---

[48] Примечания: 48
Настойка опия.

[49] Примечания: 49
Господень напиток.

[50] Примечания: 50
Отсылка к американскому фильму «Долина кукол» (1967), где героини в Голливуде подсаживаются на «куклы», различные стимуляторы.

нинские оргии под каждым деревом, какие французские развратные действия под каждым кустом. Но, кажется, мы можем с уверенностью утверждать, что это была объективизация всего того, что происходило в ее подсознании.

После ее гневного взрыва наступило молчание.

Выпустив пар, она решила поменять тактику:

— Вы меня сильно огорчили.

— Но откуда мне было знать? Я не должна ходить к морю? Хорошо, я не хожу к морю. Я просто желаю уединения, вот и все. Это не грех. И меня не должны называть за это грешницей.

— Вы никогда не слышали разговоры о Верской пустоши?

— В том смысле, какой вы в это вкладываете? Никогда!

Негодование девушки повергло миссис Поултни в некоторое смущение. Она вспомнила, что Сара появилась в Лайме сравнительно недавно, и, следовательно, вполне вероятно, могла не догадываться о том, какое общественное поношение вызывают ее действия.

— Что ж. Тогда надо внести полную ясность. Я не позволю никому из моей прислуги бывать в этом месте или даже рядом. Вы будете совершать

прогулки в приличных местах. Я ясно выражаюсь?

— Да. Я буду гулять путями праведных.

В голове миссис Поултни промелькнула жуткая мысль, что над ней потешаются, но служанка с серьезным видом глядела в пол, как будто сама себя приговорила к тому, что праведность есть синоним страдания.

— Тогда больше никаких глупостей. Я это делаю для вашего же добра.

— Я знаю, — прошептала Сара. И потом добавила: — Спасибо, мэм.

Больше они не говорили. Сара взяла Библию и прочитала вслух отмеченный для нее отрывок. Тот самый, который она выбрала для их первой беседы, псалом 118: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Сара читала тихим голосом, безо всяких эмоций. Старая дама сидела, глядя в темноватый дальний угол. Она казалась языческим идолом, на время забывшим про кровавую жертву, которой требовал ее безжалостный каменный лик.

Позже в тот же вечер Сару видели — уж не знаю кто, вероятно, пролетавшая мимо сова — стоящей у открытого окна в темной спальне. Дом погрузился в тишину, как и весь городок, ибо в те

времена, когда еще не существовало электричества и телевизора, люди ложились спать в девять. А сейчас был час ночи. Сара стояла в ночной сорочке, с распущенными волосами и глядела в открытое море. Над черной водой, где-то вдали, ближе к Портленд Билл, тускло мигал фонарик. Какой-то корабль направлялся в Бридпорт. Сара видела этот огонек, но мысли ее были далеко.

Если бы вы приблизились, то увидели бы лицо, залитое слезами. Нет, сейчас она не несла свою мистическую вахту в ожидании сатанинского парусника; она была готова выброситься из окна.

Я не заставлю ее влезать на подоконник, чтобы податься вперед, а затем с рыданиями откачнуться назад и упасть на старый изношенный ковер. Мы знаем, что спустя две недели она была жива, а значит, из окна не выбросилась. Это были не истерические слезы, предшествующие роковому поступку, но проявление глубоких страданий, не эмоциональных, а выстроенных в логическую цепочку: медленно, но неостановимо выступающие, просачивающиеся, как кровь через бинты.

Сара, кто она?

Из какой темноты она вышла?

13

Нам ли знать, что Создатель творит?
Лик Исиды сокрыт под вуалью.

Альфред Теннисон. Мод

Сие мне неизвестно. Эта история есть плод моего воображения. Все персонажи существуют у меня в голове и нигде больше. Если до сих пор я делал вид, что мне ведомы самые потаенные мысли своих героев, то лишь потому, что пишу (прибегая к определенной лексике и воспроизводя разные «голоса») с учетом общепринятой условности того времени: романист — это почти Создатель. Даже чего-то не ведая, он изображает из себя всезнайку. Хотя я живу в век Алена Роб-Грийе и Ролана Барта, роман, который я сочиняю, не может быть романом в современном смысле этого слова.

Может, я пишу транспонированную автобиографию; может, я сейчас живу в одном из придуманных мною домов; может, Чарльз — переодетый я. Может, это все не более чем игра. И в наше время встречаются женщины вроде Сары,

но я их никогда не понимал. Или считайте это припрятанным сборничком статей. Вместо названия глав, возможно, мне следовало написать «О горизонтальном существовании», «Иллюзии прогресса», «История романной формы», «Этиология свободы», «Забытые аспекты викторианской эпохи»… выбирайте по своему вкусу.

Быть может, вы считаете, что романисту достаточно потянуть за ниточки, и его марионетки задвигаются как живые и что они по требованию представят исчерпывающий перечень своих мотивов и намерений. Да, на данный момент (*глава 13 — раскрыть строй мыслей Сары*) мне хотелось рассказать все — или, по крайней мере, все самое существенное. Но я вдруг почувствовал себя человеком, который промозглой весенней ночью стоит на лужайке под неосвещенным распахнутым окном в «доме Марлборо». В контексте этой книги для меня очевидно, что Сара никогда бы не стала утирать слезы и открывать душу ночному небу. Если бы она увидела меня под только что взошедшей старой луной, то тут же развернулась бы и растворилась в сумраке спальни.

Но я же романист, а не зевака в саду, — разве я не могу следовать за ней куда угодно? Однако возможность еще не означает вседозволенности.

Мужья частенько убивают своих жен — и наоборот, — и это им сходит с рук. Так вот, не сходит.

Вам может показаться, что романисты всегда работают по заготовленному плану: то, что было предсказано в главе 1, неизбежно произойдет в главе 13. Но авторы пишут по самым разным причинам: деньги, слава, рецензии, родители, друзья, возлюбленные, тщеславие, гордыня, любопытство, развлечение. С таким же удовольствием искусные мебельщики сколачивают свои изделия, пьяницы надираются, судьи ведут дела, а сицилийцы разряжают стволы в спину своих врагов. Я мог бы составить целую книгу из причин, движущих автором, и все они были бы правдивыми — и одновременно ложными. Существует лишь одна причина, нас всех объединяющая: *мы мечтаем создать мир, неотличимый от реального, но не такой, как реальный.* Сегодняшний или вчерашний. Вот почему мы не можем ничего планировать. Мы знаем, что мир живой организм, а не машина. Мы также знаем, что подлинно воссозданный мир становится независимым от своего создателя; сконструированный мир (в нем четко просматривается план) — это мир мертворожденный. Только когда персонажи и события перестают нам подчиняться, они начи-

нают жить своей жизнью. Когда Чарльз оставил Сару у края скалы, я приказал ему возвращаться в Лайм-Риджис. Но он этого не сделал; он своевольно повернул в сторону «Сыроварни».

Погодите, обрываете вы меня, в действительности вы хотите сказать: в процессе работы мне пришло в голову, что будет поинтереснее, если по дороге домой он немного задержится и выпьет молока… а затем снова увидит Сару. Можно, конечно, и так объяснить случившееся. Но могу лишь повторить (а ведь я самый надежный свидетель), что эта идея пришла ко мне от Чарльза. Он отвоевал себе автономию, и я должен ее уважать (игнорируя при этом мои псевдобожественные планы в его отношении), если хочу, чтобы он был живым.

Иными словами, чтобы самому быть свободным, я должен предоставить такую же свободу Тине, и Саре, и даже отвратительной миссис Поултни. Есть лишь одна хорошая дефиниция Бога: свобода, не ограничивающая другие свободы. Я строго держусь этого определения.

Писатель творит, и, стало быть, он бог (даже самый алеаторический авангардный современный роман не способен полностью уничтожить автора); другое дело, что мы перестали быть богами

викторианского толка, всеведущими и декретирующими, мы обрели новый теологический статус: не власть, но свобода — вот наш главный принцип.

Я постыдным образом разрушил иллюзию? Вовсе нет. Мои персонажи продолжают существовать в реальности не более и не менее реальной, чем та, которую я только что разрушил. Вымысел есть часть целого, как выразился один грек два с половиной тысячелетия тому назад. Я считаю эту новую реальность (или нереальность) более сущностной и надеюсь, вы разделите мое убеждение, что я до конца не контролирую создания моего ума, как вы не контролируете — как бы вы ни старались, наши нынешние миссис Поултни, — ваших детей, коллег, друзей и даже себя самих.

Абсурдное утверждение? Персонаж либо «реальный», либо «воображаемый»? Если вы так думаете, *hypocrite lecteur*[51], то в ответ я могу только улыбнуться. Вы даже о своем прошлом не думаете как о реальном, обряжаете его в одежды, приукрашиваете или очерняете, цензурируете, крутите так и сяк… одним словом, выдумываете и убираете на полку — теперь это ваша книга,

[51] Примечания: 51

Лицемерный читатель *(фр.).* Цитата из стихотворения Шарля Бодлера «К читателю» в сборнике «Цветы зла».

ваша романтизированная автобиография. Мы все бежим от настоящей реальности. В этом суть гомо сапиенс.

Поэтому если вы полагаете, что данное неудачное (не забудем, что это *глава 13*) отступление не имеет никакого отношения к вашему Времени, а также к Прогрессу, Обществу, Эволюции и прочим ночным призракам с большой буквы, которые громыхают цепями за сценой, где происходят события этой книги… я с вами спорить не стану. Но отнесусь к вам с недоверием.

Таким образом, я даю лишь фактологию: Сара плакала в ночи, но не покончила с собой; она продолжила, несмотря на строгий запрет, посещать Верскую пустошь. В каком-то смысле она выпрыгнула из окна и находилась в затяжном полете, ибо рано или поздно до миссис Поултни должны были дойти слухи о грешнице, умножающей свои грехи. Правда, ходила в лес она теперь реже, что поначалу далось ей легко, так как в первые две недели погода выдалась дождливая. Правда и то, что она предприняла кое-какие меры предосторожности военного толка. Гужевая дорога в какой-то момент переходила в тропу, не многим лучше самой дороги, которая, петляя, спускалась в широкую лощину под названием

Верская долина, где она соединялась, уже за Лаймом, с главной трассой, ведущей в Сидмут и Эксетер. В Верской долине были разбросаны вполне респектабельные дома, так что это считалось приличным местом для прогулок. К счастью, ни один из домов не выходил окнами на пересечение гужевой дороги с тропой. Оказавшись там, Саре нужно было только оглядеться и убедиться в том, что она одна. Как-то раз она решила прогуляться в лес. Но когда тропа привела ее к дорожке, ведущей к маслобойне, она заметила, что выше по склону двигается парочка. Свернув вбок, она удостоверилась в том, что парочка не идет по тропе, ведущей к молочной ферме, и только тогда продолжила путь и скрылась в своем убежище незамеченной.

Она рисковала столкнуться с другими гуляющими, не говоря уже о том, чтобы попасться на глаза дояру и его семейству. Последней опасности она избегала, приглядев для себя заманчивую тропку, не просматриваемую из маслобойни и ведущую через папоротник-орляк и лесную гущу. По ней-то она и ходила вплоть до того дня, когда опрометчиво, как мы сейчас понимаем, попалась на глаза двум мужчинам.

Все очень просто. Она проспала и опаздывала

на чтение Библии. В этот вечер миссис Поултни ужинала у леди Коттон, и потому привычный ритуал перенесли на час вперед, дабы дать ей возможность подготовиться к жестокой схватке двух бронтозавров (не столько внешне, сколько по своей сути): железный остов под черным бархатом против свирепого оскала, брызжущего цитатами из Библии. Вот уж битва так битва.

После шока от устремленных на нее сверху глаз Чарльза она чувствовала, как ускоряется ее падение. Когда ты летишь с такой высоты и земля приближается с пугающим размахом, какой прок от всех этих мер предосторожности?

14

– В моем представлении хорошее общество, мистер Эллиот, – это общество умных, хорошо информированных людей, умеющих поддержать разговор. Вот что я называю хорошим обществом.
– Вы ошибаетесь, – мягко заметил он. – Это не хорошее общество, а высшее общество. Хорошее общество связано только с рождением, образованием и манерами, а что касается образования, то с этим дело обстоит не очень хорошо.

Джейн Остин. Доводы рассудка

В девятнадцатом веке гостям Лайма если и не нужно было проходить через испытания, сравнимые с теми, что выпадали на долю путешественников в древнегреческие колонии, — например, от Чарльза не потребовали произнести речь в духе Перикла, а также вкратце изложить мировые новости на ступеньках городской ратуши, — то их уж точно вовсю разглядывали и расспрашивали. Эрнестина уже предупредила Чарльза, что ему впору себя считать редким экземпляром,

попавшим в зверинец, и надо по возможности радушно воспринимать бесцеремонные взгляды и нацеленные в него зонтики. И вот один-два раза в неделю он сопровождал дам в гости и часами изнывал от скуки, а единственным утешением ему была маленькая сценка, с приятной регулярностью разыгрывавшаяся в доме тетушки Трантер после их возвращения. С озабоченным видом вглядываясь в его глаза, остекленевшие от банальной светской болтовни, Эрнестина говорила: «Это было ужасно? Вы меня ненавидите? Я не заслуживаю прощения?» И в ответ на его улыбку кидалась в объятья, как будто он чудесным образом выжил во время восстания или горного обвала.

Так случилось, что горный обвал в награду за открытие, сделанное Чарльзом на береговом оползневом уступе, состоялся в «доме Марлборо». В этих визитах не было ничего случайного или спонтанного. Да и как иначе, если имена посетителей и принимающих распространялись в городке со скоростью молнии, и обе стороны соблюдали строгий протокол. Интерес миссис Поултни к Чарльзу вряд ли был больше, чем его интерес к ней, однако она бы смертельно обиделась, если бы его к ней не привели в кандалах,

чтобы она могла поставить на поверженного гостя свою маленькую толстую ножку — и чем раньше, тем лучше, так сказать, почетнее.

Собственно, эти «иностранцы» были просто фишками. Сами визиты не имели особого значения, зато как увлекательно можно было ими поиграть! «Милейшая миссис Трантер решила, что я *первая* должна принять…», «Удивительно, что Эрнестина у вас еще не была… а нас она избаловала, уже два визита…», «Это она по недомыслию, я уверена… миссис Трантер добрейшая душа, но *такая* рассеянная…» Эти и им подобные уколы светской булавкой с пусканием слюны напрямую зависели от появления «важного гостя» вроде Чарльза. И шансов избежать судьбы у него было не больше, чем у пухленькой мышки ускользнуть из лап голодной кошки… целой стаи голодных кошек, если быть точным.

Когда на следующее утро после описанной встречи в лесу домоправительница возвестила о приходе миссис Трантер и ее двух молодых спутников, Сара встала и хотела покинуть гостиную. Но миссис Поултни, которая всегда раздражалась при одной мысли о счастливой молодой паре и у которой после вечера с леди Коттон к тому же были основания испытывать и более сильные

чувства, чем раздражение, попросила ее остаться. Она считала Эрнестину девушкой фривольной и не сомневалась, что ее суженый такой же фривольный молодой человек. Поэтому она почитала своим долгом повергнуть их в смущение. Кроме того, в ее представлении подобное социальное рандеву — это как власяница для грешника. Так что тут все сошлось.

Посетителей провели в гостиную. Миссис Трантер прошуршала первая, вся такая воздушная и радушная. Сара робко встала в отдалении с болезненным ощущением лишней в этой компании. А Чарльз с Эрнестиной в расслабленных позах дожидались своей очереди, стоя на ковре позади двух пожилых дам, которые так давно знали друг дружку, что могли себе позволить ритуальные объятья. А затем была представлена Эрнестина, сделавшая слабый намек на книксен, перед тем как взять протянутую ей королевскую руку.

— Как поживаете, миссис Поултни? Выглядите вы просто превосходно.

— В моем возрасте, мисс Фриман, имеет значение только духовное здоровье.

— Тогда я за вас спокойна.

Миссис Поултни была бы рада продолжить эту интересную тему, но Эрнестина повернулась,

чтобы представить Чарльза, который склонился над рукой хозяйки.

— Очень рад, мэм. Прелестный дом.

— Для меня слишком большой. Я его сохраняю из памяти к моему дорогому супругу. Я знаю, он бы этого хотел… он этого хочет.

Она устремила взгляд мимо Чарльза на главную икону в доме, картину маслом, написанную за два года до смерти Фредерика в 1851 году. Портрет ясно давал понять, что перед вами рассудительный, достойный, привлекательный христианин, возвышающийся над остальными. Он, конечно, был христианином и в высшей степени достойным человеком, но что касается остальных качеств, то тут художника увлекло собственное воображение. Давно ушедший мистер Поултни был полным, хотя и весьма богатым, ничтожеством, и главным событием его жизни можно считать то, что он ее покинул. Чарльз рассматривал этот скелет на земном пиру с подобающим почтением.

— Да. Я понимаю. Очень убедительно.

— Их желания для нас закон.

— Вы правы.

Миссис Трантер, встретившая Сару улыбкой, воспользовалась возможностью нарушить этот

траурный антифон.

— Моя дорогая мисс Вудраф, как я рада вас видеть. — Она подошла, сжала Саре руку и с видом заговорщицы спросила, понизив голос: — Вы ко мне не заглянете, когда Тина уедет?

На лице Сары промелькнуло редкое выражение. При появлении миссис Трантер мониторящий Сарино сердце компьютер тотчас включил нужную запись. Сдержанность и независимость, рискующая перейти в бунтарство, то, что в присутствии миссис Поултни стало ее привычной маской, на мгновение куда-то исчезло. Она даже улыбнулась, хотя и не без грусти, и едва заметно кивнула: да, конечно.

Последовали дальнейшие представления. Юные дамы с прохладцей взаимно кивнули, а Чарльз отвесил легкий поклон. Он внимательно проследил, не выдаст ли себя гувернантка, с которой он дважды сталкивался накануне, но она старательно избегала на него смотреть. Он был заинтригован тем, как этот дикий зверек себя поведет в закрытой клетке, и очень быстро разочаровался: с явной и безусловной покорностью. Миссис Поултни совершенно игнорировала Сару, разве что надо было что-то принести или позвонить в колокольчик, когда дамы захотели

горячий шоколад. Игнорировала ее и Эрнестина, как он заметил с неудовольствием. Тетушка Трантер делала все, чтобы вовлечь девушку в разговор, но та сидела в сторонке с неподвижным лицом, отрешенная, что при желании можно было расценить как осознание своего пониженного статуса. Сам он пару раз вежливо поворачивался к ней за подтверждением высказанного мнения, да все без толку. Она едва откликалась и по-прежнему избегала встречаться с ним взглядом.

Лишь к концу визита до Чарльза стало понемногу доходить своеобразие ситуации. Он понял, что эта молчаливая покорность противоречит ее природе и что она играет роль: полная оторванность и неприятие своей хозяйки. Миссис Поултни и миссис Трантер то мрачновато, то живенько обсуждали светские темы, ограниченные числом, но никак не во времени… прислуга, погода, предстоящие роды, похороны и браки… мистер Дизраэли и мистер Гладстон (хотя эту тему они завели вроде бы для Чарльза, хозяйка воспользовалась случаем, чтобы сурово осудить человеческие принципы первого и политические принципы второго)… затем они перешли к последней воскресной проповеди, к недостаткам местных торговцев и естественным образом

вернулись к прислуге. Пока Чарльз выдерживал эту очередную пытку, улыбаясь, вскидывая брови и согласно кивая, он пришел к выводу, что молчаливая мисс Вудраф страдает от чувства несправедливости — и, как мог заметить тонкий наблюдатель, не очень-то это скрывает.

В проницательности Чарльзу не откажешь, ведь он увидел то, что прошло мимо жителей Лайма. Однако, вполне возможно, это осталось бы на уровне подозрений, если бы хозяйка дома не разродилась характерным поултнизмом.

— Эта служанка, которую я рассчитала… она не доставляет вам больших хлопот?

Миссис Трантер улыбнулась.

— Мэри? Да я с ней в жизни не расстанусь.

— Миссис Фэйрли видела, как она сегодня утром болтала с одной особой. — В устах миссис Поултни это прозвучало так, как если бы два француза-патриота во время оккупации говорили о нацисте. — С неизвестным молодым человеком.

Эрнестина бросила в сторону Чарльза резкий осуждающий взгляд. На секунду ему пришла в голову дикая мысль, что это обвинение в его адрес, но потом он сообразил и улыбнулся.

— Это наверняка был Сэм. Мой слуга, мадам, —

на всякий случай пояснил он для хозяйки дома.

Эрнестина от него отвернулась.

— Я не успел вам рассказать. Вчера я тоже видел, как они беседовали. Но мы ведь не собираемся им запрещать разговаривать при встрече?

— Существует огромная разница между общепринятым в Лондоне и тем, что считается приличным здесь. Мне кажется, вы должны поговорить с Сэмом. Девушка излишне доверчивая.

Миссис Трантер почувствовала себя задетой.

— Эрнестина, ты слышала? Мэри, возможно, девушка пылкая, но у меня еще не было повода усомниться…

— Дорогая тетушка, я знаю, как вы к ней нежно относитесь.

Чарльз уловил сухость в голосе Тины и решил встать на защиту миссис Трантер.

— Побольше бы таких хозяек. Нет более верного признака благополучного дома, чем счастливая служанка, встречающая тебя у входа.

Эрнестина опустила глаза, характерно поджав губки. Славная миссис Трантер от такого комплимента порозовела и тоже склонила голову. А миссис Поултни встретила этот перекрестный огонь не без удовольствия, решив, что ее неприязнь к Чарльзу достигла того градуса, когда

можно себе позволить грубоватый тон.

— Ваша будущая жена, мистер Смитсон, больше понимает в этом, чем вы. Я хорошо знаю эту девушку. Мне пришлось ее рассчитать. Будь вы постарше, вы бы знали, что в таких делах строгость не бывает излишней.

Она тоже опустила голову, по-своему давая понять, что она объявила эту тему и она же ее закрывает.

— Я склоняюсь перед вашим опытом, мадам, с которым мой опыт не идет ни в какое сравнение.

В его холодноватом тоне отчетливо прозвучал сарказм.

Все три дамы отводили глаза в сторону: миссис Трантер от смущения; Эрнестина от досады на себя, ибо невольно спровоцировала этот удар по своему жениху, уж лучше бы промолчала; а миссис Поултни в силу характера. И тут-то Сара и Чарльз наконец обменялись взглядами, что ускользнуло от внимания трех дам. Это длилось всего мгновение, но оно было достаточно красноречивым: у незнакомцев оказался общий враг. Впервые Сара посмотрела не сквозь него, а на него; что касается Чарльза, то он решил отомстить миссис Поултни и преподать Эрнестине

столь необходимый урок простой человечности.

Он вспомнил свою недавнюю стычку с отцом Эрнестины по поводу Чарльза Дарвина. В этой стране слишком много лицемерия, и подобного он не потерпит от той, на ком собирается жениться. Он поговорит с Сэмом, еще как поговорит.

Как именно, мы скоро узнаем. Но общий тон беседы уже угадывался, поскольку «одна особа» в эти минуты сидела в другом доме на кухне.

Утром Сэм действительно встретил Мэри на Кум-стрит и с наивным видом спросил, можно ли ему доставить сажу через час. Он, разумеется, знал, что обе дамы в это время будут в «доме Марлборо».

Их разговор на кухне получился на удивление серьезным, особенно в сравнении со светской болтовней в гостиной миссис Поултни. Мэри, привалившись к туалетному столику, скрестила на груди изящные ручки, а из-под рабочего чепчика выбилась прядка волос цвета спелой кукурузы. Время от времени она задавала вопросы, говорил больше Сэм, обращаясь преимущественно к хорошо отдраенному длинному столу. Лишь изредка они находили друг друга глазами, но тут же, словно по обоюдному согласию, смущенно отводили взоры.

15

…что касается рабочего класса, то полудикие манеры прошлого поколения сменились глубокой и почти повсеместной чувствительностью…

Доклад из шахтерского поселка (1850)

…их улыбки
Встречаются, светлы и зыбки…

Альфред Теннисон. In Memoriam

Когда наутро Чарльз бесцеремонно полез в сердце своего слуги-кокни, он не совершал предательства в отношении Эрнестины, а о миссис Поултни мы вообще не говорим. Гости покинули ее дом вскоре после вышеописанной сцены, и всю дорогу вниз, до Брод-стрит, Эрнестина молчала, словно воды в рот набрав. А уже придя домой, постаралась остаться с Чарльзом наедине. Как только дверь за тетушкой закрылась, она разрыдалась (без обычного предварительного самобичевания) и бросилась в его объятья. Это была первая размолвка, бросившая тень на их

любовь, что повергло ее в ужас. Ее милый, добрый Чарльз получил оплеуху от старой ведьмы, и все из-за ее, Эрнестины, мелкой обиды. Все это она высказала ему, после того как он похлопал ее по спине и вытер слезы. А еще он ей отомстил, без спросу поцеловав ее в мокрые веки, и тогда уже простил окончательно.

— Милая моя глупышка Тина, зачем мы будем отказывать другим в том, что сделало нас самих счастливыми? Что, если эта испорченная служанка и негодник Сэм полюбили друг друга? Забросаем их камнями?

Она ему улыбнулась, сидя на стуле.

— Вот что выходит, когда пытаешься повести себя как взрослая.

Он опустился рядом на колени и взял ее руку в свои.

— Ты чудо-ребенок. И такой навсегда для меня останешься.

Она наклонилась, чтобы поцеловать его руку, а он в свою очередь чмокнул ее в затылок.

— Еще восемьдесят восемь дней, — пробормотала она. — Думать об этом невыносимо.

— Давайте сбежим. В Париж.

— Чарльз… да вы развратник!

Она подняла голову, и тут он поцеловал ее

в губы. Она откинулась на спинку стула, зарумянившаяся, с влажными глазами, а сердце колотилось так, что того и гляди она упадет в обморок. Она была слишком слаба, чтобы выдерживать такие потрясения. Он задержал ее руку в своей и потискал не без игривости.

— Что, если бы достойнейшая миссис Поултни нас сейчас увидела?

Эрнестина закрыла лицо руками и закатилась, давясь от смеха. А Чарльз отошел к окну и попытался сохранить достоинство, но невольно оборачивался и ловил на себе озорные взгляды сквозь пальцы. В тишине комнаты слышалось сдавленное хихиканье. Оба подумали об одном: о свободе, пришедшей с новой эпохой, о том, как здорово быть молодыми, обладающими современным чувством юмора, отделенными пропастью от…

— Чарльз… Чарльз… а помните леди раннего мелового периода?

Оба снова прыснули, чем еще больше заинтриговали бедную миссис Трантер, которая вся испереживалась в коридоре, уверенная в том, что молодые ссорятся. Наконец она набралась смелости войти в надежде исправить ситуацию. Смеющаяся Тина подбежала к ней и расцеловала

в обе щеки.

— Милая, милая тетушка. Вы расстроены. Я ужасный, испорченный ребенок. Мне не нужно мое зеленое уличное платье. Я могу его отдать Мэри?

А в результате в тот же день Мэри искренне помянула Эрнестину в своих молитвах. Вряд ли они были услышаны, поскольку вместо того, чтобы сразу после вечерней молитвы лечь в постель, как положено, Мэри не устояла перед соблазном еще разок примерить зеленое платье. Горела всего одна свеча, но когда это было помехой для женщины? Рассыпавшиеся по плечам золотистые волосы, яркая зеленая ткань, дрожащие тени, умиротворенное и смущенное личико, удивленные глаза… если Господь ее сейчас видел, то наверняка пожалел, что он не падший ангел.

— Сэм, я решил, что больше не нуждаюсь в твоих услугах. — Чарльз не мог видеть лица Сэма, так как зажмурился, пока его брили. Но, судя по замершей в воздухе бритве, он произвел должный шок. — Ты можешь вернуться в Кенсингтон. — Гробовое молчание смягчило бы сердце хозяина с менее садистскими наклонностями. — Ты хочешь что-нибудь сказать?

— Да, сэр. Мне и тут х’рошо.

— Ты бездельник. Я понимаю, что это твое естественное состояние. Но я предпочитаю, чтобы ты бездельничал в Лондоне. Там к таким, как ты, давно привыкли.

— Я ниче такого не сделал, мистер Чарльз.

— А еще я постараюсь тебя избавить от болезненных свиданий с этой дерзкой служанкой миссис Трантер. — Он явственно услышал, как Сэм выдохнул с облегчением. Чарльз осторожно приоткрыл один глаз. — Я ведь добрый, правда?

Сэм с каменным лицом уставился куда-то поверх головы хозяина.

— Она принесла ’звинения. Я ее ’звинения приня́л.

— От обычной молочницы? Невероятно.

Чарльзу пришлось спешно закрыть глаз, дабы по нему не мазнули кисточкой с мыльной пеной.

— Это был впросак, мистер Чарльз. Настоящий впросак.

— Вот как. Значит, все вышло даже хуже, чем я думал. Тебе надо делать ноги.

Сэм, кажется, наелся. Мыльная пена так и осталась нетронутой, и Чарльзу пришлось открыть глаза, дабы понять, что происходит. Его слуга стоял с покаянным лицом — или, по крайней

мере, изображал таковое.

— Что не так?

— Эт ’на, сэр.

— Этна? Ты ударился в вулканологию? Ладно, потерпи, я пытаюсь включить мозги. Выкладывай всю правду. Еще вчера ты говорил, что не подойдешь к этой дурнушке на пушечный выстрел. Или не говорил?

— Меня спровокировали.

— Та-ак, и где же была *primum mobile?*[52] Кто кого «спровокировал» первый?

Но Чарльз уже понял, что слишком далеко зашел. Бритва в руке Сэма дрожала — не от намерения совершить убийство, а от сдерживаемого негодования. Чарльз забрал у него опасную бритву и нацелил острием в слугу.

— Даю тебе двадцать четыре часа, Сэм. Двадцать четыре часа.

Сэм принялся тереть умывальник полотенцем, предназначенным для щек хозяина. После долгой паузы он заговорил с дрожью в голосе:

— Мы ж не лошади. Мы тоже люди.

Чарльз, улыбнувшись, встал, подошел сзади к слуге и положил ему руку на плечо, заставив того

---

[52] Примечания: 52
Главная движущая сила *(лат.).*

обернуться.

— Сэм, ты уж меня извини. Но признайся, что твои прошлые отношения с прекрасным полом не предвещали ничего подобного. — Сэм обидчиво смотрел в пол. К нему понемногу возвращался былой цинизм. — Эта девушка… как ее… Мэри… эту очаровательную мисс Мэри, наверное, приятно подразнить… и чтобы тебя подразнили в ответ… подожди, не перебивай… но в душе она, как мне сказали, очень доверчивая. И я не потерплю, чтобы ты разбил ей сердце.

— Я прям кругом виноват, мистер Чарльз!

— Ну хорошо. Я тебе верю без отсечения руки. Но больше ты в этот дом ни ногой, и на улице с этой девушкой не заговаривай, пока миссис Трантер не скажет мне, что она не возражает против твоих ухаживаний.

Сэм в конце концов поднял глаза на хозяина и со скорбной улыбкой, как умирающий на поле солдат перед склонившимся над ним офицером, произнес:

— Я утка Дерби, сэр. Х’рошая утка Дерби.

Это требует пояснений. Речь идет об уже сваренной утке, без шансов на воскресение.

16

О, Мод, ты так юна и так прекрасна!
О чести пой, что смерти не подвластна,
Я ж буду слезы лить о веке злополучном
И о себе, ничтожном и докучном.

Альфред Теннисон. Мод

О чувствах между мужчиной и женщиной ничего я не ведал,
Но однажды в широком поле, когда гуляла деревня,
Я, отрок, «не находящий себе покоя», как сказал бы Теннисон,
Вдруг увидел девушку без головного убора…

Артур Хью Клаф. Лесная хижина (1848)

После описанного дня прошло пять ничем не

примечательных. Возможностей для дальнейших обследований оползневого уступа Чарльзу за это время не подвернулось. Один день заняла экскурсия в Сидмут; остальные утра ушли на визиты или более приятные забавы вроде стрельбы из лука, вошедшей в моду среди юных английских дам; темно-зеленое облачение *de rigueur*[53] им так шло и так радовало глаз джентльменов, что они, словно ручные, вытаскивали стрелы из мишени (в которую близорукая Эрнестина, увы, редко попадала) и приносили их охотницам с милыми шутками о пронзающем сердца Купидоне и девице Марианне, возлюбленной Робин Гуда.

После обеда Эрнестина обычно уговаривала его провести время у тетушки. Там обсуждались серьезные материи: нынешний дом в Кенсингтоне слишком маленький, а права на аренду фешенебельного особняка в Белгравии, куда они со временем переедут, еще два года не смогут перейти в руки Чарльза. Небольшая *contretemps*[54] заметно повлияла на Эрнестину; она сделалась с ним на редкость почтительной, такой послушной женушкой, что он чувствовал себя этаким турец-

---

[53] Примечания: 53
Требуемое этикетом *(фр.)*.

[54] Примечания: 54
Размолвка *(фр.)*.

ким пашой и даже умолял ее сказать что-нибудь поперек, а то ведь впереди их ждет христианский брак.

Чарльз страдал от ее готовности удовлетворить любую его прихоть, но при этом проявлял хорошее чувство юмора. Ему хватило проницательности, чтобы понять: она сама не ожидала от себя такой перемены. До размолвки она, пожалуй, была больше влюблена в идею брака, чем в будущего супруга, а теперь оценила не только статус, но и мужчину. Чарльз, надо признать, находил этот переход от внешней сухости к влажности порой несколько назойливым. Конечно, ему нравилось, что ему льстят, над ним трясутся, с ним консультируются, с его мнением считаются. Какому мужчине это не понравится? Но за годы совершенно свободной холостяцкой жизни он по-своему тоже успел превратиться в совершенно испорченного ребенка. Никак не мог привыкнуть к тому, что эти утра ему больше не принадлежат и что планами на день, возможно, придется пожертвовать из-за какой-нибудь прихоти Тины. Конечно, он всегда мог сослаться на долг; у него, как у любого мужа, есть свои обязанности, и он должен их исполнять — все равно что во время прогулок по сельской местности носить толстую

фланелевую рубашку и кованые ботинки.

А вечера! Эти освещенные газовыми лампами часы, которые надо как-то заполнить в отсутствие кино и телевидения! Тем, кто горбом зарабатывал себе на жизнь, было попроще: после двенадцатичасового рабочего дня проблема, что делать после ужина, решалась легко. А вот несчастных богачей остается только пожалеть; какую бы они ни получили свободу в течение дня, условности требовали, чтобы вечером они поскучали в компании. Давайте же посмотрим, как Чарльз с Эрнестиной вдвоем преодолевают очередную пустыню. По крайней мере, обошлось без тетушки Трантер — благонравная дама пошла на чай к болеющей соседке, старой деве, точной копии ее самой, не считая внешности и послужного списка.

Чарльз красиво разлегся на диване, тремя пальцами подпирая подбородок и положив еще два на щеку, а локоть покоится на подлокотнике; его серьезный взгляд поверх аксминстерского ковра с многоцветным узором устремлен на Тину, читающую книжечку в красном сафьяновом переплете, которую она держит в левой руке, а в правой пламегаситель (чем-то похожий на ракетку для пинг-понга с длинной ручкой, покрытую

вышитым атласом, с темно-бордовым плетением по краям, цель которого — поставить заслон жару от потрескивающих углей, грозящему сделать пунцовыми эти бледно-розовые щечки), коим она не совсем ритмично постукивает в такт вполне ритмичной эпической поэме, которую читает вслух.

Это бестселлер 1860-х, произведение почтенной Каролины Нортон «Леди Ла Гарай», о котором «Эдинбургское ревю» ни больше ни меньше написало: «Эта поэма — чистый, нежный, трогательный рассказ о боли, печали, любви, долге, благочестии и смерти» — великолепное ожерелье из ключевых викторианских прилагательных и существительных, какие только можно себе вообразить (к тому же, добавлю, слишком изящных для моей фантазии). Миссис Нортон может вам показаться скучной графоманкой той эпохи. Ее стихи в самом деле такие, в чем вы скоро убедитесь, а вот скучной личностью ее никак не назовешь. Она была внучкой Шеридана и, как говорили, любовницей Мельбурна[55] (для ее мужа, видимо, это были не просто слухи, так как он подал против видного государственного деятеля

[55] Примечания: 55

Уильям Лэм Мельбурн (1779–1848) — виконт, премьер-министр Великобритании.

судебный иск о преступном половом сношении, который, впрочем, проиграл) и рьяной феминисткой… сегодня мы бы ее назвали либералкой.

Дама, чье имя заявлено в названии поэмы, жизнерадостная супруга такого же жизнерадостного французского аристократа, получив увечье во время охоты, посвящает остаток горьких дней разным добрым делам — и преуспевает в этом гораздо лучше, чем леди Коттон, поскольку открыла больницу для бедных. Хотя поэма семнадцатого века, ее можно считать гимном Флоренс Найтингейл[56]. Не случайно она так тронула женские сердца в то десятилетие. Для нас, потомков, эти великие реформаторы одержали победу над огромной оппозицией и огромной апатией. «Даме с фонарем»[57] действительно пришлось столкнуться с оппозицией и апатией, но в самой нашей симпатии, как я уже где-то отметил, может крыться изъян.

Эрнестина обращалась к поэме не впервые, отдельные отрывки она знала практически на-

---

[56] Примечания: 56

Флоренс Найтингейл (1820–1910) — английская сестра милосердия и общественный деятель. Крымская война сделала ее национальной героиней.

[57] Примечания: 57

Прозвище Флоренс Найтингейл, ставшей инициатором реформы госпитального обслуживания и системы подготовки медсестер.

изусть. Читая ее в очередной раз (сейчас в связи с Великим постом), она возвышалась и очищалась, становилась лучше. Только при этом надо добавить, что сама она ни разу не переступила порога больницы для бедных, никогда не ухаживала за хворающим крестьянином. Понятно, родители не позволили бы, но ведь ей это и в голову не приходило.

Вы скажете, что женщины в то время были связаны по рукам и ногам. Но вспомните дату этого вечера: 6 апреля 1867-го. Всего неделю назад в парламенте во время первых дебатов вокруг «билля о реформе» Джон Стюарт Милль выступил с предложением: пора предоставить женщинам равные права при голосовании. Его смелая попытка (предложение отклонили ста девяноста шестью голосами против семидесяти трех, а Дизраэли, старая лиса, воздержался) была встречена улыбками среднего класса, гоготом в «Панче» (одна карикатура изображала группу джентльменов, осаждающих министершу, ха-ха-ха) и неодобрительными гримасами, увы, большинства образованных женщин, полагавших, что они должны оказывать влияние из дома. Тем не менее 30 марта 1867 года — это точка отсчета женской эмансипации в Англии,

и Эрнестина, похихикавшая неделю назад, когда Чарльз ей показал тот номер «Панча», не может быть полностью оправдана.

Но вернемся к вышеупомянутому вечеру. Чарльз вглядывается мутноватыми и в меру заинтересованными глазами в серьезное лицо Эрнестины.

— Я могу продолжать?

— Вы читаете прекрасно.

Она деликатно откашливается и снова поднимает книжку. Только что произошел несчастный случай на охоте, и лорд Ла Гарай склонился над упавшей с лошади женщиной.

Взял на руки беспомощное тело;

Повисли пряди, губы онемели,

Глаза вот-вот смежатся… Боже святый,

Звезда его души близка к закату!

Эрнестина украдкой бросает взгляд на Чарльза. Он зажмурился, словно рисуя в своем воображении трагическую сцену, но при этом торжественно кивает: «Я весь внимание». И она продолжает:

Стучало сердце лорда-корифея

Его часов настенных посильнее,
И вдруг он словно замер, весь дрожа.
«О Клод!» – к нему воззвала госпожа.
И вновь, со дня их первого свиданья,
Он испытал ту радость узнаванья,
Когда с тобой сливается невинно
В едину плоть вторая половина.

Последние строчки она прочла с особым значением и снова взглянула на Чарльза. Он по-прежнему не открывал глаз, но был настолько тронут, что даже не сумел кивнуть. Она набрала в легкие воздуха и, с трудом оторвавшись от возлежащего жениха, продолжила:

«О Клод! О, боль!» – «Любовь моя, Гертруда!»
Ее улыбка родилась, как чудо;
Открылось ей такое вдруг раздолье,
Что не осталось и следа от боли!

Повисла тишина. Лицо Чарльза приняло скорбное выражение. А чтица бросила в его сторону огненный взор и набрала в легкие побольше воздуха.

Счастливец, кто в минуты испытанья

Встречает вот такое пониманье...
ЧАРЛЬЗ!

Поэма, превратившись в ракету, ударила его в плечо и свалилась за диван.

— Что? — Он увидел, что Эрнестина вскочила и — вот уж неожиданно! — уперла руки в бока. — О господи.

— Ага, попались! Больше никаких извинений.

Однако очередные извинения или покаянные речи все же последовали, когда Эрнестина в двадцатый раз принялась обсуждать интерьер его кабинета в еще не существующем доме. Перспектива покинуть уютное кенсингтонское гнездышко была отнюдь не единственной жертвой, которую ему предстояло принести, и каждое напоминание становилось для него испытанием. Но тут тетушка Трантер пришла ему на помощь, и он получил свободный день на «дурацкие ковырялки» среди камней.

Он сразу решил, куда отправится. С тех пор как он обнаружил на травянистом откосе женщину французского лейтенанта, он только о ней и думал. В тот день он успел заметить внизу, у подножия этого утеса, внушительную груду обвалившегося кремня. Чем не повод туда прогу-

ляться! Разгоревшиеся любовные чувства между ним и Эрнестиной в последнее время почти вытеснили мысли о секретарше миссис Поултни.

Продираясь сквозь кусты ежевики, он сразу вспомнил Сару, отчетливо увидел, как она спала в тот день. Но когда он подошел к краю утеса и глянул вниз, маленькая площадка была пуста. Скоро его мысли приняли другой оборот. Он нашел, как спуститься, и приступил к научным поискам в каменистой осыпи. Сегодня было похолоднее, чем в прошлый раз. Солнышко и тучи по-апрельски быстро сменяли друг друга. Ветер дул с севера, а потому у подножия утеса, повернутого на юг, было комфортно тепло, а когда Чарльз увидел у себя под ногами великолепный образец, видимо, недавно отколовшийся от скальной породы, на душе стало еще теплее.

Однако минут через сорок он окончательно понял, что одной удачей все и ограничится, по крайней мере в этих кремневых отложениях. Он снова поднялся наверх и двинулся в сторону тропы, которая вела назад в лес. И вдруг что-то мелькнуло!

Она застряла в колючей ежевике и пыталась выдернуть подол. Приближающихся шагов она не слышала, к тому же он, увидев ее, остановился.

Тропка была узкая, и обойти девушку он не мог. И тут она его заметила. Их разделяли метров пять. Оба выглядели смущенными, хотя выражалось это по-разному. Чарльз улыбался, Сара же на него поглядывала с большим подозрением.

— Мисс Вудраф!

Она почти незаметно кивнула и замешкалась, как будто решала, не повернуть ли ей обратно. Но тут до нее дошло, что он отступил, пропуская ее вперед, и она поспешно прошла мимо. Вот только раскисшая тропа коварно ушла под уклон, она поскользнулась и упала на колени. Он подскочил и помог ей подняться. Сейчас она напоминала дикого зверька, онемевшего, дрожащего, не смеющего поднять глаза.

Он очень деликатно, держа девушку под локоть, провел ее на покрытую дерном лужайку с видом на море. Она все в том же черном пальто и платье цвета индиго с белым воротничком. Уж не знаю, по какой причине — то ли из-за падения, то ли потому, что он ее поддерживал, а может, просто из-за холода, — но она раскраснелась, что прекрасно подчеркивало ее диковатую робость. Ветер немного растрепал ее волосы, и она отдаленно напоминала мальчишку, пойманного за воровством яблок из чужого сада… вроде ви-

новат, но ведет себя вызывающе. Она украдкой посмотрела на Чарльза; такой экзофтальмический взгляд темно-карих с чистыми белками глаз, одновременно застенчивый и повелительный. Он тотчас отпустил ее руку.

— Мисс Вудраф, мне становится страшно при мысли, что будет, если вы однажды подвернете лодыжку в таком безлюдном месте.

— Это неважно.

— Еще как важно, дорогая леди. Судя по вашей недавней просьбе, вы не желаете ставить в известность миссис Поултни о том, что бываете здесь. Я не собираюсь спрашивать вас о причинах, избави бог. Замечу лишь, что если вы по какой-то причине потеряете способность передвигаться, я единственный человек в Лайме, кто сможет привести к вам спасателей. Разве не так?

— Она знает. Во всяком случае, догадается.

— Она знает, что вы ходите *сюда*?

Сара глядела себе под ноги, словно отказывалась отвечать на дальнейшие вопросы, словно умоляя его уйти. Но что-то в ее лице, повернутом в профиль, заставило отказаться от этой мысли. В нем все, как он только сейчас понял, отдано глазам. Они не могли утаить ни ума, ни независимого духа; а еще в них сквозили мол-

чаливый отказ от любого сострадания и твердая решимость оставаться собой. Тогда были в моде изящные тонкие выгнутые бровки, а у Сары то ли густые, то ли необычно темные, под цвет волос, что отдаленно придавало ей мальчиковый вид. Это не означает, что у нее было маскулинное лицо с тяжелым подбородком, столь популярное в эпоху короля Эдуарда — тип красоты гибсоновской девушки[58]. У нее было хорошей лепки совершенно женственное личико, а сдерживаемая пронзительность взгляда дополнялась сдержанной чувственностью большого рта, что, опять-таки, не отвечало тогдашней моде, выбиравшей между маленьким ротиком почти без губ и детским ртом из двух разнонаправленных дужек, каждая как лук Купидона. Чарльз, подобно многим мужчинам того времени, жил под некоторым влиянием лафатеровской «Физиогномии»[59]. Так что он обратил внимание на этот рот, и плотно сжатые губы не ввели его в заблуждение.

---

[58] Примечания: 58

Образ идеальной американки 90-х годов XIX века, созданный нью-йоркским художником-иллюстратором Ч. Гибсоном: полногрудая девушка с тонкой талией и пышной прической.

[59] Примечания: 59

Иоганн Каспар Лафатер (1741–1801) — швейцарский писатель и богослов, заложивший основы криминальной антропологии.

Беглый взгляд этих темных глаз всколыхнул в его памяти воспоминания… никак не связанные с Англией. Подобные лица у него ассоциировались с иностранками, и, если уж совсем откровенно (чего он себе не позволил), с иностранками в парижских койках. Его понимание Сары перешло в новое качество. Она умнее и независимее, чем кажется, и в ее натуре угадываются темные уголки.

У большинства англичан той эпохи такое интуитивное открытие вызвало бы отторжение, да и у Чарльза, надо сказать, оно вызвало легкий шок. Разделяя многие предрассудки своих современников, он был готов подозревать чувственность в любом обличье; но если они прибегли бы к чудовищному уравнению, продиктованному своим суперэго, и обвинили бы Сару в том, что она такой родилась, то он был к этому не готов. За что мы должны благодарить его научную ориентацию. Дарвинизм — и в этом отдавали себе отчет наиболее проницательные оппоненты — открывал шлюзы кое-чему посерьезнее, чем развенчание библейской саги о происхождении человека; его глубинная подоплека уходила корнями в детерминизм и бихевиоризм, иными словами, в философию, которая низводит мораль до лицемерия, а долг — до соломенной хижины

во время урагана. Я не хочу сказать, что Чарльз полностью оправдывал Сару; просто он не был склонен ее осуждать в той мере, в какой это ей представлялось.

Отчасти, стало быть, научная ориентация… а еще Чарльз с выгодой для себя прочел — исподтишка, так как книга подверглась судебному преследованию за непристойности — роман, вышедший во Франции около десяти лет назад, глубоко детерминистский в своих посылах, знаменитую «Мадам Бовари». И когда он украдкой разглядывал лицо по соседству, имя Эммы Бовари вдруг всплыло в его голове из ниоткуда. Подобные аллюзии одновременно открывают глаза и искушают. Вот почему он так и не откланялся.

Наконец она заговорила:

— Я не знала, что вы здесь.

— Как вы могли знать?

— Я должна вернуться.

И она повернулась, чтобы уйти, но он ее опередил:

— Вы позволите мне сказать несколько слов? Хотя, наверное, я не вправе их говорить, будучи для вас и ваших обстоятельств посторонним человеком. — Она стояла к нему спиной, опустив голову. — Я могу продолжать?

Она молчала. И, секунду поколебавшись, он продолжил:

— Мисс Вудраф, я не стану делать вид, что миссис Трантер не обсуждала ваши обстоятельства… в моем присутствии. Я лишь замечу, что она о вас говорила с симпатией и великодушием. Она находит, что ваше нынешнее положение сделало вас несчастной, но так уж сложились обстоятельства, как я понимаю, а они были далеки от благоприятных. Я еще мало знаю миссис Трантер, но, признаюсь, одной из радостей моей предстоящей свадьбы стало то, что я познакомился с человеком такой сердечной доброты. Однако ближе к делу. Я уверен…

Он не договорил, увидев, как она резко обернулась к роще за ее спиной. Своим обостренным слухом она уловила звук хрустнувшей ветки. Он не успел спросить, в чем дело, как вдруг услышал приглушенные мужские голоса. А Сара не теряла времени даром: подхватив подол юбки, она пробежала в восточном направлении метров сорок и скрылась в зарослях можжевельника. Чарльз стоял в смятении, немой соучастник ее преступления.

А между тем голоса приближались. Надо было что-то делать. Он прошел до боковой тропы

между кустами, глянул вниз, а там двое. При виде незнакомца они обомлели. Они явно собирались подняться по тропе, где он сейчас стоял. Чарльз уже открыл рот, чтобы пожелать им хорошего дня, но парочка исчезла с поразительной быстротой. «Делаем ноги!» — просипел один, и послышался удаляющийся топот ног. Потом раздался зазывный свист и возбужденное тявканье собаки. И тишина.

Подождав минутку и убедившись, что опасность миновала, он направился к зарослям можжевельника. Сара стояла так, что колючки впивались ей в бок. Лицо отвернула.

— Они ушли. Два браконьера, я полагаю.

Она кивнула, избегая встречаться с ним взглядом. Кусты вовсю цвели, и отливающие кадмием желтые лепестки почти полностью затмили зелень. Воздух был напоен ароматами медового мускуса.

— Зря вы убежали.

— Джентльмена, который заботится о своем добром имени, не должны видеть рядом с алой блудницей[60].

Это был смелый шаг; в голосе звучала горечь.

---

[60] Примечания: 60
Отсылка к роману Натаниэля Готорна «Алая буква».

Он улыбнулся, видя только ее профиль.

— Мне кажется, алые у вас только щечки.

Она полоснула его глазами загнанного зверя, которого продолжают мучить, и снова отвернулась.

— Поймите меня правильно, — мягко сказал он. — Я глубоко сожалею по поводу вашего незадачливого положения. И оценил, с какой деликатностью вы позаботились о моей репутации. Но таким, как миссис Поултни, все это безразлично.

Она не шелохнулась. А он продолжал улыбаться, расслабленный во всем — в путешествиях, в чтении книг, в познании мира.

— Дорогая мисс Вудраф, я много чего повидал на своем веку. И у меня хороший нюх на ханжей… с какой бы набожной напыщенностью они ни обращались к пастве. Может, вы все-таки покинете свое убежище? В нашей случайной встрече нет ничего неприличного. Уж позвольте мне закончить мою мысль.

Он отступил, и она снова вышла на лужайку. Он заметил, что ресницы у нее мокрые. Чтобы не давить своим присутствием, он, оставаясь у нее за спиной, сохранял расстояние в несколько метров.

— Миссис Трантер хотела бы… и даже очень… помочь вам изменить ситуацию, если вы сами этого желаете.

Она лишь покачала головой.

— Каждый человек, вызывающий симпатию… заслуживает помощи. — Он сделал паузу. Порыв ветра выбил прядку волос, и она нервно вернула ее на место. — Я всего лишь говорю то, что миссис Трантер, уверен, предпочла бы вам сказать сама.

Он не преувеличивал. За непринужденным обедом, последовавшим после примирения, был разговор о миссис Поултни и Саре. Если Чарльз стал временной жертвой старухи, то неудивительно, что двух дам беспокоила судьба жертвы постоянной. Чарльз решил, что раз уж он зашел так далеко, на что способен только столичный ангел, то стоит ей рассказать о выводах, сделанных в тот вечер.

— Вам лучше покинуть Лайм. У вас прекрасные профессиональные навыки, как я понимаю. Уверен, что в другом месте вы сможете им найти более достойное применение. — Сара молчала. — Я уверен, что мисс Фриман и ее мать будут счастливы навести необходимые справки в Лондоне.

Она отошла к кусту можжевельника у самого

обрыва и долго глядела в открытое море, затем повернулась и устремила на него неотрывный странный взгляд блестящих глаз. Он ответил ей улыбкой, отдавая себе отчет в том, насколько она беспомощна, однако был не в силах удержаться.

Наконец она опустила глаза.

— Спасибо вам. Я не могу уехать отсюда.

Он чуть заметно пожал плечами. Она его озадачила, почти обидела.

— Тогда еще раз приношу извинения за то, что вторгся в вашу частную жизнь. Больше это не повторится.

Он откланялся и повернулся, чтобы уйти. Но не успел сделать и двух шагов, как она заговорила:

— Я… я знаю, что миссис Трантер желает мне добра.

— Тогда пойдите навстречу ее желаниям.

Она уставилась в дерн под ногами.

— Вы со мной говорите так, будто… будто я не та, какая есть… за это я вам премного благодарна. Но подобная доброта…

— Подобная доброта?

— Еще более жестокая, чем…

Не закончив фразы, она развернулась к морю. Чарльз испытывал сильное желание взять ее за плечи и хорошенько встряхнуть. Трагедия

уместна на сцене, а в обычной жизни она порой выглядит как извращение. И он дал ей это понять, пусть и не в столь грубой форме.

— То, что вы называете моим упрямством, на самом деле мое единственное спасение, — сказала она.

— Мисс Вудраф, позвольте, я буду с вами откровенен. Мне довелось слышать мнение, что вы слабы рассудком. Я нахожу это весьма далеким от истины. По-моему, вы просто слишком сурово оцениваете свое поведение в прошлом. Почему, ради всего святого, вы должны всегда ходить одна? Неужели вы еще недостаточно себя наказали? Вы молоды. Вы способны зарабатывать себе на жизнь. Семейные узы, насколько я понимаю, не привязывают вас к Дорсету.

— Есть узы.

— Связывающие вас с французским джентльменом? — Она отвернулась, давая ему понять, что это запретная тема. — Позвольте мне настаивать… такие темы подобны ранам. Не говорить о них — и раны начинают гноиться. Если он не вернется, значит, он вас недостоин. А если вернется, не могу себе представить, что он с легкостью смирится, не найдя вас в Лайм-Риджисе. Наверняка выяснит, где вы, и последует за вами. Так говорит

здравый смысл, разве нет?

Последовало долгое молчание. Он приблизился, чтобы видеть ее хотя бы в профиль. Ее лицо приняло странное выражение, почти безмятежное, как будто его слова подтвердили то, о чем она знала в глубине сердца.

Она продолжала глядеть в море, где в пяти милях от них, освещенный солнцем, двигался на запад бриг с красновато-коричневым парусом.

— Он никогда не вернется.

— Вы *боитесь*, что он не вернется?

— Я знаю, что он не вернется.

— Я вас не понимаю.

Она повернулась и смерила его озадаченное и такое заботливое лицо долгим взглядом. Казалось, его смятение в некотором смысле доставляет ей удовольствие. Затем она снова отвернулась.

— Я давно получила письмо. Он… — она себя оборвала, словно решив, что сказала лишнее. И вдруг быстро пошла, почти побежала к лесной тропе.

— Мисс Вудраф!

Она сделала еще пару шагов, прежде чем обернуться. И снова эти глаза одновременно его пронзили и оттолкнули. В ее голосе была

сдерживаемая резкость — даже в чем-то готовая согласиться, она бросала вызов.

— Он женат!

— Мисс Вудраф!

Но реакции не последовало. И вот он остался один. Его удивление выглядело естественным. Неестественным было явственное ощущение своей вины. Как будто он проявил бездушие, не выразил ей симпатии, хотя, как ему казалось, он сделал все от него зависящее. Он продолжал смотреть ей вслед еще несколько секунд после того, как она скрылась. А затем перевел взгляд на далекий бриг, словно рассчитывая получить от него ответ на загадку. Но не получил.

17

Песок, эспланада, корабль, отдающий швартовы,
В толпе оживленной
Резвятся гулены,
И в нос ударяет запах водички соленой;
Скользят по утесу лучи заходящего солнца,
Сияют от глянца
Мостики, шканцы,
И вальс Morgenblätter[61] зевак зазывает на танцы.
Взошел я тогда на корабль,
А навстречу она,
Печальна, одна…

Томас Харди. В приморском городе (1869)

Вечером в ассамблее Чарльз сидел между те-

---

[61] Примечания: 61
Вальс Иоганна Штрауса Morgenblätter («Утренние газеты»).

тушкой Трантер и Эрнестиной. Хотя ассамблея в Лайме была, пожалуй, поскромнее, чем в Бате или Челтенхэме, но просторный зал и вид на море из окон радовали глаз. Это общественное место даже слишком радовало глаз, поэтому великому британскому богу по имени Удобство принесли жертву: эти самые удобства по решению городского совета, весьма прямолинейно относящегося к запросам коллективного мочевого пузыря, были уничтожены, и на смену им установили то, что можно смело назвать самой уродливой и неудачно расположенной уборной на Британских островах.

Впрочем, не думайте, что миссис Поултни и компания возражали исключительно против фривольной архитектуры местной ассамблеи. У них вызывало ярость то, что там происходило. Мужчины с сигарами во рту играли в вист, устраивались балы и концерты. Короче, поощрялись земные удовольствия. А миссис Поултни и ей подобные отлично знали, что единственным достойным местом в городе для сбора может быть только церковь. Впоследствии, когда ассамблею снесли, из Лайма, можно сказать, вырвали сердце и до сих пор его не вернули.

Чарльз вместе с двумя дамами пришел в обре-

ченное здание на концерт — никоим образом не светский, а основательно религиозный по причине Великого поста. Но даже это шокировало узколобых жителей Лайма, которые выражали, по крайней мере публично, такое же уважение Великому посту, как ортодоксальные мусульмане — рамадану. Вот почему пустовали отдельные места перед украшенной папоротником кафедрой в большом зале, где проходили концерты.

Наша просвещенная троица пришла пораньше, как и подавляющее большинство, ибо в девятнадцатом веке на концерты приходили не только ради музыки, но и ради самого общества. Для дам это была прекрасная возможность оценить и прокомментировать наряды соседей, ну и, конечно, продемонстрировать собственные. Даже Эрнестина, при всем ее презрении к провинциальности, пала жертвой общего тщеславия. Она точно знала, что по части вкуса и роскоши у нее почти не будет соперниц, и эти взгляды украдкой на ее шляпку-таблетку (никаких пышных старомодных шляп, увольте!) с бело-зелеными ленточками, на платье *vert esperance*[62], на лилово-черную мантилью, на ботинки-балморалы

[62] Примечания: 62
Цвета зеленой надежды *(фр.).*

с закрытой шнуровкой приятно компенсируют повседневную скуку.

В этот вечер она была в дерзко-игривом настроении, и Чарльз одним ухом слушал комментарии тетушки Трантер (где кто живет, их родственники и предки), а другим — озорные выпады Тины, высказанные *sotto voce*[63]. Вон та дама, с виду этакий Джон Булль[64], объясняла ему тетушка, «это миссис Томкинс, добрейшая душа, немного глуховата, живет за «Домом с вязом», а ее сын сейчас в Индии»; а второй голос тут же ей давал краткую характеристику: «Типичный крыжовник». Если верить Эрнестине, зал был заполнен не столько людьми, сколько крыжовником, готовым терпеливо (пока есть возможность посплетничать) дожидаться начала концерта. Каждая эпоха придумывает свой полезный эпитет к одному и тому же понятию: в 1860-х «крыжовник» означал «старомодный человек и зануда», а в наши дни Эрнестина называла бы этих уважаемых ценителей музыки «квадратами»… тем более что миссис

---

[63] Примечания: 63

Шепотом *(лат.).*

[64] Примечания: 64

Шутливое прозвище типичного англичанина. Впервые употреблено в сатирическом памфлете Дж. Арбетнота «Тяжба без конца, или История Джона Булля» (1712).

Томкинс со спины так и выглядела.

Но вот на сцену вышла известная сопрано из Бристоля вместе с аккомпаниатором, еще более известным синьором Риторнелло (или что-то в этом роде, ибо если он пианист, то уж точно итальянец), и Чарльз наконец получил свободу проанализировать свои путаные мысли.

По крайней мере он предпринял попытку анализа, словно речь шла о долге, хотя на самом деле за этим скрывался щекотливый факт: он получал удовольствие. Говоря по-простому, он был несколько одержим Сарой… или, во всяком случае, загадкой, каковую она из себя представляла. Вызвавшись проводить дам в ассамблею, он намеревался — или ему так казалось — рассказать им о неожиданном свидании; разумеется, на условии, что они никому не проговорятся о прогулках Сары в Верскую пустошь. Вот только подходящий момент так и не подвернулся. Прежде всего, требовалось обсудить исключительно материальный вопрос: ошибку, совершенную Эрнестиной, которая надела гренадин, хотя по сезону надо было кашемир. «Не носи гренадин до мая» — так звучала одна из 999 заповедей, которые ее родители добавили к каноническим десяти. Вместо того чтобы высказать озабоченность,

все сомнения Чарльз погасил комплиментом. А имя Сары не прозвучало скорее из-за некоего ощущения, что он позволил себе слишком далеко зайти в разговоре с ней, утратив всякое чувство меры. Он поступил чрезвычайно глупо, позволив неоправданной рыцарской учтивости затмить здравый смысл; и, самое ужасное, теперь будет чертовски трудно все это объяснить Эрнестине.

Он отдавал себе отчет в том, что юная леди вовсю пестовала свою потаенную ревность. В худшем случае она воспримет его поведение как не укладывающееся в голове и рассердится; а в лучшем случае над ним поиздевается… хотя шансов на такой вариант немного. И желательно без издевок по этому поводу. Скорее он мог бы довериться тетушке Трантер. Она наверняка разделила бы его благородные помыслы, но ей совершенно чуждо двуличие. И ее бесполезно просить о том, чтобы она ничего говорила племяннице. А если Тина узнает от тети о его встрече в лесу, то тут уж ему точно достанется на орехи. Говорить о каких-то других своих чувствах с Эрнестиной в тот вечер ему совсем не хотелось. Не сказать, чтобы ее юмор его раздражал, просто он ему казался странным и вызывающе искусственным, как будто она его себе присвоила вместе с

французской шляпкой и новой мантильей — и не столько по случаю, сколько ради них самих. Этот юмор требовал от него реакции… ответного блеска в глазах, не сходящей с лица улыбки, которую он ей дарил, но тоже искусственно, так что это было такое двойное притворство. Может, дело было в мрачном сочетании Генделя и Баха или в заметных диссонансах между примадонной и аккомпаниатором, но он себя поймал на том, что искоса посматривает на сидящую рядом с ним девушку — посматривает так, словно впервые видит, словно она для него абсолютная незнакомка. Да, очень мила, очаровательна… но какая-то бесхарактерная и несколько однообразная в своем заданном парадоксальном наборе напускной скромности и сухости. И если отнять названные качества, то что останется? Пресный эгоизм. Чарльз поспешил отогнать от себя эту немилосердную мысль. Может ли быть другим единственный ребенок богатых родителей? Видит бог, — иначе как бы он в нее влюбился? — Эрнестина вовсе не бесхарактерная, если сравнивать ее с богатыми охотницами за мужьями в Лондоне. Но разве это единственный рынок невест? Чарльз твердо верил в то, что он выгодно отличается от подавляющего большинства своих

ровесников и современников. Вот почему он столько путешествовал. Он находил английское общество слишком ограниченным, английскую церемонность излишне церемонной, английскую философию чересчур морализаторской, а английскую религию слишком лицемерной. И какой же вывод? Не слишком ли он поддался условностям в важнейшем вопросе выбора спутницы жизни? Не пошел ли он самым очевидным путем, вместо того чтобы следовать самым продуманным?

И каков же самый продуманный путь? Подождать.

Одолеваемый осиными укусами самоанализа, он стал испытывать к себе жалость — умнейший человек попал в западню, Байрона приручили. Мысли снова перескочили на Сару, ее визуальный образ, он пытался реконструировать это лицо, этот щедрый рот. И в памяти что-то всколыхнулось, слишком призрачное, слишком обобщенное, чтобы связать с каким-то источником в прошлом, но его это растревожило, зацепило, заставило обратиться к потаенному «я», о котором он, кажется, и не подозревал. Он себе признался: «Глупее не придумаешь, но эта девушка меня к себе притягивает». Вполне очевидно, что притягивает его не столько сама Сара

— исключено, ведь он помолвлен, — сколько некая эмоция, некая вероятность, которую она олицетворяла. Она помогла ему осознать, чего он себя лишил. Будущее всегда манило его невероятными возможностями, и вдруг оно оказалось спланированным путешествием в один конец. Это она сейчас открыла ему глаза.

Локоток Эрнестины нежно напомнил ему о происходящем. Певица требовала аплодисментов, и Чарльз вяло внес свою лепту. Снова спрятав руки в муфту, Эрнестина послала в его сторону полукомическую презрительную гримасу, отчасти намекающую на его отсутствующее выражение лица и отчасти относящуюся к никчемной певице. В ответ он улыбнулся. Такая юная, совсем еще дитя. Разве можно на нее сердиться! Женщина, что с нее возьмешь. Есть вещи, которые она никогда не поймет: все сложности мужской жизни и то, как трудно оставаться человеком, для которого мир не сводится к платьям, детишкам и домашнему очагу.

Все образуется, когда она окончательно станет его женщиной — в постели, в банковском счете… ну и, конечно, в сердце.

А тем временем Сэм рассуждал как полная противоположность своего хозяина: эта Ева поняла

хоть словечко из того, что он ей говорил? Сегодня нам трудно представить, какая пропасть разделяла парня, выросшего возле «Семи стрелок»[65], и дочь ломового извозчика из далекой деревни в Восточном Девоншире. Примерно столько же препятствий возникло бы при встрече эскимоса и зулуски. Язык, на котором они говорили, трудно было назвать общим, и они часто просто не понимали друг друга.

Но эта дистанция, эти пропасти, не соединенные мостами в виде радио, телевидения, дешевых туров и проч., еще не означали, что все так безнадежно. Возможно, люди знали меньше друг о друге, зато они чувствовали себя друг от друга свободнее, а значит, в большей степени личностями. Весь мир не был для них доступен по щелчку. Странники выглядели странно, но порой эта странность возбуждала, поражала своей красотой. Человечество, возможно, и выиграло от того, что мы стали больше общаться. Но я, еретик, считаю, что изоляция была для наших предков предпочтительнее, и они этим наслаждались, а нам остается только позавидовать. Сегодня мира в буквальном смысле слишком много.

---

[65] Примечания: 65
Площадь в Лондоне, где сходятся семь улиц.

В какой-нибудь пивной Сэм производил впечатление человека, знающего все про городскую жизнь — и кое-что еще в придачу. Он с вызывающим презрением относился ко всему, что не исходило от лондонского Вест-Энда с его бурной жизнью. Но в глубине души все обстояло иначе. Под этой маской скрывался робкий и неуверенный в себе парень, знающий, чего он хочет (правда, до этого ему еще расти и расти), но сомневающийся, сумеет ли он добиться желаемого.

Мэри в душе была его полной противоположностью. Да, она была Сэмом ослеплена; во многих отношениях он ей казался высшим существом, и если она его поддразнивала, то исключительно в порядке самообороны, так как имела дело с очевидным культурным превосходством: это умение столичного жителя преодолевать препятствия, находить кратчайшие пути, добиваться своего. Но при этом она обладала изначальной твердостью характера, своего рода бесхитростной уверенностью в себе, пониманием того, что однажды она станет хорошей женой и хорошей матерью, и еще она знала, кто чего стоит… например, видела разницу между своей хозяйкой и ее племянницей. На то она и крестьянка, а крестьяне гораздо ближе к настоящим ценностям,

чем городские рабы.

Сэм сразу в нее втюрился, потому что она была как летний день после однообразных «половых тряпок» и «веселух»[66], к которым свелся весь его прошлый сексуальный опыт. Самоуверенности по этой части, как всем кокни, ему было не занимать. Красивая черная шевелюра, озерно-синие глаза, свежий цвет лица. Худощавый, стройный, телодвижения изящные, но с тенденцией к подчеркнутому преувеличению кое-каких маньеризмов Чарльза, которые представлялись ему истинно джентльменскими. Женщины, как правило, провожали его взглядами, но после более короткого знакомства с лондонскими девушками он читал в их глазах в основном цинизм, отражавший его собственный. Что сразу заставило его сделать стойку при виде Мэри, так это ее невинность. Он почувствовал себя мальчишкой, который пускал «зайчиков», пока в один прекрасный день не навел свое зеркальце на нежное создание, не заслуживавшее такого обращения. Ему вдруг захотелось быть с ней самим собой… и

[66] Примечания: 66

«Половая тряпка» — служанка, в свободное время подрабатывающая проституцией. «Веселуха» — проститутка, как явствует из знаменитой карикатуры Лича 1857 года, где две женщины с печальными лицами стоят под дождем «в непосредственной близости от Хеймаркета». Одна обращается к другой: «Фанни! И давно ты стала веселухой?».

понять, какая она.

Это внезапное, более глубокое понимание друг друга пришло к ним во время того утреннего визита. Они с Мэри начали обсуждать на кухне свое служебное положение, а также достоинства и недостатки мистера Чарльза и миссис Трантер. Мэри заметила, что с хозяином ему повезло. Сэм поколебался и вдруг, к собственному изумлению, выложил простой молочнице то, о чем прежде говорил лишь с самим собой.

Его амбиции сводились к одной простой мысли: он хочет быть галантерейщиком. Не может пройти мимо магазина без того, чтобы не остановиться перед витриной — что-то нравится, что-то хочется покритиковать. Он знает, у него нюх к последним веяниям моды. Он путешествовал вместе с Чарльзом и взял на вооружение кой-какие иностранные идеи в этой области…

Все это (и попутно свое глубокое восхищение мистером Фриманом) он выложил ей несколько бессвязно, не забыв сказать о стоящих перед ним препонах: ни денег, ни образования. Мэри скромно его слушала, вся в мыслях о «другом Сэме» и о том, что ей оказали честь, позволив взглянуть на него украдкой. Что-то я разболтался, подумал Сэм. Но всякий раз, нервно на нее поглядывая в

ожидании презрительной усмешки или хохотка по поводу его нелепых притязаний, он встречал только симпатию, выражавшуюся в робкой улыбке и широко открытых глазах, недвусмысленно просивших его продолжать. Его слушательница ощущала себя нужной, а девушка, которая ощущает себя нужной, на четвертинку уже влюблена.

Но вот пришло время прощаться. А кажется, только пришел. Он поднялся, и на ее губах снова заиграла озорная улыбка. Ему хотелось признаться в том, что еще никогда он не говорил о себе так свободно — или так серьезно. Однако не сумел подобрать нужных слов.

— Ну. До завтра, что ль.

— Ежли получится.

— У вас небось куча ухажеров.

— Мне никто не нравится.

— Есть, есть. Слыхали.

— Здесь вам наговорят. Нам нельзя на мужчин смотреть, а то сразу скажут: «ухаживает».

Он потрогал свою шляпу-котелок.

— П'всюду так. — Помолчали. Он поймал ее взгляд. — Я не ужасный?

— Я ниче такого не говорила.

Помолчали. Он прокрутил шляпу-котелок во-

круг своей оси.

— Я всяких встречал. Таких-сяких. А вы другая.

— Таких пруд пруди.

— Я такой не встречал. — Еще помолчали. Она глядела не на него, а на край своего фартука. — А как насчет Лондона? Хотели б посмотреть?

Она ухмыльнулась и энергично кивнула.

— Еще увидите. Когда эти, наверху, п'женятся. Я вам п'кажу всякие места.

— Правда?

Он подмигнул, и она едва успела закрыть рот рукой. Ее глаза сияли, щечки разрумянились.

— Они там все такие модницы, никуда вы со мной не пойдете.

— В подходящем платье вы будете очень даже.

— Я вам не верю.

— Зуб даю.

Их взгляды скрестились надолго. Он отвесил поклон и приложил котелок к левой груди.

— Одна просьба, мадемуазель.

— Какая?

— На Кум-стрит, по-фр'нцузски, завтра утром. Буду вас там ждать. Преданно ваш.

Она отвернулась, не в силах на него смотреть. Тогда он быстро подошел сзади и поднес ее руку к губам. Она ее отдернула так, словно на ней

остался отпечаток сажи. Их взгляды мимоходом еще раз пересеклись. Она прикусила красивую нижнюю губку. Он еще раз кивнул и вышел.

Встретились ли они на следующее утро, несмотря на строгий запрет Чарльза, я не знаю. Но в тот день, когда Чарльз вышел из дома миссис Трантер, его поджидал Сэм, как бы совершенно случайно, на противоположной стороне улицы. Чарльз жестом римлянина попросил его о пощаде, на что Сэм почтительно приложил шляпу-котелок к сердцу, словно обращаясь к прохожему, вот только при этом растянул рот в улыбке до ушей.

И это возвращает меня к вечернему концерту неделей позже и объяснению, почему Сэм так разошелся в оценках с хозяином по поводу женского пола. Он снова оказался в той самой кухне. Правда, сейчас там присутствовала дуэнья — повариха миссис Трантер. Но она крепко спала в резном деревянном кресле перед горящей печкой. Сэм и Мэри молча сидели в темном углу. Слова были излишними. Они держались за руки. Для Мэри это было средство защиты, ибо только так она могла удержать его руку, пытавшуюся обнять ее за талию. Почему Сэм при всем при том продолжал считать ее такой отзывчивой,

остается загадкой, которую ни один любовник не посчитает нужным как-то объяснить.

18

Стоит ли удивляться тому, что законы общества порой игнорируются людьми, на которых общество периодически закрывает глаза и которых сердце общества отвергает?

Доктор Джон Саймон. Общегородской медицинский отчет (1849)

И я склонился над водою
И зачерпнул в ключе студеном;
Вдруг тень явилась предо мною
С печальным взглядом, отрешенным.

Томас Харди. В канун летнего солнцестояния

Два дня отбойные молотки Чарльза без дела пролежали в рюкзаке. Он гнал от себя мысли о редкой породе, ждущей, когда ее кто-то обнаружит, а также с нею связанные мысли о женщинах, спящих на освещенных солнцем скальных уступах. Но тут Эрнестина слегла с мигренью, и у него неожиданно обнаружился свободный день. Он

еще колебался, стоя в эркере, но все, что происходило на его глазах, было на редкость мелким и скучным. С вывески трактира на него мрачно глазел белый лев с мордой голодного пекинеса и странным образом похожий на миссис Поултни, о чем он уже однажды высказался. Немножко ветра, немножко солнца… серый балдахин из туч, слишком высоко висящий, чтобы грозить дождем. Он собирался писать письма, но большого желания не испытывал.

По правде говоря, не было вообще никаких желаний. Тем удивительнее, что у него вдруг проснулась давняя страсть к путешествиям, казалось бы, угасшая за последние годы. Хорошо бы сейчас перенестись в Кадис, Неаполь или на Мореа, в теплую средиземноморскую весну, не столько даже из-за самой весны, сколько ради свободы, когда впереди тебя ждут недели странствий, морские вылазки к островам, горным вершинам, голубым горизонтам неизвестного.

А через полчаса он уже миновал маслобойню и вышел к Верской пустоши. Мог ли он выбрать другой путь? Разумеется. Однако он строго запретил себе даже приближаться к луговине на утесе. А если, паче чаяния, встретит мисс Вудраф, то вежливо, но твердо поступит так, как ему следо-

вало поступить во время их последней встречи — а именно, откажется вступать в разговор. Но она ходит в одно и то же место, можно не сомневаться. Так что если держаться подальше, то они точно не пересекутся.

Соответственно задолго до опасной точки он свернул на север и двинулся через рощу из ясеней, увитых плющом. Это были огромные деревья, одни из самых больших в Англии, в чьих мощных развилках прятались диковинные колонии сладкокорня. Вид этих исполинов и подсказал вторгшемуся в их владения джентльмену идею открыть здесь свой дендрарий. Чарльз ощущал себя карликом, симпатичным карликом, пробирающимся между ними к почти вертикальным меловым граням. У него даже улучшилось настроение, особенно когда среди пролески многолетней и аронника замелькала кремневая галька. Вскоре он подобрал образчик *Echinocorys scutata*[67]. От него мало что осталось… еле видный след от одной из пяти сходящихся лентовидных пористых пластинок, украшающих идеальный панцирь. Но все же лучше, чем ничего, и обнадеженный Чарльз то и дело останавливался и

[67] Примечания: 67
Эхинокорис иглохвостый *(лат.).*

нагибался.

Он не сразу вышел к подножию утеса, где валялась кремневая порода, наверняка подвергшаяся коррозии и истертая. Не меняя уровня, он стал продвигаться на запад. Там и сям заросли плюща, неразборчиво карабкаясь по скалам и веткам деревьев, повисали у Чарльза над головой неровными занавесами. В одном месте ему пришлось буквально продираться сквозь зеленый тоннель, в конце которого, на прогалине, напáдали куски кремня. Здесь, вероятно, было чем поживиться, и он решил досконально обследовать территорию, со всех сторон окруженную разросшейся ежевикой. Минут десять он занимался делом, слыша лишь мычание теленка на далеком поле, хлопанье крыльев и воркованье лесных голубей да едва различимый морской плеск где-то там внизу за деревьями. И тут как будто где-то рядом скатился камешек. Он задрал голову, ничего особенного не увидел и решил, что действительно с мелового утеса упал кусок кремня. Еще пару минут он поисследовал образцы, и вдруг какая-то необъяснимая интуиция, вероятно, доставшаяся ему со времен палеолита, подсказала ему, что он тут не один. Он резко обернулся.

Она стояла над ним, метрах в сорока, там, где

заканчивался тоннель из плюща. Сколько она так простояла, можно было только гадать, однако он вспомнил про недавно скатившийся камешек. Он немного даже испугался; просто невероятно, как бесшумно она подкралась. Хотя она не в кованых ботинках, но все равно ей пришлось проявить особую осторожность. Она явно следовала за ним по пятам, чтобы вот так удивить.

— Мисс Вудраф! — Он приподнял шляпу. — Как вы здесь оказались?

— Я видела, как вы прошли мимо.

Он приблизился к ней по каменистой осыпи. Она, как и прежде, держала шляпку в руке. Волосы растрепались, словно от ветра, вот только ветра не было. Это придавало ей несколько одичалый вид, усугубляемый цепким взглядом. Он даже подумал: «А почему, собственно, я решил, что она не может быть немного сумасшедшей?»

— Вы хотите… мне что-то сказать?

Этот цепкий взгляд — не столько сквозь него, сколько сверху вниз. Сара была обладательницей необычного типа женского лица, чья привлекательность очень меняется в зависимости от настроения, освещения и угла зрения наблюдателя. Сейчас ее драматически выхватил косой луч, чудом пробившийся сквозь тучи, что нередко

случается в послеполуденной Англии. Он озарил ее фигурку, за которой просматривался зеленый склеп, и придал лицу необыкновенную, высшую красоту, торжественную и при этом залитую внутренним, а не только внешним светом. Чарльз вспомнил, что вот так же крестьянин неподалеку от водопада Гаварни в Пиренеях якобы увидел Деву Марию, стоящую у дороги… всего за несколько недель до того, как там прошел Чарльз. Его отвели к тому месту — ничего примечательного. Но если бы тогда перед его взором явилась такая фигура!

Впрочем, у *этой* фигуры миссия была вполне приземленная. Она запустила руки в карманы пальто и предъявила ему два великолепных образца *Micraster*[68]. Он взобрался по насыпи, чтобы получше их разглядеть. Потом поднял удивленный взгляд; его встретило неулыбчивое лицо. И тут он вспомнил, как в то утро у миссис Поултни вкратце упомянул о палеонтологии и важности морских ежей. И вот он снова вгляделся в образцы, что лежали у нее на ладонях.

— Вы их не возьмете?

Она была без перчаток, и их пальцы сопри-

[68] Примечания: 68

Micraster (*лат.)* — разновидность морского ежа в меловых отложениях.

коснулись. Он разглядывал образцы, но все его мысли вертелись вокруг этих холодных пальцев.

— Я вам очень благодарен. Они в отличном состоянии.

— Это то, что вы ищете?

— Да.

— Когда-то это были морские раковины?

Секунду поколебавшись, он стал показывать на лучшем из двух образцов характерные признаки: рот, амбулакральные ножки, анус. Она слушала с неподдельным интересом, и все его подозрения быстро испарились. Девушка, конечно, выглядела странно, но, судя по вопросам, которые она задавала, кто мог ее назвать умалишенной? Наконец он аккуратно сложил образцы в карман.

— Я нахожу весьма любезным с вашей стороны, что вы занимались их поисками.

— Мне больше нечем было заняться.

— Я собираюсь возвращаться. Можно мне вас проводить?

Она не шелохнулась.

— Еще я хотела поблагодарить вас, мистер Симпсон… за предложение помощи.

— Поскольку вы от нее отказались, я вам еще больше признателен.

Последовала короткая пауза. Он прошел мимо

нее и раздвинул тростью стену из плюща, давая ей проход. Но она по-прежнему не двигалась и смотрела в глубину тоннеля.

— Мне не следует идти за вами.

При всем желании разглядеть ее лица он не мог.

— Кажется, мне лучше уйти.

Она ничего не ответила, и он уже был готов шагнуть в завесу из плюща. Но очень уж захотелось последний раз на нее взглянуть. Она повернула голову в его сторону, а тело, словно не одобряя подобного бесстыдства, стояло к нему спиной. Ее взгляд, отчасти хоть и сохранявший выражение вызова всем и каждому, сейчас, пожалуй, к себе притягивал. Страдальческие глаза заражали своим страданием; в них читалось поругание, беспомощность, над которой надругались. Они не обвиняли в этом Чарльза — скорее в том, что такое прошло мимо него. Их взгляды скрестились надолго, щеки ее порозовели, а затем она опустила взор долу и произнесла:

— Мне больше не к кому обращаться.

— Я, кажется, ясно дал понять, что миссис Трантер…

— Добрейшей души человек. Но мне не нужна доброта.

Повисла пауза. Его трость по-прежнему поддерживала завесу из плюща.

— Я слышал, что викарий отличается редким здравомыслием.

— Это он представил меня миссис Поултни.

Чарльз стоял перед зеленым проходом, как перед распахнутой дверью. Он уже избегал ее взгляда и отчаянно подыскивал слова, чтобы откланяться.

— Если вы мне позволите поговорить от вашего имени с миссис Трантер, я буду счастлив… но с моей стороны было бы неприлично…

— Проявлять и дальше интерес к моим обстоятельствам.

— Именно это я и хотел сказать, да. — Она отвернулась; это был ей выговор. Очень медленно он позволил гирляндам плюща опуститься. — Уж не пересмотрели ли вы мое предложение покинуть это место?

— Я знаю, кем я стану, если уеду в Лондон. — Он внутренне похолодел. — Тем же, кем стали в больших городах многие женщины, потерявшие девичью честь. — Она вся повернулась к нему. Щеки уже пылали. — Я стану тем, кем меня уже окрестили в Лайме.

Это было неслыханно, совсем уж неприлично.

Теперь и у него щеки пылали.

— Дорогая мисс Вудраф… — пробормотал он.

— Я слабая. Мне ли этого не знать? — И с горечью добавила: — Я согрешила.

Это новое откровение перед посторонним человеком, да еще в подобных обстоятельствах, словно перечеркнуло в его глазах все хорошее, что ей дала его маленькая лекция о морских ежах. Но при этом карман грели два образца, тем самым она его словно не отпускала, и Чарльз, прячущийся где-то там внутри, чувствовал себя польщенным, как священник, к которому обратились за духовным советом.

Он уставился на свою «железную ферулу» — ясеневую трость.

— Этот страх держит вас в Лайме?

— Отчасти.

— То, о чем вы мне поведали в прошлый раз… кто-нибудь еще об этом знает?

— Если бы знали, то не упустили бы возможности мне об этом сказать.

Затяжное молчание. В человеческих отношениях случаются моменты, похожие на модуляции: то, что до сих пор было объективной реальностью, которую сознание самому себе готово описать в окололитературных терминах и кото-

рую достаточно определить под неким общим заголовком (мужчина с алкогольной зависимостью, женщина с неудачным прошлым и так далее), вдруг становится субъективной, единственной в своем роде и, посредством эмпатии, сиюминутно переживаемой, а не просто наблюдаемой со стороны. Именно такая метаморфоза произошла с Чарльзом, когда он смотрел на склоненную голову грешницы. Как и все мы в такие минуты — кто хотя бы раз не попадал в объятья пьяницы? — он спешно искал пути восстановления дипломатического статус-кво.

— Мне вас искренне жаль. Но, признаться, я не понимаю, почему вы именно меня выбрали… в качестве вашего… конфидента.

Она будто ждала этого вопроса и заговорила быстро, как заученную литанию:

— Вы путешественник. Вы образованный. Вы джентльмен. Вы… вы… я живу среди людей, которых называют добрыми набожными христианами. Но они мне кажутся более жестокими, чем самые жестокие язычники, и более глупыми, чем самые глупые животные. Даже не верится. В этой жизни нет понимания и сострадания. Нет достаточно великодушных, чтобы понять, что я испытала и продолжаю испытывать… и,

какие бы грехи я ни совершила, я подобных страданий не заслуживаю. — Она умолкла. Не готовый к такому ясному выражению чувств, к проявлению неординарного ума, о чем он до сих пор лишь догадывался, Чарльз молчал. Она отвернулась и продолжала в уже более спокойном тоне: — Я счастлива, только когда сплю. Стоит мне проснуться, как начинаются кошмары. Меня как будто вышвырнули на необитаемый остров, где я отбываю срок, приговоренная неизвестно за какое преступление.

Чарльз в страхе взирал на ее спину, как человек, которого вот-вот накроет горный обвал; надо бы бежать, но не получается, хорошо бы что-то сказать, но не может.

Неожиданно она встретилась с ним взглядом.

— Почему я Вудраф? Почему не мисс Фриман? — Она тут же отвернулась, как только эта фамилия слетела с ее губ, поняв, что слишком далеко зашла.

— Это был явно лишний вопрос.

— Я не собиралась…

— В вашем случае зависть простительна…

— Не зависть, а непонимание.

— Помочь вам в этом не в моей власти… даже не во власти людей куда более мудрых, чем я.

— Я… никогда не поверю.

Чарльзу приходилось сталкиваться с тем, что женщины — частенько та же Эрнестина — возражали ему в игривой форме. Но это предполагало шутливый контекст. Женщина не возражала мужчине, если он говорил серьезно, или по крайней мере тщательно взвешивала слова. Сара же как бы утверждала равенство интеллектов и тем более в обстоятельствах, требовавших от нее особого почтения, если она рассчитывала добиться своей цели. Он чувствовал себя уязвленным и… трудно подобрать нужное словцо. Было бы логично холодно откланяться и потопать дальше в своих грубых кованых ботинках. А он стоял, словно в землю врос. Возможно, у него сложился слишком устойчивый образ сирены и обстоятельств ее появления — распущенные волосы, целомудренная алебастровая нагота и русалочий хвост, а рядом Одиссей с лицом, какое приветствуется в элитных клубах. Здесь, на береговом оползневом уступе, дорических храмов не наблюдалось… но вот же она, богиня Калипсо!

— Теперь я вас оскорбила, — пробормотала она.

— Вы меня озадачили, мисс Вудраф. Я не знаю, чего еще вы от меня ждете, кроме того, что я

вам уже предложил. Вы должны понимать, что бóльшая близость… какими бы невинными ни выглядели намерения… в моем нынешнем положении между нами невозможна.

Повисло молчание. Где-то в зеленом укрытии хохотнул дятел над двуногими, застывшими как изваяния.

— Разве бы я… бросилась к вашим ногам за милостью, если бы не мое отчаянное положение?

— Ваше отчаяние я разделяю. Но, по крайней мере, признайте невозможность ваших притязаний… которые мне до сих пор непонятны.

— Я бы хотела вам рассказать о том, что случилось полтора года назад.

Молчание. Она пыталась прочитать реакцию по его лицу. А Чарльз весь подобрался. Невидимые оковы упали, он снова ощутил себя рабом условностей. Сейчас он был этаким памятником оскорбленному человеку, в чьих глазах читалось суровое осуждение… и что-то еще… желание услышать объяснение, понять мотив. Но, прежде чем она успела открыть рот, он сделал движение, чтобы уйти. И тут она, словно прочитав его намерения, сделала опережающее движение, столь же внезапное, сколь и непредсказуемое. Она упала на колени.

Чарльз пришел в ужас. Он представил, о чем сейчас может подумать какой-нибудь тайный наблюдатель. Он отступил, словно желая исчезнуть со сцены. Она же, как ни странно, сохраняла спокойствие. Это не была рухнувшая на колени истеричка. Взгляд стал пронзительным, и в глазах нет солнца, они купаются в вечном лунном свете.

— Мисс Вудраф!

— Умоляю. Я еще не сумасшедшая. Но стану ей, если вы мне не поможете.

— Держите себя в руках. Если нас увидят…

— Вы моя последняя соломинка. Вы не жестокий, я знаю, вы не жестокий.

Боязливо озираясь, он подошел, помог ей встать и повел под плющевую завесу, чувствуя, как в локоть вцепилась ее рука. И вот она уже стоит, закрыв ладонями лицо, а он, испытав сердечный порыв, который обычно передается сразу в мозг, отчаянно борется с желанием к ней прикоснуться.

— Я не хочу показаться безразличным к вашим бедам. Но вы должны меня понять… у меня нет выбора.

Она заговорила быстро, тихим голосом:

— Встретьтесь со мной еще один раз — это все,

о чем я прошу. Я буду сюда приходить каждый день. Здесь нас никто не увидит. — Он попытался вставить слово, но не тут-то было. — Вы добрый, вы понимаете меня, как никто в Лайме. Позвольте мне закончить. Два дня назад у меня чуть не случился приступ безумия. Я поняла, что должна увидеть вас, поговорить с вами. Я знаю, где вы остановились. Я бы пришла туда, если бы… если бы меня уже в дверях, к счастью, не удержали остатки разума.

— Это непростительно. Если я правильно понимаю, вы угрожаете мне скандалом.

Она решительно помотала головой.

— Не думайте обо мне так плохо, уж лучше смерть. Просто… не знаю, как сказать… эти кошмарные мысли доводят меня до отчаяния. Я прихожу в ужас от самой себя. Не знаю, к кому обратиться, что предпринять… рядом нет никого, кто бы мог… пожалуйста… неужели вы не понимаете?

Чарльз думал сейчас только об одном: бежать от этого кошмара, от этих безжалостно правдивых, немигающих глаз.

— Я должен идти. Меня ждут на Брод-стрит.

— Но вы еще придете?

— Я не могу…

— Я прихожу сюда в понедельник, среду и пятницу, когда у меня нет других обязанностей.

— Вы предлагаете мне… я буду настаивать на том, что миссис Трантер…

— Я не могу ей открыть всю правду.

— Тогда она тем более не для слуха постороннего человека, да еще другого пола.

— Посторонний человек… другого пола… часто оказывается наименее предвзятым судьей.

— Я, безусловно, надеюсь оценить ваше поведение со всей благосклонностью. Однако, повторюсь, меня удивляет, что вы обращаетесь…

Она не спускала с него глаз, и он так и не закончил фразы. Чарльз, как вы уже могли заметить, не отличался ограниченным словарным запасом. Утром с Сэмом — один, с Эрнестиной за веселым обедом — другой, а сейчас в роли защитника светских приличий… можно сказать, три разных человека, а впереди еще откроются новые грани. Биологически это можно объяснить дарвиновским термином «защитная окраска» — выживание за счет способности к мимикрии в окружающей среде… само собой, с поправкой на возраст и социальное происхождение. А еще этот внезапный переход к формальностям можно объяснить социологически. Когда так

долго катаешься по тонкому льду — тотальное экономическое давление, сексуальные запреты, накат механистической науки, — способность закрывать глаза на собственную абсурдную ригидность становится неотъемлемым качеством. Мало кто из викторианцев ставил под сомнение достоинства этой защитной окраски, но в глазах Сары что-то такое сквозило. Ее прямой взгляд мог показаться робким, но в нем читалось нечто очень современное: «Давай, Чарльз, колись». Что сразу выбивало из колеи. Эрнестина и ей подобные вели себя так, словно они из стекла: сама хрупкость, даже когда швыряли на пол книжки стихов. Они тебя поощряли надевать маску, сохранять дистанцию; а эта девушка, при всей видимости смирения, подобное отвергала. Теперь уже он опустил глаза.

— Я прошу всего один час вашего времени.

В том, чтобы пойти ей навстречу, помимо награды в виде кремневых образцов, был еще один резон: хорошие камни за час не найдешь.

— Ну если это так необходимо… я готов, при всем моем нежелании…

Она просияла и шепотом вставила:

— Я буду вам так благодарна, что последую любому вашему совету.

— Мы должны всячески избегать риска…

И снова она вклинилась, пока он подыскивал слово из светского лексикона.

— Я понимаю. Вас связывают куда более крепкие узы.

Солнечные лучи погасли после короткой иллюминации. День клонился к прохладному вечеру. Глядя на ее опущенную голову, он понял, что равнинная дорожка, по которой он до сих пор шагал, внезапно подошла к обрыву. Чарльз бы не ответил на вопросы, что его сюда заманило и почему он не сумел прочесть карту, но чувствовал он себя заманенным и потерянным. И вот совершил еще одну глупость.

— Даже не знаю, как вас благодарить, — заговорила она. — Я буду здесь в названные дни. — И, как если бы эта полянка была ее гостиной, добавила: — Я не смею вас больше задерживать.

Чарльз кивнул и бросил на нее прощальный взгляд. Вскоре он уже продирался сквозь завесы плюща, а потом, спотыкаясь, спускался по склону, больше похожий на испуганного самца косули, чем на искушенного английского джентльмена.

По береговому оползневому уступу он дошел до главной тропы и оттуда уже направился в Лайм. Проухала первая сова. Для Чарльза этот день был

лишен всякого смысла. Ему следовало проявить твердость, уйти раньше, вернуть образцы, предложить — нет, указать — другие выходы из ее отчаянного положения. Она его переиграла. В какой-то момент он даже захотел остановиться и ее подождать. Но в результате зашагал еще быстрее.

Он отдавал себе отчет в том, что может вкусить запретный плод, или скорее запретный плод вкусит его. Чем больше он от нее отдалялся во времени и в пространстве, тем яснее открывалось ему все безумие его поведения. Стоя лицом к лицу, он словно ослеп, не видел, что перед ним потенциально опасная женщина, сама того не осознающая, жертва острейшей эмоциональной фрустрации и социальных обид.

В этот раз вариант сказать все Эрнестине даже не рассматривался. Исключено. Он испытывал такие угрызения совести, как будто, ни о чем ее не предупредив, уплыл в Китай.

19

Так как особей каждого вида рождается гораздо больше, чем может выжить, и так как, следовательно, часто возникает борьба за существование, то из этого вытекает, что всякое существо, которое в сложных и нередко меняющихся условиях его жизни хотя незначительно варьирует в выгодном для него направлении, будет иметь больше шансов выжить и таким образом подвергнется естественному отбору.

Чарльз Дарвин. Происхождение видов

Плывущей в Китай жертве на самом деле этим вечером предстояло принять у себя тетушку Трантер, для которой они с Эрнестиной приготовили сюрприз. Двух дам ждал ужин в гостиной «Белого льва». Уже приготовили сочных лобстеров, сварили свежего лосося, сделали набег на винный погреб. А врача, которого мы мельком увидели однажды в доме миссис Поултни, уговорили прийти, дабы уравновесить баланс между полами.

Заметная фигура в Лайме, он считался таким же удачным уловом в реке Брак, как поданный ему лосось из реки Экс. Эрнестина безжалостно подтрунивала над тетушкой, обвиняя эту по натуре отзывчивую женщину в жестокосердии по отношению к одинокому несчастному мужчине, который домогается ее руки. Но поскольку этот несчастный справлялся со своим одиночеством уже больше шестидесяти лет, есть основания усомниться как в ее жестокосердии, так и в самом факте домогательства.

Доктор Гроган, если на то пошло, был таким же убежденным старым холостяком, как тетушка Трантер — старой девой. Будучи ирландцем, он в полной мере обладал удивительной способностью евнуха-ирландца порхать с цветка на цветок, флиртуя с особами женского пола и при этом не позволяя сердцу никем увлечься всерьез. Такая себе на уме пустельга, резкая, порой даже свирепая, но быстро расслабляющаяся в хорошей компании. Он привносил необходимую терпкость в местное общество. Рядом с ним ты чувствовал, что он словно парит и только ждет, чтобы на тебя наброситься из-за любой твоей оплошности; но если ты ему нравился, то тебе доставались тонизирующее остроумие и гуман-

ность от человека, который живет сам и дает жить другим. А еще в нем было что-то мрачноватое, ведь он родился католиком; перекидывая мостик в наше время, он мало чем отличался от коммуниста 1930-х годов, который хоть и влился в сегодняшнее общество, но сохранил на теле печать дьявола. Ныне он был (как и Дизраэли) уважаемым членом англиканской церкви — в противном случае разве миссис Поултни принимала бы его у себя? Вот только он (в отличие от Дизраэли) каждое воскресенье исправно посещал утреннюю службу. Вообще-то он был настолько далек от религии, что с таким же успехом посещал бы мечеть или синагогу, стань они главным местом поклонения, но это и в голову не могло прийти жителям Лайма. К тому же он был очень хороший врач с основательным знанием важнейшей составляющей медицины — природы своих пациентов. Тех, кто втайне желал, чтобы их запугивали, он запугивал; и с таким же успехом поддавливал, баловал или на что-то закрывал глаза, в зависимости от ситуации.

Он, как никто в Лайме, знал толк в хорошей еде и хорошем вине, а поскольку предлагаемая Чарльзом и «Белым львом» трапеза вызывала у него одобрение, он как-то незаметно взял на

себя роль хозяина. Отучившись в Гейдельберге и попрактиковав в Лондоне, он понимал этот мир со всеми его нелепостями, как способен понимать только просвещенный ирландец: то есть когда ему отказывали знания или память, тут же включалось его воображение. Никто не верил его рассказам… и все жаждали их услышать. Тетушка Трантер наверняка уже слышала их, как и другие жители Лайма, поскольку они с доктором были старыми друзьями, и знала, насколько каждое новое изложение расходится с предыдущим, но при этом каждый раз хохотала, да так заразительно, что даже страшно подумать, к какому выводу пришли бы столпы общества на холме, если бы они ее услышали.

В целом Чарльз остался доволен этим вечером, и не в последнюю очередь потому, что доктор в своих рассказах не давал себе слишком большой свободы речи и фактов, особенно когда упитанный лосось превратился в анатомические руины и джентльмены раскупорили графинчик с портвейном, что было не совсем комильфо в обществе, к коему была приучена Эрнестина. Чарльз пару раз заметил, что она слегка фраппирована, в отличие от тетушки, и поностальгировал по временам более открытой культуры, в которую

с радостью могли возвращаться его двое пожилых гостей. Наблюдая за озорным огоньком в глазах доктора и веселостью тетушки, он делал неутешительный вывод по поводу нынешней эпохи: давящее собственничество, восхваление не только буквальных механизмов в транспорте и производстве, но и куда более страшных механизмов, порождающих социальные условности.

Эта похвальная объективность, кажется, не очень-то сочеталась с его поведением всего несколько часов назад. Хотя сам он это четко не формулировал, но и не видеть такого противоречия, конечно, не мог. Меняя тактику, Чарльз себя убеждал, что он отнесся к мисс Вудраф слишком серьезно — не на широком шаге, так сказать, а на спотыкливом. За столом он уделял повышенное внимание Эрнестине; она уже выглядела не *souffrante*[69], но недостаточно оживленной, а было ли это результатом мигрени или ирландской болтовни, сказать трудно. И вновь, как и на концерте, в голову закралась мысль, что она какая-то мелковатая, а в живости ее ума, рассуждая интеллектуально и каламбурно, есть оттенок лживости. Не скрывается ли под маской

[69] Примечания: 69
Страдающей *(фр.)*.

серьезной значимости своего рода автомат — такая изобретательная девушка-машина из сказок Гофмана?

Но тут же подумал о том, что она еще дитя в окружении взрослых, и тихо пожал ей руку под столом красного дерева. Она покраснела, что ей очень шло.

В половине одиннадцатого двое джентльменов — высокий Чарльз, чем-то отдаленно похожий на покойного принца-консорта, и щупловатый коротышка доктор — проводили дам домой. Если в Лондоне в это время социальная жизнь только начиналась, то здесь городок уже погрузился в глубокий сон. Когда дверь перед их улыбающимися физиономиями закрылась, на Брод-стрит, кроме них, не было ни одной живой души.

Доктор приложил палец к носу.

— А вам, сударь, я прописываю хорошую порцию пунша, отмеренную твердой профессиональной рукой. — Лицо Чарльза изобразило вежливый протест. — Приказ лечащего врача. *Dulce est desipere in loco*[70], как сказал поэт. «Отрадно предаться безумию там, где это уместно».

Чарльз улыбнулся.

---

[70] Примечания: 70

Гораций. «Оды», IV, 12. *Ср. русск.*: Кончил дело — гуляй смело.

— Если вы обещаете, что грог окажется лучше, чем латынь, то с удовольствием.

Спустя десять минут Чарльз сидел в уютной «кабинке», как ее называл доктор Гроган, а на самом деле кабинете на втором этаже с эркером, выходившим на бухточку между Коббскими воротами и самим Коббом. Эта комнатка, как утверждал ирландец, особенно хороша летом, когда позволяет полюбоваться на купающихся нереид. Что может быть здоровее, во всех смыслах этого слова, чем прописать своим пациенткам морские купания, которые так радуют глаз? В эркере, на столике, лежал маленький изящный медный телескоп. Гроган хулигански высунул язычок и подмигнул гостю.

— Для астрономических целей исключительно.

Чарльз высунулся из окна и вдохнул солоноватые запахи. На пляже, справа от него, виднелись черные силуэты пляжных кабинок на колесах, откуда появлялись нереиды. Но единственной музыкой в ночи был накат волн на прибрежную гальку да где-то вдалеке — приглушенные выкрики сидящих на морской глади чаек. За спиной, в освещенной лампой комнате, он услышал тихое позвякивание — это доктор наливал «лекарство».

Он почувствовал себя застрявшим меж двух миров: теплой уютной цивилизацией за собой и прохладной, темной и загадочной снаружи. Мы все сочиняем стихи, только поэты их еще облекают в слова.

Грог был отличный, а манильские сигары оказались приятной неожиданностью. Эти двое еще жили в мире, где у интеллектуалов-одиночек свой ландшафт знаний, свой узкий информационный круг с устоявшимися правилами и приданными смыслами. Какой доктор сегодня знает римских классиков? Какой дилетант способен разговаривать с ученым на одном языке? Эти двое жили в мире, куда еще не пришла тирания специализации; и я прошу вас — как и доктор Гроган — не смешивать понятия прогресса и счастья.

Какое-то время они молчали, с благодарностью снова погрузившись в мужской серьезный мир, который их вынудили покинуть дамы и обстоятельства. Чарльз решил полюбопытствовать, каких политических взглядов придерживается доктор, а в качестве повода выбрал два бюста, что белели среди хозяйских книг.

Доктор улыбнулся.

– *Quisque suos patimur manes*[71]. Это Вергилий, в переводе что-то вроде: «Выбирая богов, мы выбираем свою судьбу».

Чарльз улыбнулся в ответ.

— Почему мне в этом слышится Бентам?[72]

— Все правильно. А второй бюстик из паросского мрамора — Вольтер.

— Из чего я делаю вывод, что мы принадлежим к одной партии.

Доктор решил его проверить:

— А что, у ирландца есть выбор?

Чарльз отмахнулся — нет, конечно. И тут же предложил свой резон, почему он либерал:

— Мне кажется, мистер Гладстон хотя бы видит радикальную гнильцу в наших моральных основах.

— О господи. Уж не с социалистом ли я имею дело?

Чарльз рассмеялся.

— Пока еще нет.

— Замечу, в наш век тумана и перекосов я готов простить человеку все, кроме истовой религии.

---

[71] Примечания: 71

Каждый несет свою кару (*лат.*) — Вергилий, «Энеида».

[72] Примечания: 72

Джереми Бентам (1748–1832) — английский философ-моралист, теоретик политического либерализма.

— О да.

— В молодости я был последователем Бентама. Он вытащил меня из лагеря тори, как Вольтер из Рима. Но эти новые россказни… «привилегированная стезя»… нет, это не для меня. Плевать я хотел на первородство. Герцог или даже, прости господи, король может быть таким же глупцом, как простой смертный. Но я благодарю Природу-мать за то, что через пятьдесят лет меня не будет на этом свете. Если правительство начинает бояться толпы, считайте, что оно уже боится себя. — В его глазах сверкнул огонек. — Знаете, что мой соотечественник сказал чартисту, приехавшему в Дублин проповедовать свою веру? «Братья, — вопрошал тот, — разве один человек не равен другому?» — «Вот-вот, мистер спикер, — крикнул ему в ответ Падди. — И даже чертовски лучше!»

Чарльз улыбнулся, но доктор предостерегающе поднял палец.

— Вы, Смитсон, улыбаетесь. Но вдумайтесь — ведь Падди прав. Это никакая не издевка. «И даже чертовски лучше» — вот что погубит нашу страну. Попомните мои слова.

— Но разве ваши домашние боги свободны от критики? Кто обещал с амвона счастье для всех?

— Я оспариваю не сентенцию, а только наши интерпретации. В моей молодости мы прекрасно обходились без Пыхтящего Цивилизатора (читай: без железной дороги). Нельзя сделать всех счастливыми, заставив их бегать, прежде чем они научатся ходить.

Чарльз согласно покивал. Он сам затронул эту больную точку в разговоре с дядей, человеком совершенно другой политической диспозиции. Многие из тех, кто поддерживал первые парламентские реформы 1830-х годов, выступали против них спустя три десятилетия. Они считали, что век смертельно болен оппортунизмом и двуличием, которые породили зловещий дух зависти и бунтарства. Вероятно, доктор, родившийся в 1801 году, был таким осколком неоклассицизма, его чувство прогресса слишком зависело от общественного порядка — того, который позволял ему оставаться таким, какой он есть, что в известном смысле больше сближало его с криптолибералом Берком, чем с криптофашистом Бентамом. Впрочем, его поколение не так уж ошибалось в своих подозрениях по поводу Новой Британии и ее государственных мужей, которых поднял на поверхность затяжной экономический бум после 1850 года. Многие молодые люди попроще, вроде

Чарльза, и знаменитые, вроде Мэтью Арнольда, с этим соглашались. Разве, как говорят, выкрест Дизраэли не бормотал на смертном одре молитвы об умерших на иврите? И разве за фасадом блестящего оратора Гладстона не скрывался величайший мастер двоемыслия, если вспомнить его смелые призывы к трусости, в современной политической истории? Если лучшие из лучших не поддаются расшифровке, то что говорить о… Однако пришло время сменить тему. Чарльз спросил доктора, интересует ли его палеонтология.

— Нет, сэр. Надо было сразу признаться, но решил вам не портить чудесный ужин. Я убежденный неоонтолог. — Он улыбнулся Чарльзу из глубины своего кресла щитовой конструкции. — Когда мы будем больше знать о живых, займемся мертвыми.

Чарльз принял этот выпад и уцепился за ниточку.

— Вчера я познакомился с образцом местной флоры, который дает мне повод отчасти с вами согласиться. — Он взял лукавую паузу. — Очень необычный случай. Наверняка вы знаете о нем больше, чем я. — Почувствовав, что этот заход издалека может вызвать не просто мимолетный интерес, он поспешил уточнить: — Кажется, ее зо-

вут Вудраф. Она служит в доме миссис Поултни.

Доктор опустил взгляд на серебряный футляр с ручкой, в котором он держал свой телескоп.

— А-а. Бедная Трагедия.

— Я совершил бестактность? Завел речь, возможно, о вашей пациентке.

— Я лечащий врач миссис Поултни. При мне, прошу, ни одного худого слова о ней.

Чарльз взглянул на него исподтишка. В глазах доктора, спрятанных за очками в квадратной оправе, явно загорелся угрожающий огонек. Молодой человек постарался скрыть улыбку.

Доктор Гроган взял кочергу и поворошил поленья в камине.

— Мы знаем больше об окаменелостях на морском берегу, чем о том, что происходит в голове этой девушки. Недавно один неглупый немецкий врач разделил меланхолию на три типа. Первый он назвал естественным, имея в виду, что человек рождается с невеселым темпераментом. Второй — ситуационным, то есть зависящим от обстоятельств. А третий он называет загадочной меланхолией. Иными словами, бедняга просто не понимает ее природу.

— Но ведь у нее были обстоятельства, не так ли?

— Помилуйте, можно подумать, она первая, кого бросили. Я вам назову десяток девушек в Лайме.

— Которые попали в такое же тяжелое положение?

— И даже хуже. А сегодня они чирикают, как воробышки.

— Значит, вы относите мисс Вудраф к категории загадочной?

Доктор немного помолчал.

— Десять месяцев назад меня вызвали… все это, как вы понимаете, строго между нами… чтобы я ее осмотрел. Я сразу понял, что не так… плач без причины, глухое молчание, характерный взгляд. Меланхолия. Столь же очевидная, как корь. Я знал ее историю, и я знаю Талботов, где она служила гувернанткой, когда все случилось. Все же ясно, шести недель… да что там, *шести дней*, проведенных в «доме Марлборо», достаточно, чтобы нормальный человек свихнулся. Между нами, Смитсон: я, старый язычник, буду рад, если этот храм благочестия сгорит дотла вместе с его хозяйкой. И я еще спляшу жигу на пепелище.

— И я бы с вами за компанию.

— Поверьте, мы будем не одни. — Доктор глотнул грога за двоих. — Весь город устроит пляски.

Но это уже другая история. Я сделал для этой девушки, что мог. Но спасти ее может только одно.

— Уехать.

Доктор решительно кивнул.

— Спустя пару недель ваш покорный слуга возвращался домой и увидел эту девушку. Она направлялась в Кобб. Я привел ее к себе, я говорил с ней, как с любимой племянницей. Но это было все равно что вместе с экипажем перемахнуть через высокую стену. Она не дала мне ни одного шанса, Смитсон, ни единого! И то был не просто разговор. В Эксетере живет мой коллега, милейший человек с женой и четырьмя огольцами-ангелами, и они как раз искали гувернантку. О чем я ей и сказал.

— А она — нет?

— Ни в какую. Смотрите. Миссис Талбот, настоящая голубка, готова снова взять ее к себе в любое время. Но нет, она остается в доме, где жизнь — пытка, где хозяйка не видит разницы между служанкой и рабой, где ее положение по своей жесткости напоминает подушку, набитую колючками. И она оттуда ни ногой. Вы, Смитсон, не поверите. Предложите ей английский трон и тысячу фунтов в придачу — она только помотает головой.

— Но… я чего-то не понимаю. То, от чего, по вашим словам, она отказалась, мы как раз с ней обсуждали. Мать Эрнестины…

— Напрасно потеряет время, дружище, при всем моем к ней уважении. — Он мрачно улыбнулся и наполнил бокалы грогом из чайничка, стоявшего на полке в камине для подогревания пищи. — Славный доктор Гартманн описывает подобные случаи. Один особенно впечатляет. Молодая вдова из Веймара, насколько я помню. Муж, кавалерийский офицер, погиб во время полевых учений. Тут есть параллели. Женщина погрузилась в глубокий траур. Ожидаемая реакция. Но это продолжалось, Смитсон, год за годом. В доме нельзя было ничего трогать. Костюмы покойного висели в платяном шкафу, курительная трубка лежала рядом с его любимым креслом, даже письма, пришедшие уже после его смерти… там… — он махнул рукой куда-то в темноту за спиной Чарльза, — на серебряном блюде, нераспечатанные, пожелтевшие, год за годом. — Он улыбнулся гостю. — Где уж вашим аммонитам до таких тайн. Вот что мы узнали от Гартманна.

Стоя над гостем, он направил на него указательный палец, как бы усиливая эффект своих слов.

– Эта девушка подсела на меланхолию, как под-

саживаются на опиум. Теперь понятно? Ее печаль — это ее счастье. Она желает быть сакральной жертвой, Смитсон. Если мы в таких случаях в ужасе отшатываемся, то она устремляется вперед. Она одержима, понимаете? — Он снова уселся. — Мрачная история. Очень мрачная.

Повисло молчание. Чарльз швырнул окурок манильской сигары в огонь. На мгновение тот вспыхнул. Он понял, что не в силах посмотреть в глаза доктору, задавая очередной вопрос.

— И она ни с кем не поделилась своими переживаниями?

— Ближе, чем миссис Талбот, у нее никого нет. Но и ей, насколько мне известно, она не открылась. Я собой горжусь… однако мой план с треском провалился.

— Ну а если… допустим, она все-таки решится открыть свои чувства кому-то, кто примет в ней участие…

— Тогда она выздоровеет. Только она не хочет выздоравливать. Это все равно что отказываться от лекарств.

— И все-таки, предположим…

— Как вы переделаете чужую душу, дружище? Можете мне объяснить?

Чарльз лишь пожал плечами.

— То-то и оно. И вот что я вам скажу. Лучше и не пытаться. Взаимопонимание никогда не рождается из насилия.

— То есть случай безнадежный?

— В этом смысле — да. Лекарства бессильны. Не надо думать, что она, как мы, мужчины, способна рассуждать здраво, анализировать свои мотивы, понимать, почему она именно так поступает. Она живет как в тумане. Все, что нам остается, — это ждать в надежде, что туман рассеется. Тогда, возможно… — он помолчал и добавил без особой надежды: — Возможно.

А в это время в своей комнате, погруженной в мертвую тишину, что накрыла «дом Марлборо», Сара спала на правом боку, и ее разметавшиеся темные волосы почти закрывали лицо, безмятежное, совсем не трагическое; здоровая молодая женщина лет двадцати шести — двадцати семи, с выпростанной изящной рукой (тепло, окна закрыты)… покоящейся на другом теле.

Нет, не мужском. Девятнадцатилетней девушки, спящей к ней спиной, почти вплотную, а кровать, хотя и широкая, не была рассчитана на двоих.

Если у вас в голове промелькнула шальная мысль, то вы забыли, что у нас на дворе 1867 год.

Предположим, миссис Поултни вдруг нарисовалась в дверях, с керосиновой лампой в руке, и засекла эту сладкую парочку. О, думаете вы, она бы пришла в ярость, превратилась в черного лебедя и предала их грозной анафеме. И двух девушек в одних ночных сорочках выгнали бы за гранитные ворота.

Так вот, вы сильно ошибаетесь. Во-первых, как мы знаем, миссис Поултни, выпив на ночь настойку опия, крепко спала и вряд ли могла провести такой опыт. Но если бы даже она заглянула, то просто повернулась бы и ушла… еще бы тихо прикрыла дверь, чтобы не разбудить спящих.

Непостижимо? Да просто в то время некоторые грехи казались настолько противоестественными, что они как бы не существовали. Я сомневаюсь, что миссис Поултни вообще слышала такое слово — «лесбийский», а если и слышала, то для нее оно писалось с заглавной буквы и относилось к греческому острову. И вообще, женщина не испытывает плотских желаний — для нее это был такой же непреложный факт, как то, что земля круглая или что епископом Эксетера является доктор Филлпоттс. Она, конечно, знала, что представительницам низшей касты нравятся кой-какие ухаживания, как, например, этот вы-

зывающий поцелуй, однажды запечатленный на щеке Мэри, но сие она объясняла женским тщеславием и женской слабостью. Да, проститутки, как ей могло бы напомнить известное сочинение леди Коттон, существуют, но это особые существа, настолько развращенные, что из-за жажды денег они преодолевают врожденное отвращение женщины ко всему плотскому. Именно такая мысль посетила ее при виде хихикающей Мэри, которую грубо совращал этот конюшенный: «Вот, будущая проститутка».

А если говорить о мотивации Сары? В отношении лесбийской любви она была такая же невежественная, как и ее хозяйка, хотя и не разделяла священного ужаса миссис Поултни перед плотскими утехами. Она знала, или по меньшей мере подозревала, что в любви есть физическое наслаждение. И при этом, я думаю, была абсолютно невинна. С Милли они стали вместе спать вскоре после того, как бедняжка разрыдалась перед миссис Поултни. Доктор Гроган порекомендовал, чтобы ее перевели из общей спальни для прислуги в светлую комнату. Рядом со спальней Сары была неиспользуемая гардеробная, вот туда Милли и перевели. Сара взяла под личную опеку девушку, страдающую от бледной немочи. Она

была дочерью пахаря, четвертой из одиннадцати детей, живших с родителями в невообразимой бедности и тесноте в сыром двухкомнатном домике, что стоял на залитой солнцем равнине к западу от мрачного Эггардонского холма. Сегодня место принадлежит модному лондонскому архитектору, он приезжает сюда на выходные, обожает этот пейзаж, такой дикий, затерянный, живописно-деревенский, вот почему, наверное, здесь хорошо изгонять викторианских злых духов. Надеюсь, что так. Образы умиротворенного деревенского труженика и его семейства, ставшие модными благодаря Джорджу Морленду[73] и ему подобным (к 1867 году Беркет Фостер[74] стал, можно сказать, главным преступником), были пошлым и зловредным охорашиванием реальности, а значит, ее подавлением, как в наших голливудских фильмах про «настоящую» жизнь. Один взгляд на Милли и ее десять братьев и сестер оставил бы от мифа о «беззаботной пастушке» кучку пепла; вот только мало кто так

[73] Примечания: 73

Джордж Морленд (1763–1804) — английский художник, известный своими портретами и сценками из сельской жизни.

[74] Примечания: 74

Майкл Беркет Фостер (1825–1899) — английский пейзажист, летописец пасторальной жизни.

смотрел. Каждый век, каждый повинный век воздвигает высокие стены вокруг своего Версаля, и лично я больше всего ненавижу, когда эти стены создаются литературой и искусством.

Как-то ночью Сара услышала плач. Она заглянула в соседнюю спальню и успокоила девушку, что было совсем нетрудно, так как Милли была сущим ребенком: не умела читать и писать, а в людях вокруг разбиралась не лучше собаки: погладили — хорошо, побили — надо терпеть. Ночь была леденящей, Сара забралась к девушке в постель, обняла ее, поцеловала, стала поглаживать. Для нее Милли мало чем отличалась от больных ягнят, которых она вот так же гладила, пока отец с его общественными амбициями не положил конец этим крестьянским замашкам. Применительно к дочке пахаря сравнение точно сработало.

После той ночи страдающий ягненок приходил к ней два-три раза в неделю. Милли спала даже хуже, чем Сара, которая теперь иногда засыпала одна и только на рассвете обнаруживала рядом с собой подружку, до того тихо та забиралась к ней среди ночи. Бедняжка боялась темноты и, если бы не Сара у нее под боком, попросилась бы обратно в общую спальню наверху.

Эти нежные отношения внешне никак не выражались. Они практически не разговаривали, только о будничных домашних делах. Но обе понимали, как важно их молчаливое соприсутствие в ночи. Был ли здесь некий сексуальный подтекст? Возможно. Но они, как родные сестры, никогда не выходили за границы дозволенного. Наверняка здесь и там, в среде совсем грубой городской бедноты и эмансипированных аристократов, оргиастическая лесбийская любовь существовала, но данный и весьма распространенный феномен в викторианской Англии, когда женщины спали вместе, скорее можно приписать иссушающей надменности тогдашних мужчин, чем каким-то подозрительным поползновениям. И вообще, любое сближение в колодце одиночества — разве не шаг к человечности, а вовсе не к извращению?

Так что пусть эти невинные создания спят, а мы вернемся к более рациональной, просвещенной и аристократической паре в доме у моря.

Эти два творца ушли от обсуждения мисс Вудраф, а также несколько двусмысленных и туманных метафор к куда более однозначной палеонтологии.

— Вы должны признать, — сказал Чарльз, — что

находки Лайеля таят в себе нечто большее, чем природная важность. Боюсь, что церковникам предстоит настоящая битва.

Лайель, добавлю от себя, был отцом современной геологии. Еще Бюффон[75] в своей знаменитой Epoques de la Nature[76] 1778 года развеял миф, сочиненный архиепископом Ашером[77] в семнадцатом веке и торжественно зафиксированный в бесчисленных изданиях канонической английской Библии, о том, что мир был сотворен в девять утра 26 октября 4004 года до Рождества Христова. Но даже великий французский натуралист не отважился отодвинуть сотворение мира дальше, чем на семьдесят пять тысяч лет. Труд Лайеля «Принципы геологии», вышедший между 1830 и 1833 годами и, таким образом, удачно совпавший с другими реформами, совершил откат на миллионы лет. Сегодня его почти не помнят, хотя имя-то важное: он придал осмысленность как самой эпохе, так и ученым в различных областях.

---

[75] Примечания: 75

Жорж-Луи де Бюффон (1707–1788) — французский натуралист, математик, геолог, писатель. Член Парижской академии наук. Высказал идею о единстве растительного и животного мира.

[76] Примечания: 76

Эпохи природы (*фр.*).

[77] Примечания: 77

Джеймс Ашер (1581–1656) — архиепископ и примас всей Ирландии.

Его открытия, подобно сквозняку, бросающему в холод боязливых и подстегивающему отважных, носились по затхлым метафизическим коридорам века. Но вы не должны забывать, что во времена, о которых я пишу, о Лайеле мало кто слышал, еще меньше верили в его теории и уж совсем немногие соглашались с их скрытыми подтекстами. Книга Бытия — великая ложь, но при этом великая поэма, а утроба, насчитывающая шеститысячелетнюю историю, гораздо теплее той, что растянулась на миллионы лет.

Чарльзу было интересно проверить (и будущий тесть, и родной дядя оба учили его очень осторожно подходить к этой теме), как доктор Гроган воспримет его озабоченность позицией теологов — разделит или отмахнется. Но ответ был уклончивым. Глядя в огонь, доктор пробормотал:

— Эти теологи…

Последовала пауза, которую Чарльз нарушил как бы невзначай, просто чтобы поддержать разговор.

— Вы читали этого чудака Дарвина?

Ответом ему был пронзительный взгляд поверх очков. Доктор Гроган встал, взял камфорную лампу и подошел к книжным полкам в глубине узкой комнаты. Через минуту он вернулся и вру-

чил гостю том. «Происхождение видов». Чарльз встретился с суровым взором.

— Я не имел в виду…

— Вы ее читали?

— Да.

— Тогда зачем вы называете великого человека «этим чудаком»?

— Из ваших слов я сделал вывод…

— Эта книга о живых, Смитсон. Не о мертвых.

Расстроенный доктор отвернулся, чтобы поставить лампу на столик. Чарльз встал.

— Вы абсолютно правы. Приношу свои извинения.

Доктор искоса на него глянул.

— Несколько лет назад Госсе[78] приезжал сюда в компании «синих чулок», больших любителей моллюсков. Вы читали его «Омфалос»?

Чарльз улыбнулся.

— По-моему, полный абсурд.

Теперь уже Гроган, подвергнув его тестам на позитив и негатив, сумрачно улыбнулся в ответ.

— После лекции я ему так и сказал. Ха! Все вы-

---

[78] Примечания: 78

Филип Генри Госсе (1810–1888) — английский натуралист и популяризатор естествознания, автор «гипотезы Омфалоса» (геологического узла), опровергавшей теорию эволюции в пользу божественного сотворения мира.

ложил. — Доктор позволил своим ирландским ноздрям выдать два торжествующих фырканья. — Я подозреваю, что теперь этот мешок фундаменталистской ахинеи дважды подумает, прежде чем снова сунуть нос к нам на дорсетское побережье.

Он посмотрел на Чарльза уже дружелюбнее.

— Вы дарвинист?

— Страстный.

Гроган схватил его за руку и крепко пожал, как будто он был Робинзоном Крузо, а его гость Пятницей. То, что между ними происходило в эту минуту, вероятно, не сильно отличалось от того, что на подсознательном уровне произошло между двумя девушками, которые сейчас спали в полумиле от них. Они ощущали себя двумя щепотками дрожжей в безбрежном летаргическом тесте или двумя зернышками соли в огромной супнице с пресным бульоном.

Два наших интеллектуала-карбонария — разве они в детстве не любили поиграть в тайные общества? — разлили грог по новой, раскурили очередные манильские сигары и устроили настоящее пиршество в честь Дарвина. Казалось бы, обсуждая великие научные открытия, они должны были ощущать свою ничтожность, но

нет, оба — и особенно Чарльз, наконец отправившийся домой в предрассветный час — купались в собственном интеллектуальном превосходстве над остальными смертными.

Ночной Лайм являл собой серую массу, погруженную в приснопамятный сон, тогда как Чарльз, натурально избранный (наречие употреблено в обоих смыслах), был истинным интеллектуалом, бодрствующим, как звезды на небосводе, свободным как бог, понимающий все и всех.

Кроме, разумеется, Сары.

20

Так с Богом во вражде Приро-
да?
Что говорит она? – Греши!
Он – о бессмертии души.
Она – о продолженье рода.

Альфред Теннисон. In Memoriam

– Наконец она прервала молчание и заговорила с доктором Беркли. Стоя перед ней на коленях, врач показал дрожащей рукой на ее юбку, залитую кровью.
– Другое платье? – робко предложил он.
– Нет, – прошептала она с вызовом. – Пусть видят, что они натворили.

Уильям Манчестер. Смерть президента

Ее силуэт просматривался в конце тоннеля из плюща. Она не обернулась. Она видела, как он продирался между ясеневых стволов. День был солнечный, лазоревый, с теплым юго-западным бризом. Ему навстречу выпорхнули стаи весенних бабочек — лимонницы, белянки

и брюквенницы, которых уже в наше время сочли несовместимыми с сельскохозяйственной выгодой и потому потравили почти до полного исчезновения. Они танцевали вокруг Чарльза, пока он шел мимо молочной фермы и через лес, и сейчас одна белянка, такое сияющее зеленовато-желтое пятнышко, порхала в ярко освещенной прогалине за спиной темнеющего силуэта Сары.

Чарльз остановился, прежде чем ступить в темно-зеленую тень от плюща, и озабоченно поозирался, дабы убедиться, что его никто не видел. Огромные ясени прикрывали безлюдную лесистую местность своими пока еще оголенными ветвями.

Она повернулась к нему, только когда он подошел совсем близко, и, не поднимая глаз, нащупала в кармане и протянула ему новый образец, этакое искупительное подношение. Чарльз его принял, но ее смущение оказалось заразительным.

— Позвольте мне заплатить за все образцы, как я бы это сделал в лавке мисс Арминг.

Тут она подняла голову, и их взгляды наконец встретились. Он понял, что она оскорблена. Опять это безотчетное чувство, что ты провалился, не подставил плечо, оказался несостоятельным. Но на сей раз это его отрезвило и еще больше

укрепило в принятом решении. А происходила эта встреча спустя два дня после событий, описанных в предыдущих главах. Брошенное доктором Гроганом зерно, кому следует отдавать предпочтение, мертвым или живым, проросло, и теперь Чарльз видел не только гуманитарную, но и научную составляющую в этом приключении. Он честно признавал перед самим собой, что оно, помимо непристойности, было не лишено удовольствия; а сейчас он еще увидел явный признак долга. Он, безусловно, причислял себя к тем, кто пройдет естественный отбор, но разве это освобождает его от ответственности перед менее приспособленной человеческой особью?

Он даже подумывал, может, все-таки поведать Эрнестине о том, что произошло между ним и мисс Вудраф. Однако он ясно себе представил, как она станет задавать глупые женские вопросы, ответ на которые может его завести в опасную трясину. Он быстро пришел к выводу, что ни половая принадлежность, ни жизненный опыт не позволят ей понять альтруизм его побудительных мотивов, и в результате от этого куда менее привлекательного долга ловко ушел.

Увидев в глазах Сары укоризну, он парировал:

— Так уж случилось, что я богатый, а вы бедная.

Мне кажется, нам не стоит так церемониться.

В этом, собственно, заключался его план: выражая свою симпатию, установить между ними дистанцию, напомнить ей об их разных социальных статусах… ненавязчиво, с легкой иронией.

— Мне больше нечего вам дать.

— А почему вы мне должны что-то давать?

— Вы же пришли.

Ее кротость обескураживала его почти так же, как ее гордыня.

— Я пришел, потому что вы действительно нуждаетесь в помощи. И хотя я по-прежнему не понимаю, почему вы именно меня удостоили чести… решили посвятить в вашу… — он осекся, ибо собирался сказать «историю», что могло быть ею воспринято как «история болезни», и тогда он выступал бы не только в роли джентльмена, но еще и в роли доктора, — …в ваше положение. Я готов выслушать то, что вы желаете… не так ли?.. чтобы я услышал.

Сара посмотрела ему в глаза, и он почувствовал себя польщенным.

— Я знаю уединенное место неподалеку. — Она застенчиво показала жестом. — Мы можем пройти туда?

Он изъявил свою готовность, и, выйдя на

солнце, она направилась вдоль каменистой площадки, где Чарльз занимался своими разысканиями, когда она впервые на него набрела. Она шла легко и уверенно, одной рукой приподняв юбку, а в другой держа за ленточки черную шляпку. Следуя за ней, причем куда менее расторопно, он обратил внимание на заштопанные на пятках черные чулки и стоптанные туфли. И, конечно, на темные волосы с рыжим отливом. Их бы еще распустить, то-то была бы красота… роскошные, сияющие. Сейчас они были уложены в тугой пучок и спрятаны под воротником пальто, и он подумал, не из тщеславия ли она частенько держит шляпку в руке.

Она привела его к другому зеленому тоннелю, пройдя который они вышли на склон, некогда заваленный камнями после обрушения фасада вертикального утеса. Пучки травы давали необходимую опору. Сара осторожно, зигзагами карабкалась вверх по склону. Пыхтя за ней следом, Чарльз видел украшенные внизу белыми ленточками панталоны, доходившие почти до щиколоток. На ее месте дама шла бы не впереди, а сзади.

Сара поджидала его на вершине. Двинулись поверху. Еще один, тридцатиметровый утес. Это

были такие гигантские «ступени», различимые из Кобба на расстоянии двух миль. Совсем крутой, по-настоящему грозный уступ. Стоит только оступиться, и ты беспомощно скатишься с обрыва. Чарльз бы десять раз подумал, но Сара аккуратно через него перебралась, словно не сознавая опасности. А дальше открылась небольшая площадка, то самое «уединенное место».

Это была такая лощинка с выходом на юг, отороченная густыми зарослями куманики и кизила, своего рода маленький зеленый амфитеатр. Чахлые кусты боярышника украшали периметр самой арены, если этот термин применим к площадке меньше пяти метров в диаметре, и кто-то — явно не Сара — привалил к дереву здоровенный плоский кремниевый блок в качестве деревенского трона, откуда открывался великолепный вид на кроны внизу и море за ними. Отдуваясь в своем фланелевом костюме и обливаясь потом, Чарльз огляделся. Лощину по периметру покрывали примулы и фиалки и белые звездочки земляники. Вознесенное к небу, обласканное полуденным солнцем, местечко, само по себе прелестное, было еще и совершенно безопасным.

— Я должен вас поздравить. У вас талант нахо-

дить орлиные гнезда.

— Уединение.

Она показала ему на сиденье подле терновника.

— Это ваше законное место, — сказал он.

Но она изящно, бочком, присела на пригорок неподалеку от дерева, обратив лицо к морю, и Чарльзу пришлось занять лучшее место. Он видел ее в профиль; и снова, словно сработало врожденное женское кокетство, обращали на себя внимание ее волосы. Она сидела очень прямо, опустив голову и что-то там поправляя в своей шляпке. Чарльз следил за ней с улыбкой… если не на губах, то мысленной. Она явно не знала, с чего начать, но ситуация *alfresco*[79], неформально подростковая, как если бы они были братиком и сестричкой, не располагала к такой застенчивости и официозу.

Она отложила шляпку, расстегнула верхнюю пуговицу пальто и сложила руки, по-прежнему храня молчание. Что-то в высоком воротнике пальто и в самом крое, особенно при взгляде со спины, придавало ей мужской вид — то ли девка-кучер, то ли солдатка, — с чем никак не

---

[79] Примечания: 79
Под открытым небом (*итал.*).

стыковалась прическа. Чарльз с удивлением понял, что поношенная одежда никак ее не умаляет, скорее наоборот, и подходит ей даже больше, чем какой-нибудь изысканный наряд. Последние пять лет засвидетельствовали сильную эмансипацию в женской моде, по крайней мере в Лондоне. Появились первые подспорья для большой груди, стали подводить ресницы и брови, смазывать губы, подкрашивать и припудривать волосы… причем все модницы, а не только дамы полусвета. У Сары ничего этого не было. Она казалась совершенно безразличной к моде и ничего, выживала, как выживали простенькие примулы под ногами у Чарльза в соперничестве с экзотическими оранжерейными цветами.

Чарльз сидел, как такой король, не слишком склонный к щедротам, а у его ног немая просительница. Может, все дело было в робости и скромности, хотя у него появилось отчетливое ощущение, что она просто ждет, когда он сам вытянет из нее тайну. И в конце концов он сдался.

— Мисс Вудраф, я не выношу безнравственности. Но еще больше я не выношу нравственности без милосердия. Я обещаю быть не слишком строгим судьей.

Она повела головой, как бы в сомнении. А затем

с решимостью купальщицы, застывшей перед прыжком в воду, нырнула в свою исповедь.

— Его звали Варгенн. Он был доставлен в дом капитана Талбота после крушения судна. Тогда все утонули, кроме него и еще двоих. Но вы про это уже слышали?

— Только о самом происшествии. Без подробностей.

— Я восхищалась, прежде всего, его смелостью. Тогда я еще не знала, что мужчины бывают одновременно очень отважными и очень лживыми. — Она обратила взор к морю, как будто оно, а не Чарльз, было ее слушателем. — У него была ужасная рваная рана. От бедра до колена. Если бы началась гангрена, пришлось бы ампутировать ногу. Хотя в первые дни боль была мучительная, он не кричал. Ни одного стона. Когда доктор делал ему перевязку, он стискивал мою руку. Один раз я чуть не упала в обморок.

— Он не говорил по-английски?

— Так, несколько слов. Миссис Талбот знала французский не лучше, чем он английский. Вскоре после его появления капитана Талбота призвали на службу. Варгенн нам рассказывал, что он родом из Бордо. Его отец, преуспевающий юрист, вторично женился и лишил наследства

детей от первого брака. Варгенны занимались торговлей вином. Во время кораблекрушения он был, по его словам, старшим помощником капитана. Но все это ложь. Кем он был на самом деле, я не знаю. Производил впечатление джентльмена. Это все, что я могу сказать.

Она говорила как человек, не привыкший к монологам, делая неожиданные паузы между раздумчивыми рваными фразами, то ли чтобы обдумать дальнейшее, то ли предлагая ее прервать, трудно сказать.

— Я понимаю, — пробормотал Чарльз.

— Иногда мне кажется, что никакого кораблекрушения не было. Дьявол в матросском обличье. — Она глядела на свои руки. — Очень красивый. Ни один мужчина так меня не обхаживал… это когда он пошел на поправку. Книг он не читал. Вел себя как ребенок, и даже хуже. Надо было постоянно находиться рядом с ним, выслушивать его. Он говорил про меня разные глупости. Удивлялся, почему я не замужем. В таком духе. А я, дурочка, всему верила.

— Короче, он делал вам авансы?

— Поймите, мы с ним говорили исключительно по-французски. Возможно, поэтому мне все казалось нереальным. Я никогда не была во Франции,

язык знаю так себе. Часто я не совсем понимала, о чем идет речь. Он виноват лишь отчасти. Может, я слышала то, что он не имел в виду. Он меня поддразнивал. Но безобидно. — Она чуть помедлила. — Я… мне это доставляло удовольствие. Он называл меня жестокой, когда я не позволяла ему поцеловать мне руку. В какой-то день я показалась жестокой себе самой.

— И вы перестали быть жестокой?

— Да.

Над их головами воспарил ворон, поблескивая черными перьями, потом на мгновение замер в нерешительности и, чем-то встревоженный, скрылся из виду.

— Я понимаю.

Он всего лишь поощрял ее продолжать, но она восприняла его слова буквально.

— Вам, мистер Смитсон, это не дано. Потому что вы не женщина, которая рождена, чтобы быть женой фермера, но получила образование… для большего. Мужчины несколько раз просили моей руки. Когда я жила в Дорчестере, богатый скотовод… впрочем, неважно. Вы не женщина с врожденным чувством уважения и любви к уму, красоте, знаниям… Не знаю, как вам объяснить… Я не вправе всего желать, но мое сердце жаждет,

и я не верю, что это всего лишь тщеславие. — Она немного помолчала. — И вы никогда не были гувернанткой, мистер Смитсон, молодой женщиной, у которой нет своих детей и которой платят, чтобы она ухаживала за чужими. Вам не понять, что чем они симпатичнее, тем невыносимее боль. Только не думайте, что я завидую. Я любила маленьких Пола и Вирджинию, я не испытываю к миссис Талбот ничего, кроме приязни и благодарности… я готова жизнь отдать за нее и ее детишек. Но жить день за днем в атмосфере домашнего счастья, наблюдать вблизи счастливый брак, прелестных малышей… — Пауза. — Миссис Талбот моя ровесница. — Еще пауза. — Мне казалось, что меня пустили в рай, запретив им наслаждаться.

— Но разве все мы, каждый по-своему, не переживаем лишения, подобные тем, что вы описали?

С неожиданным темпераментом она замотала головой, и он понял, что затронул больную струну.

— Я лишь хотел сказать, что социальные привилегии еще не гарантируют счастья.

— Разве можно сравнивать ситуации, когда счастье по крайней мере возможно и когда… —

Она снова помотала головой.

— Но вы же не станете утверждать, что все гувернантки несчастны… и незамужние?

— Такие, как я.

Он взял паузу и потом сказал:

— Я прервал ваш рассказ. Простите.

— Вы верите, что во мне не говорит зависть?

Она буквально пронзила его глазами, и он кивнул. Она сорвала пучок голубенького молочая, похожего на микроскопические яички херувима, и продолжила:

— Варгенн поправился. Через неделю он должен был уезжать. И тут он признался мне в своих чувствах.

— Он предложил вам брачные узы?

Ответ дался ей не сразу.

— Был разговор о браке. Он сказал, что по возвращении во Францию его назначат капитаном судна, перевозящего бочки с вином. Что он рассчитывает вернуть родовое поместье, которое они с братом потеряли. — После короткого колебания она призналась: — Он хотел, чтобы я вместе с ним уехала во Францию.

— Миссис Талбот об этом знала?

— Она добрейшей души человек. И сама невинность. Если бы рядом был капитан Талбот… но

увы. Вначале я стеснялась ей говорить. А под конец уже боялась… боялась советов, которые она станет мне давать. — Сара принялась обрывать лепестки молочая. — А Варгенн проявлял настойчивость. Он меня заверял, что его будущее счастье зависит от того, поеду ли я с ним… даже больше, что от этого зависит и мое будущее счастье. Он много чего успел про меня узнать. Что мой отец умер в доме для умалишенных. Что я осталась без родных, без средств к существованию. Что на протяжении многих лет я чувствовала себя таинственным образом проклятой… почему, кто знает… обреченной на одиночество. — Она отложила молочай и соединила руки на коленях. — Моя жизнь погрузилась в тоску, мистер Смитсон. Как будто было предначертано, что я никогда не подружусь с ровней, никогда не обзаведусь собственным домом, никогда не увижу мир иначе как нечто общее, где я исключение. Четыре года назад мой отец был объявлен банкротом. Все наше имущество пошло с молотка. С тех пор я страдаю от иллюзии, что даже вещи — стулья, столы, зеркала — сговорились, чтобы усугубить мое одиночество. Они говорят: «Ты не будешь нами владеть, мы никогда не будем твоими». Я знаю, это безумие, знаю, что в про-

мышленных городах люди живут в бедности и одиночестве, в сравнении с которыми я живу в комфорте и купаюсь в роскоши. Но когда я читаю про юнионистов и их отчаянные акты мести, я в общем-то их понимаю. Даже немного им завидую, поскольку они знают, где и как обрушить свое возмездие. А я бессильна. — В ее голосе прозвучали новые нотки, некий напор, отчасти опровергающий ее последнее утверждение. Уже более спокойным тоном она добавила: — Боюсь, что я не очень понятно объясняю.

— Не уверен, что могу потворствовать вашим чувствам, но я их прекрасно понимаю.

— Варгенн уехал в Уэймут, где его ждал пакетбот. Миссис Талбот, естественно, предположила, что он сразу отчалит. Но он пообещал меня дождаться. Я ничего не обещала. Наоборот, я поклялась… я не могла сдержать слез. Напоследок он сказал, что будет ждать меня неделю. Нет, говорю, я за вами не последую. Но прошел день, второй, его рядом нет, и на меня накатила такая волна одиночества. Я думала, я в ней утону. Хуже, что я отпустила соломинку, которая могла меня спасти. Я впала в отчаяние. И оно усугублялось болью от необходимости держать все в себе. На пятый день я не выдержала.

— Насколько я понимаю, все это скрывалось от миссис Талбот. И за эти дни у вас не закрались подозрения? Неужели мужчина с честными намерениями так бы себя повел?

— Мистер Смитсон, я понимаю, мое неразумие и моя слепота человеку, не знакомому с моей природой и тогдашними обстоятельствами, могут показаться несоразмерными, даже преступными. Не стану скрывать. Наверное, я все про него понимала. Но какой-то глупый зверек в моей душе надел мне шоры на глаза. А потом пошли обманы. Стоит ведь только сделать несколько шагов, а дальше бывает трудно остановиться.

Это могло послужить предупреждением Чарльзу, но он был слишком поглощен ее историей, чтобы подумать о себе.

— И вы поехали в Уэймут?

— Я обманула миссис Талбот, сказав, что серьезно заболела моя школьная подруга. Она думала, что я еду в Шерборн. Оба маршрута проходят через Дорчестер. А уже оттуда я отправилась на омнибусе в Уэймут.

Сара замолчала, опустив глаза долу, как будто не могла себя заставить продолжать.

— Не мучайте себя, мисс Вудраф. Я догадываюсь…

Она покачала головой.

— Я должна об этом рассказать. Вот только не знаю как.

Чарльз тоже опустил взгляд. Где-то внизу, в кроне ясеня, запел невидимый дрозд-деряба, такой голосистый в безмятежном голубом пространстве. Наконец она продолжила:

— Я нашла меблированные комнаты недалеко от гавани. А затем пошла в придорожную гостиницу, где он собирался снять комнату. Его там не оказалось. Но меня ждала записка с названием другой гостиницы. Я отправилась туда. Место было… не слишком приличное. Я это поняла по реакции, когда назвала его имя. Мне сообщили номер комнаты и предложили туда подняться. Но я настояла на том, чтобы его позвали. И вот он спустился. Он страшно мне обрадовался, как истинный возлюбленный. Извинился за скромное заведение. Сказал, что здесь дешевле и что тут часто останавливаются французские моряки и купцы. Мне было не по себе, и он проявил большое участие. У меня с утра во рту не было маковой росинки, и он заказал еду…

Немного поколебавшись, она продолжила:

— В комнатах было шумно, и мы сели в гостиной. Не могу объяснить, но я поняла, что он

изменился. При всем его внимании, при всех улыбках и ласках было ясно, что если бы я не приехала, его бы это не удивило и не сильно опечалило. Тут до меня и дошло, что я была для него не более чем забавой во время его болезни. С моих глаз спала пелена. Я видела, что он неискренен… лгунишка. Для него брак был бы союзом с никчемной авантюристкой. Все это я поняла в первые пять минут. — Словно услышав в своем тоне самоуничижительные горькие нотки, она себя оборвала и продолжила уже тихим голосом: — Вы можете недоумевать, как я не видела этого раньше. Думаю, видела. Но видеть еще не значит признавать. Мне кажется, он был чем-то похож на хамелеона, меняющего окрас в зависимости от окружающей среды. В аристократическом доме он выглядел аристократом. А в придорожной гостинице я увидела его истинное лицо. Куда более органичное.

Какое-то время она разглядывала море. Хотя она сидела к нему вполоборота, Чарльзу показалось, что щеки ее раскраснелись.

— Я понимаю, в подобных обстоятельствах… уважающая себя женщина тотчас же уехала бы. После того вечера я тысячу раз копалась в себе. И поняла: нет простого ответа, который бы объяс-

нял мое поведение. Сначала, от осознания своей чудовищной ошибки, меня парализовал страх… но я пыталась разглядеть в этом человеке нечто достойное… респектабельность, честь. Потом была ярость, когда я почувствовала себя обманутой. Я говорила себе: если бы не это невыносимое одиночество прошлых лет, я бы не проявила такой слепоты. Словом, во всем обвиняла обстоятельства. Я никогда раньше не оказывалась в подобной ситуации. Никогда не была в гостинице, где никому не ведомы приличия, а культ греха так же нормален, как культ добродетели в более достойном заведении. Трудно объяснить. Мысли перепутались. Видимо, я верила, что сама могу быть хозяйкой своей судьбы. Я сбежала к этому человеку. Какая уж тут скромность… это почти тщеславие. — Пауза. — Я осталась. Я ела ужин, который нам принесли. Я, не пьянея, пила вино, которое он мне навязал. Скорее оно помогло мне прозреть… такое возможно?

Она слегка повернулась в его сторону, то ли за ответом, то ли желая убедиться, что он никуда не исчез, не растаял в воздухе.

— Не сомневаюсь.

— Это, кажется, придало мне силы и смелости… а также понимания. Варгенн не был инструмен-

том дьявола. В какой-то момент он больше не мог скрывать истинную природу своих намерений. Как и я — изображать удивление. Моя невинность отдавала фальшью с той минуты, когда я решила остаться. Мистер Смитсон, я не пытаюсь себя выгораживать. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что никто не мешал мне встать и уйти после того, как служанка унесла грязные тарелки. Я могла бы сейчас изобразить дело так, будто он взял меня силой, будто он меня напоил… Но все было не так. Да, он человек беспринципный, со своими прихотями, отчаянно эгоистичный. Но он никогда бы не взял женщину против ее воли.

Вдруг, когда Чарльз меньше всего этого ожидал, она повернулась и посмотрела ему в глаза. Лицо ее горело, но, как ему показалось, не от смущения, скорее это был пыл, гнев, вызов, как если бы она предстала перед ним голой и гордилась этим.

— Я ему отдалась.

Не выдержав ее взгляда, он опустил глаза и едва заметно кивнул.

— Понимаю.

— Так что я дважды обесчещенная женщина. В силу обстоятельств. И по собственной воле.

Повисло молчание. Она снова смотрела на море.

— Я вас не просил рассказывать мне такие вещи, — пробормотал он.

— Мистер Смитсон, я хочу, чтобы вы поняли не то, *что* я сделала, а *почему* я это сделала. Почему я принесла в жертву самое ценное, что есть у женщины, ради минутного удовлетворения человека, которого я не любила. — Она приложила ладони к горящим щекам. — Я это сделала, чтобы забыть о себе прежней. Чтобы люди показывали на меня пальцем и говорили: «Вот идет шлюха французского лейтенанта»… да, назовем вещи своими именами. Пусть знают, что я страдала и продолжаю страдать, как и другие женщины в этой стране, в каждом городе и в каждой деревне. Я не могла обручиться с этим мужчиной. Поэтому я обручилась с позором. Не то чтобы я понимала, что делаю, что я хладнокровно позволила Варгенну получить желаемое. Тогда у меня было такое чувство, словно я прыгнула в пропасть или вонзила себе в сердце нож. Что-то вроде самоубийства. Акта отчаяния. Я понимаю, мистер Смитсон, что это была низость… святотатство, но я не знала другого способа вырваться из собственных пут. Если бы я покинула ту комнату, вернулась к миссис Талбот и продолжила прежнее существование, то превратилась бы в ходячий труп… по

собственной воле. Я жива лишь благодаря моему стыду и осознанию, что я не такая, как другие женщины. У меня никогда не будет мужа, детей и прочих невинных радостей, какие есть у них. И они никогда не поймут причину моего преступления. — Она помолчала, словно впервые ясно увидела то, что сейчас высказала вслух. — Иногда мне их даже жалко. Я обрела свободу, им недоступную. Никакие оскорбления, никакие обвинения меня не задевают. Я покинула черту оседлости. Я никто, уже почти не человек. Я шлюха французского лейтенанта.

Чарльза не очень понял смысл ее последнего монолога. Пока она не дошла до своего странного решения в Уэймуте, он испытывал к ней гораздо больше симпатии, чем он это показывал. Он мог себе представить медленные и мучительные терзания гувернантки и как легко ей было попасть в лапы такого записного негодяя, как Варгенн. Но эти речи о свободе за чертой оседлости, об обручении с позором не умещались у него в голове. Хотя в какой-то степени он догадался, когда откровение закончилось слезами. Она это скрыла или попыталась скрыть в том смысле, что не спрятала лицо в ладони и не достала носовой платок, а продолжала сидеть спиной к нему. И

Чарльз не сразу догадался, почему она молчит.

Некий инстинкт заставил его подняться и сделать два неслышных шага по дерну. Теперь она была к нему в профиль, и он увидел мокрые щеки. Его это невероятно тронуло, разбередило, сорвало с надежного якоря беспристрастной и вполне трезвой симпатии и швырнуло в лабиринт разнонаправленных эмоций. Перед глазами встала сцена, которую Сара не стала описывать — как она отдалась. Чарльз словно раздвоился, он был одновременно Варгенном, получавшим удовольствие, и человеком, нанесшим ему сокрушающий удар; так же как Сара была для него одновременно невинной жертвой и полубезумной брошенной женщиной. В глубине души он ей простил утрату целомудрия и заглянул в темный альков, где он мог бы сам это удовольствие получить.

Такая мгновенная смена сексуального регистра сегодня невозможна. Мужчина и женщина, оказавшись в самом невинном контакте, уже рассматривают вероятность физической близости. Мы считаем подобные откровенные проявления человеческих инстинктов здоровыми, но во времена Чарльза индивидуальное сознание не допускало самого существования страстей,

запрещенных общественным мнением, поэтому когда из подсознания вдруг выскакивал доселе таившийся тигр, человек оказывался к этому до смешного не готов.

А еще викторианцы страдали редкой «египетской болезнью», клаустрофилией, которая так хорошо просматривается в их всеохватывающих, мумифицирующих одеждах, в их архитектуре — узкие окна и узкие коридоры, в их страхах перед открытостью и наготой. Утаить реальность, обуздать человеческую природу. Революционерами в искусстве в те годы были, конечно, прерафаэлиты, они по крайней мере предпринимали попытки признать природу и сексуальность; достаточно сравнить пасторальные пейзажи Милле или Форда Мэдокса Брауна с пейзажами Констебла или Палмера, чтобы увидеть, насколько первые были идеализированными и зацикленными на декоре в своих подходах к внешней форме. Поэтому для Чарльза это признание — открытое само по себе, да еще и сделанное под открытым небом — было не столько свидетельством грубой реальности, сколько взглядом в идеальный мир. А его странность объяснялась не приближенностью к реальности, а удаленностью от нее. Это был загадочный мир, где голая красота значила

гораздо больше голой правды.

Чарльз вглядывался в нее несколько мимолетных мгновений, а потом уселся на прежнее место с колотящимся сердцем, как если бы он отошел от края пропасти. Вдали, вдоль южного горизонта, медленно плыла армада облаков. Кремовые, янтарные, белоснежные, напоминающие великолепные горные вершины, башни и крепостные валы, они охватили все пространство, доступное глазу, и при этом казались сказочно далекими… как какое-нибудь Телемское аббатство[80], безгрешная земля, обморочная идиллия, где могли бы гулять Чарльз, Сара и Эрнестина…

Я не хочу сказать, что мысли Чарльза попахивали откровенно вызывающей крамолой. Но далекие облака напомнили ему о его собственной неудовлетворенности, о том, что он желал бы сейчас снова разрезать воды Тиренского моря или подплывать к стенам Авилы, вдыхая терпкие ароматы, или приближаться к какому-нибудь греческому храму в сияющих лучах эгейского солнца. Но при этом впереди маячила тень, его умершая сестра, которая тихо манила его вверх по ступенькам из тесаного камня в тайну разру-

[80] Примечания: 80

Телемское аббатство — первая французская утопия, описанная в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле.

шенных колонн.

21

Прости меня! Прости!
К моей Марго прекрасной
Тянулся я, но обрести
Не мог, и все напрасно.
Меж нами море пролегло —
Два брега, две судьбы,
Нам не преодолеть его,
Ведь мы слабы.

Мэтью Арнольд. Прощание

После минутного молчания легким движением вздернутой головы она дала понять, что пришла в себя. И, полуобернувшись, спросила:

— Я закончу? Осталось совсем немного.

— Только не расстраивайтесь понапрасну.

Она согласно кивнула и продолжила:

— На следующий день он уплыл. Уважительные причины. Семейные сложности, давно не был дома. Пообещал тотчас же за мной приехать. Я знала, что он лжет. Но промолчала. Возможно, вы сейчас думаете о том, что мне лучше было бы вернуться к миссис Талбот и сделать вид, будто

я провела это время в Шерборне. Но я не могла скрыть своих чувств, мистер Смитсон. Я находилась в каком-то тумане отчаяния. Достаточно было увидеть мое лицо, чтобы понять: моя жизнь перевернулась. И я не могла лгать миссис Талбот. Я не хотела лгать.

— Вы ей сказали все, о чем сейчас сказали мне?

Она опустила глаза к рукам, лежащим на коленях.

— Нет. Я сказала, что встретилась с Варгенном. Что он вернется и мы поженимся. Я говорила так… не от гордыни. У миссис Талбот хватило сердца, чтобы понять главное… и меня простить… но я не могла ей сказать, что мною отчасти двигало желание не разрушить ее семейное счастье.

— Когда вы узнали о том, что он женат?

— Спустя месяц. В письме он изображал себя несчастным супругом. Продолжал говорить о своей любви, о нашем уговоре… Это не было шоком. Я не испытывала боли. Спокойно ответила, что моя любовь к нему прошла и я больше никогда не желаю его видеть.

— И вы это скрывали от всех, кроме меня?

Она долго не отвечала.

— Да. По причине, которую я уже назвала.

— Чтобы наказать себя?

— Чтобы быть той, кем мне положено. Изгоем.

Чарльз вспомнил здравомыслящий ответ доктора Грогана на собственную озабоченность по ее поводу.

— Но, дорогая мисс Вудраф, если бы каждая женщина, которую обманул бесчестный представитель моего пола, повела себя, как вы, боюсь, что страна была бы наводнена изгоями.

— Так и есть.

— Помилуйте, это уже абсурд.

— Изгоями, которые боятся выглядеть таковыми.

Глядя ей в спину, он припомнил кое-что еще из сказанного доктором — о больных, отказывающихся от лекарств. Он решил предпринять еще одну попытку. Он скрестил пальцы и подался вперед.

— Я прекрасно понимаю, какими безрадостными определенные обстоятельства могут показаться человеку умному и образованному. Но разве именно эти качества не должны помочь подняться…

Она резко встала и подошла к обрыву. Чарльз поспешил присоединиться, чтобы в случае чего ее удержать; он понял, что его не слишком

вдохновляющие слова произвели совсем не тот эффект, на какой он рассчитывал. Она смотрела на море, и по ее лицу он догадался: она сейчас думает о том, что совершила ошибку, что он существо заурядное и находится в плену условностей. В эту минуту в ней проявилось мужское начало, а он чувствовал себя старой женщиной. Не самые приятные ощущения.

— Простите. Вероятно, я требую слишком многого. Но я не хотел вас обидеть.

Она молча кивнула, принимая его извинения, а затем снова обратила взор к морю. Они стояли на открытом месте, которое хорошо просматривалось из-за деревьев внизу.

— И, пожалуйста, отойдите немного назад. Здесь стоять небезопасно.

Она повернулась. Взгляд пронзительный, обескураживающе прямой, пытающийся понять его истинные мотивы. Иногда мы можем прочитать на лице нашего современника выражение столетней давности, но только не печать того, кто будет жить через сто лет после нас. Через пару секунд она прошла мимо него к терновнику. А он остался в центре маленькой арены.

— Все, что вы мне рассказали, только подтверждает мой прежний вывод. Вы должны оставить

Лайм.

— Тогда я здесь оставлю свой позор. И потеряю себя.

Она протянула руку и тронула ветку боярышника. Он не был до конца уверен, но ему показалось, что она намеренно давит на колючку указательным пальцем; а через мгновение она уже разглядывала капельку алой крови. Потом вытащила из кармана носовой платок и украдкой промокнула палец.

Выдержав паузу, он перешел в наступление.

— Почему вы отказались от помощи доктора Грогана прошлым летом? — Она бросила в его сторону обвинительный взгляд, но он был к этому готов. — Да, я поинтересовался его мнением. Вы не можете мне отказывать в моем праве.

Она снова отвернулась.

— Да. Это ваше право.

— Тогда я жду ответа.

— Потому что не я принимала решение обратиться к нему за помощью. Я не имею к нему никаких претензий. Я знаю, что он хотел мне помочь.

— И разве его совет не был таким же, как мой?

— Да.

— Тогда, со всем уважением, я должен вам на-

помнить об обещании, которое вы мне дали.

Она не отвечала. И в этом состоял ее ответ. Чарльз приблизился к терновнику, который она разглядывала.

— Мисс Вудраф?

— Сейчас вы знаете правду… и ваш совет остается в силе?

— Безусловно.

— Значит, вы прощаете мне мой грех?

Вопрос застал его немного врасплох.

— Вы слишком высоко ставите мое прощение. Главное, чтобы вы сами себя простили. А здесь это невозможно.

— Вы не ответили на мой вопрос, мистер Смитсон.

— Избави бог мне объявлять то, что вправе решать только наш Создатель. Но я убежден… мы все убеждены, что вашего покаяния уже достаточно. Вы прощены.

— И забыта.

Сухость этого окончательного приговора на секунду его озадачила. Но потом он улыбнулся.

— Если вы имеете в виду, что ваши друзья отказываются от всякой практической помощи…

— Я не это имела в виду. Их доброта мне известна. Но я, мистер Смитсон, как этот терновник.

Никто ведь его не обвиняет в том, что он здесь растет один-одинешенек. Но если бы он прошелся по Брод-стрит, то это было бы оскорблением общества.

Тут он запротестовал:

— Дорогая мисс Вудраф, вы же не хотите мне сказать, что ваш долг — оскорблять общество. Если я вас правильно понял.

Она полуобернулась.

— Но разве общество не желает отправить меня в такое же одиночество?

— Вы ставите под сомнение справедливость существования.

— А это запрещено?

— Нет. Но это досужие разговоры.

Она покачала головой.

— Плоды бывают горькие.

Слова прозвучали не как возражение, а с глубокой печалью, словно адресованные самой себе. Чарльза охватило чувство безнадежности — как после накатившей волны ее признаний. Было понятно: ее прямой взгляд идет от прямоты мыслей и речей, и то, что когда-то показалось ему притязанием на интеллектуальное равенство (за которым скрывалась обида на мужчин), было скорее жаждой непосредственной близости, общей

наготы, родства в мыслях и ощущениях — всего того, что доселе казалось ему непредставимым в отношениях с женщиной.

Он рассуждал объективно: вот удивительная женщина, достаточно на нее взглянуть непредвзятому уму. Нет, это не зависть к мужчине, а ощущение человеческой утраты. Неожиданно для себя он тронул ее за плечо, как бы успокаивая… и тотчас отвернулся. Повисло молчание.

Словно почувствовав его замешательство, она заговорила:

— Значит, вы считаете, что я должна уехать?

Его как будто отпустило, и он с готовностью обратил к ней лицо.

— Умоляю вас. Новая обстановка, новые лица… а о практических соображениях даже не думайте. Мы только ждем вашего решения, чтобы оказать вам поддержку.

— У меня есть пара дней на размышления?

— Если существует такая необходимость. — Он поспешил воспользоваться шансом и добавил разговору трезвости, которой она всячески избегала.

— Я предлагаю, отныне мы все делаем под патронажем миссис Трантер. С вашего позволения, я прослежу за тем, чтобы в ее кошельке было

достаточно средств на ваши нужды.

Она опустила голову и, кажется, снова готова была заплакать. Потом пробормотала:

— Я не заслуживаю такой доброты. Я…

— Не надо больше слов. Я не вижу лучшего способа потратить деньги.

Чарльз испытал чувство легкого триумфа. Все произошло так, как предсказал доктор Гроган. Если она кому-то откроет свои чувства, то это приведет к выздоровлению… или по меньшей мере укажет верный путь. Он поднял с земли свою ясеневую трость, лежавшую рядом с кремневым булыжником.

— Я должна прийти к миссис Трантер…

— Отлично. Упоминать о наших встречах совсем необязательно.

— Я ничего не скажу.

Он уже видел эту сцену. Как он изобразит вежливое, но не слишком заинтересованное удивление, после чего, тоже без особого интереса, настоит на том, чтобы все необходимые расходы осуществлялись за его счет. Эрнестина почти наверняка над ним поиронизирует, зато его совесть будет чиста. Он улыбнулся Саре.

— Вы поделились своей тайной. Я думаю, это вас раскрепостит во многих отношениях. Вам

многое дано от природы, и жизнь не должна вас пугать. Придет день, когда тяжелые последние годы покажутся вам не больше этого облачка над Чесилским банком. Вы будете стоять под ярким солнцем и улыбаться, вспоминая прежние невзгоды. — В ее озабоченных глазах, кажется, промелькнул светлый лучик. На какой-то миг она превратилась в ребенка, который одновременно противится и жаждет, чтобы его обманули или наставили и таким образом высушили его слезы. Чарльз еще больше заулыбался. И непринужденно спросил: — А не пора ли нам спуститься вниз?

Похоже, она хотела еще что-то сказать, наверняка подчеркнуть свою благодарность, но при виде Чарльза, застывшего в ожидании, последний раз смерила его долгим взглядом и прошла вперед.

Вниз она спускалась с такой же легкостью, как поднималась. Глядя ей в спину, он испытывал чувство сожаления, что такой он ее больше никогда не увидит… сожаления и облегчения. Удивительная женщина. Он ее уже не забудет… да ему и не позволят ее забыть, сказал он себе в утешение. Отныне миссис Трантер превращается в его надежного шпиона.

Они спустились к основанию нижнего утеса, прошли через первый тоннель из плюща, мино-

вали поляну, вошли во второй зеленый коридор… и тут!..

Где-то далеко внизу, со стороны главной тропы, идущей вдоль берегового оползневого уступа, раздался взрыв смеха. Это было нечто… как будто лесная нимфа — а смех был откровенно женским — следила за их тайным свиданием и больше не смогла сдержать своего веселья… эти самоуверенные глупцы всерьез полагают, что останутся незамеченными!

Чарльз и Сара остановились как по команде. Недавнее чувство облегчения у него мгновенно сменилось безотчетной тревогой. Вообще-то завеса из плюща была надежной, а смех раздался в двухстах или трехстах метрах от них, так что видеть их не могли. Разве что когда они спускались с голого утеса… Сара поднесла палец к губам и жестом показала, чтобы он оставался на месте, а сама крадучись прошла до конца тоннеля. Чарльз видел, как она со всеми предосторожностями выглядывает наружу. Резко обернувшись, она поманила его к себе, призывая двигаться как можно тише. И тут же — новый взрыв смеха. На этот раз не такой громкий, но зато ближе. Некто явно оставил главную тропу и теперь, петляя среди деревьев, поднимался в их сторону.

Чарльз направился к ней, стараясь осторожно ступать своими, как нарочно, тяжеловесными ботинками. Щеки у него порозовели, он был смущен до крайности. Никакое объяснение сейчас не сработает. Его застукали вместе с Сарой, а это *in flagrante delicto*[81].

И вот они стоят рядом. Слава богу, заросли плюща здесь особенно густые. Сара уже не смотрела на контрабандистов, она прижалась спиной к стволу дерева и опустила повинную голову — ведь это из-за нее они оказались в такой ситуации. Чарльз окинул взглядом склон, поросший ясенями… и оцепенел. К ним поднимались Сэм и Мэри, словно пожелавшие укрыться там же, где они. Сэм обнимал девушку за плечи. Оба несли в руках свои шляпы. На Мэри было зеленое выходное платье, подаренное Эрнестиной (именно в нем она последний раз предстала перед Чарльзом); головкой она приникла к щеке своего спутника. Молодые любовники… так же очевидно, как то, что эти ясени — старые деревья… и такие же зеленые, в эротическом смысле, как апрельская трава, по которой они ступали.

Чарльз отступил чуть назад, не выпуская их из

[81] Примечания: 81

In flagrante delicto (*лат.*) — юридический термин, означающий, что преступник был пойман с поличным.

виду. Сэм повернул к себе лицо девушки и поцеловал. Она вскинула руку, и они обнялись, а затем стыдливо отстранились, продолжая держаться за руки. Сэм подвел ее к травянистой полосе между деревьев. Мэри присела, потом легла на спину, а Сэм пристроился рядом и смотрел на нее сверху. Потом убрал волосы с ее лица, наклонился и нежно поцеловал в оба глаза.

Чарльз испытал приступ смущения. Он взглянул на Сару, чтобы удостовериться, узнала ли она незваных гостей. Но Сара спокойно рассматривала папоротник-листовик, как будто они с ней просто прятались от грозы. Прошли две минуты, три. Смущение сменилось облегчением: стало ясно, что эта парочка больше интересуется друг другом, чем окружающим ландшафтом. Чарльз снова глянул на Сару. Теперь она тоже из-за дерева наблюдала за парой. Потом опустила взор. А затем неожиданно посмотрела ему в глаза.

Мгновение.

А дальше произошло нечто странное, даже шокирующее, как если бы она сорвала с себя одежды.

Она улыбнулась.

Эта улыбка заключала в себе столько смыслов, что в первую минуту Чарльз смотрел на нее с

открытым ртом. В самый неподходящий момент! Сара словно ждала мгновения, чтобы одарить его улыбкой и тем самым обнажить свое внутреннее состояние, не сводящееся к безысходной печали. В этих широко раскрытых глазах, таких серьезных, тоскливых и недвусмысленных, скрывалась ирония, новая грань ее личности — та, с которой маленькие Пол и Вирджиния давно знакомы, но больше никому не ведомая в Лайме.

«Ну и где вы сейчас со своими претензиями? — как будто говорили эти глаза и слегка изогнутые губы. — Где ваше происхождение и наука, ваш этикет и социальный порядок?» На эту улыбку нельзя было ответить жесткой реакцией или нахмуренными бровями, только ответной улыбкой, ибо она прощала Сэма и Мэри, она прощала всех и в каких-то нюансах, слишком тонких для анализа, подрывала все, что до сих пор происходило между ней и Чарльзом. Она требовала куда более глубокого понимания и признания того факта, что неуклюжее равенство перетекает в близость, сознательно допускаемую. Так вот, сознательной улыбкой Чарльз ей не ответил, но что-то такое промелькнуло в его глазах. Он был взволнован (слишком смутно и обтекаемо, чтобы употребить слово «сексуально») до самых корней, как

человек, долго шагавший вдоль высокой стены и наконец наткнувшийся на заветную дверь… вот только она оказалась запертой.

На несколько мгновений они застыли: женщина — запертая дверь и мужчина без ключа. Потом она опустила глаза, и улыбка ушла. Последовало долгое молчание. Чарльз ясно осознал: он одной ногой в пропасти. Он уже готов был в нее прыгнуть. Он понимал, что если протянет руку, то не встретит сопротивления… ответом будет взаимная страсть. Щеки у него уже горели. Наконец он прошептал:

— Мы больше никогда не должны встречаться вдвоем.

Не поднимая головы, она согласно кивнула, а затем чуть не с вызовом отвернулась, чтобы он не видел ее лица. Он снова перевел взгляд на склон. Голова и плечи Сэма закрывали тело Мэри. Тянулись секунды, а Чарльз все смотрел, и его мысли вертелись вокруг пропасти, он даже не отдавал себе отчета в том, что шпионит, и с каждой секундой все больше пропитывался тем самым ядом, которого всячески пытался избежать.

Его спасла Мэри. Она вдруг оттолкнула Сэма и, хохоча, побежала вниз по склону к главной тропе. Один раз притормозив, она обратила к нему

проказливое личико, а затем подхватила юбки и помчалась дальше; среди фиалок и пролесок многолетних только мелькала красная полоска нижней юбки из-под зеленой материи. Сэм бросился вдогонку. Их фигуры мелькали между серыми стволами, то ныряли, то пропадали, проблески зеленого, проблески голубого, смех, вскрик — и тишина.

Прошло минут пять, стоящая в укрытии пара хранила молчание. Чарльз неотрывно разглядывал склон, как будто его здесь поставили наблюдателем. На самом деле он, конечно, избегал встречаться взглядом с Сарой. Наконец он прервал молчание.

— Вы можете идти. — Кивок в ответ. — А я еще полчасика подожду.

Она еще раз кивнула и прошла мимо него. Они так и не посмотрели друг на друга.

Уже оказавшись среди деревьев, она на секунду обернулась, чувствуя, что он глядит ей вслед. Его лица она не разглядела, зато он снова ощутил этот пронзающий взгляд. Легкой походкой она спустилась с холма.

22

Я жил под гнетом мощных скал,
Вконец раздавленный, размятый;
Я больше женщин не желал,
Разбитый той одной утратой.

Мечтал о воле – вот копье,
О силе, что сильней видений;
Искал спасение мое
Там, где ни страха, ни сомнений.

И понял, что искали предки,
И ты поймешь, не прекословь:
Да, сила с волей хоть и редки,
Но все ж не реже, чем любовь.

Мэтью Арнольд. Прощание

Все мысли Чарльза по пути назад в Лайм можно считать вариациями на популярную и старую как мир мужскую тему: «Ты, парень, играл с

огнем». И тональность его мыслей полностью совпадала с вербальным утверждением. Он вел себя чрезвычайно глупо, но эта глупость его не покарала. Он подверг себя абсурдному риску — и спасся, цел и невредим. И когда далеко внизу показалась огромная каменная лапа Кобба, он по-настоящему воспрянул духом.

Можем ли мы ему предъявлять серьезные обвинения? Его мотивы были чистыми с самого начала, он излечил ее от безумия, и если даже в какой-то момент в его мозг закралась нечистая мыслишка, это всего лишь мятный соус к великолепному ягненку. Вот если бы он сейчас не ушел от огня, причем навсегда, тогда другое дело. Но уж за этим он проследит. На то он и человек с высоким интеллектом, один из сильнейших в своем виде, наделенный абсолютной свободой воли, а не мотылек, одержимый горящей свечой. Если бы он не был уверен в этом спасательном круге, разве бы он рискнул войти в столь опасные воды? Я путаюсь в метафорах, но именно так рассуждал Чарльз.

Так, опираясь на свободу воли, а не только на ясеневую трость, он спустился с холма в город. Отныне с ее помощью он будет жестоко подавлять всякое физическое влечение к девушке. А

также сурово отвергать любые просьбы о приватном свидании. Все свои полномочия он передает тетушке Трантер, на то его свобода воли. А также и дальше держать Эрнестину в неведении — его право и даже обязанность. К гостинице «Белый лев» он подошел, доведя себя с помощью свободы воли до состояния, когда можно себя поздравить… а также посмотреть на Сару как на объект из прошлой жизни.

Удивительная женщина, удивительная. И загадочная. Он решил, что тем она его и привлекает… точнее, привлекала… своей непредсказуемостью. То, что она обладает двумя качествами, присущими многим англичанам (в его случае к условностям примешивалась ирония), как-то не приходило ему в голову. Я имею в виду страсть и воображение. И если о первом он смутно догадывался, то второе даже не просматривалось. Эти два качества применительно к женщине той эпохи общество отрицало: страсть воспринималась как чувственность, а воображение — как пустые фантазии. Такое пренебрежительное отношение Чарльза к этому двойному уравнению можно считать его серьезным изъяном… но тут он был продуктом своего времени.

Ему еще предстоял обман во плоти — Эрнести-

на. Но в гостинице Чарльз обнаружил, что семья пришла ему на помощь.

Его ждала телеграмма из Уинсайетта от дяди. Требовалось его немедленное присутствие «по крайне важному поводу». Прочитав ее, Чарльз расплылся в улыбке и чуть не поцеловал оранжевый конверт. Это избавляло его от неловких объяснений и утаивания правды. Удобнее не бывает. Он навел справки. Завтра есть утренний поезд из Эксетера, ближайшей станции; отличный предлог уехать прямо сейчас и там переночевать. Он распорядился найти ему самую быструю рессорную двуколку. Он сам будет ею управлять. Его подмывало уехать как можно скорее, оставив записку тетушке Трантер. Но это было бы слишком малодушно. И тогда, с телеграммой в руке, он отправился пешком, благо рукой подать.

Добрая дама высказала серьезную озабоченность — телеграммы означали для нее плохие новости. Менее суеверная Эрнестина не скрывала раздражения. Она с неодобрением отнеслась к тому, что дядя Роберт ведет себя как великий визирь. Наверняка какой-то пустяк, прихоть, стариковский каприз или, того хуже, взыграла мужская ревность.

Само собой, она уже успела побывать в Уинсайетте вместе с родителями, и сэр Роберт не вызвал у нее восторгов. Возможно, ей казалось, что ее слишком пристально разглядывают; возможно, дядя, эсквайр в энном поколении, по стандартам лондонского среднего класса, отличался плохими манерами… хотя более благосклонный критик назвал бы их забавно эксцентричными; возможно, в ее глазах этот дом скорее походил на старый амбар, *кошмарно* старомодный, если иметь в виду меблировку, портьеры и картинки на стенах. Упомянутый дядя так пекся о племяннике, а тот в ответ так ему подыгрывал, что Эрнестина не на шутку взревновала, не говоря уже о том, что перепугалась.

Пришлось звать местных дам, дабы они составили ей компанию. Сделать это было нетрудно, так как ее отец мог купить их всех скопом вместе с их отцами и мужьями. Эрнестине показалось, что на нее смотрят свысока (хотя ей просто завидовали) и изощренно подкалывают. Перспектива переезда в Уинсайетт ее не очень вдохновляла, хотя можно было по крайней мере помечтать о том, как с толком потратить часть своего огромного приданого — окончательно избавиться от всех этих нелепых деревянных стульев с завит-

ками (бесценные, эпохи Реставрации), мрачных комодов (эпоха Тюдора), изъеденных молью гобеленов (мануфактура Гобеленов) и скучных картин (включая Клода Лоррена, 2 шт., и Тинторетто, 1 шт.), изначально не вызывавших ее одобрения.

Признаться Чарльзу в своей неприязни к дяде она не решилась, а о других досадных мелочах говорила вскользь и скорее с юмором, чем с сарказмом. Я думаю, винить ее не в чем. Подобно многим дочерям богатых родителей, как в прошлом, так и в будущем, она обладала единственным талантом — условно хорошим вкусом… то есть знала, как потратить немалые деньги на портних, модисток и краснодеревщиков. Это был ее круг интересов, причем единственный, и ей не нравилось, когда на него посягали.

Спешащий Чарльз с терпением отнесся к ее молчаливому неодобрению и прелестно надутым губкам и пообещал прилететь обратно на крыльях, как он сейчас улетает. Вообще-то он догадывался, зачем так срочно понадобился дяде. Этой темы они коснулись, когда он там был вместе с Тиной и ее родителями… но очень вскользь по причине дядиной деликатности. Речь шла о том, чтобы Чарльз с невестой разделили с ним

особняк и даже «отделали» восточное крыло. Имелись в виду не просто временные посещения, а то, что Чарльз там прочно обоснуется и вникнет в дела управления большим поместьем. Такая перспектива привлекала его не больше, чем Эрнестину, о чем он пока не знал. Он понимал, что это выйдет ему боком: дядя будет метаться между слепой любовью и осуждением… а Эрнестину уинсайеттская наука лишь отвлечет от раннего брака. Но в приватной беседе дядя ему еще кое на что намекнул: поместье слишком огромное для старого одинокого человека, и, пожалуй, в имении поменьше ему было бы куда уютнее. Таких в округе было предостаточно, а недвижимость в Уинсайетте росла в цене. В самой деревне стоял чудный елизаветинский особнячок, который дядя практически мог разглядеть из своих окон.

Чарльз догадывался, что в старике заговорил эгоизм и он вызвал племянника, чтобы ему предложить либо хозяйский дом, либо особнячок по соседству. Любой вариант сгодится. Разницы особой нет, лишь бы дядя держался подальше. Старый холостяк почти наверняка тоже готов на то и на другое, сейчас он вроде нервного ездока, оказавшегося перед препятствием и желающего, чтобы ему помогли это препятствие преодолеть.

Под конец беседы втроем на Брод-стрит Чарльз попросил тетушку оставить их с Эрнестиной наедине, и как только та вышла, он сообщил о своих подозрениях.

— Но почему он не обсудил это с нами тогда?

— Дорогая, в этом весь дядя Боб. И что мне ему ответить?

— А ты что предпочитаешь?

— Выбор за тобой. Или ни то ни другое. Хотя ему будет больно…

Эрнестина чертыхнулась в адрес богатых дядюшек. Впрочем, она легко видела себя, леди Смитсон, в господском доме, эта мысль уже приходила ей в голову… не потому ли, что отданная ей задняя гостиная в доме тетушки была маловата? В конце концов, титул требует соответствующего антуража. Если ужасного старика не будет с ними под одной крышей… и годков ему уже немало. Надо же и о дорогом Чарльзе подумать. И о родителях, которым она обязана…

— Это не тот дом в деревне, что мы проезжали в экипаже?

— Он самый, с живописным старинным фронтоном…

— Это всего лишь фасад.

— Конечно, над ним придется поработать.

— Как ты его окрестил?

— В деревне его называют «Маленьким домом». Но все относительно. Я там был много лет назад, и внутри он производит куда более сильное впечатление.

— Знаю я эти старые особнячки. Десяток невзрачных комнатушек. Мне кажется, все елизаветинцы были карликами.

Он улыбнулся (хотя мог бы поправить ее забавную интерпретацию архитектуры эпохи Тюдоров) и приобнял за плечи.

— Значит, господский дом?

Она стрельнула в него глазами из-под изогнутых бровей.

— Ты этого хочешь?

— Ты же знаешь, что он для меня значит.

— Я смогу сделать в нем перестановки?

— Да просто снесешь и построишь на его месте новый Хрустальный дворец[82].

— Чарльз! Ты можешь хоть раз побыть серьезным?!

Она отпрянула. Но вскоре он получил поцелуй всепрощения и с легким сердцем отправился в дорогу. А Эрнестина поднялась к себе наверх и до-

---

[82] Примечания: 82

Огромный выставочный павильон из стекла и чугуна, *п*остроенный в Лондоне для «Великой выставки» 1851 *года.*

стала из тумбочки весь свой арсенал каталогов.

23

Вот тис. А эта ветка —
Подруга моего, представьте,
предка…

Томас Харди. Трансформации

Рессорная двуколка с откинутым верхом, дабы Чарльз мог наслаждаться весенним солнцем, миновала ворота, которые для него открыл молодой Хокинс, а пожилая миссис Хокинс застенчиво улыбалась гостю, стоя на пороге коттеджа. Чарльз попросил помощника конюха, который сменил его в Чиппенхэме и сейчас сидел на козлах рядом с Сэмом, на минутку остановиться. Между Чарльзом и этой тетушкой существовали особые отношения. Оставшись без матери в годовалом возрасте, он попадал в разные женские руки, а во время побывок в Уинсайетте привязался к этой самой миссис Хокинс. В те дни, в сущности, она была главной прачкой, но в служебном отношении и по степени популярности уступала разве только суровой домоправительнице. Пожалуй, привязанность Чарльза к тетушке Трантер была эхом его детского влечения к простой женщине,

которая идеально подходила на роль Бавкиды[83] и уже ковыляла ему навстречу.

Ему пришлось отвечать на ее жадные вопросы по поводу предстоящей женитьбы, а он, в свою очередь, расспрашивал про ее детей. Сегодня она была как-то особенно заботлива, и в ее глазах проглядывал оттенок жалости, с какой добросердечная беднота порой относится к приятным ей богатым людям. Этот оттенок был ему знаком с детства — так невинная и рассудительная селянка смотрела на несчастного, оставшегося без матери мальчика под опекой испорченного отца. Нехорошие слухи о разгульной столичной жизни батюшки доходили до Уинсайетта. Это немое сострадание в нынешних обстоятельствах казалось совершенно неуместным, но Чарльза оно забавляло, и потому он терпеливо ему попустительствовал. Оно шло от любви к нему — вместе с этим садиком за сторожкой у ворот, и парком чуть подальше, и группками старых деревьев, где каждая имела свое родное имя: «Привал Карсо-

[83] Примечания: 83

Филемон и Бавкида — в греческой мифологии идеал супружеского счастья. Зевс исполнил их желание, и после долгой совместной жизни они превратились в дуб и липу, растущие из одного корня.

на»[84], «Холм с десятью сосенками», «Рамийи»[85] (посадка в честь известной битвы), «Дубы и вязы», «Роща муз» и еще десяток других, так же хорошо знакомых Чарльзу, как названия частей собственного тела, и великолепная липовая аллея, и кованая ограда, — все это в тот день, казалось, дышало к нему любовью. Наконец он с улыбкой остановил разглагольствования прачки.

— Мне пора. Меня ждет дядя.

У миссис Хокинс сделалось такое лицо, словно она так легко не позволит от себя избавиться, но уже через секунду служанка в ней победила приемную мать. Она удовлетворила себя тем, что накрыла его руку, лежавшую на дверце экипажа.

— Да, мистер Чарльз. Он вас ждет.

Кучер ударил кнутом по заду головную лошадь, и двуколка покатилась вверх по небольшому уклону под пятнистыми тенями все еще голых лип. Вскоре дорожка сделалась горизонтальной, кнут еще раз лениво прошелся по конскому заду, и обе лошадки, вспомнив про ждущие их ясли,

---

[84] Примечания: 84

Кристофер «Кит» Карсон (1809–1868) — известный американский генерал, участник эпопеи фронтира и индейских войн.

[85] Примечания: 85

Сражение при Рамийи (1706) закончилось победой англо-голландских войск под командованием герцога Мальборо над французскими войсками во время войны за Испанское наследство.

бодро затрусили. Веселый перестук железных колес, поскрипывание плохо смазанных осей, детские нежности, ожившие благодаря миссис Хокинс, его уверенность в том, что скоро он станет здесь полновластным хозяином, — все это пробудило в нем невыразимые чувства счастливой судьбы и правильного миропорядка, несколько поколебленные за время его пребывания в Лайме. Этот английский пейзаж принадлежал Чарльзу, а он ему; эта часть Англии становилась зоной его ответственности, и теперь ее престиж, ее многовековой уклад зависели от него.

Они миновали компанию дядиных рабочих: кузнец Эбенезер рядом с переносной жаровней, кувалдой распрямляющий погнувшийся кованый поручень. За ним двое отдыхающих лесорубов. И глубокий старик в толстовке своей молодости и старомодном котелке… Бен, отец кузнеца, один из дюжины пенсионеров с правом проживания в имении, не менее свободный в своих перемещениях, чем сам хозяин, эдакое ходячее свидетельство уинсайеттской истории последних восьмидесяти лет, к которому нередко обращались за советом.

Все четверо при появлении двуколки помахали кто рукой, а кто котелком. Чарльз, как важный

сеньор, помахал в ответ. Он знал все про их жизнь, как и они про его. Ему даже было известно, из-за чего погнулся поручень… красавец Иона, любимый дядин бык, протаранил ландо миссис Томкинс. «Сама чертовка виновата, — написал дядя в письме. — Не надо было красить губы в алый цвет». Чарльз с улыбкой вспомнил свою подколку в ответном письме, почему привлекательная вдова приезжает в Уинсайетт одна, без сопровождения…

Как же здорово было снова оказаться в этом незыблемом сельском раю! Километры весеннего газона, холмистый Уилтшир вдалеке, вырастающий перед глазами господский кремово-серый дом с огромными кедрами и прославленными темно-пунцовыми буками (они всегда славились) вокруг западного крыла, почти неразличимая конюшня позади и деревянная башенка с часами — такой белый указательный знак среди переплетающихся ветвей. Эти часы над конюшней были по-своему символичны, хотя ничто в Уинсайетте, если не считать телеграммы, срочным не считалось: зеленое сегодня плавно перетекало в зеленое завтра, реальным временем были солнечные часы, и при том что работы всегда было меньше, чем рабочих рук, за исключением пери-

ода сенокоса и жатвы, ощущение порядка давно стало основательным и почти механическим, каждый чувствовал, что это незыблемо и пребудет таким вечно: Божьей милостью. Видит небо — и наша Милли, — существовали в провинции острова ужасной бедности и несправедливости вроде Шеффилда или Манчестера, но только не в больших английских имениях — возможно, просто потому, что их владельцам ухоженные крестьяне были так же важны, как ухоженные поля и домашний скот. Эта сравнительная доброта к целому штату прислуги, возможно, была всего лишь побочным продуктом в стремлении хозяев создать для себя радужные перспективы, но мелкие сошки от этого только выигрывали. Мотивы нынешнего «умного» планирования отличаются, надо думать, не бóльшим альтруизмом. Одни добрые эксплуататоры озабочены Радужными Перспективами, а другие — Высокой Продуктивностью.

Когда двуколка выбралась из липовой аллеи на простор ровненьких лужаек с отдельными кустарниками, а дорожка зазмеилась прямо к господскому дому в палладианском стиле, без фанатизма перестроенному Уайеттом-млад-

шим[86], Чарльз по-настоящему ощутил, что въезжает в свои наследные владения. Его предыдущие блуждания, его флирт с религией, наукой, путешествиями — все было ради этого мгновения… интронизации, так сказать. Абсурдное приключение на береговом оползневом уступе благополучно забыто. Впереди его ждет непомерный долг, сохранение этого миропорядка, а когда-то с тем же столкнулись его предки, такие же молодые люди. Долг — вот его настоящая супруга, Эрнестина и Сара вместе взятые, и он выпрыгнул из коляски, чтобы радостно ее приветствовать, как какой-нибудь юнец.

Его приветствовал пустой холл. Он вошел в комнату отдыха, она же гостиная, ожидая увидеть идущего ему навстречу сияющего дядю. Никого. И еще некая странность его поначалу озадачила. Но потом он сообразил и улыбнулся. Новые шторы и новые ковры. Эрнестина не обрадуется — ее лишили права выбора, но, с другой стороны, может ли быть более убедительное доказательство, что старый вдовец вознамерился торжественно передать факел в другие руки?

И еще одну перемену Чарльз не сразу осознал.

---

[86] Примечания: 86

Джеймс Уайетт (1746–1813) — британский архитектор, один из виднейших представителей этой архитектурной династии.

Исчезла бессмертная дрофа; на месте стеклянного ларца стояла горка.

Однако он так и не догадался.

Как, впрочем, не догадался — да и мог ли, в принципе? — о том, что произошло с Сарой, после того как она его оставила накануне. Она быстро миновала рощу и дошла до места, где обычно выбирала самую верхнюю тропу, исключавшую вероятность того, что кто-то из маслобойни ее увидит. Случайный наблюдатель отметил бы ее минутные колебания, а если бы он обладал таким же острым слухом, как она, то понял бы их причину: со стороны молочной фермы под горой, метрах в ста от нее, доносились голоса. Сара вкрадчиво подошла к большому падубу, чтобы сквозь густую листву увидеть двор маслобойни. Она долго всматривалась, и ее лицо ничего не выражало. Но какие-то перемены заставили ее принять решение… вот только, вместо того чтобы нырнуть обратно в лес, она с вызовом вышла на тропинку, что вела прямиком к гужевой дороге по-над фермой. Так она оказалась полностью на виду у двух женщин возле маслобойни; одна из них, с корзинкой в руке, как раз собиралась возвращаться домой.

Две пары глаз с удивлением уставились на

темную фигуру. Не глядя на них, Сара резво шла вперед, пока не скрылась за живой изгородью.

Одной из женщин была жена дояра. Второй — миссис Фэйрли.

24

Однажды я слышал, как кто-то сказал, что типичная викторианская фраза звучит так: «Ты должен помнить, что это твой дядя…»

Дж. М. Янг. Викторианские эссе

— Это что-то вопиющее. Вопиющее. Он потерял последние остатки разума.

— Он потерял ощущение пропорций. Это немного разные вещи.

— Но в такой момент!

— Моя дорогая Тина, Купидон известен своим полным пренебрежением к удобствам простых смертных.

— Ты прекрасно понимаешь, что Купидон к этому не имеет никакого отношения.

— Боюсь, что самое прямое. Старые сердца самые беззащитные.

— Это все из-за меня. Я ему не понравилась, я знаю.

— Ну что ты, не говори глупости.

— Никакие не глупости. Для него я дочь простого драпировщика.

— Дитя мое, держи себя в руках.

— Я так сержусь исключительно из-за тебя.

— С твоего позволения, я и сам могу за себя посердиться.

Наступило молчание, что дает мне возможность уточнить: этот разговор происходил в доме миссис Трантер, а точнее, в задней гостиной. Чарльз стоял у окна, спиной к Эрнестине, которая еще недавно плакала, а сейчас с угрожающим видом теребила кружевной платок.

— Я знаю, как ты любишь Уинсайетт.

О том, какой была бы реакция Чарльза, мы можем только догадываться, ибо в этот момент дверь распахнулась, и вошла тетушка Трантер с гостеприимной улыбкой на лице.

— Вы так скоро вернулись!

Еще недавно мы видели, как он подъезжал к дядиному дому, и вот он уже в Лайме, в половине десятого того же дня. Чарльз выдавил из себя улыбку.

— Мы… быстро решили наши дела.

— Случилось нечто ужасное и бесчестное, — вмешалась Эрнестина. Тетушка с тревогой перевела взгляд на племянницу, на лице которой были написаны трагедия и гнев. А та продолжила: — Чарльза лишили наследства.

— Лишили наследства!

— Эрнестина преувеличивает. Просто мой дядя решил жениться. Если ему улыбнется удача и у него родится наследник…

— Удача! — Она бросила на него испепеляющий взгляд. Тетушка в страхе смотрела то на него, то на нее.

— Но… кто она?

— Ее зовут миссис Томкинс, — пояснил Чарльз. — Она вдова.

— И достаточно молода, чтобы родить дюжину наследников.

Чарльз улыбнулся.

— В этом я сомневаюсь. Но вообще еще может родить.

— Вы ее знаете?

Эрнестина опередила Чарльза:

— Вот что самое бесчестное. Всего два месяца назад его дядя высмеивал эту женщину в письме к нему. А сейчас он валяется у нее в ногах.

— Эрнестина, дорогая!

— Я не могу оставаться спокойной. Это уже слишком. После стольких лет…

Чарльз сделал глубокий вдох и обратился к тетушке:

— Насколько я понимаю, у нее прекрасные

связи. Ее покойный муж был полковником сороковой гусарской бригады и обеспечил ее всем необходимым. По-моему, нет никаких оснований подозревать ее в том, что она охотится за его деньгами. — Еще один испепеляющий взгляд дал ему понять, что для этого есть все основания. — Говорят, она весьма привлекательная.

— И выезжает на охоту в сопровождении гончих.

Он кисло улыбнулся по поводу намека на полученный миссис Томкинс синяк, о чем ему написал дядя в том жутковатом письме.

— Очень возможно. Но это еще не преступление.

Тетушка Трантер плюхнулась на стул и переводила взгляд с одного юного лица на другое, ища в них, как водится, лучик надежды.

— Но разве он не слишком старый, чтобы иметь детей?

Чарльз удостоил подобную невинность легкой улыбкой.

— Ему, миссис Трантер, шестьдесят семь. Он еще не такой старый.

— При том, что она ему во внучки годится.

— Моя дорогая Тина, в таких обстоятельствах нам остается только сохранять собственное

достоинство. Умоляю вас, хотя бы ради меня давайте без этой горечи. Мы должны принять сей факт с великодушием, на какое только способны.

Увидев его посуровевшее нервное лицо, она поняла, что переиграла, и, подбежав к нему, поднесла его пальчики к своим губам. Он поцеловал ее в макушку, но не дал себя обмануть. Тихая мышка и строптивица с виду могут быть похожи, но они разные, и, хотя он затруднялся подобрать точные слова, описывающие реакцию Эрнестины на не самые приятные новости, это было что-то близкое к «неподобающей». Ускользнув из ловушки и явившись из Эксетера прямиком к тетушке Трантер, он ждал симпатии и понимания, а не откровенной ярости, пусть даже это льстиво подавалось как отражение его собственных чувств. Может, в этом все дело: она и помыслить не могла, что джентльмен способен на гневную вспышку, подобную той, какую она себе позволила в его адрес. То-то и оно, за пять минут она показала себя истинной дочерью драпировщика, которого переиграли в сделке, а он не обладает традиционной невозмутимостью аристократа, не позволяющего неурядицам хоть как-то выбить его из привычной колеи.

Он за руку проводил Эрнестину обратно к ди-

вану, откуда она минуту назад бойко спрыгнула. Важный разговор, приведший к этому поспешному визиту, — было время все обдумать за долгий путь, — пожалуй, решил он, следует отложить до завтра. Он искал предлог для того, чтобы продемонстрировать свою корректность, и не придумал ничего лучше, чем непринужденно сменить тему.

— А какие важные события произошли в Лайме в мое отсутствие?

Он словно о чем-то напомнил Эрнестине, и она обратилась к тетушке.

— Вы слышали эту новость? — Прежде чем та успела ответить, Эрнестина уже повернулась к Чарльзу. — Еще какое событие. Миссис Поултни рассчитала мисс Вудраф.

У Чарльза екнуло сердце, но если что-то и отразилось на его лице, то тетушка этого не заметила, поскольку горела желанием обнародовать эту новость в собственном изложении. Ибо не случайно ее не было дома, когда приехал Чарльз. Рассчитали грешницу накануне вечером и позволили ей провести последнюю ночь под крышей «дома Марлборо». Рано утром пришел носильщик за вещами и получил указание доставить их в гостиницу «Белый лев». Тут Чарльз буквально

побледнел, но тетушка уже следующей фразой развеяла его опасения.

— В багажное хранилище для экипажей. — Дело в том, что омнибусы из Дорчестера в Эксетер не отваживались спускаться с крутого холма в Лайм и потому принимали пассажиров на перекрестке в четырех милях от главной дороги на запад. — Но миссис Ханникотт расспросила этого носильщика. Он твердо уверен в том, что мисс Вудраф в гостинице не было. Служанка сказала, что она уехала на рассвете и только распорядилась по поводу коробки с вещами.

— А дальше?

— Она исчезла.

— Вы видели викария?

— Нет, но мисс Тримбл заверила меня, что сегодня днем он пришел в «дом Марлборо». Ему сказали, что миссис Поултни нездоровится. Он разговаривал с мисс Фэйрли. Ей было известно лишь то, что до ее хозяйки дошли какие-то ужасающие новости, которые ее сильно расстроили… — Миссис Трантер остановилась на полуслове, видимо, огорченная невежеством гувернантки не меньше, чем исчезновением Сары. Она искала взглядом собеседников. — Что? *Что* там могло случиться?

— Ей не надо было устраиваться на работу в «дом Марлборо». Это все равно что отдать себя на съедение волчице. — Эрнестина обратилась к Чарльзу за подтверждением своих слов.

Внешне спокойный, он повернулся к тетушке.

— Нет ли опасности…

— Этого мы все и боимся. Викарий послал людей прочесать лес до Чармута. Там она гуляла по скалам.

— И они…

— Ничего не нашли.

— Вы говорили, что когда-то она работала у…

— И туда посылали. Там о ней тоже ничего не слышали.

— А Гроган… его в «дом Марлборо» не вызывали? — Он искусно ввернул это имя и повернулся к Эрнестине. — В тот вечер, когда мы вместе пили грог, он заговорил о ней. Я знаю, что он озабочен ее положением.

— В семь вечера мисс Тримбл видела, как он говорил с викарием. Он был сильно взволнован. «Разгневан» — так она сказала. — Мисс Тримбл держала лавку женских безделушек на Бродстрит и потому была идеальным источником информации в городе. Всегда радушная миссис Трантер преобразилась до неузнаваемости,

сделавшись угрожающе суровой. — Даже если миссис Поултни серьезно заболеет, я к ней не приду.

Эрнестина закрыла лицо руками.

— О, какой ужасный день!

Чарльз посматривал на дам.

— Может, мне заглянуть к Грогану?

— Ах, Чарльз, что ты можешь сделать! Уже столько людей занимаются поисками.

Но он-то имел в виду другое. Он догадывался, что изгнание Сары было как-то связано с ее прогулками по береговому уступу, и больше всего переживал, что их видели вместе. Он стоял в мучительной нерешительности. Необходимо было срочно выяснить, что публично известно о причинах ее увольнения. Он вдруг ощутил клаустрофобию в маленькой гостиной. Надо побыть одному. Надо обдумать план действий. Если Сара еще жива… но кто знает, на что она могла решиться в ночь отчаяния, пока он безмятежно спал в своей гостинице в Эксетере?.. если она еще дышит, то он догадывается, где она сейчас. Он единственный в Лайме, кому известно ее местонахождение… но невозможно сказать об этом вслух … эта мысль его давила, как если бы он был спеленат саваном.

Через несколько минут он уже широко шагал вниз по склону холма к «Белому льву». Было не холодно, но пасмурно. По щекам то и дело пробегались влажные пальцы. Гром был на подходе… и в сердце тоже.

25

Мой лорд, что значат вздохи эти
Для той, кому не быть твоей?

Альфред Теннисон. Мод

Первым делом он решил послать Сэма с письмом к доктору-ирландцу. Он сочинял текст на ходу: «Миссис Трантер глубоко озабочена…», «Если потребуются средства для поисковой партии…» или лучше так: «Если я могу чем-то помочь финансово или еще как-то…». Эти фразы крутились у него в голове. Подойдя к постоялому двору, он громко крикнул отнюдь не глухому конюху, чтобы тот сходил за Сэмом в пивную и немедленно его прислал. В номере Чарльза ждал третий удар за день.

На круглом столе лежала сложенная записка, скрепленная черным воском. Почерк был ему незнаком: *Мистеру Смитсону в «Белом льве»*. Он вскрыл ее. Ни заголовка, ни подписи.

Умоляю вас встретиться со мной в последний раз. Я буду ждать сегодня после полудня и завтра утром. Если вы не придете, я вас больше никогда

не побеспокою.

Чарльз прочел ее дважды, трижды, а потом уставился в темноту за окном. Он пришел в ярость от того, что она с такой беззаботностью поставила под угрозу его репутацию; испытал облегчение от этого свидетельства, что она жива; и снова разъярился уже по поводу скрытой угрозы в последнем предложении. Пришел Сэм, вытирая рот платком — недвусмысленный намек на то, что ему не дали доесть ужин. Поскольку его обед состоял из бутылки имбирного пива и трех прогорклых бисквитов с тмином, он заслуживал прощения. Сэм сразу понял, что господин в таком же скверном настроении, как и все время после их отъезда из Уинсайетта.

— Спустись вниз и выясни, кто мне принес эту записку.

— Да, мистер Чарльз.

Сэм успел спуститься на несколько ступенек, когда на пороге вдруг возник хозяин.

— Пусть тот, кто ее принес, поднимется ко мне.

— Да, мистер Чарльз.

Хозяин вернулся в комнату. В мозгу на мгновение вспыхнул образ древних событий, сохраненный в синем лейасе, а он, Чарльз, принес его Эрнестине: аммониты, оставшиеся в какой-то

запруде, микроскопические последствия катастрофы, которая случилась девяносто миллионов лет назад. Сверкнула черная молния, и его словно озарило: в жизни все развивается параллельно; эволюция — не вертикальный тренд, стремящийся к совершенству, а горизонтальный. Время — такой вселенский софизм, бытие лишено истории, все происходит сейчас, прокручивается в этой дьявольской машине. Все эти расписанные ширмы, возведенные человеком, чтобы прикрыть реальность, — история, религия, долг, социальный статус, — не более чем иллюзии, опиумные фантазии.

Он развернулся — в комнату вошел Сэм, а с ним все тот же конюх. Записку в десять утра принес мальчишка. Конюх знал его в лицо, но не по имени. Мальчишка не сказал, кто его послал. Чарльз нетерпеливым жестом отпустил конюха, а потом с таким же нетерпением пожелал узнать, куда уставился его слуга.

— Никуда я не уставился, мистер Чарльз.

— Скажи, чтобы мне подали ужин. Что угодно.

— Да, мистер Чарльз.

— И больше меня не беспокой. Можешь разложить мои вещи.

Сэм удалился в спальню, а Чарльз остался у

окна. Глядя вниз, он увидел при свете из трактира, как мальчик пробежал по противоположной стороне улицы, пересек брусчатку прямо под его окном и пропал из виду. Он чуть не выбросил на ринг белое полотенце, готовый прокричать из окна, так как интуиция ему подсказала, что это тот же посыльный. Его лихорадило от смятения. Но пауза затянулась, и он уже решил, что ошибся. Из спальни вышел Сэм и направился к выходу. И тут в дверь постучали. Сэм открыл.

На пороге стоял конюх с идиотской улыбочкой, означавшей, что на этот раз он уж точно не ошибся. В руке он держал записку.

— Эт тот же парнишка, сэр. Я его расспросил. Записку ему дала та же баба. Имя он не знает, но у нас все ее называют…

— Да, да. Давайте сюда.

Сэм забрал у него записку и передал хозяину с этакой молчаливой нагловатостью, как будто ему было известно нечто такое, что он скрывал под маской услужливости. Он показал конюху большой палец и незаметно подмигнул, после чего тот удалился. Сэм хотел отправиться следом, но Чарльз его остановил. Он подыскивал слова поделикатнее и поубедительнее.

— Сэм, я проявил интерес к судьбе несчастной

местной женщины. Я желал… и по-прежнему желаю сохранять это втайне от миссис Трантер. Ты меня понимаешь?

— Как не понять, мистер Чарльз.

— Я надеюсь устроить эту персону… как она того заслуживает. И тогда, разумеется, я поставлю в известность миссис Трантер. Это будет маленький сюрприз. Так сказать, награда за ее гостеприимство. Она к ней питает самые теплые чувства.

Сэм стоял в позе, которую Чарльз про себя определил как «лакейскую» — нижайшая готовность выполнить повеления хозяина. Это настолько не соответствовало натуре настоящего Сэма, что Чарльзу пришлось еще помучиться.

— В общем… хотя это не так важно… о нашем разговоре никому.

— К'нешно, мистер Чарльз. — Сэм посмотрел на него в изумлении, как викарий, обвиненный в игре на деньги.

Чарльз отвернулся к окну, и потому этот взгляд прошел незамеченным, как и надутые губы и легкий кивок. А когда слуга закрыл за собой дверь, Чарльз развернул новую записку.

Je vous ai attendu toute la journee. Je vous prie — une femme à genoux vous supplie de l'aider dans

son désespoir. Je passerai la nuit en prieres pour votre venue. Je serai des l'aube à la petite grange près de la mer atteinte par le premier sentier a gauche aprés la ferme[87].

За неимением воска записка не была запечатана, отсюда этот гувернерский французский. Написано… нацарапано карандашом, явно впопыхах, на пороге скромного коттеджа или на береговом уступе… где ж ей еще быть? Принес записку какой-нибудь сынишка рыбака из Кобба — туда как раз спускалась тропинка с уступа, просматриваемая со стороны города. Какая безумная затея, какой риск!

Француз! Варгенн!

Чарльз скомкал листок в кулаке. Далекая молния анонсировала приближение грозы; первые тяжелые грозные капли плеснули в окно и потекли по стеклу. Где она сейчас? Представив, как она, насквозь промокшая, бежит под дождем, озаряемая молниями, он на несколько секунд отвлекся от собственных болезненных переживаний. Нет, это уже чересчур! После такого дня!

---

[87] Примечания: 87

Я вас прождала весь день. Я вас прошу… женщина на коленях умоляет вас помочь в ее отчаянном положении. Я проведу ночь в молитвах о вашем появлении. Я буду вас ждать в сарайчике у моря, куда ведет тропинка слева от фермы (*фр.*).

С восклицательными знаками я, возможно, переборщил. А Чарльз нервно расхаживал туда-сюда, и в голове гневно вскипали мысли, реакции на мысли и реакции на реакции. Потом остановился перед эркером и уставился на улицу. И тут вдруг вспомнил ее слова про терновник… если бы тот прошелся по Брод-стрит, то это было бы оскорблением общества. Он резко отвернулся и сжал виски, а потом поспешил в спальню, чтобы увидеть себя в зеркале.

Хотя он и так знал, что это не сон. Он мысленно повторял: надо что-то делать, надо действовать. Даже осерчал на свою слабость и проникся твердым желанием сделать некий жест, демонстрирующий, что он не какой-то там аммонит в засушливом месте, что он способен противостоять затянувшим небо грозовым тучам. Он должен с кем-то поговорить, обнажить душу.

Чарльз вернулся в гостиную и потянул за цепочку на газовой люстре, отчего бледно-зеленое пламя поменялось на белое каление. Потом подергал веревочку звонка у входной двери. Пришел официант, и Чарльз заказал ему четверть пинты лучшего местного «кобблера», этого бархатистого сочетания шерри и бренди, которое помогло расслабиться не одному викторианцу.

Минут через пять Сэм, поднимавшийся по лестнице с ужином на подносе, был огорошен бодро шагавшим вниз хозяином в шотландском плаще с капюшоном, а щеки у него горели. Приостановившись ступенькой выше, Чарльз на секунду приподнял салфетку, прикрывавшую коричневый виндзорский суп и баранину с вареной картошкой, и, ни слова не говоря, продолжил спускаться.

— Мистер Чарльз?

— Съешь сам.

Хозяин скрылся, а Сэм так и застыл, оттопырив языком левую щеку и уставившись на перила.

26

Устарела статья!
Так и знайте, друзья:
Все зависит от права манора.

Льюис Кэрролл. Охота на Снарка (1876)

Юная служанка так перевернула мозги нашего кокни, что тут было над чем задуматься. Он влюбился не только в Мэри как таковую, что нормально для здорового парня, но еще и в образ, являвшийся ему во сне… причем совсем не тот, какой является его сверстникам в наш прозаический раскрепощенный век. Чаще всего он видел ее красиво притулившейся за прилавком мужского магазина. Видные клиенты со всего Лондона, словно намагниченные, тянулись к этому соблазнительному личику. Улица почернела от цилиндров, по мостовой громыхали коляски и двухколесные экипажи. Этакий волшебный самовар, чей краник контролировала Мэри, выдавал бесконечный поток перчаток, шарфов, шляп, гетр, модных полуботинок на застежке и воротничков — «пикадилли», «шекспировские»,

«ошейники», «даксбери». Сэм был помешан на этой детали туалета, вот он, фетиш, и Мэри в его снах непременно красовалась перед восхищенными лордами и герцогами в воротничках разного покроя. В сей очаровательной сценке Сэму отводилось место за кассой, где золото само текло ему в руки.

Он, конечно, понимал, что это всего лишь сон. Но Мэри словно подчеркивала его реальность. И даже прорисовывала пугающие черты демона, мешавшего превратиться ему в явь. Имя демона — Пока-не-готов. Уж не его ли, вездесущего врага человечества, высматривал Сэм в хозяйской гостиной, где он уютно устроился (после того как проводил взглядом Чарльза, удалившегося по Брод-стрит, и еще раз загадочным образом надул губы), чтобы побаловать себя вторым ужином: пара ложек супа, лучшие куски баранины… если не считать финансов, у Сэма были все задатки важной персоны. Но вот уже он уставился в пространство, словно забыв о сидящем на вилке вожделенном кусочке баранины в соусе с каперсами.

Слово *mal* (вот вам еще одна монетка в копилку бесполезных знаний) является древнеанглийским заимствованием из древнего норвежского

языка, пришедшим к нам от викингов. Первоначально оно означало «речь», но поскольку к этому не вполне мужскому занятию викинги обращались лишь тогда, когда им надо было что-то потребовать под угрозой топорика, оно затем сменило значение на «дань» или «выплата дани». Часть викингов двинула на юг и основала сицилийскую мафию, а другая (к тому времени слово *mal* уже превратилось в *mail*) совершала набеги на границе с Шотландией. Если кто-то положил глаз на урожай соседа или на его девственницу-дочь, он должен был заплатить *mail* местным вождям. Ну а жертвы со временем стали это называть *black mail*, то бишь «шантажом».

Сэм вряд ли размышлял об этимологии, но уж точно задумался над смыслом этого слова, так как сразу догадался, о какой «несчастной женщине» шла речь. Увольнение «женщины французского лейтенанта» было слишком горячим событием, чтобы его не обсосали все жители Лайма в течение дня. Один такой разговор Сэм подслушал в пивной во время прерванного ужина. Про Сару он знал от Мэри. А еще он хорошо знал своего хозяина и видел, что тот не в своей тарелке и явно что-то задумал… и пошел явно не к миссис Трантер. Сэм положил вилку с куском баранины и стал

постукивать себя пальцем по ноздре — довольно распространенный жест на скачках в Ньюмаркете, когда косолапый мужичок вдруг почует, что под видом рысака выставили «крысу». Но в данном-то случае крысой, боюсь, был как раз Сэм, почуявший, что корабль скоро пойдет ко дну.

Челядь в Уинсайетте отлично понимала суть происходящего: дядя дал племяннику отлуп. Эта провинциальная рабочая косточка с ее врожденным уважением к хорошему браку неодобрительно смотрела на редкие визиты Чарльза к дяде… иными словами, на то, что он не умасливает сэра Роберта, как полагается. В то время хозяева воспринимали слуг почти как мебель, часто забывая, что у них есть уши и сметливость. Отдельные стычки между стариком и наследником не прошли незамеченными и необсужденными. И если молоденькие служанки жалели красавца Чарльза, то люди постарше, умудренные опытом, видели в нем беспечного кузнечика и задаваку. Сами они всю жизнь вкалывали за маленькую зарплату и теперь радовались, что Чарльз наказан за свою леность.

Кроме того, миссис Томкинс, принадлежащая к верхушке среднего класса авантюристка, в чем Эрнестина не ошиблась, расстаралась как могла,

чтобы себе обеспечить домоправительницу и дворецкого, и эти два достойных представителя дали свой *imprimatur*[88] или *ducatur in matrimonium*[89] по поводу полноватой и экспансивной вдовы, которая, когда ей показали давно не используемые апартаменты в восточном крыле, сказала домоправительнице, как славно будет их использовать в качестве детской. Хотя у миссис Томкинс были сын и две дочери от первого брака, по мнению домоправительницы, которым она щедро поделилась с мистером Бенсоном, дворецким, их будущая хозяйка ждет ребенка.

— Может, все-таки детская для дочерей, миссис Троттер?

— Она свое возьмет. Помяните мое слово, мистер Бенсон. Она свое возьмет.

Дворецкий отхлебнул чаю из блюдца и добавил:

— И на чай дает.

В отличие от того же Чарльза, члена семьи.

Эта информация в общих чертах достигла ушей Сэма, пока он ждал Чарльза в комнате для прислуги. Удовольствия ему, слуге «кузнечика», она

---

[88] Примечания: 88
Одобрение (*лат.*).

[89] Примечания: 89
Итог законного брака (*лат.*).

не доставила уже потому, что он частично разделял выводы о его хозяине, к тому же все это имело некоторое отношение к, так сказать, запасной тетиве для лука, которую Сэм приберегал: мечте *faute de mieux*[90] о благородном статусе вроде того, в каком нынче находился мистер Бенсон в Уинсайетте. Он даже как бы невзначай посеял семечко в голове Мэри… и оно наверняка даст всходы, если он того пожелает. Будет обидно, если хрупкий росток, пусть даже не самый желанный, кто-то грубо вырвет с корнем.

Когда они покинули Уинсайетт, Чарльз не обмолвился ни единым словом, так что официально Сэм как бы ничего не знал о его рухнувших надеждах. Но мрачное лицо хозяина было красноречивей всяких слов.

А теперь еще это.

Сэм наконец отправил в рот затвердевшую баранину, пожевал и проглотил; при этом взгляд его был устремлен куда-то в будущее.

Разговор дяди с племянником прошел довольно спокойно, поскольку оба испытывали чувство вины: первый — в связи с тем, что он делает, второй — в связи с тем, чего он не делал в про-

---

[90] Примечания: 90
За неимением лучшего (*фр.*).

шлом. Реакция Чарльза на новости, объявленные без экивоков, но с показательно уклончивым взглядом, была (после первого шока, сравнимого с ушатом ледяной воды) сдержанно вежливой.

— Я могу вас только поздравить, сэр, и пожелать вам счастья.

Дядя, явившийся вскоре после того, как мы оставили Чарльза в гостиной, отвернулся к окну, словно ища поддержки у зеленых угодий. Он вкратце поведал историю своей страсти. Поначалу его отвергли, это было три недели назад. Но он не из тех, кто легко сдается. В голосе дамы он уловил колебания. На прошлой неделе он приехал поездом в Лондон, «подлетел рысью» к живой преграде — и взял ее с ходу.

— Сначала, Чарльз, она опять сказала «нет», но по ее рыданиям я понял, что дело в шляпе. — Через пару дней наконец прозвучало «да». — Вот тогда, мой дорогой мальчик, я понял, что должен тебя увидеть. Ты первый, кому я об этом сообщил.

Но тут Чарльз вспомнил сердобольный взгляд миссис Хокинс и понял, что весь Уинсайетт уже в курсе. Дядин прерывистый рассказ о любовной саге дал ему время справиться с потрясением. Он чувствовал себя высеченным и униженным;

мир померк в глазах. Но на это у него только одна защита: невозмутимость стоика и спрятанное поглубже возмущение.

— Я оценил вашу щепетильность, дядя.

— Ты вправе считать меня обезумевшим старым ослом. Большинство моих соседей наверняка так посчитают.

— Поздние решения часто бывают наилучшими.

— Она такая живая. Не то что манерные современные дамочки. — На мгновение Чарльзу показалось, уж не выпад ли это в сторону Эрнестины… ну да, хотя и непреднамеренный. А дядя продолжал, думая о своем: — Она что думает, то и говорит. Некоторые считают таких женщин бультерьерами. Но это не про нее. — Парк за окном подсказал ему подходящее сравнение. — Она как хороший вяз.

— Я ни минуты не сомневался.

Дядя смерил его подозрительным взглядом. Если Сэм перед Чарльзом разыгрывал роль скромного лакея, то Чарльз перед стариком частенько изображал из себя этакого почтительного племянника.

— Лучше бы ты рассердился… — Дядя собирался добавить «а то ни рыба ни мясо», но вместо этого

подошел и приобнял племянника за плечо. Чтобы оправдать свое решение, он попытался настроить себя против Чарльза, но, будучи хорошим охотником, понимал, что это никуда не годный подход. — Черт… хочешь не хочешь, а сказать придется. Твои виды несколько меняются. Хотя в моем возрасте… — эту «живую изгородь» он брать не стал. — Но если что случится, знай, как бы ни сложился мой брак, без обеспечения ты не останешься. Я не могу тебе отдать «Маленький дом», но от всей души желаю, чтобы ты до последних дней считал его своим. Пусть это будет моим свадебным подарком тебе и Эрнестине… как и его обновление, разумеется.

— С вашей стороны это весьма великодушно. Но, кажется, мы более-менее уже решили поселиться в «Белгравии», когда дом сдадут в аренду.

— Да-да, но у вас должен быть и загородный дом. Чарльз, я не допущу, чтобы это нас разделило. Я завтра же разорву помолвку, если…

Чарльз вымученно улыбнулся.

— Что за абсурд. Вы давно могли жениться.

— Наверное. Но ведь не женился.

Дядя нервно подошел к стене и поправил покосившуюся картинку. Чарльз молчал. Кажется, он даже не так болезненно переживал саму новость,

как свои радужные мечты по дороге в Уинсайетт. Мог бы старый черт обо всем известить в письме. Нет, для него это был бы трусливый поступок. Между тем он повернулся к племяннику.

— Чарльз, ты еще молод и полжизни проводишь в путешествиях. Тебе не понять, как чертовски скучно и одиноко бывает одному… Мне часто кажется, что я уже покойник.

— Если бы я знал… — пробормотал Чарльз.

— Нет, нет, я тебя ни в чем не обвиняю. У тебя своя жизнь. — Но втайне, как многие бездетные мужчины, он обвинял Чарльза в неисполнении сыновнего долга и сыновней любви — сентиментальная мечта, как сказал бы ему любой настоящий отец. — Есть вещи, которые исходят только от женщин. Взять хотя бы прежние картины. Ты обращал внимание? Миссис Томкинс как-то назвала их мрачными. Черт, видимо, я слепой, они действительно были мрачные. Вот роль женщины. Она открывает тебе глаза на то, что у тебя перед носом. — Чарльза так и подмывало заметить на это, что очки выполняют те же функции, только гораздо дешевле, но он лишь покивал. А сэр Роберт сопроводил следующие слова умилительным жестом в сторону стены: — А как тебе новенькие?

Чарльз невольно усмехнулся. Дядины эстетические суждения так долго сводились к таким темам, как длина лошадиной холки и превосходство Джо Мэнтона над всеми оружейниками, что с таким же успехом киллер мог поинтересоваться его мнением о детском стишке.

— Совсем другое дело.

— Вот-вот. Все так говорят.

Чарльз прикусил губу.

— И когда вы меня познакомите с дамой?

— Я как раз хотел сказать об этом. Она горит желанием с тобой познакомиться. Но ее очень смущает один момент… м-м-м… как бы это выразить?

— Ограничение моих видов?

— Вот-вот. На прошлой неделе она мне призналась, что ее первый отказ был связан именно с этим. — Смекнув, что прозвучала похвала, Чарльз изобразил вежливое удивление. — Но я ее заверил, что у тебя прекрасная невеста и что ты поймешь и одобришь мой выбор… к которому я шел столько лет.

— Дядя, вы не ответили на мой вопрос.

Сэр Роберт как будто смутился.

— Она сейчас гостит в Йоркшире. Она в родстве с Добени, если ты не знал.

— Вот как.

— Я завтра еду туда к ней.

— Ага.

— Вот и решил перед отъездом поговорить с тобой как мужчина с мужчиной. Нет, она правда жаждет с тобой познакомиться. — Поколебавшись, дядя достал из кармана жилетки медальон. — Она дала мне это неделю назад.

Чарльз воззрился на миниатюру в золотой рамке, зажатую толстыми мужскими пальцами. Миссис Белла Томкинс выглядела обескураживающе молодой. Твердые губы, уверенный взгляд. Даже Чарльзу она показалась привлекательной. Любопытно, что он в ней увидел отдаленное сходство с Сарой, и чувство уничижения и бесправия обрело новый ракурс. Сара, в отличие от этой женщины, не имела никакого светского опыта, но каждая по-своему (и тут дядя прав) не вписывалась в круг современных жеманниц. На миг он почувствовал себя генералом никудышной армии перед диспозицией мощного противника; он ясно себе представил результат конфронтации между Эрнестиной и будущей леди Смитсон. Это будут те еще разборки.

— Вот и очередной повод вас поздравить.

— Прекрасная женщина. Великолепная жен-

щина. Ради такой стоило полжизни ждать, Чарльз. — Тут он ткнул племянника в бок. — Ты еще будешь ревновать. Попомни мои слова. — Он полюбовался миниатюрой, потом с почтительностью закрыл медальон и спрятал в карман. А потом, словно в пику нежному подарку, потащил племянника в конюшню, чтобы показать свое последнее приобретение — племенную кобылу, за которую он заплатил «на сто гиней меньше, чем она стоила», и которая была для него хотя и неосознанной, но четкой лошадиной параллелью другого его приобретения.

Отныне оба джентльмена старательно избегали дальнейшего обсуждения и ограничивались разве что упоминанием предмета, занимавшего столь важное место в их мыслях. Сэр Роберт был слишком увлечен счастливыми перспективами, чтобы оглядываться назад. Однако Чарльз твердо стоял на том, что должен до вечера вернуться в Лайм к невесте, и дядя, которого в прежние времена подобное дезертирство погрузило бы во мрак, на этот раз особенно не возражал. Чарльз пообещал обсудить тему «Маленького дома» с Эрнестиной и при первом удобном случае привезти ее для знакомства с будущей супругой. Теплое прощание и крепкое рукопожатие никого не

обманули: старик испытал облегчение, избавившись от племянника.

Гордость помогала Чарльзу держаться на плаву три или четыре часа, пока длился визит, а вот обратная дорога превратилась в тяжелое испытание. Все эти лужайки, пастбища, оградки и озелененные рощицы, казалось, утекают сквозь пальцы, а не просто проносятся мимо. У него пропало всякое желание снова приехать в Уинсайетт. Лазурное утреннее небо затянуло пеленой перистых облаков, предвестников грозы, которую мы уже застали в Лайме, и сам он постепенно погружался в такую же мрачную интроспекцию.

Не в последнюю очередь она была связана с Эрнестиной. Он знал, что дядю не очень-то впечатлили ее столичные ужимки и полное отсутствие интереса к деревенской жизни. На человека, посвятившего свою жизнь чистокровным лошадям, она должна была производить впечатление не лучшей кобылки для скрещивания со смитсоновской породой. Дядю и племянника, помимо всего прочего, связывала холостяцкая жизнь. Может, привалившая Чарльзу удача приоткрыла глаза сэру Роберту, и он подумал: «А почему не я?» А еще, если дяде в Эрнестине что и нравилось, так это ее огромное приданое. Вот

почему он с легким сердцем экспроприировал племянника.

Но главное, Чарльз оказался в крайне неприятном положении неравенства с Эрнестиной. Прибыли, которое приносило отцовское имение, ему всегда хватало на личные нужды, но увеличить капитал он не сумел. Как будущий хозяин Уинсайетта он мог себя ставить в денежном отношении на одну доску с невестой, а вот как рантье он становился финансово зависимым. В этом вопросе Чарльз был куда разборчивее многих сверстников его круга. Для них охота за приданым (а примерно в это время доллары сделались приемлемой валютой наравне с фунтами стерлингов) была таким же почетным занятием, как охота на лис или азартные игры. Не здесь ли собака зарыта: он жалел себя и при этом отлично понимал, что мало кто способен разделить его чувства. Его обида только обострилась, а дядина несправедливость в его глазах лишь возросла: дело не в обстоятельствах… ничего б не изменилось, если бы он проводил больше времени в Уинсайетте или вообще не встретил бы Эрнестину…

Но именно она, стремление не вешать носа в ее присутствии помогли ему как-то выкарабкаться из охватившего его в тот день уныния.

27

Назад, к истокам юных лет,
Я вновь и вновь гляжу;
Пытаюсь там найти ответ
И все не нахожу.
Искал я тверди под собой,
Не бурных волн, но штиль;
А брег, куда принес прибой,
Вдруг превратился в пыль.
Свободой нынче упоен…
Но, как ни ярок свет,
Тот мир навеки погребен,
И связи с ним уж нет.

Артур Хью Клаф. Стихотворение (1840)

Дверь открыла домоправительница.

— Доктор в амбулатории, но если вы согласны подождать наверху…

Она приняла у него шляпу и шотландскую накидку, и вот он уже в той самой комнате, где они пили грог и клялись в верности Дарвину. В

камельке горел огонь, а на круглом столе в эркере с видом на море стояли остатки одинокого ужина, которые домоправительница поспешила унести. Вскоре он услышал шаги. Гроган вошел в комнату и радушно протянул руку.

— Какой приятный сюрприз, Смитсон. Эта глупая женщина не предложила вам ничего, чтобы согреться после дождя?

— Спасибо… — Он уже собирался отказаться от лафита с бренди, но передумал. Заполучив бокал, он сразу перешел к делу. — Я хочу с вами обсудить кое-что приватно, это очень личное. Мне нужен ваш совет.

В глазах доктора что-то проблеснуло. К нему нередко обращались благовоспитанные молодые мужчины перед свадьбой. По поводу гонореи, реже по поводу сифилиса; бывали страхи, связанные с мастурбацией: широко распространенная теория того времени утверждала, что самоудовлетворение приводит к импотенции. Но обычно все сводилось к невежеству. Год назад к Грогану обратился несчастный бездетный молодой супруг, и доктору пришлось с серьезным видом ему объяснять, что младенцев не зачинают и не рождают на свет через пупок.

— Да? Не уверен, что я не исчерпал запас со-

ветов, сегодня я раздал их столько. В основном какие принять меры в отношении старой ханжи из «дома Марлборо». Вы слышали, что она учинила?

— Именно об этом я и хочу с вами поговорить.

Доктор внутренне вздохнул с облегчением, но в очередной раз сделал неправильный вывод.

— Ну конечно. Миссис Трантер обеспокоена? Передайте ей от меня, что делается все необходимое. Ее ищет специальная бригада. Я пообещал пять фунтов тому, кто приведет ее обратно… или найдет ее бренное тело, — закончил он с горечью.

— Она жива. Я только что получил от нее записку.

Доктор с изумлением на него вытаращился, но Чарльз уже опустил взгляд. А затем, поначалу обращаясь к бокалу с бренди, начал рассказывать правду про свои встречи с Сарой… *почти* всю правду, так как умолчал о своих потаенных чувствах. Он сумел — или попытался — переложить часть вины на доктора Грогана, придав себе этакий ученый статус, что не ускользнуло от внимания проницательного собеседника. У пожилых врачей и пожилых священников есть нечто общее: длинный нос, коим они улавливают

обман, откровенный или невольный, спровоцированный смущением, как в случае Чарльза. Чем дольше продолжалась исповедь, тем сильнее, метафорически выражаясь, у Грогана дергался кончик носа, что мало чем отличалось от надувания губ у Сэма. Внешне доктор никак не выражал своих подозрений. Время от времени он задавал вопросы, но в целом позволил Чарльзу довести свой неуклюжий монолог до конца. После чего поднялся.

— Что ж, время не терпит. Надо поскорей вернуть бедняг спасателей.

Все ближе погромыхивало, и хотя занавески были задернуты, они гуляли за спиной у гостя и вздрагивали от белых молний.

— Я пришел при первой возможности.

— Вас никто не винит. Так, дайте подумать… — Доктор уже присел за маленький столик в глубине комнаты. Какое-то время в тишине раздавался лишь скрип пера. Затем он вслух прочел написанное.

— «Дорогой Форсайт. До меня дошла новость, что мисс Вудраф жива. Она не желает выдавать свое местонахождение, но вы можете расслабиться. Я надеюсь завтра узнать новые детали. Пожалуйста, передайте это вложение поискови-

кам, когда они вернутся». Ну как, сойдет?

— Отлично. Только вложение должно быть мое. — Чарльз достал маленький кошелек, расшитый самой Эрнестиной, и положил на зеленую скатерть три соверена, но Гроган два из них с улыбкой отодвинул.

— Мистер Форсайт пытается бороться с дьявольским напитком. Я считаю, одного золотого вполне достаточно. — Он положил записку и монету в конверт, запечатал и ушел распорядиться о срочной доставке.

Вернувшись, он с порога задал вопрос:

— И как быть с этой девушкой? Где она сейчас, вы не знаете?

— Понятия не имею. Хотя она наверняка придет завтра, куда обещала.

— А вот вы туда не идите. В вашем положении нельзя далее рисковать своей репутацией.

Чарльз поднял на него глаза и снова опустил.

— Я в вашем распоряжении.

Доктор задумчиво глядел на него. Он подверг гостя небольшому тесту и получил ожидаемый результат. Он отошел к книжным полкам и вернулся с уже знакомым нам томом: великий дарвиновский труд. Он сел рядом с камином напротив гостя и, поглядев на Чарльза поверх

очков, с легкой усмешкой положил руку на «Происхождение видов», как на Библию.

— Ничто из того, что было или будет произнесено в этой комнате, не выйдет за пределы четырех стен. — Он положил книгу на столик.

— Мой дорогой доктор, это было излишне.

— Доверие к врачу — половина дела.

Чарльз вымученно улыбнулся.

— А вторая половина?

— Доверие к пациенту. — Он поднялся раньше, чем гость успел на это что-то сказать. — Вы же ко мне пришли за советом?

Вид у него был такой, словно подтрунивания закончились и сейчас гостя ждет поединок с ирландским боксером. Он стал расхаживать туда-сюда по «рингу», держа руки в карманах медицинского халата.

— Я молодая женщина высокого ума, с неплохим образованием. Я считаю, что мир обошелся со мной несправедливо. Я не до конца контролирую свои эмоции. Я совершаю глупости… например, бросаюсь на шею первому попавшемуся смазливому негодяю. Но, что еще хуже, мне нравится быть жертвой судьбы. Я очень профессионально изображаю свою меланхолию. У меня трагические глаза. У меня сами текут слезы. И прочее,

и прочее. И вот… — Доктор помахал в сторону двери, словно давая знак чудесам, что можно войти. — И вот входит юный бог. Умный. Красивый. Классический образец, каким меня учили восхищаться. Я вижу, он мной заинтересовался. Чем я выгляжу печальнее, тем сильнее его участие. Я опускаюсь перед ним на колени, он меня поднимает. Он обращается со мной как с леди. Нет, даже лучше. В духе христианского братства он мне предлагает путь избавления.

Чарльз хотел что-то возразить, но доктор пресек его попытку.

— Я живу в крайней бедности. У меня нет тех уловок, коими пользуются состоятельные дамы, чтобы подчинить мужчину своей власти. — Он поднял вверх указательный палец. — У меня есть только одно оружие. Жалость, которую я вызываю в этом отзывчивом человеке. Но и дьявол не сразу клюет на жалость. Я скормила этому доброму самаритянину мое прошлое, и он его проглотил. Что дальше? Надо, чтобы он проявил жалость к моему настоящему. Однажды, гуляя там, где мне гулять запрещено, я получаю свой шанс. Я демонстрирую себя открыто той, кто, я знаю, не преминет все рассказать хозяйке, которая всего этого не одобрит. Меня увольняют. Я исчезаю, и

все думают, что я бросилась вниз с ближайшей скалы. Но вскоре — *in extremis*[91] и *de profundis*[92], а еще точнее, *de altis*[93] — я обращаюсь с мольбой о помощи к моему спасителю. — Он взял длинную паузу, и Чарльз медленно поднял на него глаза. Доктор улыбнулся. — Это, разумеется, отчасти моя гипотеза.

— Но ваше обвинение… что она сама спровоцировала…

Доктор сел и расшевелил огонь в камельке.

— Сегодня в самую рань меня вызвали в «дом Марлборо». Причины не назвали, лишь упомянули о неважном расположении духа миссис П. А вот миссис Фэйрли… домоправительница, вы знаете… поведала мне суть того, что произошло. — Он взял паузу, глядя в несчастные глаза гостя. — Вчера она была на молочной ферме, когда эта девушка прямо у нее перед носом с вызовом вышла из лесу. Миссис Фэйрли достойна своей хозяйки, так что, подозреваю, она с большим аппетитом исполнила свой долг. Однако,

---

[91] Примечания: 91
В чрезвычайной ситуации (*лат.*).

[92] Примечания: 92
Из бездны (*лат.*).

[93] Примечания: 93
По своей склонности (*лат.*).

мой дорогой Смитсон, я уверен, что ее на это сознательно спровоцировали.

— Вы хотите сказать…

Доктор кивнул. Чарльз пронзил его взглядом и отшатнулся.

— Я не могу в это поверить. Невозможно, чтобы она… — Он не сумел закончить.

А доктор пробормотал:

— Возможно. Увы.

— Только человек с… — он собирался сказать «с мозгами набекрень», но вместо этого резко встал, вышел в эркер, раздвинул занавески и уставился в черноту ночи. Яркая зарница высветила Кобб, пляж, спящее море. Чарльз повернулся. — Иными словами, меня водили за нос.

— Полагаю, что так. Я бы уточнил: за щедрый нос. И не забывайте, что помутненное сознание и преступное сознание — это не одно и то же. В данном случае речь идет об отчаянии как болезни, не больше и не меньше. У этой девушки, Смитсон, холера или тиф интеллектуальных способностей. Рассуждайте о ней именно в таких категориях, а не как о злостной интриганке.

Чарльз вернулся в комнату.

— И какая же, по-вашему, ее конечная цель?

— Я сильно сомневаюсь, что это ведомо ей

самой. Она живет одним днем. Иначе не получается. Человек, заглядывающий в будущее, не способен вести себя, как она.

— Но она же не могла всерьез рассчитывать, что мужчина в моем положении…

— То есть помолвленный? — Доктор сумрачно улыбнулся. — Я знал проституток… спешу добавить: желавших заняться моей профессией, а не погрязнуть в своей… так вот, у меня бы не хватило гиней, чтобы раздать всем злорадствующим, что их жертвами были в основном мужья и отцы. — Он обратил взгляд на огонь в камине и в свое прошлое. — «Я отверженная. Но им еще воздастся».

— Вы делаете из нее какого-то демона… а она не такая! — Он это чуть не выкрикнул и тут же отвернулся. — Не могу ее себе такой представить.

— Потому что вы… уж позвольте это сказать человеку, который вам в отцы годится… потому что вы в нее немного влюблены.

Чарльз резко развернулся и уставился в благодушное лицо.

— Я не позволю вам говорить такие вещи. — Гроган кивнул в повисшей тишине, а Чарльз продолжал: — Это в высшей степени оскорбительно для мисс Фриман.

— Согласен. Но давайте уточним, *кто* ее оскорбил?

Чарльз сглотнул. Не в силах более выносить этот пронзительный взгляд, он двинулся к выходу, но его перехватил Гроган; одна рука легла на плечо и развернула, а вторая легла на другое плечо. Перед Чарльзом стоял свирепый маленький терьер.

— Послушайте, дружище, разве мы оба не адепты науки? Разве мы оба не считаем, что существует только один великий принцип — истина? За что отдал жизнь Сократ? Чтобы сохранить общественное лицо? Ради приличий? Вы полагаете, что за сорок лет врачевания я не научился распознавать меланхолию? И что человек отказывается смотреть правде в глаза? Познайте себя, Смитсон, познайте себя!

Эта горючая смесь из древнегреческого огня и гэльского пламени взбодрила гостя. Он выдержал взгляд доктора и вернулся к камину. Так и стоял спиной к своему мучителю. Повисло тяжелое молчание. Гроган не спускал с него глаз.

Наконец Чарльз заговорил:

— Я не рожден для брака. Моя беда в том, что я слишком поздно это осознал.

— Вы читали Мальтуса?

Чарльз покачал головой.

— Для него трагедия *homo sapiens* заключается в том, что быстрее всего размножаются наименее приспособленные особи. Поэтому не говорите мне, мой друг, будто вы не рождены для брака. И не вините себя в том, что на нее запали. Мне кажется, я знаю, почему сбежал этот французский моряк. Он понял, что в ее глазах можно утонуть.

Чарльз развернулся к нему со страдальческим лицом.

— Я клянусь вам честью, между нами не произошло ничего непристойного. Вы должны мне поверить.

— Я верю вам. Но позвольте мне испытать вас с помощью старого катехизиса. Вы хотите ее услышать? Вы хотите ее увидеть? Вы хотите к ней прикоснуться?

Чарльз снова отвернулся, сел и обхватил лицо руками. Ответ получился вполне красноречивым. Через пару секунд он поднял голову и уставился в огонь.

— Мой дорогой Гроган, если бы вы только знали, какой бестолковой была моя жизнь… пустой… никчемной. Ни высокой цели, ни чувства долга. Кажется, всего несколько месяцев назад мне был двадцать один год… столько надежд… и сплош-

ные разочарования. И вот теперь погряз в этом жалком деле…

Гроган подошел и положил руку ему на плечо.

— Вы не первый, кто усомнился в выборе невесты.

— Она не понимает, каков я на самом деле.

— Насколько она младше вас… лет на десять? И вы знакомы меньше полугода. Как она может вас понимать? Она еще совсем недавно была школьницей.

Чарльз мрачно кивнул. Он не мог признаться доктору в своем глубоком убеждении, что Эрнестина в принципе не способна его понять. У него было ощущение, что он фатально лишился рассудка… вот и выбрал такого партнера по жизни. Как многие викторианцы — а может, и наши современники, — он жил под влиянием идеала. Есть мужчины, которые успокаивают себя тем, что другие женщины менее привлекательны, чем их жены; другие же терзаются при мысли, что есть более хорошенькие. Чарльз отчетливо увидел, к какой категории принадлежит он.

— Это не ее вина… не может быть, — пробормотал он.

— Я тоже так не думаю. Такая красивая невинная девушка.

— Я буду верен своим клятвам.

— Разумеется.

Молчание.

— Скажите, что мне делать.

— Сначала расскажите о своих истинных чувствах к другой.

Чарльз глянул на него в отчаянии, затем перевел взгляд на огонь в камине и предпринял попытку поведать правду.

— Я не знаю, что сказать, Гроган. Во всем, что касается этой особы, я сам для себя загадка. Как я могу ее любить? Скомпрометированная женщина, да еще, вы сказали, с психическими отклонениями. Все это похоже на… Я чувствую себя как одержимый, утративший волю… и не могу себя перебороть. Передо мной и сейчас стоит ее лицо, которое отрицает все вами сказанное. В ней есть что-то такое… знание… понимание высоких материй, никак не связанных со злом или безумием… то, что спрятано под окалиной… Я не могу объяснить.

— Я не приписывал ей злые намерения. Только отчаяние.

Тишину нарушал только скрип половиц под ногами у прохаживающегося доктора. Чарльз снова заговорил:

— Что вы мне посоветуете?

— Предоставьте это дело мне.

— Вы с ней встретитесь?

— Только надену свои непромокаемые сапоги. Я ей скажу, что вас неожиданно куда-то вызвали. Вы *должны* уехать, Смитсон.

— У меня есть срочные дела в Лондоне.

— Тем лучше. А перед отъездом я бы вам посоветовал все рассказать мисс Фриман.

— Я и сам так решил. — Чарльз поднялся. Это лицо по-прежнему стояло у него перед глазами. — А *она*… что вы намерены предпринять?

— Многое будет зависеть от состояния ее ума. Я не исключаю, что ее держит на плаву лишь вера в то, что вы испытываете к ней симпатию… или нечто большее. Тогда шок от известия о вашем отъезде, боюсь, может привести к усилению меланхолии. Такое нельзя исключать.

Чарльз опустил глаза.

— Вы не должны себя ни в чем винить. На вашем месте мог оказаться другой. В известном смысле так будет даже проще. Я буду знать, как правильно поступить.

Чарльз разглядывал ковер под ногами.

— Дом для душевнобольных.

— Коллега, которого я уже упомянул… он разде-

ляет мои взгляды на лечение в подобных случаях. Все будет сделано в лучшем виде. Вы готовы к определенным расходам?

— Все что угодно, только бы от нее избавиться… не причинив ей при этом вреда.

— Я знаю частную клинику в Эксетере. За пациентами приглядывает мой приятель Спенсер. Умный просвещенный подход. В ее ситуации я бы не стал рекомендовать общественное заведение.

— Избави бог. Я слышал ужасные отзывы.

— Это место образцовое, не сомневайтесь.

— Мы ведь не говорим о заключении ее под стражу?

В его голове промелькнула мыслишка о предательстве: вот они уже обсуждают, как упрятать ее в психушку, запереть в маленькой палате…

— Ни в коем случае. Мы говорим о месте, где могут залечить ее душевные раны и обеспечить хороший уход, где она будет занята делом… прекрасный опыт и забота Спенсера ей обеспечены. В этом он разбирается.

Чарльз, поколебавшись, встал и протянул руку. В его нынешнем состоянии он нуждался в установках и рецептах, и как только он их получал, сразу становилось легче.

— Такое чувство, что вы спасли мне жизнь.

— Глупости, дружище.

— Нет, не глупости. Я ваш должник до конца дней.

— Тогда позвольте мне выписать кредитный билет на имя вашей невесты.

— Я готов по нему уплатить.

— И дайте время этому прелестному созданию. Лучшие вина — самые выдержанные, не так ли?

— Боюсь, что в моем случае выдержка дала весьма посредственное качество.

— Ну-ну. Вздор. — Доктор потрепал его по плечу. — Кстати, вы ведь читаете по-французски?

Чарльз с удивлением кивнул. Гроган порылся на полках, нашел какой-то том и, пометив карандашом нужный абзац, передал книгу гостю.

— Про весь судебный процесс можете не читать. Только медицинское свидетельство, приведенное защитой.

Чарльз уставился на обложку.

— Во искупление вины?

Низкорослый доктор одарил его улыбкой гнома.

— Что-то в этом роде.

28

Бывают доводы не впрок,
Но с одобрением дежурным.
Бутылку вскроет новичок,
А мастер бросит пробку в урну.

Артур Хью Клаф. Стихотворение (1840)

Мне личный выбор дал прогресс:
«Вслух говори, кричи».
Но грозный глас звучит с небес:
«Не смей дерзить, молчи!»

Мэтью Арнольд. Озеро (1853)

Процесс над лейтенантом Эмилем де Ла Ронсьером в 1835 году является, с психиатрической точки зрения, одним из самых примечательных судебных дел первой половины девятнадцатого века. Эмиль, сын графа де Ла Ронсьера, настоящего солдафона, был человеком фривольного поведения, имел любовницу, залез в долги — в принципе, мало чем отличался от сверстников

того времени, той же профессии и страны проживания. В 1834 году он был приписан к известной кавалерийской школе в Сомюре, в долине Луары. Его командир, барон де Морелль, имел шестнадцатилетнюю дочь Мари, отличавшуюся повышенной нервозностью. В те времена дом командира в гарнизоне служил местом сборищ для подчиненных. В один из светских вечеров барон, такой же высокомерный, как отец Эмиля, но куда более влиятельный, вызвал к себе наверх лейтенанта и в присутствии сослуживцев и местных дам в бешенстве приказал ему покинуть дом. А на следующий день Ла Ронсьеру предъявили подметные письма с угрозами семейству Морелля. Все они демонстрировали невероятную осведомленность в самых интимных деталях домашней жизни, и под всеми стояли инициалы лейтенанта… первая из череды нелепостей в версии обвинения.

Дальше — хуже. В ночь на 24 сентября 1834 года мисс Аллен, английскую гувернантку Мари, разбудила рыдающая шестнадцатилетняя хозяйка со словами, что к ней в спальню ворвался по-военному одетый Ла Ронсьер, проникший в дом через окно соседней комнаты, запер дверь на засов, набросился на нее с непристойными

угрозами, бил по груди, укусил за руку, а затем заставил задрать ночную сорочку и полоснул по бедру. После чего ушел тем же способом.

На следующее утро другой лейтенант, которому якобы благоволила Мари де Морелль, получил в высшей степени оскорбительное письмо, опять же от Ла Ронсьера. Состоялась дуэль. Ла Ронсьер ее выиграл, но тяжело раненный соперник и его секундант отказались признать фальшивым подметное послание. Ему пригрозили, что обо всем сообщат его отцу, если он не признает своей вины; а если признает, то эту историю похоронят. После бессонной ночи, проведенной в терзаниях, Ла Ронсьер по глупости подписал добровольное признание.

После чего с разрешения властей уехал в Париж в полной уверенности, что дело замяли. Однако в дом Морелля продолжали поступать подметные письма. В одних утверждалось, что Мари беременна, другие грозили ее родителям скорой смертью, и тому подобное. Терпение барона лопнуло. Ла Ронсьера арестовали.

Доводов в пользу обвиняемого было так много, что сегодня трудно поверить, каким образом дело довели до суда, а тем более признали его виновным. Во-первых, в Сомюре все знали,

что Ла Ронсьер в присутствии Мари постоянно восхищался красотой ее матери, тем самым поддразнивая дочь и вызывая ее жгучую ревность. Во-вторых, в ночь предполагаемой попытки изнасилования особняк Морелля охранялся снаружи, и никто не заметил ничего подозрительного, при том что спальня находилась на верхнем этаже, куда можно было подняться только по приставной лестнице, а чтобы ее принести, потребовалось бы по меньшей мере трое мужчин, и от нее остались бы под окном следы в мягкой почве… а защита доказала, что их не было. Больше того, стекольщик, которого вызвали заменить разбитое стекло, показал, что осколки высыпались *наружу*, к тому же через такую небольшую пробоину невозможно было добраться до шпингалета, чтобы открыть окно. Защита задавала вопросы: почему во время нападения Мари ни разу не позвала на помощь? почему чутко спящая мисс Аллен не проснулась от шума потасовки? почему обе девушки *снова легли спать*, а не разбудили мадам де Морелль, мирно спавшую этажом ниже? почему рану на бедре осмотрели лишь *месяцы* спустя (и признали легкой царапиной, которая благополучно зажила)? почему Мари уже на третий день пошла на бал и вела

совершенно нормальный образ жизни до самого ареста подозреваемого… и тут у нее вдруг случился нервный срыв (защита доказала, что далеко не первый)? каким образом письма продолжали приходить, даже когда не имеющий ни гроша Ла Ронсьер уже сидел в тюрьме в ожидании суда? почему «анонимный» автор, будучи в здравом рассудке, не только не менял почерка (его совсем нетрудно скопировать), но еще и подписывался своим именем? почему в подметных письмах все хорошо с правописанием и грамматикой, чего не скажешь об официальной корреспонденции (студенты, изучающие французский, порадуются, узнав, что Ла Ронсьер постоянно забывал согласовывать причастия в прошедшем времени)? почему он дважды переврал собственное имя? почему вменяемые ему послания написаны на почтовой бумаге (это сумели определить блестящие эксперты того времени), идентичной той, что была обнаружена в письменном столе Мари? Одним словом, бесконечные «почему». В качестве последнего аргумента защита указала на то, что похожую серию писем нашли ранее в парижском доме Морелля, причем тогда, когда Ла Ронсьер служил в городе Кайенне на другом конце света.

Но главной несправедливостью суда (где, поми-

мо других знаменитостей, присутствовали Гюго, Бальзак и Жорж Санд) стал отказ подвергнуть перекрестному допросу главную свидетельницу — Мари де Морелль. Хотя она давала показания в невозмутимой сдержанной манере, председатель суда, несмотря на огнестрельные взгляды барона и целого взвода представительной родни, решил, что ее «застенчивость» и «слабые нервы» делают дальнейшие допросы невозможными.

Ла Ронсьера нашли виновным и приговорили к десяти годам заключения. Почти все видные европейские юристы выразили свой протест, да что толку. Можно понять, почему был вынесен такой приговор или, точнее, кто его вынес: социальный престиж, миф о чистосердечной девственнице, психологическое невежество, общество, встретившее в штыки опасные манифесты о свободе, распространяемые французской революцией.

А теперь позвольте мне перевести отмеченные доктором страницы из книги известного немецкого врача той эпохи, доктора Карла Маттая «Медико-психологические наблюдения», написанной в поддержку тщетного призыва к пересмотру приговора Ла Ронсьеру. Маттаю хватило ума выписать даты наиболее вызывающих писем, приведших к якобы предпринятой попыт-

ке изнасилования. Сложилась четкая картина: месячные, менструальный цикл. Проанализировав судебные показания, герр доктор в несколько морализаторском тоне объясняет психическое расстройство, которое мы сегодня называем истерией, то есть симптомы болезни или недееспособности, проявляющиеся в желании вызвать к себе внимание и симпатию окружающих: невроз или психоз, почти всегда спровоцированный, как мы теперь знаем, подавлением сексуальной активности.

Оглядываясь назад на мою многолетнюю лечебную практику, я вспоминаю много случаев, когда героинями оказывались девушки, хотя они долго не вызывали никаких подозрений…

Лет сорок назад среди моих пациентов была семья генерал-лейтенанта кавалерии. Его небольшой дом находился в шести милях от города, где располагался его гарнизон, и он там отдыхал в свободное время. Его шестнадцатилетняя дочь-красавица мечтала жить в городе. О причинах никто не допытывался, но, вне всякого сомнения, она видела себя в кругу офицеров и думала о радостях светского общества. Чтобы добиться цели, она выбрала в высшей степени криминальный путь: поджог их загородного дома. Одно крыло

сгорело дотла. Его отстроили заново. Последовали новые попытки, и однажды дом опять загорелся. Было совершено не менее тридцати поджогов, но личность преступника установить не удалось. Задержали и допросили многих. Лишь один человек оставался вне подозрений — красавица-дочь. Однако через несколько лет она попалась с поличным и была приговорена к пожизненному заключению в исправительном доме.

В большом немецком городе очаровательная девушка из достойной семьи находила удовольствие в рассылке анонимных писем с целью разрушить недавний счастливый брак. А еще она из ревности распространяла порочащие сведения о молодой даме, чьими талантами все восхищались. Это продолжалось несколько лет. Ни в чем не повинные люди были осуждены, тогда как на автора писем не пало даже тени подозрений. В конце концов она себя выдала, призналась в преступлении, получила приговор и отсидела за свои злодеяния довольно приличный срок.

А в данную минуту в том самом месте, где я это пишу[94]*, полиция расследует похожий случай…*

---

[94] Примечания: 94
Ганновер, 1836. (*Примеч. автора.*)

Кто-то возразит, что Мари де Морелль не стала бы причинять себе такую боль ради достижения цели. Но ее страдания были несравнимы с другими известными случаями. Вот лишь несколько ярких примеров.

Профессор Герхольдт из Копенгагена имел дело с привлекательной молодой женщиной из богатой семьи и с прекрасным образованием. И вместе с коллегами попался на ее удочку. В течение многих лет она проявляла незаурядную изобретательность и выдержку, чтобы обманывать окружающих. Она себя истязала самым жестоким образом. Втыкала в разные части тела сотню иголок, а когда начиналось воспаление или нагноение, делала надрезы. Отказывалась ходить по малой нужде, и по утрам мочу выводили с помощью катетера. Закачивала в мочевой пузырь воздух, который приходилось специально удалять. Полтора года не передвигалась и хранила молчание, отказывалась от еды, изображала спазмы, обмороки и тому подобное. До того как ее вывели на чистую воду, «больную» осматривали знаменитые врачи, в том числе иностранные, и приходили в ужас от таких страданий. О ее несчастной судьбе писали все газеты, и никто не поставил под сомнение серьезность болезни.

Наконец в 1826 году открылась вся правда. Главным мотивом хитроумного надувательства (cette adroite trompeuse[95]) было вызвать восхищение и оторопь у мужчин, а самых умнейших, проницательных и знаменитых выставить форменными дураками. Об этой истории болезни, такой важной с психологической точки зрения, можно прочесть у Герхольдта: «Заметки о болезни Рейчел Герц в период между 1807 и 1826 гг.».

В Люнебурге мать и дочь придумали схему, как вызвать к себе всеобщую симпатию… и разыгрывали ее до конца с обескураживающей решимостью. Дочь жаловалась на непереносимые боли в одной груди, рыдала, обращалась к врачам, перепробовала все лекарства. Боль не утихала. Когда возникло подозрение на рак, она без колебаний согласилась на удаление груди. Никакой злокачественной опухоли тогда не обнаружили. Через несколько лет, когда о ней немного подзабыли, она принялась за прежнее. Ей удалили вторую грудь и вновь убедились в отсутствии всяких показаний. Когда симпатия общества снова пошла на убыль, она стала жаловаться на боли в руке. И опять же настаивала на ампутации. Тут уже

---

[95] Примечания: 95
Эта бесстыжая обманщица (*фр.*).

возникли подозрения. Ее поместили в больницу, а позже обвинили в публичном обмане и отправили в тюрьму.

Лентин в своем «Приложении к практической медицине» (Ганновер, 1798) рассказывает о медицинском случае, который он непосредственно наблюдал. У юной девушки за десять месяцев, после неоднократных разрезов, извлекли из мочевого пузыря щипцами ни больше ни меньше сто четыре камня. Она самолично их глотала, хотя операции приводили к большим потерям крови и доставляли ей адскую боль. Им предшествовали конвульсии, рвота и другие пугающие симптомы. Она весьма поднаторела в искусстве обмана.

После таких примеров, а их число легко умножить, кто скажет, что девушка ради достижения своей цели не готова причинить себе боль?

Эти заключительные страницы произвели на Чарльза шоковое впечатление, он даже не догадывался о существовании подобных извращений… и у кого — у чистого и прекрасного пола! Он отказывался видеть душевное расстройство, а именно истерию в достойных жалости попытках обретения любви и безопасности. Вернувшись к началу судебного расследования, он погрузился в него с головой. Чарльз, можно сказать, с первых

минут отождествил себя с несчастным Эмилем де Ла Ронсьером, а увидев дату в конце отчета, почувствовал, как по спине у него побежали мурашки. В тот самый день, когда *этого* французского лейтенанта отправили за решетку, он, Чарльз, как раз появился на свет. На какое-то время разум и наука растворились в безмолвной дорсетской ночи, а жизнь выглядела как адская машина, как зловещая астрология, как приговор с момента рождения без права на апелляцию, как вселенский ноль.

Еще никогда он не ощущал себя таким несвободным.

И подверженным бессоннице. Он поглядел на часы. Без десяти четыре. Тишина за окном. Гроза миновала. Чарльз распахнул раму и вдохнул прохладный, но такой чистый весенний воздух. В небе слабо мерцали звезды, с невинным видом отрицая всякое свое влияние, благотворное или злонамеренное. И где она, Сара, сейчас? Наверняка тоже не спит, в миле или двух отсюда, за темнеющим лесом.

Эффект от местного «кобблера» и грогановского бренди давно прошел, осталось лишь глубокое чувство вины. Кажется, в глазах доктора-ирландца он различил злорадство человека,

запоминающего беды этого глуповатого столичного джентльмена, чтобы потом разнести их по всему городу. Неумение сохранять тайну — не этим ли печально славится человечество?

Каким же ребяческим, каким недостойным было его поведение! В тот день он потерял не только Уинсайетт, но и самоуважение. Последнее слово избыточно — говоря проще, он потерял уважение ко всему, что его окружает. Жизнь — это яма в Бедламе. За самыми невинными лицами скрываются гнуснейшие козни. Он может себя считать сэром Галаадом, которому открыли глаза на то, что Гвиневра — проститутка.

Чтобы прекратить бессмысленные философствования — ах, если бы он был способен к действиям! — Чарльз снова взял в руки роковой том и перечел некоторые пассажи из статьи Маттая об истерии. Теперь параллели с поведением Сары уже не казались ему такими очевидными. Он начал соотносить свою вину с реальным объектом. Он попытался воссоздать ее лицо, слова, выражение глаз, когда она их произносила… нет, он не мог ее постичь, но при этом полагал, что знает ее, пожалуй, лучше, чем кто бы то ни было. Описание их встреч, о которых он поведал Грогану… это отложилось в памяти почти

дословно. Может, в отчаянной попытке утаить свои истинные чувства он пустил доктора по ложному следу? Преувеличивал ее странности? Недостаточно правдиво излагал то, что она на самом деле говорила?

Уж не приговорил ли он ее, лишь бы не приговорить себя?

Он бесконечно ходил по комнате, ковыряясь в душе и в уязвленной гордости. Что, если она такая, какой себя представляет, — да, грешница, но и на редкость отважная женщина, не закрывающая глаза на свои грехи? И, обессилев в этой страшной битве с прошлым, кричит о помощи?

Почему он позволил Грогану ее судить?

Потому что был больше озабочен тем, чтобы сохранить лицо, а не спасти душу. Потому что со свободой воли у него обстояло дело не лучше, чем у аммонита. Потому что он был вторым Понтием Пилатом, если не хуже, ибо не только одобрил распятие, но и поощрил, нет, спровоцировал события, которые к нему приведут. Разве всему толчок дала не их вторая встреча, когда она хотела уйти, а он ее заставил обсуждать сложившуюся ситуацию?

Он снова распахнул окно. А первый раз он это сделал два часа назад. На востоке забрезжил рас-

свет. Он разглядывал бледнеющие звезды.

Судьба.

Эти глаза.

Он резко развернулся.

Встреча с Гроганом состоялась, и этого уже не отменишь. Но он поступит ему вопреки, согласно своей совести. Он перешел в спальню. И там, с желчным мрачным лицом, отражавшим внезапную внутреннюю решимость, необъяснимую, пугавшую его самого, стал переодеваться.

29

Подул рассветный ветерок,
Звезда Любви стоит в зените…

Альфред Теннисон. Мод

Истинное благоразумие состоит не в том, чтобы предпринимать какие-то действия в силу побуждения, а в том, чтобы руководствоваться своим долгом или рассудком.

Мэтью Арнольд. Заметки (1868)

Красное солнце только покидало приземистые волнистые холмы цвета серенькой горлицы вдоль Чезилского побережья, когда Чарльз, не то чтобы одетый как гробовщик, но с подобающим выражением лица, покинул гостиницу «Белый лев». Небо безоблачное, умиротворяюще ласковое, эфирно-голубое, словно промытое ночной грозой, а воздух терпкий, как лимонный сок, и при этом кристально чистый и очищающий. Если бы сегодня вы вышли в такой ранний час, город Лайм принадлежал бы исключительно вам. Чарльзу в тот уже далекий от нас день по-

везло меньше: ранние пташки, бесклассовый первобытный народ, простые люди без социальных претензий шли на привычную работу. Один или два человека радостно его приветствовали, получив в ответ категоричный кивок или приподнятую ясеневую трость. Сейчас он бы скорее предпочел встречу с символическими мертвецами, чем с радостными физиономиями, поэтому он с облегчением покинул черту города и вскоре оказался на береговом оползневом уступе.

Но там его угрюмое состояние (и развивающееся в нем подозрение, о чем я умолчал, что принятое им решение было скорее продиктовано страхами воришки, укравшего очередную овцу, чем благородными движениями совести) лишь усугубилось по контрасту: от быстрой ходьбы по телу побежала теплая волна, усиленная теплом солнечных лучей. Оно было на удивление отчетливым, это незамутненное рассветное солнце. Казалось, от него исходит запах, как от теплого камня, ощутимый поток фотонов струился сквозь пространство. Каждая травинка источала жемчужный аромат. На склонах ясени и клены цвета золотистого меда в косых лучах воздевали к небу росистые зеленые молодые побеги; в них было что-то религиозно загадочное, этакая доисториче-

ская религия… бальзам друидов, зеленое сладкое всевластие с черными прожилками… палитра от ярко-изумрудного до нежно-салатного. Дорогу ему перешла лиса и на мгновение изумленно на него уставилась, как на непрошеного гостя. А вскоре, словно под копирку, с таким же собственническим видом и богоподобной убежденностью в том, что вторглись в ее владения, косуля подняла на него глаза, отвлекшись от обгладывания побегов; смерив его взглядом королевы, она не спеша развернулась и скрылась в чаще. Картина Пизанелло[96] в Национальной галерее запечатлела как раз такой момент: святой Губерт[97] в лесу эпохи раннего Ренессанса остановился как вкопанный перед птицами и зверями. Святой в столбняке, как будто он стал жертвой розыгрыша, все его высокомерие вдруг утонуло в половодье глубочайшей тайны Природы: под солнцем все равны.

Но не только эти два зверя преисполнились

---

[96] Примечания: 96

Антонио Пизанелло (1395–1455) — один из наиболее выдающихся художников эпохи раннего итальянского кватроченто.

[97] Примечания: 97

Губерт Льежский — епископ Маастрихта и Льежа, сын Бертрана, герцога Аквитанского. Традиционно почитается как покровитель охотников. За заслуги в области христианизации населения в горных районах Арденн получил прозвище «апостол Арденн». Умер в 727 году, канонизирован вскоре после смерти.

сознания собственной значимости. Деревья звенели от пения птиц — черноголовок и серых славок, обычных и черных дроздов, от курлыканья диких голубей; все это наполняло безветренное рассветное утро этакой вечерней безмятежностью, но без элегической печали. Чарльзу подумалось, что он идет через бестиарий такой красоты в каждой миниатюрной детали, что каждый листок, каждая птичка и спетая ею песенка казались самим совершенством. Он даже приостановился, ошеломленный изысканностью этого мира, где всякая тварь уникальна и занимает свое законное место. В трех метрах от него крошечный крапивник уселся на куст ежевики и затянул свои пронзительные трели. Чарльз видел его поблескивающие черные глазки, его красно-желтое пульсирующее горлышко — такой малюсенький комочек из перьев и при этом ангел-провозвестник эволюции: да, я такой, и ты не сумеешь пройти мимо, меня не заметив. Чарльз стоял, как когда-то святой Пизанелло, удивляясь скорее собственному удивлению, что этот мир существует совсем рядом, так близко от удушающе банального повседневного мира. В эти редкие мгновения дерзкого пения все привычное — и, стало быть, бесконечная череда дней и мест,

пройденных Чарльзом, — представлялось ему вульгарным, грубым, кричащим. Вызывающая тоска человеческого существования обнажилась до сердцевины, а настоящая жизнь пульсировала в торжествующем горлышке этой птахи.

Оно как будто возвещало куда более глубокую и необычную реальность, чем псевдолиннейская, которую Чарльз этим утром осознавал на морской отмели, — возможно, не более оригинальную, чем преимущество жизни над смертью, личности над видом, экологии над классификацией. Сегодня подобные вещи мы воспринимаем как данность и не можем себе даже представить, насколько неприемлемым был для Чарльза смутный подтекст этой песенки. Ибо в ней отражалась не столько глубинная реальность, представшая перед его глазами, сколько универсальный хаос, маячащий за хрупкой структурой человеческого уклада.

В этой природной евхаристии присутствовала еще и личная горечь, поскольку Чарльз чувствовал себя во всех отношениях отлученным. Врата закрылись перед носом, рай потерян. И тут опять же Чарльз был похож на Сару — он мог стоять в этом Эдеме и не испытывать никакой радости, лишь завидовать крапивнику, поющему

в экстазе.

Он по примеру Сары выбрал тропу, которая не просматривалась с молочной фермы. И правильно сделал — по звяканью ведра можно было заключить, что дояр или его женушка уже трудится. Он твердым шагом углубился в лес, но несколько параноидальные последствия, связанные с чувством вины, продолжали сказываться, и ему чудилось, что деревья, цветы и даже неодушевленные предметы внимательно за ним следят. У цветов глаза, у камней уши, а стволы осуждающих его деревьев — такой несметный греческий хор.

Дойдя до развилки, он выбрал левую тропку. Она вела через густой подлесок и пересеченную местность; здесь почва начинала разрушаться, и уже маячило молочно-голубое безмятежное море. Потом земля немного выровнялась и даже отвоевала цепочку зеленых лужаек у дикой природы, а метрах в ста к западу от последней лужайки, в лощинке, убегающей к скалам, Чарльз увидел соломенную крышу амбара. Старая солома покрылась мхом, что лишь добавляло ощущение заброшенности этого каменного строения, больше похожего на хижину. Когда-то здесь летом жил какой-нибудь скотовод, а сейчас амбар ис-

пользовался дояром как сенохранилище. Ну а за прошедшие с тех пор сто лет почва до того осела, что от него и вовсе ничего не осталось.

Чарльз остановился и стал разглядывать лощину. Он ожидал увидеть женскую фигуру, и полная заброшенность этого места его только сильнее растревожила. Он направился туда, как человек в джунглях, где водятся тигры: в любую минуту на тебя набросятся, и не факт, что ты сумеешь воспользоваться своим оружием.

Старая дверь закрыта. Чарльз заглянул в квадратное окошко с восточной стороны, и из темноты в нос ударил мускусно-сладкий запах лежалого сена. Он увидел начало сеновала напротив входной двери. Он обошел весь домик, заглядывая в другие окна. Сары здесь не было. Чарльз вернулся к входу с мыслью, что он ее просто опередил. Но неухоженная земля вокруг выглядела безлюдной в этот мирный ранний час. Он вытащил брегет и подождал две-три минуты, не зная, что делать. Наконец решился и толкнул дверь в амбар.

Он разглядел грубый каменный пол и два или три покосившихся стойла у дальней стены с сенозаготовкой. Там все просматривалось смутно из-за яркого луча, пробивавшегося сквозь ближайшее окошко. Чарльз подошел к этому

косому лучу… и остановился как вкопанный. В старом стойле на гвозде висела черная шляпка. Вероятно, из-за прочитанных накануне страшилок он испытал леденящее душу предчувствие, что за проеденной древоточцем перегородкой скрывается нечто ужасное… эта шляпка висит, как такой насосавшийся вампир, над чем-то пока невидимым. Уж не знаю, что он предполагал там увидеть… изуродованный труп?.. он был близок к тому, чтобы развернуться и бежать обратно в Лайм. Но некий призрачный звук подтолкнул его вперед. Он боязливо заглянул за перегородку.

30

Но чем нагляднее эти сознательные иллюзии правящего класса изображаются как фальшивые и чем менее они отвечают здравому смыслу, тем догматичнее они отстаиваются и тем более лукавым, морализаторским и возвышенным становится язык данного общества.

Карл Маркс. Немецкая идеология (1845–1846)

Сара вернулась домой — хотя «дом» в этих обстоятельствах звучит несколько иронично — раньше миссис Фэйрли. Почитав, как водится, хозяйке Библию на ночь, она ушла к себе, но вскоре к ней постучалась домоправительница, которая не упустила своего шанса. Сара открыла дверь. На лице ее была привычная маска печали, а вот миссис Фэйрли не скрывала своего торжества.

— Вас ждет хозяйка. Незамедлительно.

Сара опустила голову и едва заметно кивнула. Миссис Фэйрли бросила сардонический и резкий, как скисший сок, взгляд на покорную головку

и вышла вон, угрожающе шурша юбками. Но, вместо того чтобы спуститься вниз, она притаилась за углом, пока не услышала, как дверь в хозяйские покои закрылась за секретаршей-компаньонкой. Тогда она тихо подкралась и стала подслушивать.

Миссис Поултни в кои-то веки не восседала на троне, а стояла у окна, сосредоточив все свое красноречие в спине.

— Вы хотели со мной поговорить?

Похоже, что нет — миссис Поултни не пошевелилась, не издала ни звука. Возможно, на нее так подействовало опущенное и, казалось бы, обязательное обращение «мадам», и что-то в тоне Сары давало понять, что она это сделала не случайно. Сара перевела взгляд с черной спины на разделявший их журнальный столик. На нем лежал конверт, что сразу бросалось в глаза. Чуть поджатые губы — то ли от решимости, то ли от обиды, сказать трудно — были единственной реакцией Сары на эту снежную королеву, которая, если уж говорить всю правду, испытывала легкое замешательство, не зная, как лучше раздавить змею, пригретую на ее груди. Наконец миссис Поултни решила обрушить занесенный топор.

— В конверте месячное жалованье. С ком-

пенсацией за неполученное предварительное уведомление. Прошу вас покинуть мой дом завтра утром при первой возможности.

Теперь Сара могла с афронтом воспользоваться оружием хозяйки. Она не двинулась с места и не издала ни звука, пока та в ярости не повернулась. На побелевшем лице только щеки горели румянцем.

— Вы не слышали, что я сказала, мисс?

— Я могу узнать причину?

— Вы смеете позволять себе дерзости!

— Я смею спросить, за что меня увольняют.

— Я напишу мистеру Форсайту. Я прослежу за тем, чтобы вас заключили под стражу. Вы оскорбление для всего общества.

Столь пылкая тирада дала результат. Щеки у Сары тоже разгорелись. Видно было, как вздымалась внушительная грудь хозяйки.

— Я *приказываю* вам сию минуту покинуть эту комнату.

— Очень хорошо. Поскольку я здесь видела одно лицемерие, я сделаю это с превеликим удовольствием.

Сделав парфянский выпад, Сара уже направилась к выходу. Но миссис Поултни была из тех актрис на сцене, чья реплика должна прозвучать

последней. А может, я к ней несправедлив, и она лишь хотела совершить благое дело, хотя по ее тону этого не скажешь.

— Возьмите ваше жалованье!

Сара повернулась и покачала головой.

— Оставьте себе. И, если хватит такой скромной суммы, я предлагаю вам купить какое-нибудь орудие пыток. Миссис Фэйрли, не сомневаюсь, с удовольствием поможет вам его применить против тех, кого нужда заставила искать вашего покровительства.

Смешно сказать, но пару секунд миссис Поултни напоминала Сэма: она стояла с широко открытым ртом.

— Вы… ответите… за эти… слова.

— Перед Богом? А вы уверены, что грядут времена, когда Он обратит свой слух именно к вам?

Впервые за все время их отношений Сара улыбнулась хозяйке; это была едва заметная, но проницательная и выразительная улыбка. Несколько мгновений хозяйка на нее таращилась почти униженно, не веря самой себе, как будто Сара — сатана, явившийся за добычей. А затем, точно краб, приковыляла к креслу и рухнула в него, близкая к обмороку. Сара какое-то время ее разглядывала, а затем в неподобающей манере

— если сравнивать с той, чья фамилия Фэйрли[98] — быстро подошла и распахнула дверь. Домоправительница поспешно распрямилась, и в глазах ее появилась тревога, она словно ждала, что вот сейчас на нее набросятся. Но Сара, освободив проход, показала пальцем на задыхающуюся, хватающую себя за горло хозяйку, и это дало миссис Фэйрли шанс устремиться на подмогу.

— Коварная Иезавель! Ты ее убила!

Сара не отреагировала. Она понаблюдала за тем, как домоправительница дала нюхательную соль хозяйке, после чего ушла к себе. Там она подошла к зеркалу, но, вместо того чтобы посмотреть в него, закрыла лицо руками, а потом стала медленно опускать пальцы. Видеть свое отражение оказалось выше ее сил, и через пару секунд она уже стояла на коленях у кровати и беззвучно лила слезы в изношенное покрывало.

А как же молитва? Ей казалось, что она молится.

---

[98] Примечания: 98
Игра слов: fairly — достойная, подобающая.

31

То вздохи распирают грудь,
То руки хочется сомкнуть;
Натянут нерв почти до звона,
И пульс забился учащенно;
Еще вчера глаза в глаза,
Но вот уже косишь в сторонку,
И расползается плетенка, —
Что это, ангела слеза,
Предвестница любовной драмы?

Или мотивчик заурядный:
«Конечно все, и все нескладно»,
О чем горюнились всегда мы?

Артур Хью Клаф. Стихотворение (1844)

И вот теперь она мирно спала.

Это резануло глаз, когда Чарльз все-таки отважился заглянуть за перегородку. Она свернулась в клубок, как маленькая девочка, под своим старым пальто, от холода подтянув ноги повы-

ше, а повернутая к стене голова покоилась на темно-зеленом шарфе, словно она желала уберечь распущенные волосы, свое единственное сокровище, от соломы, на которой возлежала. В абсолютной тишине ее дыхание было и видимым, и слышимым. То, что она так мирно спит, показалось Чарльзу настоящим преступлением.

Но при этом он испытал неистребимое желание ее защитить. Порыв был такой силы, что он резко отвел взгляд в шоке от того, что выдвинутые доктором обвинения подтвердились: его так и подмывало опуститься перед ней на колени и утешить… и не просто утешить… темнота и уединение, не говоря уже о позе лежащей, скорее навевали мысли о спальне. Сердце у него билось так, словно он пробежал милю. Тигром был он, а не она. После паузы он поспешно и тихо направился к выходу. Он уже собирался покинуть амбар и вдруг услышал, как произнес ее имя. У него не было такого намерения, и вот поди ж ты.

— Мисс Вудраф.

В ответ тишина.

Он повторил ее имя, чуть громче и уже от себя, тем более что тьма благополучно отступила.

Послышалось слабое шевеление и шуршание, а затем показалось лицо с почти комическим выра-

жением — это она поспешно встала на колени и выглянула из-за перегородки. Сквозь летающую пыль угадывались шок и страх.

— О, простите меня, простите…

Голова исчезла. Он вышел к солнцу. Две серебристые чайки с хриплым криком промчались над головой. Чарльз отшагнул в сторонку, чтобы не попасться на глаза кому-то со стороны маслобойни. Грогана он пока не ждал; ну а вдруг пожалует дояр за сеном? Хотя, казалось бы, зачем, если вокруг зеленеет весенняя трава.

— Мистер Смитсон?

Он вернулся к амбару до того, как она успела его позвать уже с нескрываемой тревогой в голосе. Теперь их разделяли три метра: Сара внутри, Чарльз на углу снаружи. Она успела наскоро привести себя в порядок, надела пальто, а в руке держала шарф, которым, вероятно, воспользовалась как щеткой, чтобы стряхнуть соломинки. В глазах сквозило беспокойство, и хотя черты лица еще сохраняли безмятежность сна, щеки тронул румянец, вызванный бесцеремонной побудкой.

Было в ней что-то дикое. Нет, не лунатизм или истерия… скорее что-то от дикой природы, от трелей того крапивника… первобытная невинность, неукротимый пыл. И как крутой уклон замутил

и усугубил его мрачный настрой, точно так же внезапно всплывшее перед ним лицо замутило и усугубило клинические страшилки от достойного доктора Маттая и не менее достойного доктора Грогана. Вопреки Гегелю, викторианцы не отличались диалектическим мышлением, они не рассуждали в категориях противоположностей, плюса и минуса как аспектов целого. Парадоксы их скорее смущали, нежели радовали. Они оценивали не экзистенциальные моменты, а цепочки причин и следствий и обращались к исчерпывающим теориям, которые можно внимательно изучать и исправно применять. Они были заняты строительством, в отличие от нас, так долго занятых разрушением, что созидание представляется столь же эфемерным, как пускание пузырей. Словом, Чарльз для самого себя являл загадку. Он попытался изобразить улыбку.

— Мы здесь никому не попадемся на глаза?

Она проследила за его взглядом в сторону невидимой отсюда маслобойни.

— Подоив корову, он уходит в дом.

Тем не менее она предпочла уйти в амбар, и он последовал за ней. Оба остановились на расстоянии, и он видел только ее спину.

— Вы провели здесь ночь?

Она кивнула. Пауза.

— Вы не голодны?

Сара помотала головой, и снова повисло молчание. Но на этот раз она его прервала.

— Вы уже в курсе?

— Вчера я был в отъезде и не мог прийти.

Молчание.

— Миссис Поултни поправилась?

— Да, насколько мне известно.

— Она на меня очень рассердилась.

— Это только к лучшему. В ее доме вам не место.

— А где мне место?

Он вспомнил, что должен тщательно подбирать слова.

— Послушайте… не стоит посыпать голову пеплом. — Он приблизился на пару шагов. — Все переполошились. Вечером на ваши розыски отправился поисковый отряд. В грозу.

Она повернулась с таким выражением лица, будто ее обманывают, но сразу поняла, что нет. А он в свою очередь понял, что она не обманывает, когда сказала:

— Я не хотела доставить столько хлопот.

— Ничего страшного. Рискну предположить, что на волне всеобщего возбуждения они даже

получили удовольствие. Но ясно одно: вы должны покинуть Лайм.

Она опустила голову. Это прозвучало слишком сурово. Поколебавшись, Чарльз шагнул еще вперед и успокаивающе положил руку ей на плечо.

— Не бойтесь. Я пришел, чтобы в этом вам помочь.

Ему казалось, что этим жестом и заверением он немного притушит огонь, который, по словам доктора Грогана, сам разжег, но когда ты представляешь из себя горючую смесь, роль пожарного не для тебя. И Сара пылала. В глазах, устремленных на ее спасителя, плясали огни. Чарльз поспешно убрал руку, но она, не дав ему опомниться, тут же ее схватила и поднесла к губам. А когда он в панике вырвал руку, Сара отреагировала так, как если бы он нанес ей пощечину.

— Дорогая мисс Вудраф, держите себя в руках, умоляю. Я…

— Я не могу.

Эти слова, едва слышные, заставили его умолкнуть. Он пытался убедить себя в том, что они означают другое… она не в силах скрыть благодарности за его благодеяние… он пытался, пытался. Но в голове промелькнули стихи Ка-

тулла:

Всех лишаюсь чувств оттого, что тотчас,
Лесбия, едва лишь тебя увижу, —
Голос теряю,
Мой язык немеет, по членам беглый
Заструился пламень, в ушах заглохших
Звон стоит и шум, и глаза двойною
Ночью затмились[99].

В данном случае Катулл перелагал Сапфо, а сапфический стих поныне остается самым точным клиническим описанием любви в европейской медицине.

Сара и Чарльз застыли жертвами тех самых симптомов, о чем они лишь смутно подозревали, и одна готова была это признать, а второй пока отрицал, хотя был не в состоянии развернуться и уйти. Прошло пять или шесть секунд, заполненных бурными, пусть и подавленными, эмоциями. А затем ноги у Сары отказали, и она упала перед ним на колени. Из уст вырвалось признание:

— Я вам солгала. Я сделала все, чтобы миссис

---

[99] Примечания: 99
Перевод С. Шервинского.

Фэйрли меня увидела. И я знала, что она обо всем расскажет миссис Поултни.

Не успел Чарльз взять себя в руки, как снова потерял над собой контроль. Он в ужасе смотрел на воздетое к нему лицо. Его просили о прощении, тогда как он сам просил о направляющей руке, раз уж врачи опять его подвели. Знатные молодые дамы, пошедшие на поджоги и анонимные письма, с забавным почтением к моральным оценкам в черно-белых тонах ждали, готовились к тому, что рано или поздно их поймают с поличным и придется во всем сознаться.

У Сары потекли слезы. Ему в руки приплыла удача, настоящее сокровище, и на другой чаше весов — жалкие выделения из слезоточивых желез, пара капелек, таких крошечных, таких преходящих. А он стоял перед ней, словно это не плачущая женщина, а обрушенная дамба.

— Но почему…

Она подняла глаза, в которых были такая прямота и мольба, такая очевидная исповедь, что никакие слова не нужны, и после столь обнаженного признания повторять «Дорогая мисс Вудраф!» уже невозможно.

Он протянул руки и помог ей подняться. Их взгляды сцепились, точно в гипнозе. Она ему

казалась — во всяком случае, эти глазищи, в которых можно было утонуть — сказочно красивой. Прошлое уже не имело значения. Это мгновение длилось дольше века.

Он заключил ее в объятья, увидел, как глаза ее закрылись, и нашел ее губы. Он чувствовал не только их мягкость, но и все ее тело, неожиданно миниатюрное, хрупкое, нежное, уязвимое…

И вдруг с силой оттолкнул.

Лицо у него исказилось, как у закоренелого уголовника, пойманного в момент совершения тягчайшего преступления. Он резко развернулся и выбежал навстречу новому кошмару. И имя ему было не доктор Гроган.

32

Она стояла на крыльце
В муслине белом, на лице
Читался зов, а в доме манко
Играла тихая шарманка.

Томас Харди. Музыкальная шкатулка

Накануне Эрнестине не спалось. Прекрасно зная, какие окна в «Белом льве» принадлежат Чарльзу, она не могла не заметить, что еще долго после того, как спящий дом огласили похрапывания тетушки, там продолжали гореть огни. Она ощущала себя обиженной и виноватой почти в равной степени. А когда она встала с постели в шестнадцатый раз и, подойдя к окну, убедилась, что свет все еще горит, чувство вины стало перевешивать. Чарльз явно ею недоволен — и вполне справедливо.

После его недавнего отъезда Эрнестина сказала себе, а затем и тетушке, что этот Уинсайетт ей на фиг не нужен… я думаю, вы бы предпочли другую садовую метафору: не фигу, а кислый виноград. Когда Чарльз уехал к дяде, она рисовала себя хо-

зяйкой дома и уже начала «список необходимых вещей», но неожиданно поставленный на этом крест принес ей даже некоторое облегчение. Женщины, распоряжающиеся большими домами, должны иметь в себе задатки генерала, а у Эрнестины командное начало начисто отсутствовало. Она, конечно, любила роскошь, и ей нравилось, когда ее обслуживают, целуют если не ногу, то руку, однако у нее было достаточно буржуазное представление о пропорциях. Зачем нужны тридцать комнат, когда достаточно пятнадцати? Возможно, эту бережливость она унаследовала от отца, втайне полагавшего, что «аристократ» есть синоним «тщеславной показухи», что не помешало ему построить немалый бизнес на этой ахиллесовой пяте и разжиться в Лондоне домом, коему позавидовали бы многие знатные люди… и ухватиться за шанс получить титул, когда к его горячо любимой дочери посватался Чарльз. Но отдадим ему должное: он, пожалуй, отказался бы от титула виконта как избыточного, а вот баронет выглядел подобающе.

Боюсь, что я слишком несправедлив к Эрнестине, которая, в конце концов, была жертвой обстоятельств, своего нелиберального окружения. Именно оно с его, в сущности, шизофрениче-

ским взглядом на общество превратило средний класс в этакий замес из дрожжей и теста. Сегодня мы склонны забывать о том, что когда-то это был великий революционный класс; мы скорее видим закисшее тесто… типично буржуазная реакция, универсальное презрение, эгоистичное и конформистское. Подобное двуличие есть результат одной добродетели этого класса: он единственный из трех главных общественных каст искренне и последовательно презирает себя. И тут Эрнестина не была исключением. Не только Чарльз слышал недоброжелательную холодность в ее голосе, но и она сама. Однако ее трагедия (а по сути, всеобщая) заключалась в том, что она использовала драгоценный дар самопрезрения не по назначению и таким образом становилась жертвой извечного неверия в себя, характерной для всего среднего класса. Вместо того чтобы видеть в его провалах повод отвергнуть классовую систему как таковую, она рассматривала их как побудительную причину подняться выше. Можно ли ее в этом винить? Ведь ее воспитали в безнадежном представлении об обществе как о социальной лестнице, и она просто стояла на низкой ступеньке, откуда ей предстоял путь наверх.

Одним словом, в предрассветный час Эрнести-

на махнула рукой на сон («Мне стыдно, я себя вела как дочь какого-нибудь драпировщика»), встала, надела пеньюар и отомкнула замочек на своем дневнике. Быть может, Чарльз увидит, что ее окно тоже покаянно светится в непроглядной тьме, сгустившейся после грозы. В общем, она села писать.

Мне не спится. Дорогой Ч. мной недоволен. Меня ужасно расстроили вести из Уинсайетта. Мне хотелось плакать, я вышла из себя и по глупости наговорила много лишнего, за что я прошу прощения у Господа — я ведь сказала это из любви к моему дорогому Ч., а не из злонамеренности. После его отъезда я разрыдалась. Да послужит это мне уроком, я должна принять к сердцу прекрасные слова брачного обряда и повиноваться дорогому мужу моему, даже если мои чувства побуждают меня ему противоречить. Я должна научиться открыто и покорно подчинять свои жуткие взбалмошные вспышки его высшей мудрости. Я должна возжелать его судилища и приковать себя цепями к его сердцу, «Ибо только радостное искреннее покаяние ведет к вратам Царства Небесного».

Вы могли заметить отсутствие привычной су-

хости в этом трогательном абзаце, так что не один Чарльз умел говорить разными голосами. И как она надеялась на то, что он увидит ночной свет в ее спальне, так сейчас предвосхищала день, когда он ее уговорит поделиться с ним этой интимной исповедью добрачной души. Отчасти она все писала для его глаз… и, как любая викторианка, для Его глаз. После чего с облегчением снова легла в постель, всецело и безраздельно принадлежащая Чарльзу, и не оставила мне иного выбора, кроме как заключить, что в результате она должна себе вернуть ветреного жениха.

Она еще спала, когда четырьмя этажами ниже разыгралась небольшая драма. В то утро Сэм проснулся позже, чем хозяин. И когда он спустился в общую кухню за чаем и сырным тостом (в викторианские времена лишь немногие слуги ели меньше своих господ, если гастрономические возможности бывали ограничены), там его ждала новость, что хозяин уже ушел, а ему к полудню надо упаковать вещи и покинуть гостиницу. Сэм с трудом сохранил лицо. На то, чтобы упаковаться, довольно получаса. Но есть дела и поважнее.

Он тотчас отправился в дом тетушки Трантер. Что он там говорил, мы выяснять не будем, но явно присутствовали трагические нотки, потому

что когда тетушка (ранняя по городским меркам пташка) минутой позже спустилась вниз, она застала Мэри рядом с кухонным столом всю в слезах. Саркастически задранный подбородок глухой кухарки не выражал никакой симпатии. Тетушка ненавязчиво допросила служанку, быстро установила причину переживаний и предложила лекарство куда более эффективное, чем Чарльз. Служанка была отпущена с богом, пока мисс Эрнестина почивает; ее тяжелые портьеры обычно раздвигались не раньше десяти, так что у Мэри было почти три часа в запасе. В награду тетушка получила благодарнейшую улыбку, какой в то утро мир еще не видел. А Сэм уже неуклюже торчал посреди Брод-стрит. Бежать без оглядки не стоило — даже навстречу Мэри.

33

Один свою любовь хочу любить,
Не надо знать о знании моем,
Свое виденье не с кем мне делить,
Невидимым останусь я при нем.

Артур Хью Клаф. Стихотворение (1852)

Трудно сказать, кто был больше ошарашен — Чарльз, застывший у выхода из амбара, или слуги, стоявшие метрах в десяти поодаль. Сэм был так поражен, что даже забыл убрать руку с талии своей девушки. Эту немую картину сломало появление четвертого персонажа — в дверях амбара внезапно возникла Сара и так же быстро скрылась. Ее можно было бы принять за призрак, но это сыграло свою роль. У Сэма отвисла челюсть, а рука, обнимавшая Мэри, сама упала.

— Какого черта ты здесь делаешь?

— Гуляю, мистер Чарльз.

— Я ведь оставил инструкции…

— Все г’тово, сэр.

Чарльз сразу понял, что это вранье. Мэри отвернулась с такой милой деликатностью. Поколебавшись, Чарльз направился к Сэму, а у того в голове уже пронеслись мысли об отставке или просто о хорошей взбучке.

— Мы ж не знали, мистер Чарльз. Честно, не знали.

Мэри украдкой посмотрела на господина, и в этом взгляде были шок и страх, но и едва заметное восхищение с некой хитрецой. Чарльз обратился к ней:

— Пожалуйста, оставьте нас на минутку. — Девушка кивнула и отошла на почтительное расстояние. Он уставился на Сэма, а тот вмиг превратился в скромнягу лакея и добросовестно разглядывал хозяйские ботинки. — Я сюда пришел по делу, о котором я тебе говорил.

— Да, сэр.

Чарльз понизил голос.

— По просьбе ее лечащего врача. Он в курсе всех обстоятельств.

— Да, сэр.

— Но о них ни в коем случае нельзя ни с кем говорить.

— П’нимаю, мистер Чарльз.

— А она?

Сэм поднял глаза.

— Мэри ник'му не скажет, сэр. Зуб даю.

Теперь уже Чарльз опустил глаза долу. Он чувствовал, что у него горят щеки.

— Очень хорошо. Я… тебе благодарен. Я хочу… вот… — Он полез за бумажником.

— Ну что вы, мистер Чарльз. — Сэм отшагнул назад с подчеркнутым драматизмом, который должен был произвести впечатление на стороннюю наблюдательницу. — Никогда.

Чарльз замешкался. Хозяин и слуга встретились взглядами. Оба, кажется, поняли, что между ними состоялся негласный уговор.

— Ну что ж. Ты свое еще получишь. Только ни слова.

— Чтоб я сдох, мистер Чарльз.

Дав эту мрачную клятву (торжественней и сильнее не бывает), Сэм направился к Мэри, которая его ждала среди дрока и папоротника, в сотне метров от них, и к тому же скромно отвернувшись от собеседников.

Почему местом для свидания они выбрали амбар, остается только гадать. Вероятно, вас удивило, как могла столь рассудительная девушка разрыдаться, когда речь шла всего о нескольких

днях разлуки. Но давайте оставим Сэма с Мэри наедине — какое-то время они молча шли по лесу, а затем украдкой посмотрели друг на друга, да так и закатились от беззвучного хохота — и вернемся к раскрасневшемуся Чарльзу.

Поглядев им вслед, он перевел взгляд на амбар, чей внешний вид ни о чем не говорил. Последние события встряхнули его до самого нутра, но, постояв на открытом воздухе, он немного собрался с мыслями. На помощь, как всегда, пришло чувство долга. Преступным образом он сам раздул запретный костер. И в эти минуты жертва, готовая в нем погибнуть, возможно, уже перекинула через балку веревку… Преодолев сомнения, он шагнул в амбар.

Сара стояла чуть поодаль от подоконника, чтобы ее не было видно в окно, и как будто прислушивалась к тому, о чем говорили между собой хозяин и слуга. Чарльз остановился на пороге.

— Вы должны меня простить за то, что я непозволительным образом воспользовался вашей безвыходной ситуацией. — После паузы он продолжил: — И не только сегодня. — Она смотрела в пол. Он с облегчением отметил, что она уже не сердится, а скорее смущена. — Меньше всего я хотел затронуть ваши чувства. Я вел себя глу-

по. Очень глупо. Вся вина лежит на мне. — Она разглядывала неровный каменный пол между ними в ожидании приговора. — Ущерб уже нанесен, увы. И я прошу вас помочь мне его возместить. — Он как бы предлагал ей откликнуться, но она молчала. — Дела призывают меня в Лондон. Я не знаю, надолго ли. — Она бросила на него мимолетный взгляд. Он, спотыкаясь, продолжил: — Мне кажется, вам следует уехать в Эксетер. Я вас прошу взять эти деньги… в качестве ссуды, если вам угодно… пока вы не подыщете подходящее место… а если вам в дальнейшем потребуется финансовая поддержка… — Он не договорил. Разговор все больше приобретал официальный характер. Какое жалкое впечатление он должен на нее производить! Она повернулась к нему спиной.

— Я вас больше не увижу.

— Не исключено.

— Видеть вас… только ради этого я живу.

Молчание таило в себе страшную угрозу. У него не хватило бы смелости облечь ее в слова. Он ощущал себя, словно в кандалах, и его освобождение пришло внезапно, как к приговоренному сидельцу. Она развернулась и прочитала его мысли.

— Если бы я хотела себя убить, у меня на то бы-

ло достаточно оснований до этой минуты. — Она посмотрела в окно. — Я принимаю вашу ссуду… с признательностью.

Он закрыл глаза с молчаливой благодарностью. И положил кошелек (не тот, который для него расшила Эрнестина) на карниз у дверей.

— Вы уедете в Эксетер?

— Если таков ваш совет.

— Это мой настоятельный совет.

Она согласно кивнула.

— И вот еще что. В городе поговаривают о том, чтобы поместить вас в лечебницу для душевнобольных. — Она стрельнула в него глазами. — Идея родилась в «доме Марлборо», не сомневаюсь. Не стоит воспринимать это всерьез, и тем не менее… если вы не вернетесь в Лайм, то избавите себя от излишних волнений. — Поколебавшись, он сказал: — Насколько мне известно, на ваши розыски вскоре снова отправят поисковую партию. Вот почему я пришел в такую рань.

— Мой кофр…

— Предоставьте это мне. Я его пришлю в депо Эксетера. Я подумал… если у вас хватит сил, то было бы благоразумнее дойти пешком до Аксмут Кросса. Это избавило бы… — от скандала их обоих. Он отдавал себе отчет в серьезности такой

просьбы. Аксмут в семи милях отсюда, а до Кросса, где курсируют экипажи, еще пара миль.

Она кивнула.

— Когда устроитесь на новое место, вы сообщите об этом миссис Трантер?

— У меня нет рекомендательных писем.

— Вы можете сослаться на миссис Талбот. И на миссис Трантер. Я с ней поговорю. И пусть ваша гордость не останавливает вас, если потребуется обратиться к ней за дополнительной финансовой поддержкой. За этим я тоже прослежу до отъезда.

— Это не потребуется. — Она перешла почти на шепот. — Но все равно спасибо.

— Мне кажется, это я должен вас благодарить.

Она заглянула ему в глаза — все равно что метнула дротик. Она видела его насквозь.

— Вы удивительная женщина, мисс Вудраф. Мне очень стыдно, что я не понимал этого раньше.

— Да, я удивительная женщина. — Она сказала это без гордыни и без сарказма, скорее с горькой простотой. И снова повисло молчание. Он терпел сколько мог, а затем достал свои карманные часы с отверстием в крышке — недвусмысленный намек на то, что ему пора уходить. Он чувство-

вал свою неловкость, свою зажатость, как и ее превосходящее достоинство. Возможно, он до сих пор чувствовал ее губы.

— Вы не составите мне компанию до главной тропы?

Пусть не думает перед их окончательным расставанием, что он ее стыдится. Если вдруг появится Гроган, это уже неважно. Но Гроган не появился. Сара пошла впереди, сквозь мертвый папоротник и живой дрок. Ее волосы переливались в утренних лучах. Она молчала, ни разу не обернулась. Чарльз понимал, что они могут попасться на глаза Сэму и Мэри… даже лучше, пусть увидят их вдвоем в открытую. Наконец они дошли до главной тропы. Сара обернулась. Он остановился рядом и протянул ей руку.

После секундного колебания она протянула свою. Он ее крепко сжал во избежание новых глупостей и пробормотал:

— Я вас никогда не забуду.

Она обратила к нему лицо, в глазах угадывался немой вопрос: видит ли он то, что должен видеть, пока еще не поздно?.. высшую правду, высшие чувства, высшую историю за пределами его представлений об истории. Она словно облекла это в слова, хотя отдавала себе отчет в том, что если он

не способен понять ее без слов…

Пауза затянулась. Но вот он опустил глаза и отпустил ее руку.

Спустя минуту он обернулся. Она стояла там, где он ее оставил, и глядела ему вслед. Он приподнял шляпу. Ответного жеста не последовало.

Десятью минутами позже он остановился у морского шлюза, откуда тропа вела к маслобойне. Отсюда открывался вид на поля в сторону Кобба. В отдалении женская фигурка только вышла на тропу, по которой он уже прошел. Он сделал шажок назад, немного поколебался… и продолжил путь к городу.

34

И роза сорванная вянет.
Томас Харди. Под ветром и дождем

— Ты гулял.

От того, что он переоделся, толку никакого.

— Мне нужно было прочистить мозги. Я не выспался.

— Я тоже. — После паузы она добавила: — Вечером ты говорил, что валишься с ног от усталости.

— Да.

— А сам до часа ночи не ложился.

Чарльз поспешил отвернуться к окну.

— Мне надо было многое передумать.

Эти жесткие наскоки со стороны Эрнестины свидетельствовали о том, что средь бела дня ей не очень-то удавалось держать себя в узде, в чем она себе поклялась ночью. А знала она — через Сэма, Мэри и озадаченную тетушку — не только об утренней прогулке Чарльза, но и о его планах нынче же уехать из Лайма. Впрочем, она решила не требовать от него объяснений столь внезапного решения, а подождать, когда его светлость заговорит об этом сам.

Когда же Чарльз наконец приехал ближе к одиннадцати, она чопорно поджидала его в задней гостиной, однако он нелюбезно затеял продолжительную беседу — и, того хуже, *на пониженных тонах* — с тетушкой в прихожей. Словом, Эрнестина внутренне закипала.

Не в последнюю очередь ее обиды были связаны с тем, что она с особым рвением продумала свой утренний туалет и не заслужила от него ни словечка похвалы. Она вышла в розовом «платье к завтраку» с широким рукавом и узкой манжетой. Рукав пышными складками, этакими кипящими волнами из газа, спускался вниз и сжимал запястье. Все это отменно подчеркивало ее стройность; не говоря уже о белых ленточках, вплетенных в гладкие волосы, и о ненавязчиво притягательном аромате лаванды. Она была самой Афродитой на ложе из белоснежного льна… правда, со слегка помятыми глазами. Чарльз мог бы и съехидничать, однако он изобразил улыбку, сел рядом на кровать, взял ее руку и погладил.

— Моя дорогая, я прошу прощения. Сегодня я сам не свой. И боюсь, что мне надо ехать в Лондон.

— О Чарльз!

— Мне бы этого ужасно не хотелось. Но новый

поворот событий вынуждает меня обратиться к Монтегью. — Речь шла о поверенном (тогда еще не было бухгалтеров), который вел его дела.

— Ты не можешь подождать до моего возвращения? Всего десять дней.

— Я за тобой заеду и привезу сюда.

— А что, мистер Монтегью сам не может приехать?

— Увы. Слишком много бумажной волокиты. К тому же есть еще одна причина: я должен сообщить эту новость твоему отцу.

Она высвободила руку.

— Он-то тут при чем?

— Детка, конечно, при чем. Он доверил тебя моей заботе. Столь серьезные перемены…

— Но ведь у тебя остается личный доход!

— Да… я, конечно, не буду бедствовать, но есть ведь и другие соображения. Титул…

— Ах да, я и забыла. Как я могу выйти за обычного простолюдина! — В ее твердом взгляде сквозил сарказм.

— Солнце мое, наберись терпения. Такие вещи надо проговаривать. За тобой дают немалое приданое. Конечно, наши чувства — это главное. Но еще существуют… правовая и контрактная сторона брачного союза, которые…

— Чепуха!

— Моя дорогая Тина…

— Ты прекрасно знаешь, что они позволили бы мне выйти замуж хоть за гугенота, если бы я пожелала.

— Возможно. Но даже самые заботливые родители предпочитают быть в курсе…

— Сколько комнат в «Бельгравии»?

— Понятия не имею. — Помешкал и добавил: — Пожалуй, двадцать.

— Ты как-то обмолвился, что твой годовой доход составляет две с половиной тысячи фунтов. А с моим приданым…

— Дело не в том, достаточно ли средств для нашего комфорта при изменившихся обстоятельствах.

— Хорошо. Предположим, папа скажет тебе, что ты не получишь моей руки. Что тогда?

— Ты не желаешь меня понять. Я знаю свой долг. В такой момент важна каждая мелочь.

Они обменивались фразами, избегая визуального контакта. Эрнестина опустила голову в бунтарском несогласии. Он встал.

— Это всего лишь формальность. Но формальности бывают важны.

Она упрямо глядела в пол.

— Я устала от Лайма. Я вижу тебя здесь реже, чем в городе.

Он улыбнулся.

— Какой абсурд.

— Мне кажется, меньше.

В уголках рта залегли угрюмые складки. Она не даст себя утихомирить. Чарльз подошел к камину и, положив руку на полку, улыбнулся Эрнестине, но это была безликая улыбка, скорее маска. Ему не нравилось, когда она своевольничала, это так контрастировало с ее тщательно продуманными туалетами, которые должны были подчеркивать полную неадекватность окружающих. Предвестницей предложенной обществу «приличной одежды» стала недостойная миссис Блумер лет за пятнадцать до описываемых событий, но эту раннюю попытку брючного костюма полностью перечеркнул кринолин — маленький нюанс большой важности в нашем понимании викторианских женщин. Им предложили нечто здравое, а они выбрали шесть футов кружевного безумия, превзошедшего самые безумные выходки в искусствах малых форм.

Правда, во время повисшего молчания Чарльз размышлял не столько о глупостях высокой моды, сколько о том, как бы уйти без лишних

хлопот. К счастью для него, в это же время Тина обдумывала свое положение: не ведет ли она себя немного по-простецки, как ее служанка (тетушка ей уже объяснила, почему Мэри не отозвалась на ее утренний звонок), устраивая такой скандал по поводу его недолгого отсутствия? И вообще, мужское тщеславие подогревается подчинением его приказам, зато женщина, подчиняясь, в результате одерживает победу. Когда-нибудь Чарльз заплатит за свою жестокость. В ее улыбочке читалось покаяние.

— Ты будешь писать каждый день?

Он протянул руку и коснулся ее щеки.

— Обещаю.

— И вернешься при первой возможности?

— Как только решу с Монтегью все вопросы.

— Я напишу папá строгий приказ, чтобы он отправил тебя обратно.

Чарльз не упустил своего шанса.

— Если ты прямо сейчас напишешь, я отвезу ему письмо. Через час я уезжаю.

Она встала и протянула руки. Она ждала поцелуя. Но поцеловать ее в губы он не смог себя заставить. Поэтому взял ее за плечи и легко коснулся висков. Он уже хотел уйти, но по какой-то необъяснимой причине остановился. Эрнестина

смиренно и робко смотрела перед собой — на его темно-синий галстук с жемчужной булавкой. Почему он не сумел уйти, стало ясно не сразу. Он стоял, решительно засунув обе руки в нижние карманы манишки. Он понимал цену отпущения… и готов был ее заплатить. Он на несколько секунд прижался к ее губам — мир не рухнул, нутро не восстало, глаза и уши не залепило воском. Он отметил про себя ее красивое платье… даже не столько визуально, сколько тактильно… хрупкое белое тело проникло в его мозг, и пока он его поглаживал и бормотал какие-то глупые слова, его неожиданно охватило смущение. Он явственно ощутил шевеление в паху. Временами Эрнестина позволяла себе своеобразный юмор, пикировки и причуды на эту тему, обещания потаенной дикой страсти… желание познать порок, однажды с робостью, но и наслаждением надкусить запретный плод. Возможно, Чарльз всего лишь подсознательно повелся на исконную притягательность недалеких женщин — ты можешь с ними делать все, что захочешь. Сознательно же он чувствовал себя запятнанным: испытать плотское желание, после того как ты утром целовал в губы другую женщину!

Он поспешно чмокнул Эрнестину в темечко,

аккуратно высвободился из сплетения пальцев, приложился к ним губами и лишь после этого покинул комнату.

Его ждало еще одно испытание. В прихожей ждала Мэри с его шляпой и перчатками. Глаза она опустила, а щеки у нее порозовели. Надевая перчатки, Чарльз покосился на дверь, которую только что закрыл за собой.

— Сэм вам разъяснил обстоятельства нынешнего утра?

— Да, сэр.

— Вы… все поняли?

— Да, сэр.

Он снял одну перчатку и запустил руку в карман жилетки. Мэри не отодвинулась, но еще больше опустила голову.

— Не надо, сэр.

Но денежку уже взяла. И через мгновение затворила дверь за Чарльзом. Как в замедленной съемке, она раскрыла довольно красную ладошку и уставилась на золотую монетку. Потом попробовала на зуб, как это всегда делал ее отец, чтобы убедиться, не медная ли. Этот прием вряд ли помог бы Мэри отличить одну от другой, но почему-то она решила, что это золото… как ранее решила, что прогулка в лес к береговому уступу

означает грех.

Что может знать о грехе невинная деревенская девушка? Вопрос остается открытым. А тем временем Чарльзу предстоит добираться до Лондона.

35

Вся власть моя в тебе заключена,
Мой век продлит она.

Томас Харди. Ее бессмертие

Многие девочки от 14 до 17 лет, и даже тринадцатилетние, попадали в лазарет беременные. Они признавались, что эта беда с ними случилась… когда они отправлялись на сельскохозяйственные работы или оттуда возвращались. Девочки и мальчики этого возраста проходят пешком пять, шесть, а то и семь миль на такие работы, часто по проселочным дорогам. Я сам был свидетелем крайне непристойного поведения подростков этого возраста. Однажды я видел, как юную девушку пытались изнасиловать на обочине пять или шесть парней. А стоявшие метрах в двадцати или тридцати от них взрослые не обращали никакого внимания. Девушка звала на помощь, и я остановился. Еще я видел голых подростков, купающихся в заводи, а девочки от 13 до 19 лет за ними подсматривали с берега.

Отчет комиссии по детской занятости (1867)

С чем мы имеем дело в девятнадцатом столетии? Век, когда женщина считалась святой, и при этом можно было купить тринадцатилетнюю

девочку за несколько фунтов… или шиллингов, если всего на часок-другой. Век, когда было построено больше церквей, чем за всю предыдущую историю страны, и при этом в каждом шестидесятом доме Лондона содержался бордель (сегодня соотношение примерно один к шести тысячам). Век, когда о священных узах брака (и добрачном целомудрии) проповедовали с каждой кафедры, в каждой газетной передовице, в каждом публичном выступлении, и при этом все — или почти все — заметные публичные фигуры, от будущего короля и ниже, вели скандальный образ жизни. Век, когда пенитенциарную систему заметно гуманизировали, и при этом бичевание было так распространено, что некий француз всерьез доказывал, будто маркиз де Сад имел английских предков. Век, когда женское тело было особенно скрыто от посторонних глаз, и при этом скульпторов судили по их способности высекать обнаженных дам. Век, когда ни один заметный роман, пьеса или стихотворение при изображении чувственности не шли дальше поцелуя, когда доктор Баудлер[100] (чья дата смерти,

[100] Примечания: 100

Томас Баудлер (1754–1825) — шотландский врач, наиболее известный как составитель «семейного» издания Шекспира, в котором были пропущены все непристойные, с точки зрения англичан XIX века, места.

1825, напоминает нам о том, что викторианская мораль существовала задолго до официальной границы) повсеместно считался общественным благодетелем, и при этом порнография процветала, как никогда. Век, когда функции отправления организма даже не упоминались, и при этом санитария (спусковой бачок в сортире появился гораздо позже и аж до 1900 года оставался роскошью) была на таком примитивном уровне, что почти в каждом доме и на каждой улице людям постоянно напоминали об этих отправлениях. Век, когда бытовало общее мнение, что женщины не испытывают оргазма, и при этом проституток учили его симулировать. Век, когда произошел огромный прогресс и либерализация, кажется, во всех областях человеческой деятельности, и при этом сохранялась тирания, персонифицированная и фундаментальная.

На первый взгляд, ответ простой: все дело в сублимации. Викторианцы перенаправляли свое либидо по другим адресам; так какой-нибудь обленившийся гений эволюции говорит себе: «Нам необходим прогресс, а давайте поставим дамбу и посмотрим, что будет с отводным каналом».

Признавая частичную правоту теории сублимации, я иногда задаюсь вопросом, не ведет ли

она нас к ошибочному заключению, что викторианцы не были озабочены сексом. На самом деле не меньше, чем мы… и при том, что *нас* пичкают сексом денно и нощно (как викторианцев пичкали религией), они уделяли этой теме куда больше внимания. Они, уж точно, были помешаны на любви и гораздо чаще нас обращались к ней в разных видах искусства. И никакой Мальтус и отсутствие контрацептивов до конца не объясняют тот факт, что они размножались как кролики и превозносили плодовитость, не в пример нам. И хотя наш век не отстает от них в плане прогресса и либерализации, вряд ли мы можем утверждать, что причиной тому является сублимированная энергия, которую мы сэкономили. Я помню, как «игривые девяностые» нам преподносили в качестве реакции на десятилетия воздержания; а по мне, так просто появились публикации о том, что раньше считалось частным делом. Я подозреваю, что в реальности мы имеем дело с человеческой константой, а все различия — это вопросы словоупотребления и использования метафор.

Викторианцы предпочитали относиться всерьез к тому, о чем мы рассуждаем в непринужденном тоне, и эта серьезность проявлялась у них в том, что о сексе они *не говорили откры-*

то... в отличие от нас. Но все эти «подходы» — не более чем условность, тогда как факты, за ними скрывающиеся, неизменны.

Мне кажется, существует еще одна распространенная ошибка: ставить знак равенства между высоким уровнем сексуального невежества и низким уровнем сексуального удовлетворения. Не сомневаюсь, что когда соединились губы Чарльза и Сары, все было очень по-любительски с той и другой стороны, но я бы не стал делать отсюда вывод, что сексуальное возбуждение отсутствовало. В любом случае куда более интересным является соотношение между желанием и способностью его осуществить. Опять же нам может казаться, что тут мы превосходим наших далеких предков. Но желание зависит от частоты, с какой оно вызывается; наш мир неустанно приглашает нас к совокуплению, однако наша реальность с таким же постоянством ставит нам преграды. Мы не такие фрустрированные, как викторианцы? Возможно. Но если ты съедаешь не больше одного яблока в день, то зачем жить в целом саду? Может, если ты будешь съедать одно-единственное яблоко в неделю, эти плоды покажутся тебе еще слаще.

Словом, весьма сомнительно, что викториан-

цы не испытывали куда более острого (потому как менее частого) сексуального удовольствия, чем мы, и что они, смутно об этом догадываясь, сознательно выбирали подавление, обуздание и молчание, дабы сохранять остроту ощущений. В известном смысле, подбрасывая общественному воображению то, что они оставляли приватным, мы представляем из себя более викторианское время — в уничижительном смысле этого понятия, — поскольку, уничтожая тайну, сложности, ауру запретного, мы в значительной степени уничтожаем само наслаждение. Конечно, мы не можем измерить его сравнительные степени… и слава богу, если опять-таки ставить себя рядом с викторианцами. К тому же их метод давал им бонус дополнительной энергии. Эта скрытность, эта дистанция между полами — недаром Чарльз так заволновался, когда Сара попыталась ее сократить, — несомненно, порождали особую энергию и очень часто — особую откровенность в других сферах.

Все это увело нас довольно далеко от Мэри, которая очень любила яблоки, как я сейчас вспоминаю. А называть ее невинной деревенской девушкой мы не можем по очень простой причине: в то время эти два эпитета были несов-

местимы. Установить причины не так трудно.

Большинство живых свидетелей и репортеров во все эпохи принадлежат к образованному классу, что на протяжении истории приводит к искажению реальности этим меньшинством. Ханжеское пуританство, которое мы приписываем викторианцам и, не особенно заморачиваясь, распространяем на все классы общества, на самом деле является взглядом среднего класса на собственные этические нормы. У Диккенса герои из рабочей среды выглядят чрезвычайно смешными (или чрезвычайно жалкими), такая невероятная галерея гротескных персонажей, но за холодной реальностью нам следует обратиться к другим источникам — например, к Мейхью[101], дотошным докладам комиссий и т. п., особенно в отношении сексуального аспекта, который Диккенс (чья сексуальная жизнь в каком-то смысле не была настоящей) и его сотоварищи напрочь отбрасывали как нечто одиозное. Жесткая правда — я бы ее назвал очень даже мягкой, ну да не суть важно — о провинциальной жизни викторианской Англии заключается в том, что «распробовать перед покупкой», как тогда

[101] Примечания: 101

Генри Мейхью (1812–1887) — английский социальный исследователь и журналист.

выражались по-простому (досвадебный секс, на современном жаргоне) — *это было правило, а не исключение*. Вот вам свидетельство еще здравствующей дамы, родившейся в 1883 году. Ее отец был лечащим врачом Томаса Харди.

Жизнь фермера в девятнадцатом веке сильно отличалась от нынешней. Например, среди дорсетских крестьян забеременеть до свадьбы считалось совершенно нормальным, и брак заключался после того, как вырастал живот… Причина крылась в низкой зарплате и нужде в дополнительных рабочих руках в семье[102].

Тут я подхожу к черному пятну, более чем важному, в жизни великого романиста, возвышающегося именно над той частью Англии, о которой я пишу. Когда мы вспоминаем о том, что Томас Харди был первым, кто попытался сорвать печать с викторианского секс-ящика Пандоры, для нас не меньший интерес (и в высшей степени парадоксальный) представляет то, что при этом он отчаянно оберегал от посягательств собственную сексуальную жизнь и своих предков. Разумеется, это его неотъемлемое пра-

---

[102] Примечания: 102

Еще одной экономической причиной была дьявольская система оплаты труда неженатых мужчин, которые получали вдвое меньше, чем женатые. (*Примеч. автора.*)

во. Но немногие литературные тайны — а эту удалось приоткрыть лишь в 1950-х — оставались под таким замком. Сей факт, а также реальность провинциальной викторианской Англии, о чем я говорила в этой главе, дают ответ на знаменитый выпад Эдмунда Госса: «Чем Провидение так обидело мистера Харди, что он встал во весь рост в аграрном Уэссексе и принялся грозить кулаком своему Создателю?» С таким же успехом Госс мог спросить, почему атреиды грозили микенцам бронзовыми кулаками.

Здесь не место далеко удаляться от черной дыры Эгдон Хита[103]*. Доподлинно известно, что в 1867 году двадцатисемилетний Харди вернулся в Дорсет после изучения архитектуры в Лондоне и без памяти влюбился в свою шестнадцатилетнюю кузину Трифену. Состоялась помолвка. А через пять лет, по необъяснимой причине, помолвка была расторгнута. Хотя это не окончательно доказано, сегодня есть все основания утверждать, что перед Харди открылись страшные скелеты в фамильном шкафу: Трифена оказалась не кузиной, а незаконнорожденной дочерью его незаконнорожденной единоутробной*

---

[103] Примечания: 103

Эгдон Хит — вымышленное место в Эссексе, где герои Томаса Харди собирают дрок и занимаются ведьмовщиной.

сестры. На что намекают его самые разные стихотворения: «У калитки», «Она не повернулась», «Ее бессмертие» и многие другие. То, что было несколько сравнительно недавних незаконных детей по материнской линии — доказанный факт. Сам Харди родился «через пять месяцев после венчания родителей». Люди набожные утверждали, что он разорвал помолвку по классовым соображениям: ему, многообещающему молодому таланту, не подобало жениться на простой девушке из Дорсета. Верно и то, что в 1874 году он женился на Лавинии Гиффорд, стоявшей выше на социальной лестнице… вот только она оказалась на редкость бесчувственной. Трифена же была исключительной особой — в двадцать лет, окончив пятой по списку лондонский педагогический колледж, она сразу стала директрисой Плимутской школы. Трудно не предположить, что их вынудила расстаться некая жуткая семейная тайна. В некотором смысле тайна оказалась счастливой, поскольку никакой другой английский гений не был так предан и так обязан одной-единственной музе. В результате мы получили несравненные любовные элегии. Мы

получили Сью Брайдхед и Тэсс[104]*, воплотившие в себе дух Трифены; а роман «Джуд незаметный» автор даже завуалированно ей посвятил в своем предисловии: «Сюжет был задуман в 1890-м… некоторые обстоятельства навеяны смертью женщины…». Трифена, вышедшая замуж за другого, как раз умерла в том году.*

Таким образом, это напряжение — между похотью и самоотречением, живучими воспоминаниями и не менее живучим их подавлением, лирической капитуляцией и трагическим долгом, между грязными фактами и их благородной подачей — наполняет энергией и объясняет творчество одного из самых великих писателей той эпохи и, выходя за пределы его творчества, структурирует саму эпоху. Потому я и отвлеклась, чтобы напомнить вам об этом.

А теперь вернемся к нашим овечкам. Вы уже догадались, зачем Сэм и Мэри направились в амбар, и, поскольку они это делали уже не в первый раз, вам, вероятно, станут понятнее ее слезы… и почему она знала о грехе несколько больше, чем можно было бы, на первый взгляд, ожидать

---

[104] Примечания: 104

Женские персонажи романов «Джуд незаметный» и «Тэсс из рода д'Эбервиллей» соответственно.

от девятнадцатилетней девицы… или от другой девушки, на три года ее младше и куда более образованной, если бы вы встретили ее чуть позже в Дорчестере, где она, непостижимая для вечности, стояла рядом с бледным молодым архитектором, который после тягомотных пяти лет в столице вернулся, чтобы стать («Пока огонь не пожрет ее грудь и ланиты и локоны») идеальным олицетворением величайшей загадки той эпохи.

36

Кто против знания? – Оно
Прекрасно – дерзостно и смело,
Его богатствам нет предела,
И все в веках сохранено;

Однако же нетерпеливо,
И любит забегать вперед,
И как дитя все тянет в рот —
Попробовать на зуб; ретиво…

Альфред Теннисон. In Memoriam

Сто лет назад от Эксетера до столицы добирались гораздо дольше, чем сегодня, а потому город обеспечивал себя непотребными удовольствиями, за которыми нынче вся Великобритания устремляется в Лондон. Было бы преувеличением сказать, что в 1867 году там был квартал красных фонарей; для этих целей существовал квартал, пользовавшийся дурной славой, подальше от центра и кафедрального собора, который отпугивал народ от посторонних мыслей, как какая-нибудь карболка. Гораздо позже рядом с этой

окраиной, спускавшейся к реке, вырос большой порт и стал сердцем городской жизни. Квартал представлял собой лабиринт плохо освещенных, дурно пахнущих, битком набитых улочек с домами эпохи Тюдоров. Там были бордели и дансинги и места для игры в джин. Но чаще попадались полуодетые девицы и тетки — незамужние мамаши, наложницы и подобная публика, бежавшая из клаустрофобных деревень и захолустных городков Девоншира. Короче, здесь было проще всего укрыться в дешевых густонаселенных съемных квартирах и придорожных гостиницах вроде той, что описала Сара в Уэймуте, — этих безопасных прибежищах в стороне от суровой высокоморальной волны, захлестнувшей страну в целом. Эксетер в этом смысле не являлся исключением — все крупные города были вынуждены находить место для армии незадачливых женщин, покалеченных в битве за универсальное мужское целомудрие.

В конце квартала стояли в ряд стандартные домики эпохи короля Георга. Когда они только появились, из окон наверняка открывался приятный вид на реку. Но затем вокруг понастроили торговые склады, которые все закрыли, и домики потеряли самоуважение и изначальное изяще-

ство. С деревянных стен пооблезала краска, на крышах не хватало черепицы, дверные панели разошлись. Один или два домика сохранились за частными владельцами, но центральный блок из пяти каменных строений, выкрашенных под одну гребенку чем-то вызывающе бурым, с помощью длинной деревянной таблички над центральным входом объявили себя гостиницей — «Семейной гостиницей Эндикоттов», если быть точным. Владела и управляла этим хозяйством (о чем прохожих извещала та же табличка) Марта Эндикотт, чьей главной характеристикой, пожалуй, было полное отсутствие всякого интереса к постояльцам. Вот уж воистину девонширка: гостей она в упор не видела, только их денежки. Соответственно она классифицировала тех, кто заходил к ней в маленький офис рядом с холлом: «десятишиллинговый», «двенадцатишиллинговый», «пятнадцатишиллинговый» и так далее… из расчета стоимости номера в неделю. Пусть читатели, готовые заплатить пятнадцать шиллингов в современной гостинице, не обольщаются дешевизной — в те дни средняя рента коттеджа составляла один, максимум два шиллинга в неделю. Очень симпатичный домик в Эксетере можно было снять за шесть-семь мо-

нет. Так что десять шиллингов за самую дешевую комнатку в «Семейной гостинице Эндикоттов» не обосновывались ничем, кроме алчности хозяйки, — и тут было над чем призадуматься.

Серый вечер клонился к ночи. Фонарщик уже зажег с помощью длинной палки два уличных фонаря напротив гостиницы, и те высветили голую каменную кладку торгового склада. В гостинице горели несколько окон — ярче на первом этаже, тусклее повыше. В викторианских домах газопровод считался дорогим удовольствием, поэтому на верхних этажах все еще использовали масляные лампы. Через окно рядом с парадным входом можно было увидеть миссис Эндикотт за столом, рядом с горящей угольной печуркой, склонившуюся над Библией… то бишь над своим гроссбухом. А если от него провести воображаемую диагональ к полутемному окошку с еще не задернутыми багровыми занавесками на самом верхнем этаже крайнего дома справа, то мы увидим типичный пример «двенадцать на шесть»… в данном случае я имею в виду не гостя, а его номер.

Он состоял из двух комнат — маленькой гостиной и совсем крошечной спальни, переделанных из некогда приличной комнаты времен короля Георга. Стены оклеены обоями с невнятными

темно-коричневыми цветочками. Изношенный ковер, круглый столик на треножнике, покрытый темно-зеленой репсовой скатеркой, уголки которой кто-то попробовал расшить — явно первая подобная попытка — в качестве эксперимента. Два неудобных кресла резного дерева с излишествами, покрытых потертым красновато-коричневым бархатом. Темно-коричневый комод красного дерева с выдвижными ящиками. На стене — копия картины Чарльза Уэсли, скверная акварель с изображением эксетерского собора, несколько лет назад неохотно принятая от дамы в стесненных обстоятельствах как часть арендной платы.

Если не считать кучки металлических приборов перед крошечным зарешеченным камином, напоминавшим спящие рубины, больше никакого инвентаря в комнате не наблюдалось. Спасала ее разве что одна деталь: белая мраморная облицовка камина георгианской эпохи, изображавшая изящных нимф с охапками цветов. Возможно, у них всегда были немного удивленные классические лица, но сейчас это как-то особенно бросалось в глаза: что же произошло с национальной культурой всего за сотню лет! Когда они появились на свет божий, комната была

обшита симпатичными сосновыми панелями, а нынче живут в какой-то грязной клетушке.

Если бы они могли, то наверняка вздохнули бы с облегчением, когда дверь открылась и на пороге доныне пустого пространства возник женский силуэт в пальто странного покроя, черной шляпе и платье цвета индиго с белым воротничком… но Сара стремительно, можно сказать, с охотой вошла в комнату.

Она не впервые переступила этот порог. Тому, как она здесь оказалась несколько дней назад, было простое объяснение. В академической школе Эксетера, где она когда-то училась, название гостиницы воспринималось как шутка. Этих Эндикоттов, решили все, расплодилось столько, что им понадобилась целая гостиница.

Сара вышла в Шипе, куда приходили все омнибусы из Дорчестера. Кофр уже ждал ее там, доставленный накануне. Носильщик поинтересовался ее дальнейшим маршрутом, и тут ее охватила короткая паника. В голову не пришло ничего, кроме полузабытой шутки. Что-то в лице носильщика, когда он услышал это название, навело ее на мысль, что она выбрала не самую выдающуюся гостиницу в Эксетере. Но он без лишних слов взвалил на спину кофр, и она

последовала за ним пешком по улицам в уже упомянутый мной квартал. Внешний вид гостиницы не слишком впечатлял — в памяти (хотя Сара видела ее лишь однажды) она сохранилась куда более привлекательной, достойной, открытой… но бедному вору всякая одежка впору. Хотя бы не стали комментировать то, что она одна, и на том спасибо. Она заплатила за неделю вперед, и все вопросы были сняты. Поначалу она планировала взять самую дешевую комнату, но, узнав, что есть только одна комната за десять шиллингов и полторы комнаты за дополнительные полкроны, передумала.

Она быстро вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Поднесла зажженную спичку к фитилю лампы, и плафон из молочного стекла осторожно разогнал ночную тьму. Затем она сорвала шляпку и характерным движением головы распустила волосы. Не снимая пальто, водрузила на столик полотняную дорожную сумку, дабы поскорей ее распаковать, и начала медленно и осторожно вытаскивать один за другим завернутые предметы и ставить их на зеленую скатерть. Ну а затем принялась разворачивать свои покупки.

Первым показался страдфордширский заварочный чайник с симпатичной цветной картинкой

коттеджа у реки и влюбленной парочкой (которых она пристально разглядела); потом пивная кружечка — не какой-нибудь безвкусно раскрашенный монстр викторианской мануфактуры, а изящная вещица в розовато-лиловых и лимонных тонах с лицом весельчака, великолепно покрытым теплой голубой глазурью (эксперты по керамике узнали бы работу Ральфа Вуда). Эти две покупки обошлись Саре в девять пенсов в старой посудной лавке. Кружка была с трещинкой, которую предстояло заклеить, могу подтвердить, так как я лично купил ее год или два назад за куда бóльшую сумму, чем потратила Сара. Я-то, в отличие от нее, польстился на Ральфа Вуда, а она — на улыбающуюся физиономию.

Сара обладала, хотя мы еще не имели возможности в этом убедиться, эстетическим или, возможно, эмоциональным вкусом — реакцией на пошлый декор, который ее окружал. Она понятия не имела о происхождении пивной кружечки. Однако у нее было смутное ощущение, что та много раз переходила из рук в руки… и вот *теперь принадлежит ей*. Она поставила кружечку на каминную полку и, так и не сняв пальто, залюбовалась ею, как ребенок, не желающий потерять ни одного миллиграмма радости нового

собственника.

Ее грезы были прерваны шагами в коридоре. Сара бросила быстрый, но достаточно напряженный взгляд на дверь. Шаги удалились. Тогда она сняла пальто, разворошила кочергой огонь в камине и поставила закопченный чайник с водой на подставку для подогрева. И вернулась к другим покупкам: кулечек с чаем, кулечек с сахаром, железная баночка с молоком, — все это она положила рядом с заварным чайником. Потом достала оставшиеся три свертка и перешла с ними в спальню. Кровать, мраморный рукомойник, небольшое зеркало, жалкий коврик — вот и все радости.

Но сейчас Сару интересовали только приобретения. Ночная сорочка. Вместо того чтобы примерить к телу, она ее положила на кровать. Во втором свертке оказалась темно-зеленая шаль из мериносовой шерсти, окаймленная шелком изумрудного цвета. Она держала ее в руках, словно в трансе, — дорогая вещь, она одна стоила ей гораздо больше, чем все остальные покупки, вместе взятые. Наконец она в задумчивости поднесла чудесную мягкую ткань к щеке, при этом разглядывая ночнушку, а затем истинно женским движением, которое я ей впервые

позволил, выпростала рыжевато-шатенистую прядь поверх зеленой шали. Мгновением позже она вытащила шарф — широкий, больше ярда в длину, — обернула вокруг плеч и полюбовалась на себя в зеркале, а затем подошла к кровати и переложила шарф на «плечи» нижней рубашке.

И вот она открыла третий, самый маленький пакет, в котором лежал свернутый бандаж, который она, после того как еще секунду полюбовалась на зелено-белую композицию на кровати, отнесла в спальню и спрятала в ящичек комода красного дерева. А тут как раз забренчала крышка закипевшего чайника.

В кошельке Чарльза лежали десять соверенов, и этого было достаточно — хотя финансовая поддержка может ими не ограничиться, — чтобы изменилось отношение Сары к окружающему миру. Каждый вечер она пересчитывала эти десять золотых. Не как скупой, а как человек, который снова и снова приходит в кинотеатр, чтобы пересмотреть фильм, получая непреходящее удовольствие от истории, от каких-то образов…

Со дня приезда в Эксетер она не тратила ничего лишнего, только на самое необходимое и исключительно из своих скудных сбережений. Проходя мимо магазинов, она разглядывала витрины:

платья, столы и стулья, бакалея, вина — все, что было ей недоступно, дразнило, издевалось… а эти двуличные жители Лайма при встрече с ней отводили глаза и усмехались вдогонку. Вот почему она так долго не покупала заварочный чайник. Можно ведь обойтись обычным чайником. Бедность приучила ее обходиться без того и другого, настолько убила в ней аппетит к приобретениям, что она, как моряк, который неделями держится на половинке бисквита в день, не могла брать еду, ставшую ей теперь доступной. Это не значит, что она чувствовала себя несчастной, вовсе нет. Просто она наслаждалась первыми каникулами в ее взрослой жизни.

Она приготовила чай. Золотистые язычки пламени отражались в боках заварного чайника в очаге. Она словно чего-то ждала под тихое потрескиванье дров, среди отбрасываемых теней. Возможно, вы связали произошедшие в ней перемены, ее умиротворенность и покорность жребию с тем, что она узнала нечто важное от Чарльза или о нем? Ничего подобного. И желания проникнуть в ее мысли, пока взгляд устремлен на огонь в очаге, у меня не больше, чем в ту безмолвную ночь в «доме Марлборо», когда она стояла у окна и глаза были полны слез. Через какое-то

время она сбросила оцепенение и достала из верхнего ящика комода чайную ложечку и чашку без блюдца. Налив себе чаю, она развернула последнюю покупку. Пирожок с мясом. Она начала есть — безо всякой, надо сказать, деликатности.

37

Респектабельность накрыла всю страну своей свинцовой мантией… и тот, кто поклонялся этой великой богине со всей преданностью, приходил первым в гонке.

Лесли Стивен. Очерки из Кембриджа (1865)

Буржуазия… вынуждает все страны, под угрозой исчезновения, принимать буржуазный принцип производства; она вынуждает их внедрять то, что она называет цивилизацией, то есть обуржуазиться. Одним словом, она создает мир по собственному подобию.

Карл Маркс. Манифест коммунистической партии (1848)

Второй официальный разговор Чарльза с отцом Эрнестины вышел куда менее приятным, чем первый, и в этом не было вины мистера Фримана. Несмотря на его тайную неприязнь к аристократии — сколько трутней! — во внешних проявлениях мистер Фриман выглядел снобом. Он был озабочен… помимо других деловых забот… тем,

чтобы производить впечатление джентльмена. В том, что он истинный джентльмен, у него не было ни малейших сомнений, и лишь его навязчивое стремление казаться таковым намекает на то, что где-то там таился червячок сомнения.

Эта новообращенная верхушка среднего класса находилась в двусмысленном положении. Могущественные капитаны в бизнесе… и новички в плане социального статуса. Кто-то выбирал другой криптографический вариант и очень целенаправленно (как мистер Джоррокс) покупал загородную собственность и лепил образ настоящего помещика. Другие (как мистер Фриман) пытались переосмыслить сам термин. Последний недавно построил особняк в сосновой роще графства Сарри, но жили там главным образом его супруга и дочь. Его можно считать предтечей нынешнего преуспевающего бизнесмена, который регулярно мотается между столицей и своим загородным имением; мистер Фриман проводил в этом особняке только выходные и преимущественно летом. И если его современный двойник увлекается гольфом, разведением роз, употреблением джина и прелюбодеянием, то он любил рубить сплеча.

Воистину, Выгода и Прямота (в таком порядке)

могли бы быть его девизом. Он много приобрел от великих социоэкономических перемен 1850–1870 годов, когда сместились акценты: с мануфактуры к продаже, с производителя к покупателю. Эта первая большая волна серьезного потребления прекрасно отразилась в его бухгалтерских книгах, а в порядке компенсации — в подражание предыдущему поколению дельцов-пуритан, которые охоте на лис предпочитали охоту за грехом — мы получили честного христианина в частной жизни. Если наши магнаты коллекционируют предметы искусства, прикрывая значительные вложения красивой патиной филантропии, то мистер Фриман делал щедрые пожертвования Обществу распространения христианской мудрости и ему подобным воинствующим организациям. Его помощники, практиканты и прочие сотрудники жили в ужасных условиях и нещадно эксплуатировались по сегодняшним меркам, однако по представлениям 1867 года предприятие Фримана считалось очень даже передовым, образцом для подражания. Когда его душа отлетит на небеса, он оставит на земле счастливую команду, а его наследники будут получать приличную прибыль.

Он выглядел, как такой суровый директор шко-

лы с цепкими серыми глазами, заставлявшими объект наблюдения чувствовать себя некондиционным манчестерским товаром. Впрочем, он выслушал новости Чарльза, никак не выражая своих эмоций, а когда тот закончил, мрачно кивнул. Последовало молчание. Разговор происходил в кабинете мистера Фримана; мы говорим о его доме в Гайд-парке. Профессия не отложила на кабинет никакого отпечатка. Вдоль стен полки с подобающе серьезными на вид книгами; бюст Марка Аврелия (или это лорд Палмерстон в ванне?); парочка больших, хотя и неразборчивых гравюр, то ли карнавалы, то ли битвы, так сразу и не скажешь, они производили впечатление недооформленного мира, совершенно далекого от сегодняшних реалий.

Мистер Фриман прокашлялся и опустил взгляд на золотисто-красное сафьяновое покрытие письменного стола. Казалось, вот сейчас он вынесет приговор, но нет, передумал.

— Это даже удивительно. Весьма удивительно.

Молчание тянулось, и Чарльза все это отчасти раздражало, а отчасти забавляло. Он понимал, что его ждет горькая пилюля от сурового папá. Но поскольку сам напросился, оставалось только страдать и глотать. Реакция мистера Фримана

была скорее реакцией дельца, чем джентльмена. У него сразу промелькнула мысль, что Чарльз пришел просить об увеличении приданого. Он легко мог себе это позволить, но одновременно его ужаснула другая мысль — что, если Чарльз с самого начала знал о возможном дядином браке? Больше всего на свете он не терпел быть обставленным в серьезных сделках… К тому же *эта* сделка касалась самого драгоценного для него объекта.

Наконец Чарльз прервал молчание.

— Не знаю, надо ли добавлять, что это решение моего дяди явилось для меня полной неожиданностью.

— Разумеется, разумеется.

— И я посчитал своим долгом сразу же поставить вас в известность — при личной встрече.

— Вы поступили очень правильно. А Эрнестина… уже знает?

— Я сообщил ей первой. Она, конечно, находится под влиянием чувств, коих она меня удостоила. — Он помедлил, а затем сунул руку в карман. — Она передала для вас письмо. — Он встал и положил конверт на стол. Мистер Фриман уставился на конверт серыми проницательными глазами, при этом явно думая о другом.

— У вас тем не менее довольно приличный годовой доход, не так ли?

— Не могу сказать, что меня оставили нищим.

— Добавим сюда вероятность того, что вашему дяде может не повезти с наследником.

— Пожалуй.

— И что вы получаете Эрнестину не без приданого.

— Вы очень великодушны.

— И что однажды меня призовут к вечному покою.

— Дорогой сударь, я…

Джентльмен победил. Мистер Фриман поднялся.

— Один на один мы можем говорить такие вещи. Я буду с вами предельно откровенен, дорогой Чарльз. Для меня главным соображением является счастье моей дочери. И мне нет необходимости напоминать вам, чего стоит этот приз. Когда вы попросили у меня ее руки, не в последнюю очередь вашим достоинством я посчитал гарантию того, что ваш союз будет основан на равном уважении и равной ценности. Вы заверили меня в том, что изменение ваших обстоятельств явилось для вас громом среди ясного неба. Никакой противник вашей моральной твердости не сумел

бы вас подвигнуть на низость. В этом состоит моя убежденность.

— И тем более моя, сэр.

Снова молчание. Подтекст был ясен безо всяких слов: теперь вокруг свадьбы пойдут грязные сплетни. Про Чарльза станут говорить, что он догадывался о том, что его лишат наследства, еще до того, как он сделал предложение; а над Эрнестиной будут посмеиваться — дескать, лишилась титула, а ведь легко могла его купить в другом месте.

— Я должен прочитать письмо. Прошу меня извинить. — Он вооружился солидным золотым ножом для вскрытия писем и разрезал конверт.

Чарльз отошел к окну и стал разглядывать деревья в Гайд-парке. На Бэйсуотер-роуд, за вереницей экипажей, он увидел девушку — судя по виду, продавщицу или служанку, — сидевшую на скамейке перед ограждением. К ней подошел солдат в красном мундире. Он громко отсалютовал, она обернулась. С такого расстояния невозможно было разглядеть ее лица, но стремительность разворота не оставляла сомнений: это любовники. Солдат на секунду прижал ее руку к своему сердцу. Оба что-то сказали. Потом она взяла его под руку, и они медленно пошли в сторону

Оксфорд-стрит. Чарльза настолько захватила эта сценка, что он вздрогнул от неожиданности, когда сзади подошел мистер Фриман с письмом в руке. Улыбающийся.

— Пожалуй, я прочитаю вслух, о чем она пишет в постскриптуме. — Он поправил на носу очки в серебряной оправе. — «Если вы хоть на секунду прислушаетесь к глупостям, которые говорит Чарльз, я с ним сбегу в Париж». — Он изобразил серьезное лицо. — Кажется, нам не оставили выбора.

Чарльз слабо улыбнулся.

— Если вам требуется больше времени, чтобы обдумать…

Мистер Фриман положил ладонь на плечо педанта.

— Я ей напишу, что восхищаюсь ею в беде даже больше, чем в радости. И мне кажется, чем скорее вы вернетесь в Лайм, тем будет лучше.

— Вы проявляете ко мне исключительную доброту.

— Меньше, чем вы, делая счастливой мою дочь. Не все ее письмо выдержано в таком фривольном тоне. — Он взял гостя под локоть и повел обратно в комнату. — Мой дорогой Чарльз… — дальнейшая фраза доставила мистеру Фриману

определенное удовольствие. — Я не считаю, что необходимость регулировать расходы, связанные с первым браком, — это так уж плохо. Но если обстоятельства… вы меня понимаете.

— Вы очень добры…

— Ни слова больше.

Мистер Фриман вытащил брелок с ключом, открыл выдвижной ящик стола и убрал в него письмо от дочери, как если бы это был документ государственной ценности… или, возможно, он разбирался в слугах лучше других хозяев викторианской эпохи. Заперев ящик, он посмотрел на Чарльза, который сейчас сам имел вид слуги — пускай привилегированного, но под контролем этого коммерческого зубра. И ждать можно было худшего. Не исключено, что доброту мистера Фримана определял не только врожденный джентльмен.

— Вы позволите мне, пользуясь удобным моментом, открыть вам сердце в отношении другой темы, касающейся вас и Эрнестины?

Чарльз вежливо кивнул, но мистер Фриман, казалось, пребывал в некотором замешательстве. Он как-то суетливо положил нож на место и приблизился к окну, от которого они недавно отошли. Затем повернулся.

— Мой дорогой Чарльз, я считаю, что мне повезло во всех отношениях. Кроме одного. — Он разглядывал ковер под ногами. — У меня нет сына. — Тут он поднял на зятя испытующий взор. — Я понимаю, как вы должны презирать коммерцию. Это ведь не занятие для джентльмена.

— Вы лукавите, сэр. И сами являетесь живым опровержением сказанного.

— Вы всерьез так считаете? Или это другой образчик лукавства?

Серо-стальные глаза так и впились в гостя. Чарльз даже растерялся. Он развел руками.

— Я вижу то, что должен видеть любой разумный человек: коммерция приносит огромную пользу, она занимает важное место в жизни нашего…

— Ну да. Так сказал бы любой политик. А как иначе, когда от этого зависит процветание страны. Но согласитесь ли вы с утверждением, что вы далеки… от торговли?

— Передо мной никогда не возникала такая дилемма.

— А если возникнет?

— Вы хотите… чтобы я…

Только сейчас до него дошло, к чему ведет

будущий тесть. А тот, видя его замешательство, выпустил вперед джентльмена.

— Разумеется, я не имею в виду, что вы должны вникать в повседневные дела. Для этого у меня есть начальники, клерки и так далее. Но мой бизнес процветает, Чарльз. В следующем году мы откроем товарные базы в Бристоле и Бирмингеме. И это лишь начало. Я не могу вам предложить географическую или политическую империю. Но я уверен, что однажды своего рода империя окажется в руках Эрнестины и в ваших руках. — Мистер Фриман стал ходить взад-вперед. — Когда мне стало ясно, что вы связываете свои будущие обязанности с дядиным имением, я промолчал. А сейчас скажу: у вас есть энергия, образование, большие способности…

— Зато мое невежество… в плане того, на что вы намекаете… можно назвать тотальным.

Мистер Фриман отмахнулся.

— В делах важна неподкупность, способность внушать уважение, умение оценивать людей — все это куда важнее. А эти качества, по-моему, вам присущи.

— Я не уверен, что вполне понимаю, к чему вы клоните.

— В данный момент — ни к чему. В ближайшие

год-два все ваши мысли будут заняты браком. Другие заботы и интересы не привлекут вашего внимания. Но если ситуация изменится… и вы захотите узнать больше о торговом бизнесе, который вам через Эрнестину однажды достанется по наследству, то я… и моя жена, добавлю… с превеликим удовольствием подогреем этот интерес.

— Меньше всего я хотел бы показаться неблагодарным, но… это настолько не совпадает с моими природными наклонностями… при скромных талантах…

— Я говорю всего лишь о партнерстве. В практическом смысле ничего более обременительного, чем редкие посещения головного офиса с общей проверкой текущих дел. Я думаю, вас удивят люди, которых я поставил на самые ответственные посты. Вот уж кого можно не стыдиться.

— Мои колебания, уверяю вас, никак не связаны с социальными предрассудками.

— Тогда они вызваны исключительно вашей скромностью. И тут, молодой человек, вы себя недооцениваете. День, о котором я упомянул, придет… меня уже не будет, и вам придется както распорядиться тем, что я строил всю жизнь. Вы можете найти отличных управляющих, которые будут делать работу за вас. Но помяните

мое слово: успешное предприятие нуждается в активном владельце не меньше, чем хорошая армия в генерале. Даже самые лучшие солдаты не выиграют сражение без опытного командира.

После столь лестного сравнения Чарльз себя почувствовал Иисусом из Назарета, искушаемым Сатаной. Он тоже пережил свои дни в пустыне, отчего предложение казалось особенно соблазнительным. Но он был джентльменом, а джентльмены торговлей не занимаются. Он подыскивал нужные слова — и не нашел. В деловых переговорах нерешительность является признаком слабости. И мистер Фриман ухватился за свой шанс.

— Вы никогда не убедите меня в том, что мы все произошли от обезьяны. Сама мысль представляется мне кощунственной. Но я много раздумывал над вещами, которые вы говорили во время нашего небольшого спора. Я бы вас попросил повторить… про цель теории эволюции. Виды должны меняться…

— Чтобы выжить. Они должны приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

— Точно. Вот в это я верю. Я на двадцать лет старше вас. И не раз попадал в ситуации, когда надо было меняться, и очень ловко, по законам

дня, иначе просто не выжить. Ты обанкротишься. Все меняется. Сейчас великий век прогресса. А прогресс — как живой конь. Или ты им управляешь, или он тобой. Я не намекаю на то, что быть джентльменом — недостойная цель, избави бог. Но мы живем в век деяний, *великих деяний*, Чарльз. Вы можете сказать, что вас они не касаются… что это ниже вас. А вы себя спросите: должно ли это меня касаться? Вот все, что я предлагаю. Поразмышляйте. Пока нет необходимости принимать решение. Никакой необходимости. — Он сделал паузу. — Но вы же не будете с порога отметать саму идею?

Чарльз чувствовал себя кое-как сшитой скатеркой, жертвой цивилизации во всех отношениях. Все старые сомнения по поводу собственной бесполезности возродились в нем с новой силой. Он понял, кого в нем видит мистер Фриман: бездельника. И что он ему на самом деле предлагает: заслужи приданое своей жены. Чарльз был бы рад ответить с осторожным холодком, но в голосе хозяина за внешним напором чувствовалось тепло, исходя из почти семейных отношений. Чарльз подумал о том, что он всю жизнь гулял по приятным холмам и вот подошел к огромной скучной равнине… и, в отличие от более извест-

ных пилигримов, впереди он видит только Долг и Уничижение, а вовсе не Счастье и Прогресс.

Он заставил себя взглянуть в эти ждущие и пронзающие глаза дельца.

— Признаюсь, мысли мои путаются.

— Я прошу лишь об одном: чтобы вы подумали.

— Да, конечно. Разумеется. Я подумаю самым серьезным образом.

Мистер Фриман распахнул дверь и улыбнулся.

— Боюсь, что впереди у вас еще одно испытание. Миссис Фриман сгорает от любопытства, желая услышать последние сплетни из Лайма.

И вот уже они шли по широкому коридору к просторной лестничной площадке с видом на огромный холл. Все там было в лучшем современном вкусе. Спускаясь по крутой лестнице — внизу их ждал лакей, — Чарльз смутно почувствовал себя униженным, как лев в клетке. Он испытал, сам того не ожидая, острый прилив любви к Уинсайетту с его «убогими» старыми картинами и мебелью, с его прошлым, его надежностью, его *savoir-vivre*[105]. Абстрактная идея эволюции увлекала, зато от ее практики веяло

---

[105] Примечания: 105
Правила хорошего тона (*фр.*).

такой же напыщенной вульгарностью, как от свежепозолоченных коринфских колонн, обрамлявших дверь, перед которой он и его мучитель на миг остановились… «Мистер Чарльз Смитсон, мадам!»… прежде чем войти в салон.

38

Век золотой и на мне однажды
свой оттиск оставит.

Сердце, как жернова, все перемелет в трудах.

Обман на обмане меня, словно
в печи, переплавят.

Мы, раз уж так суждено, все обращаемся в прах.

Альфред Теннисон. Мод

Когда Чарльз наконец вышел из фриманского особняка на широкие ступеньки, уже сгустились сумерки и зажглись газовые фонари. К запахам весенней зелени из парка и привычной сажи примешивался легкий туман. Чарльз втянул носом горько-соленый лондонский аромат и решил прогуляться пешком. А вызванный для него двухколесный экипаж отпустил.

Он шагал безо всякой цели более или менее в сторону своего клуба на Сент-Джеймс Сквер, поначалу вдоль мощной ограды Гайд-парка, которая всего три недели назад обрушилась перед толпой

(и перед испуганным взором его недавнего собеседника), что ускорило принятие великого билля о реформе парламентского представительства. Он свернул на Парк-Лейн. Трафик тот еще. Заторы в середине викторианской эпохи не уступали нынешним, а в смысле шума дали бы сто очков вперед — железные колеса экипажей с жутким скрежетом бороздили гранитный булыжник. В расчете сократить путь он попал в самую гущу района Мейфэр. Туман сгустился и не столько все накрыл, сколько придал окружающему налет сновидения, и он чувствовал себя гостем из другого мира, Кандидом, не видевшим ничего, кроме очевидного, человеком, неожиданно утратившим иронический взгляд.

Без этой фундаментальной основы психики он стал как будто голым, и это, пожалуй, точнее всего описывает его внутренние ощущения. Он уже толком не понимал, зачем приезжал к отцу Эрнестины; то же самое можно было изложить в письме. Его щепетильность так же абсурдна, как все эти разговоры о бедности и необходимости регулировать свой доход. В те времена, и особенно в такие вечера, окутанные опасным туманом, люди с достатком передвигались в экипаже, а бедные ходили пешком. Так что навстречу Чарль-

зу попадались исключительно представители низших слоев: челядь из богатых домов, клерки, продавцы, нищие, метельщики (когда по городу бегают лошади, без этой профессии не обойтись), мелочные торговцы, уличные сорванцы, одна или две проститутки. Любой из них воспринял бы двести фунтов в год как сказочное богатство, а ему только что выразили соболезнования в связи с тем, что он наскребает в двадцать пять раз больше.

Чарльз был не из числа первых социалистов. Он не испытывал морального превосходства, связанного с его привилегированным экономическим положением, поскольку совершенно не ощущал своей привилегированности в других отношениях. Вот они, живые доказательства. Прохожие, за исключением нищих, не выглядели несчастными, хотя вроде бы им далеко до успеха. Он же одинок и несчастен. Ему казалось, что все эти регалии, которые обязан носить джентльмен, похожи на тяжелый панцирь, ставший смертным приговором для ископаемых ящеров. Он замедлил шаг, мысленно увидев этого монстра, а затем и вовсе остановился, несчастное живое ископаемое, а мимо него и магазинных витрин с деловым видом сновали куда более юркие и

приспособленные особи — этакие амебы под микроскопом.

Два шарманщика соревновались друг с другом, а игрок на банджо с ними обоими. Шла бойкая торговля картофельным пюре, свиными ножками и горячими каштанами («Каштаны с пылу с жару, считайте, даром!»). Одна старушка продавала спички, другая — бледно-желтые нарциссы в корзинке. Водоносы и распределители воды по магистралям, мусорщики в вязаных шапочках, механики в квадратных шляпках и целая армия уличных шпанят, сидящих на крылечках и просто на обочине или облокотившихся на стоящий дилижанс, этих маленьких стервятников. Один такой подросток прекратил свою пробежку для согрева — он был бос, как и большинство ему подобных — и пронзительно свистнул мальчишке, размахивавшему пачкой цветных оттисков, и тот сразу подбежал к Чарльзу, стоявшему в кулисах этой оживленной сцены.

Он поспешил унести ноги и свернул в темную улочку. А вослед ему резкий голосок затянул популярную в тот год издевательскую песенку:

Эй, лорд Мармедюк, здоровый битюг,
Пожалуйте к нашим овинам.

Выпьем пивка, закусим слегка
И поскачем по голым пружинам!
Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля,
Поскачем по голым пружинам!

Чарльзу это напомнило (когда он благополучно сбежал от голосистого пацана) о другой составляющей лондонской атмосферы — напомнило не физически, но все равно ощутимо, как сажа в воздухе — привкусе греха. Это было связано не столько с жалкими уличными девицами, которые то и дело попадались навстречу и молча провожали его глазами (девицы сразу узнавали в нем джентльмена, тогда как они охотились на добычу попроще), сколько с общей анонимностью огромного города, с ощущением, что здесь все можно сделать по-тихому, и никто ничего не заметит.

Лайм — город всевидящих, а это — город слепых. Никто не поворачивался в его сторону. Он был практически невидимым, он не существовал, и это давало ощущение свободы, но жутковатое ощущение, поскольку, в сущности, он эту свободу потерял… как ранее Уинсайетт. Если вдуматься, то он *все* потерял, о чем ему напоминал мир вокруг.

Прошедшие мимо мужчина и женщина говорили по-французски и были французами. И у Чарльза тут же возникло желание перенестись в Париж, подальше отсюда… за границу. Снова путешествовать! *Бежать, бежать*… он десяток раз пробормотал эти слова, прежде чем, метафорически выражаясь, встряхнуться и обвинить себя в непрактичности, в романтических мечтаниях, в отсутствии долга.

Он миновал конюшни — не модные нынче двухуровневые хорошенькие квартирки, а шумные помещения, выполнявшие свою изначальную функцию: здесь чистили скребницей лошадок и ремонтировали экипажи, здесь кони цокали копытами, когда их впрягали в оглобли, и насвистывал возница, пока мыл бока коляски, — шла подготовка к вечерней работе. Чарльз вдруг сделал для себя ошеломляющее открытие: бедные люди в глубине души счастливее, чем богатые. Они не страдальцы, стенающие под гнетом богачей, как их пытаются изображать радикалы, а такие счастливые паразиты. Он вспомнил, как несколько месяцев назад в саду Уинсайетта наткнулся на ежа. Он потыкал его тростью, еж тотчас свернулся в клубок, и между торчащих иголок обнаружился рой потревоженных блох.

Тогда его как биолога скорее привлекла, чем оттолкнула эта связь двух миров. Сейчас же его повергла в уныние мысль о новоявленном еже: вся его защита сводится к тому, чтобы притвориться мертвым, выставив иголки, эти сенсорные окончания аристократа.

Чуть позже он остановился перед скобяной лавкой и наблюдал сквозь стекло за тем, как хозяин в котелке и хлопчатобумажном переднике отсчитывает свечки десятилетней девочке, а она уже держит наготове пенни в красных пальчиках.

Торговля. Коммерция. Кровь бросилась в лицо, когда он вспомнил о полученном предложении. Тут, конечно, не обошлось без оскорбления и в целом презрения к аристократическому классу. Фриман не мог не понимать, что он никогда не встанет за прилавок. Надо было холодно отвергнуть это предложение с первых же слов… но как, когда все его будущее состояние зависит от данного источника? И тут мы вплотную приближаемся к главному раздражителю: Чарльз ощущал себя «купленным мужем», марионеткой своего тестя. И неважно, что такие браки для его социального статуса были в порядке вещей — эта традиция уходила корнями во времена, когда брак по расчету был общепринятым кон-

трактом, который оба супруга в целом могли игнорировать, признавая лишь саму суть: деньги за положение в обществе. Но сейчас брак стал священным союзом, христианским обрядом во имя чистой любви, а не просто удобством. Даже если бы он цинично предпринял такую попытку, Эрнестина никогда бы не согласилась на то, что в их браке любовь стоит на втором месте. Она будет всегда подвергать его тесту: «Ты любишь меня и только меня». А уже отсюда проистекают прочие соображения: благодарность за ее денежное обеспечение, которое морально обязало его к партнерству…

Какая-то роковая магия привела его к этому перекрестку. В конце темной боковой улочки вырос высокий ярко освещенный фасад. Он-то считал, что идет к Пикадилли, но этот золотой дворец, венчающий коричневатую бездну, был севернее, и тут он понял, что сбился с курса и вышел к Оксфорд-стрит… и — о да, фатальное совпадение — к большому магазину мистера Фримана! Словно загипнотизированный, он вышел на Оксфорд-стрит, чтобы разглядеть этого гиганта с желтыми колоннами во всю длину. Витринные стекла недавно поменяли на новые, и он увидел целые россыпи ситца, кружев, платьев, рулонов разной

материи. Все эти причудливые завитушки модной анилиновой расцветки, казалось, источают аромат, настолько они были яркими и *nouveau riche*[106]. На каждой вещице висел белый ценник. Магазин был еще открыт, и люди заходили внутрь. Чарльз попытался представить, как он тоже входит через эти двери… и не смог. Ему легче было бы стоять у входа с протянутой рукой.

Дело даже не в том, что магазин выглядел сейчас как-то иначе — неуместной шуткой, золотым рудником где-нибудь в Австралии, чем-то ирреальным. Это была демонстрация силы и могущества, это был колосс, готовый проглотить и перемолоть всех, кто оказался рядом. Для человека того времени сам факт, что он стоит в шаговой доступности от подобной раззолоченной мощной громады, казался воплощением земного рая. А Чарльз закрыл глаза в тайной надежде, что видение исчезнет раз и навсегда.

В этом отторжении, несомненно, присутствовали низкие мотивы — снобизм, готовность отдать себя на суд предков. А еще лень, страх перед трудом, рутиной, необходимостью сосредоточиться на деталях. И, конечно, трусость — ведь он, как вы

---

[106] Примечания: 106
Новомодные (*фр.*).

уже могли заметить, побаивался людей, особенно классом пониже. Сама мысль о контакте с этими ходячими тенями, дефилировавшими мимо витрин, входившими и выходившими из магазина, вызывала у него тошноту. Только не это!

Но в этом отторжении была и благородная составляющая: понимание того, что поиск смысла жизни не сводится к погоне за деньгами. Ему не быть новым Дарвином или Диккенсом, великим художником или ученым; он дилетант, трутень, чего изволите, тот, за кого работают другие, сам же не привносящий ничего. Но это ничегонеделанье порождало в нем странное чувство сиюминутного самоуважения: быть пустым местом с торчащими иголками — вот последнее спасительное качество джентльмена… можно сказать, свобода, за которую он отчаянно цепляется. В ту секунду Чарльз со всей отчетливостью осознал: если он когда-нибудь переступит порог этого здания, то ему конец.

Вам эта дилемма может показаться сугубо исторической. У меня нет краткой сводки, как выглядит джентльмен 1969 года, уходящая натура, которую не мог себе вообразить даже такой пессимист, как Чарльз, в тот уже далекий апрельский вечер. Смерть — это не одна из со-

ставляющих природы вещей; она суть природы вещей. Но умирает форма. Материя вечна. Через эту последовательность высших форм, которую мы называем существованием, проходит нитью своего рода загробная жизнь. Лучшие качества викторианского джентльмена восходят к рыцарям круглого стола и *preux chevaliers*[107] Средневековья; а если спроецировать на наше время, то это будет порода ученых, именно к ним привела река времени. Другими словами, любая культура, какой бы антидемократической или эгалитарной она ни была, нуждается в самокритичной моральной элите, связанной определенными правилами поведения, которые подчас оказываются весьма далеки от морали, и таким образом оправдывающей конечный распад формы, хотя ее сокровенная цель вполне достойная: быть структурой, помогающей истории функционировать как можно лучше.

Возможно, вы не видите связи между Чарльзом образца 1267 года со всеми новомодными французскими представлениями о целомудрии и поисками святого Грааля, Чарльзом-1867 с его презрением к торговле и сегодняшним Чарльзом,

---

[107] Примечания: 107
Храбрые рыцари (*фр.*).

сидящим за компьютером ученым, глухим к воплям нежных гуманистов, ощущающим свою ненужность. Но связь есть: все они отвергали или отвергают само понятие *собственности* как жизненную установку, будь то женское тело, или выгода любой ценой, или право диктовать ход прогресса. Ученый — еще одна такая форма, которая со временем будет вытеснена.

Вот почему такое важное, непреходящее значение имеет новозаветный апокриф об искушении Христа в пустыне. Все, кто обладает ви́дением и образованием, автоматически оказываются в своей пустыне и рано или поздно подвергнутся искушению. Их отказ может показаться глупым, но в нем уж точно нет ничего злонамеренного. Вы только что отвергли заманчивое коммерческое предложение прикладной науки ради того, чтобы продолжать академическое преподавание? Ваши последние разработки продавались не так хорошо, как предыдущие, но вы настаиваете на проведении опытов в новом формате? Вы приняли решение, не позволяющее вмешиваться в ваш личный интерес, в ваш шанс распоряжаться чем-то по собственному усмотрению? Тогда не осуждайте ход мыслей Чарльза как простое проявление никчемного снобизма. Постарайтесь

увидеть его таким, какой он есть: человеком, пытающимся переломить историю. Пусть даже он не отдает себе в этом отчета.

На Чарльза не просто давил общечеловеческий инстинкт сохранения лица; за его спиной годы раздумий, догадок, самопознания. Ценой, которую ему предлагали заплатить, было все его прошлое, его лучшие качества. Неужели то, к чему он стремился, свелось к нулю, при всех его неудачных попытках сопрячь реальность с мечтой? Он искал смысла жизни, больше того, он, жалкий клоун, верил, что временами даже видел некие проблески. Может, вина его в том, что не хватило таланта поделиться ими с окружающими? И в глазах стороннего наблюдателя он выглядел дилетантом, безнадежным любителем? По крайней мере он сообразил, что не обрящет смысла жизни в магазине Фримана.

В основе же всего для Чарльза была доктрина естественного отбора, и в первую очередь аспект, который они обсуждали — не без оптимизма — с Гроганом в ту ночь в Лайме: для человека способность к самоанализу является особой привилегией в его борьбе за адаптацию. Тогда они оба решили, что свобода воли не находится под угрозой. Если ты, чтобы выжить, должен изме-

ниться, то тебе гарантированы разные методы на выбор, с чем даже Фриман соглашался. Но все это в теории, а практика (Чарльз словно прозрел) совсем другое дело.

Он угодил в ловушку. Невероятно, но факт.

К давлению века добавилось ощущение холода — его пробрала до костей леденящая ярость против мистера Фримана и фриманизма.

Он вскинул трость перед проезжающим экипажем. Откинувшись на затхлое кожаное сиденье, он закрыл глаза, и перед его мысленным взором возникла умиротворяющая картинка. Надежда? Прилив мужества? Решительность? Боюсь, что нет. Он увидел чашу с молочным пуншем и полную кружку шампанского.

39

Да, я проститутка, и с какой стати общество меня в этом обвиняет? Я что-то получала из его рук? Если я страшная раковая опухоль на его теле, так, может, само тело гнилое? Я его законное дитя, а не бастард, разве нет, сэр?

Из письма в газету «Таймс» (24 февраля 1858)

Молочный пунш и шампанское, конечно, нельзя назвать глубокими философскими подходами, но их регулярно прописывали в Кембридже в качестве решения всевозможных проблем, и хотя со времен окончания университета Чарльз существенно расширил свои познания, лучшего решения он пока не придумал. К счастью, этот клуб, как и многие другие английские мужские клубы, исходил из очень простой и благой презумпции, что студенческие годы вспоминаются как самые радостные. Поэтому здесь были все прелести богатого колледжа при отсутствии таких раздражителей, как преподаватели, деканы и экзамены. Одним словом, он обхаживал юношу

в мужчине. И попутно предлагал отличный молочный пунш.

Так случилось, что первые же члены клуба, которых Чарльз увидел в зале для курящих, оказались его сокурсниками: сын епископа, откровенный позор для отца, и молодой баронет. Рожденный с приличным куском графства Нортумберленд в кармане, сэр Томас Бург показал себя слишком большой скалой, чтобы ее можно было сдвинуть с места. Его предки с незапамятных времен занимались охотой, стрельбой, пьянством и распутством… и он продолжил эти добрые старые традиции. Если на то пошло, он был в Кембридже главным гулякой и втянул в это дело Чарльза. Он славился эскападами в духе Миттона[108] и Казановы. Несколько раз его пытались исключить из клуба, но поскольку он поставлял им уголь из своей шахты, и практически задаром, наиболее трезвые головы сумели этому воспрепятствовать. К тому же в его образе жизни была привлекательная открытость. Он грешил без стыда, но и без лицемерия.

---

[108] Примечания: 108

Джон Миттон по прозвищу Безумный Джек (1796–1834) — английский дворянин, известный своими сумасбродными поступками. На торжественные праздничные приемы он любил приезжать верхом на медведе.

Он проявлял невероятную щедрость: половина юных членов клуба были его должниками, он раздавал деньги направо и налево, причем на неопределенный срок и без процентов. Он первый затевал авантюры, особенно на спор. А еще он умел напоминать всем, и особенно неисправимым трезвенникам, об их запойных временах. Маленького росточка крепыш, всегда краснощекий от вина и ветреной погоды, с неподражаемо невинным взглядом матово-синих глаз падшего ангела. При виде Чарльза он хитро сощурился.

— Чарли! Какого черта ты здесь делаешь, вдали от матримониальных уз?

Чарльз отреагировал на его слова вымученной глуповатой улыбкой.

— Добрый вечер, Том. Натаниэль, как дела? — Сын незадачливого епископа, вечная заноза для отца, с неизменной сигарой во рту, лениво поднял руку в приветствии. А Чарльз снова обратился к баронету: — В увольнительной. Девушка принимает горячие ванны в Дорсете.

Том подмигнул.

— Пока ты принимаешь горячительные напитки? Я слышал, она писаная красавица. Так говорит Нат. Он у нас необстрелянный воробей. Везет, говорит, этому чертяке Чарли. Такую девку

отхватил. Несправедливо, да, Нат?

Сынок епископа всегда нуждался в деньгах, и, как нетрудно было догадаться, завидовал он не внешним данным Эрнестины. В девяти случаях из десяти Чарльз переключился бы на чтение газет или на какое-то другое, не столь вызывающее общение. Но сегодня он смирился. Не желают ли они «обсудить» пунш с игристым? Они не возражали. И он присел за их столик.

— Как поживает наш славный дядюшка? — Сэр Том снова подмигнул, причем настолько органично, что невозможно было оскорбиться. Чарльз пробормотал, что дядя пребывает в добром здравии.

— Он по-прежнему интересуется гончими? Узнай, не нужен ли ему выводок лучших нортумберлендцев. Настоящие ангелы, уж не знаю, как такое удалось. Торнадо… ты же помнишь Торнадо? Его внучата.

Этот Торнадо однажды втихаря прожил у сэра Тома в Кембридже целое лето.

— Я его помню. И мои лодыжки тоже.

Сэр Том осклабился.

— Да, ты ему понравился. Он кусал всех, к кому был неравнодушен. Старый добрый Торнадо… упокой Господь его душу. — Он опрокинул в

себя стакан с пуншем, и при этом на его лице выразилась такая печаль, что его собутыльники засмеялись. И поступили жестоко, поскольку печаль была совершенно искренняя.

Так за разговорами пролетели два часа. В ход пошли еще две бутылки шампанского и второй кувшин с пуншем, а также отбивные с почками (джентльмены переместились в столовую), и тут не обошлось без обильных возлияний кларета, что, в свою очередь, потребовало промыть желудок с помощью графина портвейна, а то и двух.

Сэр Том и сын епископа, профессиональные выпивохи, в отличие от Чарльза, меры не знали. Внешне, когда был опустошен второй графин, они казались более пьяными. Но то был всего лишь фасад, а на самом деле он наклюкался гораздо сильнее, что сразу стало ясно, когда вся компания отправилась «прокатиться», как туманно выразился сэр Том. Именно Чарльз неважно стоял на ногах. И он был не настолько пьян, чтобы не испытывать смущения. Он вдруг почувствовал на себе оценивающий взгляд серых глаз мистера Фримана, хотя человека, тесно связанного с торговлей, никогда бы не пустили в этот клуб.

Ему помогли влезть в накидку, протянули шляпу, перчатки и трость. И вот он уже стоит на

промозглом ветру — обещанный туман не материализовался, но легкая облачность никуда не делась — и таращится на родовой герб на дверце четырехместной кареты сэра Тома. Он в очередной раз почувствовал подлый укол Уинсайетта, но тут герб приветливо качнулся в его сторону, Чарльза подхватили под руки, и через мгновение он уже сидел рядом с баронетом и напротив сына епископа. Он был не настолько пьян, чтобы не заметить, как двое друзей перемигнулись, но и не настолько трезв, чтобы уточнить, какой они в это вкладывали смысл. Неважно, сказал он себе. Он был рад тому, что перебрал, что все вокруг покачивается, что прошлое и будущее не имеют никакого значения. У него возникло сильное желание рассказать им про миссис Беллу Томкинс и про Уинсайетт, но для этого опять же он был не настолько пьян. Даже под хмельком джентльмен остается джентльменом. Он повернулся к Тому.

— Том, дружище… какой же ты везунчик.

— Ты тоже, Чарли-бой. Мы все везунчики.

— Куда мы едем?

— А куда обычно едут везунчики в развеселую ночь? Что скажешь, Нат?

Во время короткой паузы Чарльз смутно пытался понять направление движения. В этот раз

он не заметил, как они перемигнулись. Наконец он зацепился за ключевые слова в последней фразе Тома.

— В развеселую ночь?

— Мы едем к старушке Терпсихоре, Чарльз. Поклониться в храме муз, ты еще не понял?

Чарльз уставился на лыбящегося сына епископа.

— В храме?

— В некотором роде.

– *Метонимия*. Говорим «Венера», подразумеваем «дева», — пояснил сын епископа.

Чарльз потаращился на них и вдруг улыбнулся.

— Отличная идея.

Но потом снова с довольно мрачным видом уставился в окно. Кажется, надо остановить карету и пожелать всем спокойной ночи. Промелькнула мысль об их репутации. И тут, словно из ниоткуда, выплыло лицо Сары: глаза закрыты… поцелуй… много шума из ничего. Он вдруг понял, в чем причина всех его несчастий — ему нужна женщина, соитие. Он нуждается в последнем дебоше, как иногда в слабительном. Он снова встретился взглядом с сэром Томом и Натом. Первый раскинулся в углу, а второй положил ноги

на сиденье напротив. Цилиндры у обоих съехали набок с этаким намеком на беспутство. На этот раз все трое перемигнулись.

Очень скоро они попали в пробку из экипажей, направлявшихся в тот самый район викторианского Лондона, который мы загадочным образом — ибо существует не одна причина считать его центральным — до сих пор не включали в нашу картину ушедшего века: сеть казино (скорее места для встреч, чем игровые комнаты), кафешки, табачные лавки на таких оживленных улицах, как Хеймаркет и Риджент-стрит, и практически бессменные бордели в прилегающих переулочках. Они проехали мимо известной лавки «Устрицы на любой вкус» (лобстеры, устрицы, соленый и копченый лосось) и не менее знаменитой «Мужские яички в виде картошки» во главе с Ханом… воистину хан среди лондонских торговцев печеным картофелем, он стоял за огромным кумачовым с латунными вкладками прилавком, доминировавшим и зазывавшим всех зевак. А дальше перед их взорами (тут сын епископа достал из шагреневого футляра свой лорнет) предстали дочери порока, шикарные шлюхи в экипажах и рангом пониже, сбившиеся в стайки на тротуарах… от застенчивых шляпниц

с молочными личиками до краснощеких бой-баб. Туалеты самых немыслимых мод и расцветок… здесь запретов не существовало. Женщины наряжались, как парижские извозчики: брюки и котелок; как моряки, и сеньориты, и сицилийские крестьянки… настоящий балаган циркачей, высыпавших на улицы. А вот клиенты, хотя их было числом не меньше, выглядели поскучнее: в руке трость, во рту самокрутка с «травкой»… они как зрители смаковали ночные таланты. И Чарльз, уже сожалевший о том, что перебрал, ибо ему приходилось лишний раз вглядываться в каждую фигуру, находил это зрелище таким живым, веселым, вкусным и, самое главное, бросающим вызов Фриману.

Я подозреваю, что Терпсихора вряд ли уделила особое внимание нашим трем посетителям, когда десятью минутами позже, пройдя по узкой и шумной боковой улочке неподалеку от Хеймаркета, они вошли в ее заведение, — они ведь были не одни. Шесть или семь молодых мужчин и пара старичков, в одном из которых Чарльз узнал столпа Палаты лордов, сидели в большом салоне, оформленном в парижском вкусе. В дальнем конце освещенного канделябрами салона маленькая сцена, закрытая кумачовым занаве-

сом, а на нем золотой нитью вышиты две пары сатиров с нимфами. Один демонстрирует великолепную готовность овладеть своей пастушкой, а второго уже приняли в лоно. На позолоченном ламбрекене черными буквами выведено *Carmina Priapea XLIV*:

Velle quid hanc dicas, quamvis sim ligneus, hastam, oscula dat medio si
qua puella mihi? augure non opus est: “in me,” mihi credite, dixit, “utetur
veris viribus hasta rudis”[109].

Тема совокупления повторялась в различных гравюрах формата 1/2 листа в золоченых рамах между занавешенными окнами. Простоволосая девушка в нижней юбке а-ля мадемуазель Камарго[110] разносила шампанское от Луи Родерер. В отдалении нарумяненная и несколько более приодетая дама лет пятидесяти тихо присматривала за клиентурой. Несмотря на принадлежность к

[109] Примечания: 109

Книга Приапа, глава 44: Вот что бог Приап говорит по поводу его деревянных изображений с восставшим фаллосом, призванным отпугивать воров и дарить потомство, и они нередко украшали римские сады: «Вы хотите знать, почему девушка целует мое копье, пусть даже из дерева? Чтобы ответить на этот вопрос, не надо быть ясновидящим» (*лат.*).

[110] Примечания: 110

Мари-Анн де Кюпи де Камарго (1710–1770) — артистка балета, первая танцовщица парижской Королевской академии музыки.

совсем другой профессии, складом ума она мало чем отличалась от миссис Эндикотт из Эксетера, при том что ее налоги измерялись не в шиллингах, а в гинеях.

Последующие альковные сцены не претерпели особого изменения на протяжении человеческой истории, в отличие от других форм деятельности. И то, что проделывали в ту ночь перед Чарльзом, когда-то проделывали и перед Гелиогабалом, и перед Агамемноном, а сегодня проделывают в притонах Сохо, коим несть числа. В этом неизменном, древнем, освященном веками развлечении меня больше всего радует возможность кое-что позаимствовать из плодов чужого воображения. Недавно я рылся среди развалов в одном из лучших — и самых беспечных — магазинов подержанных книг. В разделе «Медицина», между «Введением в гепатологию» и «Болезнями бронхиальной системы», незаметно затесалась совсем уж скучная, судя по названию, «История человеческого сердца». Но на поверку это оказалось очень даже веселое повествование о шустром пенисе. Первое издание вышло в 1749-м, в том же году, что и шедевр Клеланда в этом жанре

— «Фанни Хилл»[111]. Автор не так мастеровит, но для наших целей сойдет.

Сначала они посетили широко известный публичный дом, где их встретила стая «куропаток», каких Камилло еще не ловил сачком у себя в деревне, и среди них мисс М., знаменитая модель, при виде которой компания гуляк возжелала показать своему новобранцу сценку, достойную его мечты.

Их провели в гостиную, официантка принесла вина и ушла, и после небольшого возлияния был отдан приказ дамам приготовиться. Они тотчас разделись догола и взобрались на стол. Камилло сильно озадачил сей гимнастический снаряд, и он гадал, с какой целью девушки взобрались на этот помост. У них были выбритые конечности, цветущий вид и кожа белая как снег, что особенно подчеркивали смоляные волосы. Чудесные личики и естественный румянец на щеках делал их в представлении Камилло законченными красавицами, готовыми соперничать с самой Венерой. С их лиц его робкий взгляд скользнул вниз к алтарям любви, каких он еще не видывал…

---

[111] Примечания: 111

Джон Клеланд (1709–1789) — английский писатель, наиболее известный скандальной для своего времени книгой «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех».

Особенно хорош он был у несравненной модели: густо покрыт черными как смоль волосами протяженностью по меньшей мере в четверть ярда, и она их искусно развела в разные стороны, дабы открыть вход в волшебный грот. Диковинная мохнатка доставила новобранцу ни с чем не сравнимое удовольствие, которое лишь усугубили ритуалы, предложенные этими шалуньями. Они наполнили бокалы вином, разлеглись на столе и поставили их на венерин бугорок, а мужчины должны были пить из них так, чтобы не опрокинуть бокал с соблазнительного постамента, девицы же вдобавок совершали похотливые телодвижения, пытаясь их отвлечь. Потом они меняли позы и совершали трюки с целью взбодрить мужскую плоть, пресыщенную развлечениями; так, Камилло пришлось пролезть под мостик и испытать на себе теплый водопад, что напугало его больше, чем перспектива отправиться на лодке Харона в подземное царство мертвых. Несмотря на дружный хохот братии, он выдержал эту забаву с честью, ибо был предупрежден, что без такой инициации он не сможет стать членом их тайного общества. Камилло уже испытывал отвращение к изощренному непотребству этих женщин, его первоначальный интерес совсем

пропал, и он испытывал одно желание — от них избавиться, вот только его друзья были к этому не готовы. Они желали пройти весь цикл. Эти нимфы, требовавшие вознаграждения за каждую новую непристойную выдумку, готовы были ублажать молодых распутников без лишних просьб с их стороны и безо всякого стыда продолжали демонстрировать, до каких низов может опуститься человеческая природа.

А сынов разврата последний подвиг так разбередил, что они выступили с предложением: в качестве коды каждый выберет себе любовную позицию и проделает то, что до сих пор только имитировал. Но последовал отказ, так как нимфы держались принципа: никаких объятий с мужчиной, от чего может пострадать их ремесло. Такое решение сильно удивило новобранца — все их предыдущее поведение убеждало его в том, что нет такого порока, до которого бы они не опустились ради денег. И если до отказа их безграничная похотливость подавляла в нем всякие мысли о том, чтобы с ними возлечь, то сейчас он так воспылал, словно имел дело со скромными весталками, а их распущенности в упор не видел. Короче, он присоединился к просьбам честно́й компании удовлетворить их желания.

Это дает общее представление о том, что происходило в салоне мадам Терпсихоры, хотя тут требуется одно маленькое уточнение: в 1867 году девицы этого сорта, не будучи столь щепетильными, как их предшественницы в 1749-м, охотно соглашались на заключительную живую сценку.

Вот только Чарльз так и не сделал ставки. Подготовительные игры ему понравились. Он изображал из себя многоопытного путешественника, видевшего в Париже кое-что и получше (о чем шепнул на ухо сэру Тому), выступал в роли пресыщенного знатока. Но вместе с пропавшими одеждами пропало и его опьянение. Он видел сладострастно раскрытые рты стоящих рядом собутыльников, слышал, как сэр Том признался сыну епископа в том, что сделал свой выбор. Белые телеса обнимались, содрогались, жестикулировали, но за делаными улыбками исполнительниц сквозило отчаяние. Одна казалась совсем еще ребенком, едва достигшим половой зрелости, и в ее личике, выражавшем застенчивую невинность, было что-то поистине девственное, страдальческое, еще не испорченное профессией.

Чарльза все это отталкивало, но в сексуальном отношении возбуждало. Интим, выставленный

на публику, казался ему отвратительным, но как существо животное сие зрелище в глубине души его разбередило. Не дожидаясь окончания, он встал и тихо вышел из комнаты, как бы по нужде. В передней маленькая *danseuse*[112], приносившая шампанское, сидела за столиком и охраняла накидки и трости джентльменов. Она поднялась ему навстречу и изобразила улыбку. Чарльз пару секунд разглядывал ее тщательно уложенные «беспорядочные» кудряшки, ее голые руки и почти обнаженную грудь. Он уже собирался что-то сказать, но передумал и жестом потребовал свои вещи. Потом швырнул на стол полсоверена и вышел вон.

В конце переулка стояли наготове экипажи. Он взял ближайший, выкрикнул (викторианская условность, в своем роде мера предосторожности) «Кенсингтонская улица!», рядом с которой проживал, и плюхнулся на сиденье. Он не ощущал себя человеком, сохранившим достоинство и приличия; скорее проглотившим оскорбление или отказавшимся от дуэли. Его отец жил во времена, когда подобные развлечения считались обычным делом, а то, что сыну они были не по

[112] Примечания: 112
Танцовщица (*фр.*).

нутру, лишь доказывало противоестественность его натуры. И в кого же превратился наш многоопытный путешественник? В жалкого труса. А как же Эрнестина и его брачные клятвы? Вспоминать об этом было все равно что заключенному очнуться после сна, где он уже видел себя свободным, вставшим на ноги, и почувствовать, как кандалы снова отбрасывают его назад в черную реальность тюремной камеры.

Экипаж медленно двигался по узкой улице, забитой экипажами и каретами… Вот они, кварталы греха. Под каждым фонарем, в каждом дверном проеме стояли проститутки. Чарльз разглядывал их из своей тьмы. Он весь горел. Если бы рядом нашелся острый гвоздь, он бы по примеру Сары у куста терновника воткнул его в руку, столь сильным было желание себя извести, наказать, дать выход желчи.

На тихой улочке под газовым фонарем стояла одинокая девушка. После вызывающих распутниц по соседству она казалась брошенной, неопытной и слишком нерешительной, чтобы приблизиться. Хотя ее профессия не оставляла сомнений. Темно-розовое хлопчатобумажное платье с искусственными розочками на груди, на плечах белая шаль. Модная, в мужском стиле,

черная шляпа на убранной под сетку рыжей копне. Девица провожала взглядом экипаж, и что-то в цвете волос, в настороженных затемненных глазах, в несколько задумчивой позе заставило Чарльза податься вперед и присмотреться к ней через овальное окно. Наконец, не выдержав напряжения, он громко постучал тростью в потолок. Возница тут же остановился. Послышались быстрые шаги, и перед открытой частью экипажа показалось женское лицо.

На самом деле она была мало похожа на Сару. Огненная рыжина выдавала накладные волосы. Простоватая, в глазах и улыбке наигранная смелость, красные губы словно испачканы в крови. И все же что-то есть… то ли в твердом изгибе бровей, то ли в овале рта.

— У вас есть комната?

— Да, сэр.

— Скажите ему, куда ехать.

Она ненадолго исчезла, чтобы объясниться с кучером, — и вот уже она залезла в экипаж, раскачав его, и села рядом, обдав дешевыми пачулями. Он ощутил ткань рукава и платья, но телами они не соприкасались. Экипаж снова набрал ход. Метров сто они проехали в полном молчании.

— Вы на всю ночь, сэр?

— Да.

— Я п’чему спросила. Если часовая, то там п’дороже.

Он кивнул и уставился в темноту. Еще сотня метров в молчании под стук копыт. Она, кажется, слегка расслабилась и чуть-чуть прижалась к его плечу.

— Ну и х’лодрыга.

— Да. — Он бросил на нее взгляд. — Вы должны обращать внимание на такие вещи.

— Если пойдет снег, то все. Другие р’ботают, а я нет.

После паузы Чарльз решил поинтересоваться.

— И давно вы?..

— С вос’мнадцати, сэр. В мае будет два года.

— Вот как.

Во время очередной паузы он украдкой стал к ней приглядываться. И в голове заработала пугающая математика: считай, в году она «работает» триста дней… умножаем на два… шестьсот к одному, что у нее есть какая-нибудь дурная болезнь. Как бы спросить ее поделикатнее? Пожалуй, никак. При свете уличного фонаря всмотрелся повнимательнее. Цвет лица как будто здоровый. Какой же он все-таки дурак. В заведении, которое он недавно оставил, риск подхватить сифилис

был бы в десять раз меньше. Снять простую уличную девку-кокни… но что сделано, то сделано. Он сам так захотел. Они двигались на север в сторону Тоттенхэм Корт-роуд.

— Вам заплатить сейчас?

— Д’я не заморачиваюсь. Как х’тите, сэр.

— Прекрасно. И сколько же?

Она замялась.

— Н’рмальная цена?

Он кивнул.

— За ночь я обычно беру… — короткая пауза выдала плохо скрытое вранье, — …сов’рен.

Он сунул руку в карман и вручил ей монету.

— Сп’сибо, сэр. — Она аккуратно спрятала ее в ридикюль. И неожиданно, в завуалированном виде, пригасила его тайные страхи. — Я только с жентльменами, сэр. Так что вы ни о чем не бесп’койтесь.

— Благодарю, — отозвался он.

40

Губы льнули к губам,
И она их меняла,
И других до меня
К груди прижимала.

Мэтью Арнольд. Прощание

Экипаж остановился у дома в узкой улочке восточнее Тоттенхэм Корт-роуд. Девица быстро соскочила на землю, поднялась на крыльцо и вошла внутрь. А кучер, древний старик, так давно не снимающий плащ с капюшоном и глубоко нахлобученный цилиндр, что, казалось, они уже с ним срослись, воткнул кнут в подставку возле сиденья, вынул изо рта короткую глиняную трубку и протянул за вознаграждением сложенную в горсть грязную руку. При этом он глядел перед собой в конец темной улицы, как будто встречаться взглядом с таким седоком было выше его сил. Чарльз только порадовался, что на него не смотрят, но им овладела немота, которую этот древний старик наверняка бы только приветствовал. Он, конечно, мог отыграть назад

и поехать домой, поскольку девица скрылась из виду… однако дьявольское упрямство заставило его расплатиться.

Чарльз обнаружил проститутку в плохо освещенном парадном, спиной ко входу. Она не обернулась, но, услышав, как дверь за ним закрылась, стала подниматься по ступенькам. Откуда-то доносились голоса, пахло кухней.

Они поднялись на два пролета по затхлой лестнице. Девица открыла дверь и дала ему пройти первым, прежде чем запереть ее на щеколду. Она зажгла газовую лампу над очагом, разворошила огонь и подбросила еще углей. Чарльз огляделся. В комнате все, кроме кровати, изношенное, но безукоризненно чистое. Кровать из чугуна и меди, до того отполированной, что посверкивает, как золото. В углу ширма, за ней просматривается умывальник. Несколько простеньких украшений, на стенах дешевые гравюры. Вытертые хлопчатобумажные портьеры задернуты. В этой комнате ничто не намекало на роскошные забавы, для которых она предназначалась.

— П’рстите меня, сэр. Чувствуйте себя к’к дома. Я скоро.

Она ушла в дальнюю комнату. Там было темно, и он заметил, что она очень осторожно прикры-

ла за собой дверь. Он встал спиной к огню. Из соседней комнаты донесся бормоток проснувшегося ребенка, которого она тихо зашукала. Дверь снова открылась, и девица вернулась. Она успела снять шляпу и шаль. На лице заиграла нервная улыбка.

— Эт моя девочка, сэр. Она ш'меть не будет. Тихая как мышка. — И, почувствовав неодобрение, поспешила продолжить: — Если вы г'лодный, тут рядом бифштексная.

Чарльз не был голодный… теперь уже и в сексуальном отношении. Он с трудом выдержал ее взгляд.

— Пожалуйста, себе что-нибудь закажите. Я… ничего не хочу… ну разве что вина, если у них есть.

— Фр'нцузкое или немецкое, сэр?

— Стакан рейнвейна… вы не против?

— Сп'сибо, сэр. Я п'шлю мальчишку.

Она вышла, и он услышал ее крик в вестибюле, который никак нельзя было назвать ласковым:

— Гарри!

О чем-то они там поговорили, хлопнула входная дверь. Когда она вернулась, Чарльз спросил, не должен ли он оплатить расходы. Но оказалось, что эта услуга включена.

— Не х’тите присесть, сэр?

Она протянула руки, чтобы забрать его шляпу и трость. Он их отдал и, откинув полы сюртука, уселся у огня. Угли, которые она подкинула, горели плохо. Она опустилась на колени перед очагом и пустила в ход кочергу.

— Уголь-то отличный, да все никак не разг’рится. Дом старый, п’двал сырой.

Он разглядывал ее профиль в красных отблесках огня. Лицо красивым не назовешь, но здоровое, спокойное, безо всякой мысли. Бюст выразительный, запястья и руки на удивление изящные, почти хрупкие. Эти руки и копна волос мгновенно вызвали приступ желания. Ему захотелось к ней притронуться, но он удержался. Для начала лучше хлебнуть винца. Пару минут ничего не происходило. Потом она подняла на него глаза, и он улыбнулся. Впервые за весь день он испытал мимолетное чувство умиротворения.

Она перевела взгляд на огонь и тихо сказала:

— Он счас в’рнется. Тут рядом.

И снова молчание. Для викторианской эпохи куда как странно. Даже в интимной супружеской жизни люди руководствовались железными правилами условностей. А тут Чарльз сидел у огня рядом с женщиной, о существовании которой час

назад он даже не подозревал, абсолютно…

— Отец вашей девочки?..

— Он с'лдат, сэр.

— Солдат?

Она глядела в огонь, погрузившись в воспоминания.

— Он счас в Индии.

— Он не готов на вас жениться?

Она улыбнулась его наивности и помотала головой.

— Он дал мне денег перед родами.

Тем самым дала понять, что солдат, как человек приличный, сделал все что мог.

— А другой способ заработка вы не рассматривали?

— Полный р'бочий день мне не подходит. А так я плачу, чтоб приглядели за Мэри, пока я… — Она повела плечами. — Раз ступила на эту д'рожку, считай, все. А дальше выкручивайся, как умеешь.

— По-вашему, это достойная жизнь?

— Я др'гой не знаю, сэр.

Прозвучало без стыда и сожаления. Ее судьба расписана, а на то, чтобы это отрефлексировать, не хватало воображения.

Послышались шаги на лестнице. Она подня-

лась и открыла дверь до того, как в нее постучали. Чарльз увидел подростка лет тринадцати, которого, надо полагать, научили не пялиться на гостей; он стоял, глаза в пол, пока она поставила поднос на столик у окна и вернулась с кошельком. Звякнула горсть мелких монет, после чего дверь тихо закрылась. Она налила стакан и поднесла ему, а полбутылки поставила на треножник возле очага, словно любое вино требовало подогрева. Потом села и сняла с подноса салфетку. Чарльз украдкой разглядел маленький пирог, картошку и стаканчик с чем-то белым — по-видимому, джин с водой, так как вряд ли она могла заказать просто воду. Что касается его рейнвейна, то он был кислый, но Чарльза это не остановило — надо же как-то притупить все чувства.

Потрескивание разгоревшегося огня, шипение газовых горелок, звяканье столовых приборов… одно непонятно: каким образом они когда-нибудь перейдут к тому, ради чего он сюда пришел? Он осушил второй стакан уксусного вина.

Однако она довольно быстро разделалась с трапезой и унесла пустой поднос. Потом ушла в темную комнатку, где спала маленькая дочь, и буквально через минуту снова появилась уже в белом пеньюаре. Распущенные волосы струились

по спине. То, как старательно она придерживала ворот пеньюара, говорило о том, что он надет на голое тело. Чарльз встал.

— Не тор'питесь, сэр. Допейте свое вино.

Он опустил глаза на недопитую бутылку так, будто впервые ее увидел. Потом кивнул, снова сел и наполнил стакан. А она, уже одной рукой сжимая верх пеньюара, другой уменьшила работу газовой горелки до двух единиц. Теплый свет от пламени омывал ее, смягчал черты юного лица. Она опустилась на колени перед очагом, протянула обе руки, и пеньюар раскрылся, обнажив, хотя и не до конца, белую грудь.

Глядя на огонь, она спросила:

— Сесть к вам на к'лени, сэр?

— Да… пожалуйста.

Он опустошил стакан. Снова прижав ворот, она встала, непринужденно пристроилась у него на скрещенных коленях и обхватила его за плечи. Он положил ей на талию левую руку, а правая с вызывающей неестественностью лежала на подлокотнике. Наконец она отпустила ворот и погладила его по щеке. Потом поцеловала в другую щеку. Их взгляды встретились. Она, как показалось, робко поглядела на его рот, но к делу приступила без всякой робости.

— Вы т’кой симпатичный жентльмен.

— А вы хорошенькая.

— Вам нравятся плохие девчонки?

Он обратил внимание на то, что она перестала добавлять «сэр». Его левая рука крепче сжала ее талию.

Она взяла непослушную правую руку Чарльза и засунула себе за вырез. В его ладони оказался упругий холмик. Она привлекла его к себе, и они стали целоваться, пока рука, вспоминая запретную женскую плоть, ее шелковистые контуры, эту почти забытую поэзию, в полной мере насладилась размером груди и скользнула ниже, к изгибу талии. Полная нагота. Изо рта попахивало луком.

Не это ли вызвало у него первую волну тошноты? Он постарался ее скрыть, как бы раздвоившись: один Чарльз явно перебрал, а второй испытывал сексуальное возбуждение. Пеньюар бесстыже сполз до округленного животика, где под лобковой поросльюю таился темный колодец. Его откровенно соблазняли белые ляжки, зрительно и на ощупь. Рука ниже талии не опустилась, зато гуляла наверху — по голым грудкам, шее, плечам. Больше инициативы, после того как сама запустила под пеньюар его руку, она

не предпринимала, став его пассивной жертвой: ее головка покоилась на его плече, такая теплая мраморная статуя, ню в стиле *этти*[113], счастливо завершенная греза Пигмалиона. Накатила вторая волна тошноты. Она что-то почувствовала, но поняла по-своему.

— Я слишком тяжелая?

— Нет… так…

— Кр'вать у меня мягкая.

Она отошла, аккуратно сложила покрывало и, повернувшись к нему, позволила пеньюару упасть на пол. Хорошо сложена, аппетитные ягодицы. Она села, сунула ноги под простыню, вытянулась и закрыла глаза — очевидно, так она себе представляла позу одновременно целомудренную и распутную. Угольки ярко замерцали, отбрасывая дрожащие лучи, и позади нее, на стене, заплясали тени от боковин кровати. Чарльз поднялся, борясь с бурлением в желудке. Вот тебе и рейнвейн; каким же надо быть идиотом, чтобы пить это пойло. Она открыла глаза и посмотрела на него. Поколебалась и протянула к нему свои изящные белые ручки. Он жестом показал на свой сюртук.

---

[113] Примечания: 113
Жанр аниме с эротическим подтекстом.

Через несколько секунд, почувствовав себя немного лучше, он стал раздеваться. Одежду он тщательно, чего никогда не делал дома, складывал на спинке стула. Ему пришлось сесть, чтобы расшнуровать ботинки. Он глядел на огонь, пока снимал брюки и нижнее белье, которое по тогдашней моде было пониже колен. А вот снять рубашку он не смог. Снова подступила тошнота. Он ухватился за украшенный кружевами камин, прикрыл глаза и постарался взять себя в руки.

На этот раз она приняла его промедление за робость и откинула простыню, как бы приглашая его в постель. Он заставил себя подойти. Она подвинулась, а прикрывать себя не стала. Он глядел на нее сверху вниз. Она протянула руки. Он не реагировал, ощущая только головокружение и накатывающие волны из смеси молочного пунша, шампанского, кларета, портвейна и чертова рейнвейна…

— Я не знаю вашего имени.

Она улыбнулась, взяла его за руки и притянула к себе.

— Сара, сэр.

И тут случился жуткий спазм. Он развернулся боком, и его стало выворачивать прямо на подушку, а она, отпрянув, в ужасе на все это смотрела.

41

О, фавн танцующий, лети
На сладострастный пир души.
И дальше, выше поспеши —
И землю в небо обрати.

Альфред Теннисон. In Memoriam

В энный раз за утро Сэм поймал на себе взгляд поварихи, подошел к колокольчикам над кухонной дверью и с громким перезвоном подбросил их к потолку. Вот и полдень. Казалось бы, радуйся, что получил свободное утро, но он бы предпочел его провести в более приятной женской компании, чем с дородной миссис Роджерс.

— Он сам не свой, — повторила вдова тоже в энный раз. Впрочем, если она и злилась, то, конечно, не на молодого хозяина наверху, а на Сэма. Вот уже два дня, с тех пор как они с мистером Чарльзом вернулись из Лайма, слуга постоянно намекал на какие-то страшные тайны. Правда, он милостиво поделился новостью из Уинсайетта, но при этом все время добавлял: «Есть еще кой-что конфи-данциальное (так он произносил это

иностранное слово), о чем пока нельзя говорить, миссис Роджерс. Но я видел такое, аж глазам своим не поверил».

У Сэма был реальный повод для огорчения. Хозяин не отпустил его на вечер, а сам отправился к мистеру Фриману. В результате Сэм проторчал дома до полуночи, а когда входная дверь открылась, его встретило совершенно белое лицо и взгляд исподлобья.

— Ты почему не в постели?

— Вы ж не сказали, что будете ужинать не дома, мистер Чарльз.

— Я был в клубе.

— Да, сэр.

— И нечего на меня так нахально таращиться.

— Да, сэр.

Сэм протянул руки, чтобы забрать — или, скорее, ловить — все подряд, начиная с уличной одежды и заканчивая злобным взглядом. Хозяин с величественным видом поднимался по лестнице. Голова уже совсем протрезвела, чего не скажешь о теле, и слуга проводил его с едкой ухмылочкой, которая, к счастью для него, осталась незамеченной.

— Вы правы, миссис Роджерс. Он сам не свой. Домой вернулся пьяный в зюзю.

— Трудно поверить, что с ним такое могло случиться.

— Есть много т’кого, в’ что вам будет трудно поверить. Вчера был как раз т’кой случай.

— Он же никогда от своего не отступает!

— Из меня правду клещами не вытащишь. — У поварихи от волнения вздымалась грудь. Она была на грани срыва. Сэм улыбнулся. — А вы видите насквозь. Ох, миссис Роджерс.

Что не удалось клещам, то запросто бы вышло у чувства обиды, но Сэма спас, а планы миссис Роджерс сорвал звон колокольчика. Сэм подхватил канистру с двумя галлонами горячей воды, которая все утро терпеливо ждала в углу своего часа, подмигнул поварихе — и был таков.

Существуют два вида похмелья: в одном случае ты чувствуешь себя разбитым и ни на что не способным, а в другом — разбитым, но в ясном сознании. У Чарльза был второй вариант; он уже встал с постели и позвонил в колокольчик. Он отчетливо помнил события предыдущей ночи.

Рвота в чужой спальне подавила на корню опасное сексуальное возбуждение. Девица, чье имя так неудачно прозвучало, поспешно вскочила, натянула пеньюар и повела себя как профессиональная сиделка вместо обещанной

профессиональной проститутки. Она усадила Чарльза на стул перед очагом, в котором он увидел пустую бутылку из-под рейнвейна, и его тут же опять стошнило. Но на этот раз она успела подставить миску из рукомойника. В паузах между приступами он со стоном выговаривал:

— Вы меня извините… такой конфуз… что-то с желудком…

— Все хор'шо, сэр, все хор'шо. Не сдерживайтесь.

И он не сдерживался. Она сходила за шалью и набросила ему на плечи. Он сидел, такой нелепый, как согбенная старушка, что склонила голову над тазиком, стоящим у нее на коленях. Через какое-то время он почувствовал себя немного лучше. Может, он хочет поспать? Да, но в своей постели. Она выглянула на улицу и ушла в другую комнату, а он начал кое-как одеваться. Вернулась она уже в уличном платье. Он оторопело на нее уставился.

— Вы собираетесь…

— Выз'ву вам экипаж. А вы тут п'дождите.

— Да… спасибо…

Он снова сел, а она спустилась вниз и вышла из дома. Хотя он далеко не был уверен в том, что приступы тошноты остались позади, в психоло-

гическом отношении он испытывал глубокое облегчение. Какими бы ни были его первоначальные намерения, непоправимого деяния он не совершил. Чарльз глядел на играющее пламя, и на его губах, как это ни покажется удивительным, появилась слабая улыбка.

Вдруг из соседней комнаты донесся тихий плач. Потом пауза, и снова плач, уже громче и продолжительнее. Девочка, очевидно, проснулась. Этот плач — завывания, пауза, завывания, пауза — становился невыносимым. Чарльз подошел к окну и раздвинул занавески. Из-за тумана видимость была неважная. Ни души. Стук копыт здесь явно раздается нечасто, и девушка, видимо, ушла на поиски экипажа. Пока он стоял в нерешительности, где-то забарабанили в стену, и возмущенный мужской голос что-то прокричал. Чарльз положил на стол шляпу и трость и приоткрыл дверь в соседнюю комнату. Пробившийся луч осветил платяной шкаф и старый сундук. Комнатенка была крошечная. В дальнем углу, возле закрытого комода, стояла раскладная кроватка. От пронзительного воя напряглись барабанные перепонки. Чарльз нескладно застыл на пороге, этакий страшный черный великан.

— Тише ты, тише. Твоя мама скоро вернется.

Незнакомый голос все только усугубил. Крики сделались такими отчаянными, что казалось, сейчас проснется весь квартал. В отчаянии Чарльз стукнул себя по голове, а затем шагнул в темноту. Перед ним была такая кроха, когда слова бессильны. Он наклонился и погладил ее по головке. Горячие пальчики вцепились в его пальцы, но крики слабее не стали. Сморщенный ротик выдавал из себя страх с изумляющей мощью. Надо было срочно найти спасительную уловку — и Чарльз ее нашел. Он извлек часы-брегет, отсоединил цепочку от жилетки и стал раскачивать брегет над самым личиком. Сработало мгновенно. Крики сменились похныкиванием, а ручки сразу потянулись к серебряной игрушке, которой она завладела. Через мгновение часы исчезли среди простынок, а малышка попыталась сесть, но у нее не получилось. И она снова завопила в голос.

Чарльз попробовал подсадить ребенка к подушке и, поддавшись искушению, вытащил девочку в длинной рубашонке из кроватки и присел вместе с ней на комод. Он продолжил раскачивать брегет перед ее носом, а она с готовностью к нему тянулась. Такой викторианский ребенок с пухлым личиком и черными глазками-пуговками,

чудо-репка с черными волосами. Она мгновенно забыла о своих слезах. Ее радостное бульканье, когда она наконец поймала желанный брегет, позабавило Чарльза. Она что-то залепетала, а он стал ей поддакивать: «Да, да, умничка, красавица». Ему вдруг померещилось, что рядом стоят сэр Том и сын епископа… так заканчивается их совместный дебош. Ох уж эти темные лабиринты, эти загадочные пересечения.

Он улыбнулся. Сейчас он испытывал не столько сентиментальную нежность к маленькому существу, сколько обретение утраченного чувства иронии, иными словами, веры в себя. В начале вечера, сидя в карете сэра Тома, Чарльз испытал ложное ощущение существования исключительно в настоящем, как если бы он перечеркнул свое прошлое и будущее и с головой окунулся в безответственное забытье. Сейчас же в нем проснулась глубинная интуиция, и он кое-что понял про великую человеческую иллюзию в отношении времени: якобы оно сродни не столько истине, сколько дороге, где ты видишь себя и смутно догадываешься, в какой точке окажешься… или это комната, находящаяся в такой непосредственной близости, что ты ее просто не видишь.

Опыт Чарльза коренным образом отличался

от сартровского. Простая мебель вокруг, теплый свет из соседней комнаты, мирные тени, а в довершение этот комочек у него на коленях, почти невесомый после веса ее мамаши (но о ней он сейчас не думал)… это были не враждебные, посягающие на его личность предметы, а ее неотъемлемые и дружественные составляющие. Истинным адом было бесконечное пустое пространство, которое, благодаря этим предметам, отодвигалось от него подальше. Ему даже хватило смелости прямо взглянуть в свое будущее, являющееся всего лишь частью этой жуткой пустоты. Что бы с ним ни случилось, такие моменты будут повторяться, их надо искать и находить.

Дверь приоткрылась. На пороге стояла проститутка. Свет падал сзади, поэтому ее лица он разглядеть не мог, но нетрудно было догадаться, что она на секунду-другую встревожилась. А потом успокоилась.

— О, сэр. Она плак'ла?

— Было дело. Кажется, опять уснула.

— Мне пр'шлось топать до Уоррен-стрит. Здесь не б'ло ни одного экипажа.

— Вы очень любезны.

Он передал ей ребенка, посмотрел, как она укладывает его в постель, потом развернулся и

вышел. Он отсчитал пять соверенов и оставил их на столе. Девочка проснулась, и мать стала ее успокаивать. Чарльз, мгновение помешкав, молча покинул квартирку.

Он уже сидел в экипаже, когда девица выскочила из дома и подбежала к дверце. Она казалась озадаченной, чуть ли не обиженной.

— О сэр… сп'сибо. Сп'сибо.

Только сейчас он увидел в ее глазах слезы. Для бедного человека нет большего шока, чем незаслуженные деньги.

— Вы смелая и добрая.

Он коснулся ее руки, лежавшей на дверце. И постучал тростью в потолок, дав знак вознице трогать.

42

История – это не отдельная личность, использующая других людей для достижения своих целей. История есть не что иное, как действия людей, преследующих свои цели.

Карл Маркс. Святое семейство (1845)

Чарльз, как мы выяснили, вернулся в Кенсингтон уже не в таком филантропическом настроении, в каком он покинул проститутку. В дороге его опять затошнило, и у него было достаточно времени, чтобы выработать изрядное презрение к себе. Однако проснулся он в более-менее нормальном состоянии. Он отдал должное своему похмелью, как это обычно делают мужчины, неодобрительно разглядывая в зеркале осунувшуюся физиономию с запекшимся брюзгливым ртом, но потом решил, что и в таком виде готов предстать перед окружающим миром. И он уж точно предстал перед Сэмом, который вошел с канистрой горячей воды, и даже извинился перед ним за свои выпады накануне.

— Я ниче т'кого не заметил, мистер Чарльз.

— У меня выдался довольно утомительный вечер, Сэм. Будь добр, принеси мне побольше чаю. Чертовски хочется пить.

Сэм ушел с тайной мыслью, что у хозяина есть еще что-то от черта. А Чарльз, пока совершал омовение и брился, поразмышлял о Чарльзе. Он явно не рожден быть распутником, но и надолго впадать в пессимизм и испытывать раскаяние он как-то не обучен. Разве сам мистер Фриман не сказал ему, что у него есть еще по меньшей мере два года для принятия решения о своем будущем? За два года много чего может произойти. Хотя Чарльз мысленно не произнес «может умереть дядя», идея носилась в воздухе. А плотские желания прошлой ночи напомнили ему о том, что вскоре он будет их удовлетворять законным образом. Пока же придется воздерживаться. А эта малышка… дети способны компенсировать жизненные невзгоды!

Вернулся Сэм с чаем… и двумя письмами. Жизнь снова напоминала дорогу. Чарльз обратил внимание на то, что на верхнем конверте наклеены дополнительные марки: письмо отправили из Эксетера в Лайм-Риджис, в гостиницу «Белый лев», а оттуда переслали в Кенсингтон. Второе пришло непосредственно из Лайма. Несколько

замешкавшись, Чарльз во избежание подозрений взял разрезной нож и подошел к окну. Сначала он вскрыл письмо от Грогана. Но прежде чем мы его прочтем, нам следует ознакомиться с запиской Чарльза, которую он послал по возвращении в Лайм после известной утренней прогулки к амбару. Вот что в ней было:

Мой дорогой доктор Гроган,

Я пишу впопыхах, чтобы поблагодарить вас за ваши бесценные советы и помощь в тот вечер и чтобы лишний раз подтвердить, что я с радостью оплачу все необходимые расходы на лечение или внимание, которые обеспечите вы и ваш коллега. С учетом того, что я осознал все безумие моего неоправданного интереса, вы, я полагаю, поставите меня в известность о встрече, которая должна произойти после прочтения этого письма.

Увы, я не решился поднять эту тему на Бродстрит в то утро. Мой довольно неожиданный отъезд и разные другие обстоятельства, коими я не стану вас обременять, сделали ситуацию более чем неподходящей. К данной теме я вернусь сразу по возвращении. Пока же прошу вас сохранять конфиденциальность.

Итак, я уезжаю без промедления. Мой london-

ский адрес указан ниже. С глубокой благодарностью,

Ч. С.

Честным это письмо не назовешь, но он должен был его написать. И вот сейчас Чарльз нервно раскрыл ответ на свое послание.

Мой дорогой Смитсон,

Я все откладывал это письмо в надежде получить хоть какое-то прояснение нашей дорсетской загадки. С сожалением должен констатировать, что единственной женщиной, которую я встретил в то утро, была Мать Природа — и трехчасовая беседа с этой дамой меня несколько утомила. Короче, особа не пришла. По возвращении в Лайм я послал вместо себя бойкого паренька. Но он тоже просидел sub tegmine fagi[114]*в приятном одиночестве. Я пишу это с легким сердцем, хотя, признаюсь, когда паренек вернулся в ночи, я испытывал наихудшие опасения.*

Но на следующее утро до меня дошли слухи, что в «Белом льве» были даны указания отправить кофр известной барышни в Эксетер. Обнаружить источник мне не удалось. Видимо, она сама так

---

[114] Примечания: 114
Под покровом бука (*лат*). Вергилий. Буколики, I, 1.

распорядилась. Из чего можно заключить, что она бежала.

Единственный мой страх, дорогой Смитсон, состоит в том, что она может последовать за вами в Лондон и попытаться все свои заботы повесить на вас. Я бы вас попросил не отвергать с улыбкой такую вероятность. Будь у меня побольше времени, я бы вам процитировал случаи, когда предпринимались именно такие действия. В конверте адрес. Это прекрасный человек, с которым мы давно состоим в переписке, и я вам горячо советую довериться ему, если дальнейшие осложнения au pied de la lettre[115]*постучатся в вашу дверь.*

Вы можете быть уверены в том, что мой рот на замке — был и будет. Я не стану повторять мой совет в отношении очаровательного существа — с которым, кстати сказать, я имел удовольствие только что повстречаться на улице, — но неплохо было бы ей признаться при первом же удобном случае. Я не думаю, что absolvitur[116]*потребует слишком сурового или длительного покаяния.*

---

[115] Примечания: 115
В буквальном смысле слова (*фр.*).

[116] Примечания: 116
Оправдательный приговор (*лат.*).

Искренне ваш,
Майкл Гроган

Чарльз, которого не отпускало чувство вины, перевел дыхание, еще не дочитав письмо до конца. Он сохранил свое инкогнито. После долгого взгляда из окна он вскрыл второе письмо.

Он ожидал многих страниц, но обнаружил лишь одну.

Он ожидал бурного потока слов, а увидел всего три.

Только адрес.

Он скомкал листок, вернулся к камину, который в восемь утра под аккомпанемент его храпа разожгла коридорная, и швырнул в огонь. Через пять секунд от него остался один пепел. Потом, наконец, забрал у Сэма чашку чая, осушил ее одним глотком и вернул за добавкой.

— Дела я закончил, Сэм. Завтра десятичасовым поездом мы возвращаемся в Лайм. Купи билеты. И отнеси на телеграф два послания, они лежат на столе. А потом, в свободное время, можешь выбрать цветные ленты для прекрасной Мэри по своему вкусу… если ты еще не отдал свое сердце кому-то другому после нашего возвращения.

Сэм ждал реплики в таком духе. Снова наполняя золоченую чашку, он бросил беглый взгляд

в сторону хозяйской спины и, подавая чай на маленьком серебряном подносе, объявил:

— Мистер Чарльз, я с'бираюсь пр'сить ее руки.

— Вот как!

— У меня ить отличные периспективы под вашим началом.

Чарльз сделал пару глотков.

— Давай, Сэм, выкладывай. Обойдемся без загадок.

— Если я женюсь, мне ить надо на что-то жить, сэр.

Невольное возражение, промелькнувшее на лице Чарльза, лишь подтвердило, что он как-то не заморачивался на эту тему. Он присел у горящего камина.

— Послушай, Сэм, я не собираюсь быть помехой твоей свадьбе, избави бог… но ты же не думаешь меня покинуть, пока я не сыграл свою?

— Вы меня перватно поняли, мистер Чарльз. *После* вашей свадьбы.

— Мы переедем в дом гораздо больше этого. Моя супруга, не сомневаюсь, будет только рада взять Мэри… так в чем проблема?

Сэм сделал вдох поглубже.

— Я п'думываю заняться бизнесом, мистер Чарльз. После того как вы об'строитесь. Вы ить

знаете, я вас не оставлю в трудную минуту.

— Бизнесом! Каким еще бизнесом?

— Открою свой м'газин.

Чарльз поставил чашку на услужливо подставленный поднос.

— Разве у тебя… ты разве к этому готов?

— Я, мистер Чарльз, кой-что отложил. И Мэри тоже.

— Да, я понимаю… но аренда… закупка товара! Какой бизнес-то?

— Драпировки и глантерея, сэр.

Чарльз вытаращился на своего слугу так, словно кокни решил стать буддистом. Хотя если вспомнить его *penchant*[117] к джентльменству… или не свойственное человеку его профессии внимание к своей одежде… Чарльз не раз (и даже не тысячу раз, если на то пошло) отпускал шуточки по поводу этой его тщеславной привычки.

— И ты отложил достаточно, чтобы…

— Увы, нет, сэр. Наших бережений не хватит.

Повисло многозначительное молчание. Сэм возился с молоком и сахаром. Чарльз потирал нос на манер своего слуги. Он все понял и взял в руки третью чашку чая.

---

[117] Примечания: 117
Склонность (*фр.*).

— Сколько?

— Есть один м’газин, который мне нравится, мистер Чарльз. Хозяин хочет сто писят фунтов за пердачу собственности и еще сто за весь товар. Плюс тридцать за аренду. — Он взглянул на хозяина и продолжил: — Вы не п’думайте, что мне с вами нехорошо, сэр. Просто я завсегда мечтал о своем м’газине.

— И сколько же ты отложил?

Сэм немного замешкался.

— Тридцать фунтов, сэр.

Вместо того чтобы улыбнуться, Чарльз подошел к окну спальни.

— И долго ты их откладывал?

— Три года, сэр.

Десять фунтов в год — вроде бы не так много, хотя это ведь одна треть его трехлетней зарплаты… быстро посчитал хозяин… что гораздо бережливей, чем экономил он сам, если на то пошло. Чарльз взглянул на Сэма, который покорно ждал — вот только чего? — застыв у края стола с чайной посудой. И тут Чарльз совершил роковую ошибку — откровенно высказался о планах Сэма. Возможно, то был в некотором роде блеф, связанный с подозрением, и не таким уж безобидным, что слуга таким образом вымогает

из него деньги за свою службу. Но скорее сказался исконный постулат (только не надо его путать с высокомерием): безгрешный хозяин отвечает за грешного помощника.

— Сэм, я тебя предупреждаю: если ты замахнешься на что-то выше твоего социального положения, тебя ждут одни несчастья. Без магазина ты будешь несчастен. Но с магазином ты будешь несчастен вдвойне.

Сэм еще чуток поник головой.

— А кроме того… я к тебе привык… ты мне дорог. И я, черт возьми, не хочу тебя потерять.

— Я знаю, мистер Чарльз. Я к вам ’спытываю заимные чувства. Извините, конечно.

— Вот видишь. Нам хорошо друг с другом. Пусть все так и остается.

Сэм кивнул и стал собирать чайный сервиз. Разочарование зашкаливало: Растоптанная Надежда, Обрубленная Жизнь, Невознагражденная Доблесть и еще добрая дюжина скорбных статуй.

— Сэм, только не надо изображать из себя побитую собаку. Если ты женишься, то, само собой, получишь зарплату семейного мужчины. И какие-то средства на обустройство. Внакладе не останешься, можешь быть уверен.

— Вы так добры, сэр.

Он произнес это траурным голосом, в присутствии всех скорбящих статуй. На мгновение Чарльз посмотрел на себя глазами Сэма. За все эти годы на него были потрачены немалые деньги, и он не мог не понимать, что на его женитьбу хозяин опять же хорошо раскошелится. Отсюда естественное — и такое невинное — заключение, что две-три сотни фунтов для Чарльза не такая уж большая сумма.

— Сэм, только не считай меня жмотом. Дело в том, что… знаешь, почему я ездил в Уинсайетт?.. сэр Роберт женится.

— Не может быть! Сэр Роберт? Никогда!

Удивление, которое изобразил Сэм, невольно порождает мысль о том, что его истинным призванием был театр. Он чуть не выронил поднос с чайным сервизом. Но Станиславский ему бы не поверил. А Чарльз, глядя в окно, продолжал:

— Это означает, Сэм, что в данный момент, когда мне предстоят немалые траты, свободных денег у меня нет.

— Я ж не знал, мистер Чарльз. Надо же… в его-то возрасте!.. прям даже не верится…

Хозяин поспешил прервать эти ламентации:

— Мы должны пожелать сэру Роберту настоящего счастья. Но что есть, то есть. Скоро об этом

все узнают. А пока ты уж помалкивай.

— О сэр… вы ж знаете, как я умею хранить тайны.

Чарльз метнул в его сторону подозрительный взгляд, но глаза слуги были скромно потуплены. А как же Чарльзу хотелось в них заглянуть! И тут он совершил вторую роковую ошибку. Попутно надо заметить: отчаяние Сэма было вызвано не столько даже отказом, сколько обидной мыслью, что у хозяина нет тайного греха, который можно было бы использовать в качестве рычага воздействия.

— Сэм, я… когда моя брачная жизнь войдет в колею, будет попроще… не хочу разбивать твои надежды… дай мне подумать.

В сердце у Сэма вспыхнул маленький огонек надежды. Ну вот и появился рычаг воздействия.

— Мистер Чарльз, сэр, зря я об этом ваще заговʼрил. Я ж ничего такого не знал.

— Нет, нет. Я рад, что ты поднял этот вопрос. Может, я поговорю с мистером Фриманом при случае. Ему наверняка будет что сказать о такой затее.

— Любой совет этого жентльмена для меня на вес золота, сэр. На вес золота.

Повторив свою гиперболу, Сэм покинул по-

мещение. А Чарльз, уставившись на закрытую дверь, подумал о том, что в его слуге начинают все больше проявляться черты Урии Хипа[118]: этакое двуличие. Он вечно копировал одежду и манеры джентльмена, а сейчас как будто скопировал еще какие-то фальшивые качества. Смутное время! Правила, казавшиеся незыблемыми, на глазах тают и растворяются.

И через несколько секунд его вдруг осенило! Удовлетворить желание Сэма… что может быть проще с учетом банковских запасов Эрнестины? Он подошел к письменному столу и отпер выдвижной ящик. Достал оттуда записную книжку и что-то нацарапал… видимо, напоминание поговорить с мистером Фриманом.

А тем временем на первом этаже Сэм читал содержание двух телеграмм. Одна извещала хозяина «Белого льва» об их возвращении. А другая, адресованная мисс Фриман, проживающей у миссис Трантер на Брод-стрит в Лайм-Риджисе, была следующего содержания:

МНЕ БЫЛО ПРИКАЗАНО НЕМЕДЛЕННО

---

[118] Примечания: 118

Урия Хип — подловатый персонаж в романе Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд».

ВЕРНУТЬСЯ
И Я С РАДОСТЬЮ ПОДЧИНЯЮСЬ.
ЛЮБЯЩИЙ ВАС ЧАРЛЬЗ СМИТСОН

Только неотесанные янки опускались до телеграфирования.

Это была не первая частная корреспонденция, прочтенная Сэмом в то утро. Конверт второго письма, которое он доставил хозяину, был заклеен, но не запечатан. Стоит только подержать над горячим паром, и, о чудо… а уж найти за целое утро свободную минутку, чтобы уединиться на кухне, было совсем несложно.

Возможно, вы уже готовы согласиться с Чарльзом по поводу Сэма. Он, прямо скажем, не отличался особой честностью. Но мысли о предстоящем браке способны приводить к необычным результатам. Например, потенциальные партнеры могут задуматься о неравноценной сделке и пожелать от другой стороны большего участия; беззаботность молодости вдруг куда-то улетучивается, об ответственности забывают, альтруистические аспекты общественного договора уходят на второй план. Одним словом, легче быть бесчестным вдвоем, чем одному. Впрочем, Сэм не считал свои действия бесчестными, он это

называл «правильно разложить карты». Проще говоря, женитьба Чарльза и Эрнестины — дело решенное; именно из ее приданого он может рассчитывать на двести пятьдесят фунтов; с хозяина и этой шлюшки из Лайма надо не спускать глаз, если их интрижка продолжится… что, кстати, очень даже неплохо: чем хозяин виноватее, тем он уязвимее. А если это далеко зайдет? Сэм втянул нижнюю губу и наморщил лоб. Высоко его занесло. Это не должно нас удивлять — со сводниками такое частенько случается.

43

Она мне грезилась: вдали
Тень, силуэт неразличимый
На смутном краешке земли.

Альфред Теннисон. Мод

Пожалуй, в викторианском «железном веке» легче, чем в любом другом, найти разные краски для мифа о рациональном поведении человека. После своего ночного бунтарства Чарльз определенно решил, что брак с Эрнестиной состоится. Он никогда всерьез не подвергал это сомнению. Мамаша Терпсихора и проститутка лишь укрепили его в намерении, как ни удивительно это могло бы кому-то показаться: отпали последние досадные сомнения, утратили всякий смысл последние вопросы. Так он себе сказал во время тошнотворного возвращения домой, что отчасти объясняет его грубоватое обращение с Сэмом. Что касается Сары… другая Сара была лишь ее суррогатом, ее печальной грязной противоположностью… и толчком для его пробуждения.

Однако было бы хорошо, если б в своем письме она нагляднее продемонстрировала свое чувство

вины в связи с тем, что просит у него денег (хотя вряд ли она успела потратить десять фунтов за такое короткое время) или выплеснула бы свои потаенные чувства к нему. Но трудно прочитать страсть или отчаяние всего в трех словах: Семейная гостиница «Эндикотт». Ни даты, ни даже инициалов! Такой акт неповиновения, действия в обход тетушки Трантер. Но кто бы привлек ее к суду только за то, что она постучала в его дверь!

Проще простого проигнорировать это завуалированное приглашение — он не должен больше с ней встречаться. Однако, пожалуй, Сара-проститутка напомнила Чарльзу об уникальности Сары-изгоя: полное отсутствие возвышенных чувств у одной лишь подтвердило их редкостное самостояние у другой. Как умна, как по-своему деликатна… какие-то ее слова, последовавшие после признания, не выходили у него из головы.

Он много думал — если можно воспоминания считать думами — о Саре во время своего долгого путешествия на запад. Он понимал, что помещение ее в клинику для душевнобольных, сколь угодно просвещенную, было бы предательством. Я употребляю местоимения «она», «ее», хотя они не что иное, как ужасные маски, придуманные мужчинами; а для Чарльза это были не место-

имения, а глаза, образы, упавшая на висок прядка волос, легкий шаг, спящий лик. И то были никакие не грезы, а честный взгляд на моральные проблемы, вызванные суровым одиночеством несчастной женщины и неопределенностью ее будущего.

Поезд пришел в Эксетер. Вскоре после финального свистка под окном купе появился Сэм, который, разумеется, путешествовал третьим классом.

— Мы тут з'ночуем, мистер Чарльз?

— Нет. Вызови четырехколесный экипаж. Кажется, идет дождь.

Сэм готов был поставить тысячу фунтов против одного, что они здесь заночуют. Но он без колебаний подчинился, так же как хозяин, видя его лицо, без колебаний принял именно такое решение — и где-то в глубине души оно застолбилось. Все предопределил Сэм, а Чарльз просто больше не мог увиливать.

Когда они проезжали через восточный пригород, его охватила печаль и чувство утраты — жребий брошен. Даже не верилось, что одно простое решение, один ответ на банальный вопрос может так много определить. До настоящей минуты все было потенциально возможно; те-

перь колышки вбиты бесповоротно. Он принял морально правильное, достойное решение… но при этом, похоже, потакал некой врожденной слабости, готовности принять судьбу, которая, как подсказывали предчувствия, равносильные фактам, однажды приведет его в мир коммерции и к тому, чтобы ублажать Эрнестину, желающую ублажить отца, коему она стольким обязана… Он разглядывал деревенские пейзажи, и ему казалось, что его медленно втягивают в какую-то чудовищную трубу.

А экипаж катил дальше, и какая-то ослабленная пружина скорбно поскрипывала, как тележка, при каждом толчке. Небо обложило, началась морось. В подобных обстоятельствах Чарльз обычно приглашал слугу в закрытое пространство, но сейчас он был не в состоянии видеть Сэма (во всяком случае, *этого* Сэма, которому мерещилось золото на мокрой дороге в Лайм и который никак не соглашался с остракизмом). Чарльзу представлялось, что он уже никогда не сможет побыть в уединении. Остается только радоваться тому немногому, что у него есть. Он снова задумался о женщине, которую оставил в городе. Не как об альтернативе Эрнестине, на которой он мог бы жениться. Это исключено. Собственно,

он задумался не столько о самой Саре, сколько о ней как о символе, соединившем в себе все его утраченные возможности, все угасшие свободы, все путешествия, на которых можно поставить крест. С чем-то надо распрощаться, и вот же она, такая близкая и уже уходящая. Как удобно.

Сомнений не осталось. Он жертва, еще один аммонит, завалившийся во время раскручивания огромного колеса Истории, обреченный на вечность, потенциальная окаменелость.

Вскоре он себе позволил уже совсем непозволительную слабость — уснул.

44

Долг… готовность подчинить-
ся,
Только вот чему – бог весть…
Некой установке, форме…
То ли нет, а то ли есть…
С подавлением желаний:
Не пытайся, не греши…
Без протестных побуждений
В темных уголках души…
Тихо сдаться без борьбы
По велению судьбы…

Артур Хью Клаф. Долг (1841)

В гостиницу «Белый лев» они приехали к десяти вечера. В доме тетушки Трантер еще горели огни, и кто-то задернул занавеску, как раз когда они проезжали мимо. Чарльз наспех привел себя в порядок и, оставив Сэма разбирать вещи, мужественно зашагал вверх по склону холма. Мэри при виде его не скрывала своей радости, а стоявшая за ней тетушка даже разрумянилась от

гостеприимных улыбок. Она получила строгий приказ самоустраниться после первых приветствий; не тот случай, чтобы изображать из себя дуэнью. Эрнестина, неизменно сохраняя достоинство, осталась сидеть в задней гостиной.

Она не встала, когда вошел Чарльз, а послала в его сторону долгий укоризненный взгляд из-под ресниц. Он улыбнулся.

— Я забыл купить в Эксетере цветы.

— Вижу, сэр.

— Ужасно торопился, чтобы успеть, пока ты еще не легла спать.

Она опустила глаза на свои руки, занятые вышиванием. Чарльз шагнул к ней, и она быстренько прикрыла то, чем занималась.

— Кажется, у меня появился соперник.

— Ты заслужил, и даже не одного.

Он опустился рядом на колени, нежно взял одну руку и поднес к губам. Она взглянула на него украдкой.

— С тех пор как ты уехал, я не сомкнула глаз.

— Это видно… бледные щеки, опухшие веки.

Она даже не улыбнулась.

— И ты еще насмехаешься.

— Если бессонница творит с тобой такие чудеса, я распоряжусь, чтобы сигнальный колокольчик

бесперебойно звенел в нашей спальне.

Она покраснела. Чарльз примостился рядом, повернул ее лицом к себе и поцеловал в губы и зажмуренные глаза. А когда они открылись, в них уже не было ни малейшей сухости.

Он улыбнулся.

— А теперь покажи, что ты вышиваешь для своего тайного поклонника.

Она показала работу. Это был мешочек из голубого бархата для ручных часов. Такие мешочки викторианские джентльмены вешали у себя на туалетном столике и перед сном складывали в них свои брегеты. На кармашке вышито белое сердечко и на нем две буквы, Ч и Э, а на самом мешочке, золотой нитью, незаконченное двустишие, которое Чарльз прочел вслух.

— «Как только ты их заведешь»… а дальше?

— Сам догадайся.

Чарльз подумал, глядя на голубой мешочек.

— «Твою супругу бросит в дрожь»?

Она резким движением спрятала подарок.

— Теперь не скажу. Ты настоящий хам. — А «хамами» в те времена называли кондукторов омнибуса, которые славились своими шуточками ниже пояса.

— Он у хорошеньких невест не просит плату

за проезд.

— Фальшивая лесть так же отвратительна, как и неуклюжие каламбуры.

— Ты просто восхитительна, моя дорогая, когда злишься.

— Тогда я тебя прощаю… а сама еще позлюсь.

Она слегка отвернулась, но при этом он продолжал обнимать ее за талию, и она отозвалась ответным пожатием. Немного помолчали. Он снова поцеловал ее руку.

— Завтра утром прогуляемся? Покажем всему миру, какие мы модные, скучающие любовники, что неопровержимо свидетельствует о том, что наш брак по расчету?

Она улыбнулась и, импульсивно показав вышитый кармашек, процитировала:

— «Как только ты их заведешь, мою любовь внутри найдешь».

— Ты моя прелесть.

Он задержал на ней взгляд, а затем достал из кармана и положил ей на колени червленую коробочку с пружинкой.

— Считай, что это цветы.

Она робко нажала на пружинку, и коробочка открылась. На багряной бархатной подушечке лежала элегантная швейцарская брошка, такой

овал из мозаичных лепестков, а по краям чередующиеся жемчужинки и кусочки кораллов в золоте. Она потянулась к нему и запечатлела на его губах целомудренный поцелуй, потом положила головку ему на плечо, посмотрела на брошь и поцеловала ее.

Чарльз вспомнил строчку из фаллической песни и прошептал ей на ухо:

— Хочу, чтобы завтра сыграли мы свадьбу.

Подкладка простая: все, что случилось или могло случиться, хороший повод прочувствовать и поиронизировать. В общем, учись быть самим собой.

Чарльз сжал ее руку.

— Дорогая, я должен сделать маленькое признание. Оно касается несчастной женщины из «дома Марлборо».

Эрнестина слегка подобралась. Он ее удивил и даже немного позабавил.

— Неужели речь о бедной Трагедии?

Он улыбнулся.

— Боюсь, что ей пристало более вульгарное прозвище. — Он стиснул ее руку. — Все так глупо и тривиально. Дело было так. Во время одной из моих погонь за ускользающими иглокожими…

Вот, собственно, и конец истории. Уж не знаю,

как сложилась судьба Сары, но она больше не беспокоила Чарльза, пусть даже какое-то время еще присутствовала в его памяти. Так часто бывает. Люди пропадают из виду, тонут в омуте повседневности.

Чарльз с Эрнестиной не жили долго и счастливо, хотя и проживали вместе. Он пережил ее на десять лет и честно оплакивал ее преждевременный уход. Они произвели на свет потомство… предположим, семерых детишек. Сэр Роберт усугубил оскорбление сердечной травмой: через десять месяцев после заключения брачных уз с Беллой Томкинс он стал отцом… и не одного, а сразу двух наследников. Эта пара близнецов роковым образом вынудила Чарльза заняться бизнесом. Поначалу он испытывал только скуку, но затем вошел во вкус. Таким образом, он лишил своих сыновей всякого выбора, а его внуки по сей день владеют гигантским магазином со всеми сопутствующими обстоятельствами.

Сэм и Мэри… но кого интересует биография прислуги? Поженились, расплодились и ушли из жизни в монотонном ритме, уготованном их породе.

Кто там еще? Доктор Гроган? Умер на девяносто первом году жизни. Поскольку тетушка Трантер

тоже умерла, когда ей было хорошо за девяносто, то вот вам бесспорное доказательство целебности местного воздуха.

Впрочем, не для всех — миссис Поултни скончалась, не прошло и двух месяцев после возвращения Чарльза в Лайм. Счастлив заметить, что в данном случае мне хватает любопытства заглянуть в будущее… точнее, в ее посмертное существование. Одетая, как полагается, во все черное, она подъехала в своем ландо к царским вратам. Ее лакей — само собой, как в Древнем Египте, вся челядь последовала за ней на тот свет — спрыгнул с облучка и уважительно открыл ей дверцу. Миссис Поултни поднялась по ступенькам и, мысленно приготовившись сказать Создателю (когда они познакомятся поближе), что Его подручным следовало бы встречать важных персон, позвонила в колокольчик. Ей открыли не сразу.

— Мэм? — поинтересовался дворецкий.

— Я — миссис Поултни. Теперь я буду здесь жить. Пожалуйста, известите вашего Хозяина.

— Предвечного известили о вашей кончине, мэм. И ангелы уже пропели сотый псалом по такому случаю.

— Очень уместно и великодушно с Его сторо-

ны.

Знатная дама, подняв шлейф и приосанившись, уже была готова войти в величественный белый зал за спиной дворецкого, но тот загородил ей дорогу, да еще весьма вызывающе зазвенел связкой ключей.

— Эй, вы! Дайте пройти. С вами говорит миссис Поултни из Лайм-Риджиса.

– *В прошлом* из Лайм-Риджиса, мэм. А сейчас вас ждут довольно жаркие субтропики.

С этими словами хамоватый лакей захлопнул ворота у нее перед носом. Первая реакция миссис Поултни — убедиться в том, что домашние не слышали этой сцены. Но ее экипаж, который, как ей ранее показалось, отъехал к помещению для слуг, загадочным образом исчез. В сущности, исчезло все: дорога, ландшафт (чем-то напоминавший парадную аллею перед Виндзорским замком, как ни странно), все-все. Осталось пустое пространство… и, о ужас, всех пожирающее пространство. Ступенька за ступенькой, по которым миссис Поултни поднималась с такой величавостью, тоже исчезали. Три… две… одна. И вот уже под ногами не осталось ничего. Она отчетливо произнесла: «Это дело рук миссис Коттон», потом упала и понеслась, подпрыгивая, взлетая и пере-

ворачиваясь, как подстреленная ворона, туда, где ее ждал настоящий хозяин.

45

Во мне пророс тот самый, кто
Вдруг превратил меня в ничто!

Альфред Теннисон. Мод

А теперь, доведя повествование до вполне традиционного конца, я должен сделать признание: все, что я описал в последних двух главах, действительно имело место, вот только это произошло не совсем так, как вам могло показаться.

Я говорил ранее, что все мы поэты, хотя далеко не все пишут стихи; точно так же все мы романисты, то есть имеем обыкновение сочинять свое воображаемое будущее… впрочем, сегодня мы скорее склонны видеть себя в кино. Мы рисуем в уме гипотезы о том, как могли бы действовать и что с нами могло бы случиться, и эти романические или кинематографические предположения частенько оказывают куда больший эффект на наше реальное поведение, когда наше будущее становится настоящим, чем мы сами готовы признать.

Чарльз не был исключением, и то, что вы прочли на последних страницах, не произошло на

самом деле, а было им нафантазировано по дороге из Лондона в Эксетер. Вряд ли он рассуждал в таких деталях и в такой же внятной повествовательной манере, и я не готов поручиться, что он проследил за посмертной судьбой миссис Поултни, прибегая к столь экстравагантным описаниям. Но он точно хотел послать ее к дьяволу, так что разница невелика.

А главное, он предчувствовал приближение финала, который ему совсем не нравился. Если последние две главы показались вам обрывистыми, негармоничными, перечеркивающими глубокий потенциал главного героя и уделяющими ему слишком малое внимание с учетом того, что с тех пор прошло почти сто двадцать пять лет, если вы заподозрили (для читателя обычное дело), что автор просто выдохся и сомнительным образом оборвал гонку, считая себя победителем, то не вините во всем меня, — все эти чувства и размышления присутствовали в сознании Чарльза. Он действительно полагал, что книга его жизни вот-вот оборвется самым убогим образом.

А его «я», внутреннее существо, прибегшее к таким скользким и надуманным причинам, чтобы отправить Сару во мрак забвения, никак не связано со мной; это всего лишь персонификация

глубокого безразличия к материям — слишком враждебным, с точки зрения Чарльза, чтобы их отождествлять с «Богом», — которые злонамеренным образом качнули весы в сторону Эрнестины, и это движение вперед выглядело таким же неумолимым, как ход поезда, несшего его к конечной остановке.

Я не хитрил, утверждая, что в тот вечер, после лондонской эскапады, Чарльз «официально» решил вступить в брак (хотя, наверное, точнее было бы назвать это не решением, а реакцией), как он однажды «официально» решил принять духовный сан. Где я схитрил, так это при анализе эффекта, который на него оказало письмо из трех слов. Сплошные мучения, терзания, смятение. Чем дольше он о нем думал, тем больше этот фортель (только адрес) выглядел в духе Сары. Он отлично вписывался в ее поведение, выражаемое оксюморонами: заманивание — ускользание, изощренность — простота, гордость — нищенство, защита — нападение. Викторианство было эпохой многословия, непривычного и двусмысленного.

Но, главное, это оставляло Чарльзу возможность выбора, и пока одна его половина восставала, другая половина (и тут мы приближаемся

к его тайне во время путешествия на запад) испытывала невероятное возбуждение от того, что выбор так близок. Не владея экзистенциальной терминологией, он тем не менее ощущал — вот она, обескураживающая свобода, то есть осознавал простой факт: я свободен и понимаю, какой это ужас.

Так что давайте отбросим гипотетическое будущее Сэма и вернемся в Эксетер и настоящее нашего героя. Итак, поезд останавливается, Сэм заглядывает в купе к своему хозяину.

— Мы здесь заночуем, сэр?

Чарльз встречается с ним взглядом, еще обдумывая решение, а затем поднимает глаза выше к обложному небу.

— Кажется, дело идет к дождю. Мы остановимся в гостинице «Каравелла».

И спустя несколько минут Сэм, разбогатевший (мысленно) на тысячу фунтов, стоял вместе с хозяином перед вокзалом и наблюдал за тем, как поклажу грузят на крышу просевшей извозчичьей пролетки. Чарльз явно обнаруживал признаки нервозности. Но вот дорожный баул привязали покрепче, и все взоры обратились к нему.

— После этого бестолкового путешествия, Сэм, я,

пожалуй, разомну ноги. А ты поезжай с багажом.

У Сэма упало сердце.

— Вы уж меня ’звините, мистер Чарльз, но я б на вашем месте п’ехал. Вон какие тучи.

— Легкий дождик — ничего страшного.

Сэм сглотнул и ответил согласным кивком.

— Как скажете, мистер Чарльз. Ужин з’казывать?

— Да… хотя… приду — разберусь. Может, загляну в собор на вечернюю службу.

С этими словами Чарльз зашагал вверх по склону в сторону города. Сэм проводил его мрачным взглядом, а затем повернулся к извозчику.

— Про «Семейную г’стиницу Эндикоттов» слыхал?

— Ну.

— А где она, знаешь?

— Ну.

— Значится, так. Д’везешь меня до «К’равеллы», как на крыльях, внакладе не останешься, поня́л?

Сэм с должным апломбом сел в пролетку. Вскоре она обогнала Чарльза, шагавшего с вызывающей неспешностью, словно никак не мог надышаться. Но стоило ей только скрыться из виду, как он прибавил шаг.

У Сэма был большой опыт общения с сонными

провинциальными гостиницами. Багаж разгружен, лучшие номера выбраны, камин разожжен, ночное белье и прочие принадлежности выложены… и все это за семь минут. Он быстро вышел на улицу, где его ждал извозчик. Короткий пробег, и они остановились неподалеку от другой гостиницы. Оглядевшись по сторонам, Сэм вышел из пролетки.

— Свернете налево и сразу увидите, сэр.

— Благодарю. Вот тебе по заслугам. — Сэм сунул извозчику постыдно жалкое (даже по меркам Эксетера) вознаграждение и, приложив два пальца к котелку, растаял в темноте. Вскоре он увидел методистскую церковь с фронтоном и импозантными колоннами. За одной из них и укрылся начинающий детектив. Сгустилась ранняя ночь под серовато-черным небом.

Долго ждать Сэму не пришлось. Сердце у него подскочило, когда показалась долговязая фигура. Сбившись с пути, мужчина обратился за помощью к мальчишке. Тот довел незнакомца до угла и показал пальцем; этот жест, судя по довольной ухмылке, принес ему больше, чем два пенса.

Чарльз отступил на пару шагов и посмотрел наверх. Потом сделал несколько шагов в сторону Сэма. И, окончательно потеряв терпение, раз-

вернулся и вошел в дом. Сэм выскользнул из-за колонны и пробежал до улицы, где находилась «Семейная гостиница Эндикоттов». Постоял на углу. Чарльз не появлялся. Сэм осмелел и бодро прогулялся вдоль складской стены напротив жилых домов. Он выбрал точку, откуда просматривался вестибюль гостиницы. Там никого не было. В нескольких номерах горел свет. Прошло минут пятнадцать, и тут пошел дождь.

Сэм еще немного постоял в мучительных раздумьях, покусывая ногти. И быстрым шагом отправился восвояси.

46

Когда закончатся слова,
Должна включиться голова.
Мы ж верим призракам летучим,
И в то, что мы свое получим.
Довольны жизнью не вполне,
Мечтаем, что в другой стране
Наш труд, пусть здесь ему не сбыться,
Не пропадет, а завершится.

Дитя, пускай хотя бы там
Удача повернется к нам,
И вместе мы вкусим отрады,
А больше ничего не надо.

Артур Хью Клаф. Стихотворение (1849)

Чарльз немного помешкал в убогом вестибюле и постучал в распахнутую дверь, за которой горел свет. Получив приглашение войти, он сделал пару шагов и оказался нос к носу с хозяйкой го-

стиницы. Она просчитала его быстрее, чем он ее: гость, готовый заплатить за постой пятнадцать шиллингов в день. Поэтому она сразу расплылась в улыбке.

— Желаете комнату, сэр?

— Нет. То есть… я бы хотел поговорить с одной из ваших постоялиц… мисс Вудраф? — У хозяйки вытянулось лицо, а от улыбки не осталось и следа. У Чарльза екнуло сердце. — Она уже здесь не…

— Вы об этой несчастной девушке, сэр. Два дня назад она спускалась по лестнице и поскользнулась. Очень сильно подвернула лодыжку, сэр. Нога так раздулась. Я хотела пригласить доктора, но она даже слышать не желает. Опухшая лодыжка и сама может пройти, это правда. А доктор — дорогое удовольствие.

Чарльз опустил взгляд на набалдашник трости.

— Значит, я не могу ее увидеть.

— Помилуйте… конечно, вы можете к ней подняться, сэр. Это ее взбодрит. Вы, наверно, родственник?

— У меня к ней… дело.

Миссис Эндикотт посмотрела на гостя с еще бóльшим уважением.

— Вы… адвокат?

После короткой заминки Чарльз подтвердил:

— Да.

— Тогда вы непременно должны подняться, сэр.

— Мне кажется… не лучше ли послать кого-нибудь и спросить… может, лучше отложить мой визит, пока она не поправится?

Он совсем смешался. Вспомнил Варгенна… грех не любит публичности. А он пришел всего лишь затем, чтобы задать несколько вопросов. Желательно внизу, в гостиной… у всех на виду. Пожилая хозяйка задумалась, бросила взгляд на открытый сейф рядом со шведским бюро и, судя по всему, решила, что даже адвокаты бывают ворами… те, кому приходилось оплачивать их услуги, с этим спорить не станут. Неожиданно громко она позвала некую Бетти Энн.

Та взяла его визитку и ушла. Пока она отсутствовала, Чарльзу пришлось отбиваться от назойливых попыток хозяйки узнать причину его визита. Наконец Бетти Энн вернулась. Его приглашают подняться. Он проследовал за тучной служанкой на последний этаж, и она ему показала место, где произошел несчастный случай. Лестница была крутая, и в темноте, не видя ступенек, женщины нередко падали в те дни.

Они подошли к двери в конце мрачного коридора. Сердце у Чарльза колотилось сильнее, чем после подъема на третий этаж.

— Жентльмен, мисс, — представила его служанка.

Он вошел в комнату. Сара сидела спиной к огню и лицом к двери, положив на табуретку обе ноги, прикрытые красным валлийским одеялом. Хотя она накинула на плечи зеленую шаль из мериносовой шерсти, из-под нее проглядывала ночная сорочка с длинным рукавом. Распущенные рыжие волосы падали на зеленые плечи. Она показалась ему миниатюрной и мучительно застенчивой. Когда он вошел, она бросила на него короткий взгляд, словно испуганная грешница, страшащаяся праведного гнева, и тут же снова опустила голову на сложенные руки. Ни тени улыбки. Он застыл — в одной руке трость, в другой перчатки.

— Я проездом через Эксетер.

Она чуть заметно кивнула со смешанным чувством понимания и стыда.

— Может, мне незамедлительно пригласить врача?

Ответ прозвучал куда-то в колени.

— Прошу вас, не надо. Он посоветует мне делать

то, что я и так делаю.

Он был не в силах оторвать от нее глаз… птица с подрезанными крыльями, немощная (хотя щеки пунцовые), беспомощная. И после неизменного платья цвета индиго — зеленая шаль, которая как-то особенно подчеркивала эту копну волос. Ноздри гостя уловили кедровый запах жидкой мази.

— Вам больно?

Она покачала головой.

— Не понимаю, как это со мной произошло. Такая глупость.

— Скажите спасибо, что вы упали не со скалы на береговой отмели.

— Да.

Она казалась безнадежно смущенной в его присутствии. Он окинул взглядом комнатку. В камине разгорался огонь. Из пивной кружки на каминной полке торчали увядшие нарциссы. Бросалась в глаза убогость жилища. Потолок в черных пятнах копоти от чадящих масляных ламп… спектральные реликвии в память о захудалых постояльцах.

— Наверное, мне лучше…

— Нет. Пожалуйста. Сядьте. Вы меня извините. Я… я вас не ждала…

Он положил вещи на комод и сел на единственный свободный стул у стола, напротив нее. Как она могла его ждать, несмотря на письмо, когда он с самого начала твердо сказал себе «нет»? Он искал какое-то самооправдание.

— Вы послали этот адрес миссис Трантер?

Она покачала головой. Молчание. Чарльз глядел на ковер.

— Только мне?

Она чуть кивнула. А вот он покивал со всей серьезностью, словно сам обо всем догадался. И опять повисло молчание. В оконное стекло за спиной Сары ударила сердитая россыпь дождя.

— Именно это я и пришел обсудить.

Она ждала продолжения, но его не последовало. Он смотрел на нее неотрывно. Ночная сорочка застегнута высоко на шее и на запястьях. Ее белизна отдает розовым в свете стоящей на столе лампы, включенной не на полную мощность. Ее волосы, подчеркнутые зеленой шалью, кажутся восхитительно живыми там, где на них падают отблески огня. Перед ним как будто открылась ее загадка, ее сокровенная сущность: гордая и податливая, запечатанная и распечатанная, его раба и его ровня. Он понял, зачем пришел: чтобы снова ее увидеть. Это была его потребность — как

невыносимая жажда, требующая утоления.

Он заставил себя отвести взгляд, который оживился при виде двух обнаженных мраморных нимф над камином; они тоже порозовели от теплых лучей, отражаемых красным одеялом. Но нимфы ему не помогли. А Сара пошевелилась, и он снова повернулся к ней.

Она что-то быстро смахнула со щеки и положила руку на горло.

— Моя дорогая мисс Вудраф, только не плачьте, прошу вас… Зря я пришел… Я говорил себе: не надо…

Она решительно помотала головой. Он дал ей время прийти в себя. А пока она промокала глаза носовым платком, им овладело неудержимое сексуальное желание… вожделение, в тысячу раз превышающее то, что он испытал с проституткой. Ее беззащитные слезы, возможно, стали той брешью, через которую хлынуло откровение… он вдруг понял, чем ее лицо так его полонит, почему его к ней так влечет… чтобы ею обладать, в ней раствориться, сгореть и превратиться в пепел на этом теле, в этих глазах. Откладывать это на неделю, на месяц, на годы — по силам. Но вечно — нестерпимо.

Слова, объясняющие ее слезы, она буквально

прошептала, и он с трудом их расслышал.

— Я думала, что никогда вас больше не увижу.

Он не мог признаться ей в том, насколько она близка к истине. Сара подняла глаза, а он тут же опустил взгляд. Начавшиеся в амбаре загадочные реакции-синкопы получили продолжение. Сердце у него колотилось, руки дрожали. Если он встретится с ней взглядом, ему конец. Он предпочел зажмуриться.

Молчание становилось гнетущим, как будто вот сейчас рухнет мост или завалится башня… эмоции зашкаливали, правда рвалась наружу. И тут вдруг каскадом посыпались угли в камине. Большинство осталось в пределах заграждения, но два куска выскочили наружу и упали на край одеяла, закрывавшего ее ноги. Сара поспешно его отдернула, а Чарльз опустился на колени и, выхватив из медного ведерка маленькую кочергу, быстро сгреб угольки с ковра. Одеяло все еще дымилось. Он сорвал его с ее колен, бросил на пол и стал затаптывать ногами. В комнате запахло паленой шерстью. Сара сняла одну ногу с табурета. Обе ноги были голые. Чарльз убедился, что одеяло больше не тлеет, и снова укрыл ей ноги. При этом он низко нагнулся. И тут она инстинктивно, но отчасти и осознанно, робко накрыла

его руку своей. Он догадался, что на него смотрят. Убрать руку он не мог. Их взгляды встретились.

В ее глазах он прочитал благодарность, и былую печаль, и странную озабоченность, как будто от сознания того, что она причиняет ему боль. Но превыше всего — ожидание. При всей своей робости *она ждала*. Если бы на ее губах промелькнуло подобие улыбки, то, возможно, он бы вспомнил теорию доктора Грогана; но это лицо выражало лишь удивление и потерянность, свойственные и ему. Сколько они так друг на друга смотрели? Ему показалось, вечность, хотя на самом деле три-четыре секунды, не больше. В действие вступили руки. Подчиняясь какому-то загадочному вероисповеданию, их пальцы переплелись. Чарльз упал на одно колено и страстно притянул ее к себе. Их губы встретились с необузданной силой, испугавшей обоих. Она даже увернулась. Он стал покрывать ее щеки и глаза поцелуями. Его рука наконец-то трогала, гладила ее волосы, чувствуя под мягкой копной ее головку, а грудью он ощущал ее едва прикрытое тело. Он зарылся лицом в ее шею.

— Мы не должны… мы не должны… это безумие.

Но она прижала его голову к себе, и он за-

стыл. Ему казалось, что он взлетел на огненных крыльях и несется в нежно обволакивающей воздушной среде. Он чувствовал себя то ли подростком, в кои-то веки свободным от школы, то ли узником, вдруг оказавшимся на зеленой лужайке, то ли парящим ястребом. Он поднял голову и пронзил ее взглядом. Они снова слились в поцелуе. Он так впился в ее губы, что стул под ней отъехал назад, и забинтованная нога упала с табурета. Сара дернулась от боли. Он посмотрел на ее ногу, потом на лицо с закрытыми глазами. Она отвернулась и уткнулась в спинку стула… можно было подумать, что он ее отталкивает, если бы не грудь, неуловимо тянувшаяся к нему, и не руки, судорожно сжимавшие его ладони. Тут он увидел дверь у нее за спиной, резко встал и через мгновение уже стоял у порога.

Спальня была погружена в темноту, если не считать слабой подсветки закатного солнца и уличных фонарей. Но просматривались серая кровать, рукомойник. Сара неуклюже встала, цепляясь за спинку стула и держа на весу больную ногу, при этом шаль соскользнула с одного плеча. Каждый отмечал про себя горящие глаза оппонента, в которых оба тонули. Сара сделала движение вперед и стала заваливаться, оконча-

тельно теряя шаль. Чарльз бросился навстречу и успел ее подхватить и обнять. От ее наготы его отделяла лишь тонкая фланель. Он впился в нее губами, как изголодавшийся мужчина, но не только сексуально, тут все бесконтрольно перемешалось в диком водовороте: нежность, авантюра, грех, безумие, животные чувства.

Когда он наконец оторвался от сладких губ, ее голова запрокинулась, как если бы она потеряла сознание. Он ее подхватил и понес в спальню, где бросил поперек кровати. Она лежала, точно в полузабытьи, откинув одну руку назад. Он схватил вторую руку и начал ее лихорадочно обцеловывать, пока та гладила его по лицу. Потом от нее оторвался и побежал в другую комнату, где стал срывать с себя одежду, как человек, готовый броситься в реку для спасения утопающего. От сюртука отлетела пуговица и покатилась в угол, но он даже не проводил ее взглядом. Жилетка, ботинки, носки, брюки, исподнее… жемчужная булавка, галстук. Глянув на входную дверь, он повернул ключ в замке. Босой, в одной длинной рубашке, вошел в спальню.

Сара несколько сменила позу, теперь она лежала на подушке, по-прежнему поверх одеяла, лицо сокрыто от посторонних глаз темной копной

волос. Он на мгновение застыл с эрегированным членом, от которого топорщилась рубашка. Потом встал одним коленом на край узкой кровати, повалился на Сару и стал покрывать ее рот, глаза и горло жаркими поцелуями. Пассивно-покорное тело само прижималось к нему, а эти голые ножки… больше ждать он был не в силах. Чуть приподнявшись, он задрал ее ночную сорочку. Она развела ноги. Чувствуя приближение оргазма, он нащупал сокровенное местечко и ворвался туда с поспешной брутальностью. Она дернулась, как недавно, когда ее больная нога упала с табурета. Ему удалось сдержать инстинктивное сокращение, а она обвила его руками — теперь ты мой, навечно, об этом ты мог только мечтать, — и из него сразу хлынуло…

— Дорогая… моя дорогая… мой нежный ангел… Сара… о, Сара…

И вот уже он лежит неподвижно. С тех пор, как он вошел в спальню, миновало ровно полторы минуты.

47

Отвергни, как в аду сама Дидона
Изменника Энея – непреклонно,
И будь одна в том мире, навсегда.

Мэтью Арнольд. Школяр-цыган (1853)

Тишина.

Они лежали, словно парализованные содеянным. Застывшие во грехе, оцепеневшие от восторга. Чарльз напоминал город, на который с безоблачного неба упала атомная бомба; вместо посткоитальной грусти — сиюминутный всеобъемлющий ужас. Принципы, будущее, вера, благородные помыслы — все сровняли с землей. Но он-то выжил, сохранил свою драгоценную жизнь, последний из смертных, один-одинешенек… и чувство вины радиоактивным излучением уже проникало внутрь через нервные окончания и кровеносные сосуды. Из далекой зыбкой тени на него скорбно взирала Эрнестина… мистер Фриман отвесил ему пощечину… два каменных изваяния, застывшие в своей праведности, чего-

то ждущие.

Он освободил Сару от гнета собственного тела и перевернулся на спину, после чего она смогла к нему прижаться и положить голову ему на плечо. Он глядел в потолок. Влип, это ж надо так влипнуть!

Он слегка прижал ее к себе. Она робко протянула руку и обняла его. Дождь прекратился. Где-то под окном прозвучали тяжелые размеренные шаги. Полицейский, скорее всего. Представитель закона.

— Я хуже, чем Варгенн, — сказал Чарльз.

Вместо ответа она стиснула руку Чарльза, словно ему возражая и одновременно его успокаивая. Но в нем заговорил мужчина.

— Что теперь с нами будет?

— Я дальше этой минуты не заглядываю.

Он стиснул ее плечо, поцеловал в лоб и снова уставился в потолок. Какая же она еще юная, какая потрясенная.

— Я должен разорвать помолвку.

— Я ничего от вас не прошу. И не могу просить. Это я виновата.

— Вы меня предупреждали. Я сам во всем виноват. Я знал, на что иду… и сознательно закрывал глаза. Я забыл о своих обязательствах.

— Я так этого хотела, — прошептала она. И печально повторила: — Я так этого хотела.

Он гладил ее по волосам. Они, как вуаль, закрывали лицо.

— Сара… какое чудесное имя.

Она промолчала, а он продолжал гладить ее по волосам, как ребенка. Но мысли его были далеко. И, словно угадав, она заговорила:

— Я знаю, что вы не можете на мне жениться.

— Я должен. Я хочу. Если я этого не сделаю, то не смогу смотреть себе в глаза.

— Я плохая. Я давно мечтала о таком дне. Я недостойна быть вашей женой.

— Моя дорогая…

— Ваше положение в обществе, ваши друзья, ваша… я знаю, она вас любит. Я это чувствую.

— Но я ее больше не люблю!

Она дала этому выплеску раствориться в тишине.

— Она вас достойна. А я — нет.

Наконец он отнесся к ее словам всерьез. Он повернул ее лицом к себе, и они встретились скорбными взглядами в сумеречном свете из окна. В его глазах застыл ужас, а в ее сквозили улыбка и покой.

— Вы же не хотите, чтобы я ушел… как будто

между нами ничего не случилось?

Она не ответила, но он все прочел по ее глазам. Он приподнялся на одном локте.

— Вы не можете мне все прощать. И ни о чем не просить.

Она откинулась на подушку, устремив взгляд в смутное будущее.

— Почему нет, если я вас люблю?

Он прижал ее к себе. От мысли о такой жертвенности у него навернулись слезы. Как же они с Гроганом были к ней несправедливы! Да она благороднее любого из них.

Чарльз испытывал презрение к мужскому полу: банальному, легковерному, эгоистичному. Но, поскольку он сам к нему принадлежал, в голове промелькнула характерная подлая мыслишка: а что, если это его прощальная ходка, последний грешок молодости? Впрочем, он тотчас ощутил себя убийцей, оправданным из-за какой-то технической ошибки следствия. Да, он может выйти из здания суда на свободу, но чувство вины он будет носить в своем сердце до конца дней.

— Я сам для себя загадка.

— Мне это знакомо. А все потому, что мы согрешили и не можем поверить. — Она обращалась в непроглядную ночь. — Я желаю одного: чтобы вы

были счастливы. Теперь, когда я знаю, что был такой день и вы меня любили… я выдержу все… кроме мысли о вашей смерти.

Он снова приподнялся на локте и поглядел на нее сверху. Этот огонек в глазах от глубинного познания мужчины… духовный или психологический ответ на сугубо физическое познание ее как женщины. Он наклонился и поцеловал ее из куда более чистой любви, чем та, что ранее вспыхнула от страстных поцелуев и передалась его лону. Чарльз был истинным викторианцем. Он отказывался верить, что трезвомыслящая женщина готова быть сосудом для мужской похоти и даже испытывать от этого радость. Один раз он уже непростительно злоупотребил ее любовью; больше такое не должно повториться. Да и время… давно пора! Он сел на постели.

— Эта дама внизу… а в гостинице меня ждет мой слуга. Я вас прошу, дайте мне пару дней на размышления. Сейчас я ничего не соображаю.

Она произнесла с закрытыми глазами:

— Я вас недостойна.

Бросив на нее прощальный взгляд, он встал и ушел в другую комнату.

И там у него случилось озарение!

Одеваясь, он заметил на полах рубашки крас-

ные пятна. Чарльз было подумал, что порезался, но ничего не болело, и это только подтвердил беглый осмотр. Он ухватился за спинку стула и невольно посмотрел в сторону спальни… до него вдруг дошло то, о чем более опытный и менее возбужденный любовник догадался бы гораздо раньше.

Он лишил ее девственности.

В соседней комнате произошло какое-то движение. Он спешно одевался, словно оглоушенный, испытывая головокружение. Донесся звук воды, льющейся в рукомойник, лязгнула мыльница. Она не отдалась Варгенну. Это была ложь. Все ее поведение в Лайме, все ее мотивы базировались на лжи. Но с какой целью? Зачем? Зачем? Зачем?

Шантаж!

Чтобы держать его в кулаке!

Мерзкие суккубы, воплощения мужских страхов о женщинах-конспираторах, сосущих кровь из их жил, паразитирующих на их идеализме, мечтающих растопить их, как воск, чтобы слепить в соответствии с собственными дьявольскими фантазиями… в голове Чарльза закрутились все эти мысли, подкрепленные жуткими судебными показаниями Ла Ронсьера… и его охватил апокалиптический ужас.

Подмывание, судя по смолкшим деликатным звукам, закончилось. Тихий шелест он воспринял как знак того, что она снова легла в постель. Уже одетый, он глядел на огонь. Помешанная, дьяволица, опутала его своими сетями… но *зачем?*

Он обернулся на звук. Она появилась на пороге в своем старом платье цвета индиго, волосы с вызовом распущены, как в тот день, когда она смотрела на него, внезапно появившегося, стоя спиной к обрыву над самым морем. Она сразу прочитала все по его лицу и в очередной раз предупредила, пресекла готовое сорваться с его губ обвинение. Она повторила:

— Я вас недостойна.

И на этот раз он ей поверил.

— Варгенн? — шепотом спросил он.

— Когда я приехала к нему в Уэймут… и еще не подошла к гостинице… я увидела, как он оттуда вышел. С женщиной, чья профессия не оставляла сомнений. — Она не выдержала его пронзительного взгляда и отвела глаза. — Я спряталась в какой-то дверной проем. И когда они скрылись, я ушла.

— Но зачем надо было мне рассказывать…

Она резко шагнула к окну — и он осекся. Где хромота? Растянутая лодыжка? Поймав в его

взгляде новые обвинения, она повернулась к нему спиной.

— Да, я вас обманула. Но больше я вас не побеспокою.

— Но почему я… зачем надо было…

Сплошные загадки.

Снова зарядил дождь. Она развернулась. Немигающий взгляд, все тот же вызов, но смягченный напоминанием о том, что он ею обладал. Дистанция прежняя, но не такая жесткая.

— Вы подарили мне веру в то, что в другом мире, в другом веке, в другой жизни я могла бы быть вашей женой. Вы дали мне силы жить дальше… здесь и сейчас. — Их разделяли каких-то три метра, а казалось, три мили. — В одном я вас не обманула. Я вас полюбила. По-моему, с первой минуты. Тут никакого обмана. А вводило вас в заблуждение мое одиночество. Мои обиды, моя ревность. Не знаю, не знаю. — Она снова отвернулась к окну, к идущему дождю. — Не просите меня объяснить мои поступки. Я не могу. Их невозможно объяснить.

Чарльз смотрел ей в спину. Если еще недавно его непреодолимо к ней влекло, то теперь так же непреодолимо отталкивало… и в обоих случаях виновата была она.

— Я не могу это принять. Мне нужны объяснения.

Она помотала головой.

— Пожалуйста, уходите. Я буду молиться о вашем счастье. И больше никогда вас не побеспокою.

Он не пошевелился. Через пару секунд она обернулась и явно опять прочитала в его глазах скрытую мысль. При этом оставаясь фаталистически спокойной.

— Я вам уже говорила. Я гораздо сильнее, чем может себе представить любой мужчина. Моя жизнь закончится, когда так решит природа.

Он выдержал ее взгляд, а затем взял в руки шляпу и трость.

— Вот моя награда. Я вам помогаю. Я всем рискую… а в результате узнаю, что был простаком в ваших фантазиях.

— Сегодня я впервые подумала о своем счастье. Мечтая о возможной встрече, я думала только о вашем. Но у вас со мной не может быть счастья. Вы не можете на мне жениться, мистер Смитсон.

Этот переход на официальные рельсы его глубоко задел. Он бросил на нее обиженный взгляд, но она уже успела отвернуться, словно ожидая такой реакции. Он невольно сделал шаг к ней.

— Как вы можете так со мной разговаривать?

Она промолчала.

— Я всего лишь пытаюсь понять…

— Я вас прошу. Оставьте меня!

Сара снова повернулась к нему лицом. Они производили впечатление двух сумасшедших. Чарльз, казалось, сейчас что-то скажет, бросится к ней, взорвется… но он круто развернулся и вышел вон.

48

Аморально верить в то, что человек не способен спонтанно принять как нечто органичное его ментальной и нравственной природе.

Джон Генри Ньюман. Восемнадцать тезисов либерализма (1828)

Да, верую, как верил тот,
Что с арфой Твой воспел устав,
Что нам дано, свой прах поправ,
Вдохнуть эфир Твоих высот.

Альфред Теннисон. In Memoriam

Чарльз спустился в вестибюль с подчеркнуто официальным выражением лица. Миссис Эндикотт стояла в дверях офиса с уже открытым ртом. Но он, бросив вежливо-отрывистое «Спасибо, мэм», прошествовал мимо и вышел в ночь, прежде чем она успела задать вопрос или заметить отсутствующую пуговицу на сюртуке.

Он шел как слепой под проливным дождем, не замечая ни его, ни дороги, мечтая о кромешной

тьме для человека-невидимки, о забытьи для обретения спокойствия. Сам того не сознавая, он оказался в морально распущенном квартале, описанном выше, полном света и жизни, как и большинство подобных мест: лавки и кабачки, люди, прячущиеся от дождя в дверных проемах. Он вышел на улочку, которая круто спускалась к реке Экс. Ступеньки по обе стороны от забитой канализационной канавы запачканы экскрементами. Зато тихо. В конце улочки обнаружилась церквушка из красного кирпича, и Чарльз неожиданно для себя почувствовал потребность уединиться в храме. Он толкнул калитку с такой низкой притолокой, что пришлось нагнуться. Для входа непосредственно в церковь надо было преодолеть несколько ступенек. На верхней площадке молодой приходской священник прикручивал фитиль последней лампы и сильно удивился столь позднему визиту.

— Мы уже закрываемся, сэр.

— Может, пустите меня на несколько минут помолиться?

Приходской священник прибавил света и внимательно присмотрелся к гостю. По всему видно, джентльмен.

— Мой дом напротив. Меня ждут. Тогда будьте

добры запереть сами и принести мне ключи. — Чарльз согласно кивнул, и священник спустился к нему по ступенькам. — С епископом не поспоришь. Лично я считаю, что храм Господень должен быть всегда открыт. Но нельзя забывать про ящик для пожертвований. В такие времена мы живем.

И Чарльз остался один. Он слышал, как удалялись шаги приходского священника. Он запер изнутри старую калитку и поднялся по ступенькам. Внутри стоял запах краски. Единственная газовая лампа тускло освещала свежую позолоту, а массивные готические арки мрачноватого красно-бурого цвета напоминали о том, что церковь очень старая. Чарльз прошел по центральному проходу, сел в середине и через крестную перегородку обратил свой взор к распятию над алтарем. Потом опустился на колени и, соединив негнущиеся пальцы на деревянном пюпитре для молитвы, пробормотал «Отче наш».

После того как ритуальные слова прозвучали, его снова обступили тишина, мрак и пустота. Тогда он начал сочинять молитву, сообразную обстоятельствам: «Прости меня, Господи, за мой эгоизм. За то, что преступил Твои законы. Прости мне мое бесчестье, мое распутство, мое

недовольство собой. Прости неверие в Твою мудрость и щедрость. Вразуми меня, Господи, в моих деяниях…» И тут — вот они, выверты нашего подсознания! — перед ним всплыло лицо Сары, заплаканное, мученическое, напоминающее «Мать скорбящую» Грюневальда, которую он видел в Кольмаре, или Кобленце, или Кельне… уже не вспомнить. Как это ни абсурдно, какое-то время он перебирал в памяти города на букву «К»… Наконец поднялся с колен и сел на скамью. Какая пустота вокруг, какое безмолвие. Он вперился в распятие, но вместо лика Христова видел лицо Сары. Попробовал вернуться к молитве — полная безнадега. Все равно она не будет услышана. Из глаз неожиданно брызнули слезы.

Все, за редким исключением, викторианские атеисты (эту воинствующую элиту возглавлял Чарльз Брэдлаф) и агностики испытывали глубокое чувство отверженности и утраченного дара. В кругу друзей таких же взглядов они могли посмеиваться над глупостями Церкви, ее сектантскими посланиями, ее роскошествующими епископами и интригующими канонами, ее прогульщиками-пасторами и бедствующими приходскими священниками, ее безнадежно устаревшей теологией и всем прочим, — но оставался Христос,

страшная, не укладывающаяся в уме аномалия. Для них он не был тем, кем является для многих из нас сегодня: секуляризованной фигурой, *человеком* по имени Иисус из Назарета, обладавшим блестящим даром создавать метафоры, творить собственную мифологию и действовать сообразно своим убеждениям. Мир верил в его божественность, а потому отдельные неверующие особенно испытывали на себе его укоры. Между жестокостями нашего века и нашей виной мы воздвигли громадное министерство здравоохранения и социальной помощи — широкая благотворительность под государственным контролем. А викторианцы жили куда ближе к жестокой реальности; наиболее просвещенные и чувствительные считали себя персонально ответственными, и потому было гораздо труднее, особенно в тяжелые времена, отвергать этот всеобщий символ сострадания.

В душе Чарльз не желал быть агностиком. Не нуждаясь в вере, он вполне счастливо жил без нее, а разум, знание Лайелла и Дарвина убеждали его в том, что можно обходиться и без догмы. И вот он плакал — не из-за Сары, а из-за своей неспособности наладить разговор с Богом. Сидя в темной церкви, он осознал, что все провода

отключены. Связь невозможна.

В тишине раздался громкий «клак». Он обернулся, заранее прикрывая глаза рукавом. Но тот, кто попытался войти в церковь, похоже, смирился с тем, что она уже закрыта. Ушел отверженный двойник Чарльза. А сам он, сложив руки за спиной, прохаживался взад-вперед по центральному проходу. С могильных плит под ногами на него смотрели полустершиеся имена и даты — последние окаменелости, все, что осталось от других жизней. То ли этот променад с оттенком богохульства, то ли оставшиеся в прошлом приступы отчаяния, но к нему вернулись спокойствие и ясность ума. И возник диалог между его лучшей и худшей половинами… или между ним и распятой фигурой в темной глубине церкви.

С чего мне начать?

Начни, мой друг, со своих поступков. И хватит уже себе говорить: «Лучше бы я этого не делал».

Я тут ни при чем. Меня к ним подталкивали.

Каким образом?

Меня обманывали.

Какой умысел скрывался за этим обманом?

Я не знаю.

А ты порассуждай.

Если бы она любила меня всерьез, она бы меня

не отпустила.

И продолжала бы тебя обманывать?

Она мне не оставила выбора. Она сама сказала, что наш брак невозможен.

По какой причине?

Разный социальный статус.

Как благородно.

Ну и Эрнестина. Я дал ей торжественную клятву.

Которую нарушил.

Я все исправлю.

Любовью? Или чувством вины?

Это не так важно. Брачная клятва считается святой.

Если это не так важно, то и брачную клятву нельзя считать святой.

Существует мой долг.

Ах, Чарльз, Чарльз, эти слова я прочитывал в глазах самых немилосердных людей. Долг — всего лишь горшок для хранения. Как величайшего зла, так и величайшего добра.

Она хотела, чтобы я ушел. В ее глазах я читал презрение.

Сказать тебе, что делает Презрение в эту минуту? Она рыдает от отчаяния.

Я не могу вернуться.

Ты полагаешь, что водой можно смыть кровь у тебя в паху?

Я не могу вернуться.

Зачем ты повторно с ней встречался на береговом уступе? Зачем провел ночь в Эксетере? Зачем пришел к ней в комнату? Позволил ей себя обнять? Зачем…

Да, я все это признаю! Я согрешил. Но меня заманили в западню.

Тогда почему ты сейчас свободен?

Ответа не последовало. Чарльз снова сел и стиснул пальцы с таким остервенением, будто хотел сломать костяшки, а взгляд устремил в темноту. Но другой голос не оставлял его в покое.

Друг мой, есть, пожалуй, лишь одно, что она любит сильнее, чем тебя. И у тебя не укладывается в голове: именно потому, что она тебя так любит, она должна была отдать тебе то, что она любит еще сильнее. Я тебе скажу, почему она рыдает. Потому что тебе не хватает смелости вернуть ей ее дар.

Какое она имела право подвергать меня мучениям?

А какое у тебя было право на рождение? Вдохи и выдохи? Богатство?

Кесарю кесарево…

А мистеру Фриману Фриманово?

Это гнусное обвинение.

Таков твой дар мне? Эти гвозди ты вбиваешь в мои ладони?

При всем моем уважении… у Эрнестины тоже есть ладони.

Тогда попробуем прочесть по ее ладони. Счастье там не прочитывается. Она знает, что по-настоящему ты ее не любишь. Что ты ее обманываешь. Каждый день, снова и снова.

Чарльз положил руки на пюпитр перед собой и зарылся в них с головой. Его раздирала проблема выбора, почти осязаемая и уж точно не пассивная, толкавшая его к будущему, которое не ему выбирать.

Бедный Чарльз, загляни в свое сердце. Ты приехал в этот город, чтобы доказать самому себе: я еще не угодил в тюремную камеру под названием «мое будущее». Но побег из тюрьмы — это не один предпринятый шаг, мой друг. Так же как одним шажком не преодолеть расстояние отсюда до Иерусалима. Каждый день, Чарльз, каждый час надо делать следующий шаг. Каждую минуту надо быть готовым к тому, что в тебя вобьют

гвоздь. Выбор очевиден. Ты остаешься в камере, отсиживая срок за долг, честь, самоуважение и чувствуя себя комфортно и в безопасности. Или ты на свободе, пока тебя не распнут. Ты в компании камней, колючек и выставленных спин, окруженный всеобщим молчанием и ненавистью.

Я слабый.

Но ты стыдишься своей слабости.

Какой был бы миру прок от моей силы?

Ответа не последовало. Но что-то заставило Чарльза подняться со скамьи и подойти к крестной перегородке. Он поглядел сквозь одно из деревянных окошечек на алтарный крест и после короткого сомнения прошел внутрь, миновал сиденья на клиросе для певчих и оказался перед ступеньками, ведущими к алтарному столу. Свет из дальнего конца храма едва сюда проникал. Он мог с трудом разглядеть лик Христа, но при этом испытал прилив таинственной эмпатии. Он увидел себя… пусть не такого благородного и всечеловечного, как Иисус… распятого.

Вот только не на кресте, а на чем-то другом. Хотя раньше у него мелькала мысль, что он как бы распят на Саре, до такого богохульства, одновременно религиозного и реального, он еще не

доходил. Нет, скорее она стояла рядом и ждала церемонии обручения… или с другой целью. До него не сразу дошло… ну конечно…

Чтобы снять его с креста!

Внезапное озарение позволило Чарльзу увидеть истинный смысл христианства: оно состоит не в том, чтобы славить это дикое варварство и возвеличивать его ради практической выгоды — отпущение грехов, — а в том, чтобы создать мир, в котором распятый сможет сойти с креста, и все увидят лицо, не искаженное смертной мукой, а улыбающееся победе, достигнутой всем миром.

Он словно увидел этот век с его бурной жизнью, с его железными установками и жесткими условностями, с его подавленными эмоциями и насмешливым юмором, с его умеренной наукой и неумеренной религией, с его коррумпированной политикой и незыблемыми социальными кастами, как тайного врага его собственных потаенных желаний. Вот где он обманывался… В этом мире нет ни любви, ни свободы… а также мысли, целеполагания и даже злого умысла, поскольку обман заключен в самой его природе — в нем нет ничего человеческого, это машина. Вот он, порочный круг со всеми неудачами, слабостями, раковыми опухолями и роковым изъяном, кото-

рый сделал его тем, какой он есть: олицетворение нерешительности, а не реальности, скорее сон, чем явь, скорее молчание, чем слово, кусочек мяса на косточке вместо действия. Ископаемое!

Вроде живой, а уже труп.

Он подошел к краю бездны.

И еще: странное чувство, которое он испытывал с первой минуты, как вошел в церковь, — и не только сейчас, это предчувствие сопровождало его всякий раз, когда он входил в храм, — что он не один. За его спиной стояла целая конгрегация. Он обернулся.

Ряды пустых скамеек.

И он подумал: если все они умерли, если нет жизни после смерти, то не все ли мне равно, что обо мне подумают? Они ничего не узнают, они не смогут судить.

А дальше он сделал радикальный вывод: *они ничего не знают, они не могут судить.*

Так он отправил в урну свой век, призрачный и глубоко порочный. Это четко сформулировано в пятьдесят первой строфе поэмы Теннисона In Memoriam. Вслушайтесь:

Но правда ли, мы так хотим,
Чтоб, разлучившись, были с нами?

Нас, с нашей болью и грехами,
Не горько будет видеть им?

Вдруг тот, чей суд и похвала
Так дороги мне были здесь,
Меня увидит как я есть —
Пристанищем греха и зла.

Но я забыл – любовь не судит,
Все покрывает и не мыслит
Зла, и грехов людских не числит;
И веры, знаю, не убудет.

Да, вам дано иное зренье.
Смотрите! Крестные пути
Непросто до конца пройти —
И пусть нам будет снисхожденье!

Все существо Чарльза восставало против этого макабрического желания двигаться задом наперед, обратив взоры на покойных отцов, а не на будущих сыновей. Прежние мысли о том, что прошлое, как призрак, стоит у него за спиной, обернулись приговором: ты заживо погребен, даже если сам этого еще не понял.

Если кому-то это показалось уходом в атеизм,

то я не соглашусь. Христос не только не упал в глазах Чарльза, а, наоборот, ожил, снятый с креста. Чарльз не спеша вернулся в неф, воротя нос от безучастных резных фигур. Но не от Иисуса. И снова зашагал по проходу взад-вперед, посматривая на могильные плиты под ногами. Он словно заглянул в иной мир: новая реальность, новые причинно-следственные связи, новое творение. Каскад конкретных картин — если хотите, назовем это отдельной главой из его гипотетической автобиографии — пронесся в его мозгу. В такой же пиковый момент, как вы, возможно, помните, миссис Поултни за какие-то три секунды, отсчитанные в ее гостиной настенными часами из мрамора и золоченой бронзы, проделала долгий путь вниз от вечного спасения до леди Коттон. И я бы погрешил против истины, если бы не сказал, что Чарльз вдруг подумал о дядюшке в таком контексте: лично *я* не стану обвинять сэра Роберта в моем расстроенном браке и в моей связи, недостойной нашей семьи; пусть *он* во всем винит себя. И еще одна сценка, непрошеная, пришла ему на ум: Белла Томкинс против Сары. Невероятная пара! Он попытался вообразить, кто из них поведет себя более достойно. Если Эрнестина сражалась бы тем же оружием, что и

леди Белла, то Сара… в ее глазах подначки и выпады миссис Томкинс будут тонуть, как в море… восприниматься безответно… превращаться в грязные пятнышки на лазоревом небе!

А как он приоденет Сару! Повезет ее в Париж, Флоренцию, Рим!

Это, конечно, не самый подходящий момент для сравнения со святым Павлом, направляющимся в Дамаск. Но лицо Чарльза (увы, стоящего спиной к алтарю) внезапно просветлело. А может, это был эффект от газовой лампы у входа. Ведь он не сумел до конца осмыслить благородные, хотя и несколько абстрактные мысли, промелькнувшие в его в голове. Но, надеюсь, вы мне поверите: он действительно видел Сару, облокотившуюся на его руку в музее Уффици. А что еще нужно, сколь банальным это ни покажется, для ощущения пускай жестокой, но такой необходимой (если человек хотел выжить, как мы хотим и сегодня) свободы?

Он вернулся на скамью и совершил нечто совершенно иррациональное: опустился на колени и произнес короткую молитву. Потом направился к выходу, прикрутил фитиль газовой лампы почти до нуля, оставив лишь блуждающий огонек, и покинул церковь.

49

Знала я, что слуга и служанка
Воровать и браниться гораз-
ды…

Альфред Теннисон. Мод

Чарльз нашел дом приходского священника и позвонил в колокольчик. Дверь открыла служанка, а за ее спиной нарисовался молодой хозяин с бакенбардами. Служанка их оставила, и священник подошел за ключами.

— Спасибо, сударь. Я каждое утро совершаю святое причастие. Вы к нам надолго?

— Увы. Я здесь *en passage*[119].

— Я надеялся вас снова увидеть. Могу я вам еще чем-то помочь?

Он сделал жест, как такая жалкая креветка, в сторону двери, за которой явно находился его кабинет. Чарльз, уже оценивший в церкви некоторую показушность, сразу понял, что его приглашают на исповедь. Не надо было обладать волшебным даром, чтобы разглядеть сквозь сте-

---

[119] Примечания: 119
Проездом (*фр.*).

ны аналой и скромную статую Девы Марии. Этот молодой священник опоздал родиться во время Трактарианского раскола[120] и по нынешним временам излишне легкомысленно, хотя себя обезопасив — с учетом того, что Высокую Церковь возглавил доктор Филлпоттс,[121] — обращался с ритуалами и облачениями, распространенными среди церковных денди. Чарльз смерил его взглядом и решил довериться своему новому видению: все это глупости. Поэтому он вежливо отказался и пошел своим путем. С официальной религией он больше никогда не станет иметь дело.

Своим путем… вы, наверное, решили, что это означает «назад в “Семейную гостиницу Эндикоттов”». Сегодняшний герой, без сомнения, так бы и поступил. Но проклятое чувство Долга и Пристойности воздвигло перед ним непреодолимые преграды. Его первой задачей было очиститься от прошлых обязательств, и только после этого он мог явиться и предложить даме руку и сердце.

---

[120] Примечания: 120

Трактарианский, или Оксфордский, раскол — движение тридцатых-сороковых годов XIX века среди англикан Высокой Церкви, которое постепенно развилось в англо-католицизм.

[121] Примечания: 121

Генри Филлпоттс (1778–1869) — англиканский епископ Эксетера (1830–1869), прославившийся жесткими мерами в отношении церковников с низкими моральными устоями.

Он начал понимать, что стояло за ее обманами. Сара знала, он любит ее, но знала и то, что он слеп и не осознает всей глубины своей любви. Ее фальшивая версия предательства Варгенна, как и прочие уловки, были стратегией с целью открыть ему глаза; а когда это случилось, все ее слова можно считать проверкой его нового зрения. В результате он провалился по всем статьям, и тогда она использовала старую стратегию в доказательство того, что она его недостойна. Каким же благородством должно быть продиктовано такое самопожертвование! И он не бросился ей навстречу, не заключил ее в объятья, не сказал ей, что она вся его, до кончиков пальцев!

Ах… мог бы он добавить, но не добавил… если бы не эта фатальная дихотомия (вероятно, самый удручающий результат общей помешанности на категоризации), по причине которой «душа» представлялась викторианцам более реальной, чем тело, куда более реальной, можно сказать, единственной их сутью, практически не связанной с телом; она парила высоко над приземленным зверем, но при том, по какой-то необъяснимой ошибке природы, этот зверь, несмотря на сопротивление души, таскал ее повсюду, как скверный, непослушный ребенок

таскает за собой белый воздушный шарик.

Каждый викторианец имел раздвоенное сознание — сей багаж мы должны брать с собой, отправляясь назад в девятнадцатый век. Эта шизофрения особенно наглядно и знаково просматривается у поэтов, которых я так часто цитировал: Теннисона, Клафа, Арнольда, Харди. Но едва ли в меньшей степени в невероятном спектре между правыми и левыми, у таких политиков, как Милль и Гладстон; в проявлениях вездесущих неврозов и психосоматических расстройств у интеллектуалов, причем таких разных, как Чарльз Кингсли и Дарвин; в проклятиях, которые первыми обрушились на прерафаэлитов, пытавшихся (так, во всяком случае, нам кажется) высказываться об искусстве и о жизни в одном ключе; в бесконечных войнах между Свободой и Ограничениями, между Излишеством и Умеренностью, между Благопристойностью и Убеждениями, между призывами человека с принципами к Универсальному Образованию и его же страхами перед Универсальным Страданием; это также сквозит в мании все редактировать и пересматривать, так что если мы хотим понять настоящего Милля или настоящего Харди, то узнаем гораздо больше из вымарок и переделок

в их автобиографиях, чем из опубликованных версий… из писем, избежавших сожжения, и личных дневников, из мелких осколков операции по сокрытию правды. Никакая другая эпоха так не запутывала факты, не выдавала столь успешно перед простодушными потомками свой публичный фасад за истину. И это, как мне кажется, лучший путеводитель по эпохе, которую, наверное, можно было бы назвать «Странной историей доктора Джекила и мистера Хайда». За современной готикой скрывается очень глубокая, раскрывающая эпоху правда.

Каждый викторианец отличался двоемыслием… и Чарльз не исключение. Идя по Фор-стрит в сторону гостиницы «Каравелла», он уже репетировал слова белого воздушного шарика, с которым гадкий ребенок явится пред очи Сары. Столь же страстные, сколь и достойные аргументы вызовут у нее слезы благодарности и признание, что она жить без него не может. Он видел все так ясно, что я не справился с искушением об этом хотя бы упомянуть. А реальностью-то был Сэм, встретивший его в дверях старой харчевни.

— Служба вам понравилась, мистер Чарльз?

— Я… я заплутал, Сэм. И дьявольски промок. — Этот эпитет в глазах Сэма точно не сработал. —

Сделай-ка мне, дружище, горячую ванну. Я поужинаю в номере.

— Да, мистер Чарльз.

Спустя минут пятнадцать вы могли бы увидеть его совершенно голого и занятого явно не своим делом: он занимался стиркой. Он повесил белье в пятнах крови на край ванны, заполненной горячей водой, и усиленно тер его куском мыла. Чувствовал он себя глупо, и результаты были не ахти. Когда Сэм принес поднос с ужином, тряпочки были разбросаны небрежно — что-то в ванне, а что-то за ее пределами. Сэм молча все собрал, и это был тот редкий случай, когда хозяин был ему благодарен за редкую невнимательность в таких делах.

Поужинав, он открыл несессер для письменных принадлежностей.

Моя дражайшая,

Одна моя половина невероятно рада так обращаться к вам, а другая половина недоумевает, как можно подобным образом говорить о человеке, которого ты с трудом понимаешь. В чем-то, рискну сказать, я вас понимаю досконально, а какие-то вещи остаются для меня не менее загадочными, чем в первый день нашего знакомства. Я говорю это не в порядке самооправдания, а

чтобы объяснить мое недавнее поведение. Хотя его нельзя оправдать, в каком-то смысле можно считать, что все сложилось удачно, так как это заставило меня поглубже заглянуть в свою душу — давно пора. Моя дорогая и загадочная Сара, не вдаваясь в детали, скажу следующее: то, что нас связало, связало нас навсегда. Я слишком хорошо отдаю себе отчет в том, что в моей нынешней ситуации я не вправе встречаться с вами, а тем более желать узнать вас ближе. Следовательно, я должен прежде всего разорвать свою помолвку.

Предчувствие, что заключение этого союза было ошибкой, давно жило со мной — задолго до того, как вы появились в моей жизни. Вот почему я вас очень прошу не испытывать угрызений совести по этому поводу. Винить должен я себя за слепоту, свойственную моей природе. Будь я на десять лет моложе, не узнай я столько всего о моем веке и моем обществе, которое не вызывает у меня симпатии, не сомневаюсь, что я был бы счастлив с мисс Фриман. Я забыл, и в этом была моя ошибка, что мне уже не двадцать два, а тридцать два.

Вот почему завтра, с утра пораньше, я совершу такое болезненное путешествие в Лайм. Желание поставить точку является в данную минуту

главной моей мыслью, что вы наверняка оцените. Но после того как я исполню свой долг, все мои мысли обратятся исключительно на вас — нет, на наше будущее. Уж не знаю, какая странная судьба свела нас вместе, но, видит Бог, ничто не заставит меня с вами расстаться, разве только вы сами этого пожелаете. Больше не скажу пока ни слова, моя сладчайшая загадка, кроме того, что вы должны будете привести куда более серьезные аргументы, чем прежде. Но как-то не верится, что вы предпримете такую попытку. Ваше сердце знает, что я принадлежу вам и что я назову вас своей.

Моя дорогая Сара, надо ли мне убеждать вас в том, что мои намерения самые высокие? Мне хочется задать вам тысячу вопросов, оказать вам тысячу знаков внимания, доставить вам тысячу радостей. Но все это с учетом благопристойности, определяемой вашей деликатностью.

Я не буду знать покоя и счастья, пока вы снова не окажетесь в моих объятьях.

Ч. С.

P. S. Перечитывая написанное, я вижу налет формальности, какой нет в моем сердце. Уж простите. Вы одновременно так мне близки и так от меня далеки, что я не знаю, как сформу-

лировать то, что я испытываю.

Нежно ваш Ч.

Это анабатическое послание потребовало нескольких редакций. К тому времени совсем стемнело, и Чарльз передумал отправлять письмо сейчас же. Она уже наверняка, наплакавшись, уснула. Пускай пострадает последнюю ночь, зато утром ее разбудит радостное известие. Он несколько раз перечитал письмо. В нем присутствовала интонация, использованная им всего день или два назад в лондонских письмах к Эрнестине, но те письма писались мучительно, они были всего лишь уступкой светским условностям — вот почему он добавил этот постскриптум. Он до сих пор не понимал толком себя, о чем говорил Саре, но по крайней мере сейчас он глядел на свое отражение в зеркале не без удовольствия. Он испытывал огромную силу, настоящую и будущую… даже уникальность, ибо совершал нечто беспрецедентное. И теперь он мог осуществить свое желание: отправиться в новое путешествие, вдвойне отрадное, так как ему составят компанию. Он попытался нарисовать в уме незнакомую Сару — смеющуюся, поющую, танцующую. Трудно такое вообразить, но почему нет… он вспомнил ее улыбку, когда Сэм и Мэри,

можно сказать, застукали их тогда в лесу. Это была улыбка ясновидящей, заглянувшей в будущее. А когда он помог ей подняться с колен… с каким неизъяснимым наслаждением он станет это делать в их совместной жизни!

Если его еще ждут камни преткновения, то он готов к испытаниям. Он подумал об одном таком камешке: Сэм. Но Сэма, как и любого слугу, всегда можно спровадить.

А можно вызвать. Что он и сделал в непривычно ранний час. Слуга нашел хозяина в домашнем халате, с запечатанным письмом и пакетом в руках.

— Сэм, отнесешь это по адресу, указанному на конверте. Подождешь десять минут, не будет ли ответа. Не думаю, но на всякий случай подожди. И сразу возвращайся. Возьмешь напрокат быструю пролетку. Мы едем в Лайм. И никакого багажа. Вечером мы возвращаемся сюда.

— Как так, мистер Чарльз! Я думал, мы там…

— Неважно, что ты думал. Делай, как тебе говорят.

Сэм изобразил из себя подобострастного лакея и покинул комнату. Спускаясь медленно по лестнице, он понял со всей очевидностью, что его положение невыносимо. Как он может сражать-

ся, не располагая информацией? Основываясь только на противоречивых слухах о расположении вражеских войск? Он уставился на конверт. Имя получателя звучало как вызов: «*Мисс Вудраф, Семейная гостиница Эндикоттов*». И всего один день в Лайме! Дорожный кофр остается здесь! Он покрутил в руках пакетик, потом прощупал письмо.

Толстое, страницы три, не меньше. Боязливо поозиравшись, он изучил печать. И проклял того, кто изобрел воск.

И вот он снова стоит перед уже одетым хозяином.

— Ну что?

— Никакого ответа, мистер Чарльз.

Чарльз отвернулся, не в силах контролировать выражение лица.

— А пролетка?

— Уже ждет, сэр.

— Очень хорошо. Я скоро спущусь.

Как только дверь за Сэмом закрылась, Чарльз раскинул руки, словно актер, принимающий аплодисменты от зрителей, а на губах играла улыбка благодарности. Накануне ночью, перечитав свое письмо в сотый раз, он добавил второй постскриптум, касающийся броши, которую мы

уже видели в руках у Эрнестины. Чарльз просил Сару принять этот подарок в знак того, что его извинения за неподобающее поведение приняты. Второй постскриптум заканчивался так: «Курьер подождет, пока вы это прочтете. Если он вернет содержимое пакета… нет, вы же не будете столь жестоки».

Тем не менее в отсутствие Сэма бедняга не находил себе места.

И вот мы снова видим Сэма, говорящего на пониженных тонах и в страхе поглядывающего по сторонам. Но теперь он стоит, как за ширмой, за кустом сирени в саду, неподалеку от кухни тетушки Трантер. Лучи полуденного солнца пробиваются сквозь ветви деревьев с первыми белыми бутонами. А слушает его Мэри с раскрасневшимися щеками, в оторопи затыкающая себе рот рукой.

— Эт невозможно, эт невозможно.

— У него из-за дяди поехала крыша.

— А как же м'ладая х'зяйка? Че ж ей т'ерь делать, Сэм?

Оба в ужасе подняли глаза к небу, как будто оттуда вот-вот раздастся громовое предупреждение или свалится вниз обмякшее тело.

— А нам, Мэри? Что теперь делать нам?

— Ох, Сэм… эт нечестно.

— Я тебя люблю, Мэри.

— Ох, Сэм…

— Эт так жестоко. Я лучше умру, чем п’теряю тебя.

— Что ж нам делать-то?

— Не плачь, милая, не плачь. Я уже там настрадался. Они ничем не лучше нас. — Сэм взял ее за руки. — Он думает: «Какой хозяин, такой и работник». Как бы не так. Если мне придется выбирать между ним и тобой, я выберу тебя. — Он весь подобрался, как солдат, готовый броситься в атаку. — Уйду я от него.

— Сэм!

— Ага. Буду разгребать уголь. Да что угодно!

— А как же деньги… он не будет тебе ничего д’вать!

— А ему неча д’вать. — В его словах горечь, в ее глазах испуг. Но тут он улыбнулся. — Ск’зать тебе, у кого найдутся денежки? Главное, зайти с нужной карты, п’нятно?

50

Из этих различных соображений, я полагаю, неизбежно вытекает, что, так как с течением времени посредством естественного отбора образуются новые виды, то другие должны становиться все более редкими и, наконец, исчезать. Более всего пострадают, конечно, те формы, которые непосредственно конкурируют с формами, претерпевшими модификацию и улучшение.

Чарльз Дарвин. Происхождение видов

Они приехали в Лайм к двум часам. Несколько минут Чарльз провел в зарезервированном номере. Он расхаживал по комнате, весь на нервах, настраиваясь на предстоящий разговор. Им снова, как он и предполагал, овладел экзистенциальный ужас, почему он и решил сжечь мосты, отправив письмо Саре. Он отрепетировал бессчетное множество фраз, придуманных им по дороге из Эксетера, но все они куда-то улетели, как осенние листья. Сделав глубокий вдох, он взял шляпу и вышел на улицу.

Мэри встретила его улыбкой до ушей. Он ответил ей мрачной серьезностью.

— Добрый день. Мисс Эрнестина дома?

Не успела служанка ответить, как за ее спиной возникла сама хозяйка с улыбочкой на устах.

— Ее нет. А моя дуэнья на ланче. Но вы можете войти.

Она снова скрылась в гостиной. Чарльз отдал шляпу служанке, поправил лацканы, пожелал себе провалиться сквозь землю и отправился на эшафот. Освещенная солнцем Эрнестина, стоявшая у окна с видом на сад, радостно к нему обернулась.

— Я получила от папы письмо сегодня… Чарльз? Чарльз! Что-то случилось?

Она сделала шаг навстречу, а он опустил глаза, не в силах на нее смотреть. Она остановилась. Наконец ее испуганный и его мрачный взгляд встретились.

— Чарльз?

— Прошу тебя, сядь.

— Но что случилось?

— Вот поэтому… я и приехал.

— Почему ты на меня так смотришь?

— Потому что я не знаю, с чего начать.

По-прежнему не сводя с него глаз, она нащупа-

ла стул за спиной и села у окна. Он молчал. Она тронула письмо, лежащее рядом на столе.

— Папá… — но его пронзительный взгляд заставил ее замолчать.

— Он был сама доброта… но я не сказал ему всей правды.

— Правды… какой правды?

— Что после многих часов глубоких и очень болезненных раздумий я пришел к выводу, что я тебя недостоин.

Она побледнела. На мгновение ему показалось, что она сейчас упадет в обморок, и он сделал пару шагов, чтобы ее подхватить, а она сделала такое движение, словно хотела себя ущипнуть.

— Чарльз, ты шутишь.

— К моему величайшему стыду… я не шучу.

— Ты меня *недостоин*?

— Абсолютно.

— И ты… нет, это какой-то кошмар. — Она поглядела на него в изумлении, а затем робко улыбнулась. — Ты забыл про свою телеграмму. Это ты так шутишь?

— Как же плохо ты меня знаешь, если думаешь, что я могу шутить о таких вещах.

— Но… но… твоя телеграмма!

— Я ее отправил до принятия решения.

Только теперь, когда он понурился, до нее стал доходить истинный смысл сказанного. Предчувствие ему подсказало, что это, возможно, критический момент. Если она потеряет сознание, закатит истерику… Он не выносил чужой боли и, кажется, уже готов был покаяться, во всем признаться, броситься к ее ногам за пощадой. Но Эрнестина, хотя и просидела долго с закрытыми глазами и по телу вроде бы пробежала дрожь, сознание не потеряла. Она же дочь своего отца: может, и хотела бы упасть в обморок, но это было бы равносильно тому, чтобы предать…

— Будь добр, объясни, что ты имеешь в виду.

Он испытал короткое облегчение. Она обижена, но не смертельно.

— В одной фразе не получится.

Она глядела на него, сложив на коленях руки с какой-то горькой чопорностью.

— Тогда попробуй в нескольких фразах. Прерывать тебя я не стану.

— Я всегда к тебе испытывал — и продолжаю испытывать — огромное уважение и приязнь. И ни минуты не сомневался в том, что ты будешь прекрасной женой для того, кому посчастливится завоевать твою любовь. Но я также, к стыду своему, сознавал, что мой интерес к тебе отча-

сти был продиктован не самыми достойными соображениями. Я имею в виду твое приданое… и то, что ты единственный ребенок. Эрнестина, в глубине души я всегда ощущал, что веду бесцельную жизнь, я ничего не добился… Пожалуйста, выслушай до конца. Когда зимой я решил сделать тебе предложение в надежде, что оно будет принято благосклонно, то было искушение Сатаны. Я увидел в блестящем браке возможность восстановить пошатнувшуюся веру в себя. Только прошу, не думай, что мной руководил исключительно холодный расчет. Ты мне очень нравилась. И я искренне верил, что это перерастет в любовь.

Она медленно подняла голову и посмотрела на него, как будто не видя.

— Я не могу поверить, что это говоришь ты, а не какой-то самозванец, жестокий и бессердечный…

— Я понимаю, для тебя это страшный шок.

— Шок! — Ее лицо выражало негодование. — С холодным спокойным видом рассказываешь мне тут, что никогда меня не любил!

Вот уже и выкрики. Он подошел к раскрытому окну и закрыл его. Она опустила голову, а он приблизился к ней и заговорил как можно деликатнее, но сохраняя дистанцию.

— Я не ищу оправданий. Просто пытаюсь объяснить, что мои преступные действия не были обдуманными. Иначе как бы я мог сейчас делать то, что я делаю? Я лишь хочу, чтобы ты поняла: если я кого-то и обманывал, то только себя. Можешь меня называть как угодно… слабый, эгоистичный… но не бесчувственный.

Она несколько судорожно вздохнула.

— И что же привело к этому великому открытию?

— Внезапное осознание — довольно гнусное, не скрою — того, что я испытал разочарование, когда твой отец не расторг нашу помолвку. — Она смерила его убийственным взглядом. — Я стараюсь быть предельно честным. Он не только с исключительным великодушием отнесся к моим изменившимся обстоятельствам, но и предложил мне в один прекрасный день стать его деловым партнером.

Она вспыхнула.

— Я так и знала, так и знала. Это все из-за того, что ты женишься на дочери торговца! Разве не так?

Он отвернулся к окну.

— Я это воспринял как должное. В любом случае стыдиться твоего отца было бы с моей стороны

проявлением непозволительного снобизма.

— Облечь свои мысли в слова… это еще не делает человека менее виновным.

— Если ты подумала о том, что его предложение повергло меня в ужас, то ты совершенно права. Но ужас был связан с моей непригодностью, а вовсе не с самим предложением. Пожалуйста, позволь мне закончить мое… мою исповедь.

— Ты разрываешь мне сердце.

Он отвернулся к окну.

— Давай попробуем держаться уважения, которое мы всегда испытывали друг к другу. Ты не должна считать, будто я думал только о себе. Меня преследовала мысль о том, как это будет несправедливо по отношению к тебе — и твоему отцу, — если я на тебе женюсь без любви, какой ты заслуживаешь. Будь мы с тобой другими… но мы такие, какие есть, мы понимаем по взгляду, по одному слову, является ли наша любовь ответной…

— Мы так и понимали, — сказала она сквозь зубы.

— Дорогая моя Эрнестина, это как с христианством. Ты можешь притворяться, что веришь. Но рано или поздно все выплывет наружу. Я убежден, что если ты по-настоящему заглянешь

в свое сердце, то обнаружишь зачатки сомнений. Просто ты их подавляла. Ты сама признавалась…

Она заткнула уши, потом ее пальцы медленно спустились и закрыли лицо. Молчание.

— Теперь можно мне? — наконец спросила она.

— Конечно.

— Я знаю, что я для тебя всегда была не более чем милая штучка… еще один предмет обстановки в гостиной. Знаю, что я простодушна. Что я избалована. Что я обыкновенная. Не Елена из Трои и не Клеопатра. Знаю, что я говорю вещи, которые порой режут твой слух, что я тебя утомляю разговорами о домашнем устройстве, что причиняю тебе боль, подтрунивая над твоими окаменелостями. Может, я еще ребенок. Но я верила, что твоя любовь и покровительство… твоя образованность… сделают меня лучше. Что я научусь доставлять тебе приятное… и ты полюбишь меня такой, какой я стала. Ты можешь этого не знать… даже наверняка не знаешь… но этим ты меня когда-то и привлек. Тебе известно, что вокруг меня… крутились сотни мужчин… и не только охотники за состоянием и никчемные людишки. Я выбрала тебя не из простодушия и неумения сравнивать. А потому что ты был

великодушнее, мудрее, опытнее. Я помню… если не веришь, я покажу тебе свой дневник… как однажды, вскоре после нашей помолвки, записала, что ты не очень веришь в себя. Я это почувствовала. Ты считаешь, что ты неудачник, что тебя презирают, и бог знает что еще… и я мечтала: вот это будет тебе мой главный подарок на свадьбу… вера в себя.

Затяжное молчание. Она сидела, опустив голову.

— Ты мне напомнила, как много я потеряю, — произнес он тихим голосом. — Увы, я и сам это понимаю. Нельзя возродить то, чего не было изначально.

— И это все, что мои слова для тебя значат?

— Они для меня значат многое, очень многое.

Он замолчал, хотя она явно ждала продолжения. Он не ожидал такого поворота. Он был тронут и пристыжен… и не мог в этом признаться. Она заговорила тихим, подавленным голосом:

— Может быть, с учетом того, что я сказала, ты хотя бы… — она не смогла закончить фразу.

— Еще раз подумаю?

Видимо, она услышала в его тоне нечто такое, чего он не хотел туда вложить, и в ее взгляде промелькнула отчаянная мольба. Глаза были

мокрые от слез, а бледное личико страдальчески пыталось сохранять подобие спокойствия. Это было как удар ножа… вот как он ее ранил.

— Чарльз, я тебя прошу, я тебя умоляю немного подождать. Да, я невежественна, я не знаю, чего ты от меня хочешь… но если ты мне скажешь, где я опростоволосилась… какой бы ты желал меня видеть… я сделаю все, все, что от меня зависит, только бы ты был счастлив.

— Ты не должна так говорить.

— Должна… я не могу иначе… вчера, когда я получила эту телеграмму, я плакала, я сто раз ее поцеловала. Ты не должен думать, что если я часто подшучиваю, то не способна на глубокие чувства. Я буду… — и тут она осеклась, так как вдруг сработала обостренная интуиция. Она метнула в его сторону пронзительный взгляд. — Ты лжешь. Что-то произошло после того, как ты послал эту телеграмму.

Он подошел к камину. За его спиной послышались рыдания, и это его доконало. Он обернулся, ожидая увидеть поникшую голову, но Эрнестина плакала в открытую, глядя на него, и тут она протянула к нему руки, как испуганный, потерянный ребенок, привстала, сделала один шаг и упала на колени. Чарльз испытал острое отвращение

— нет, не к ней, а к самой ситуации: к недоговоркам, к утаиванию главного. Напрашивается сравнение с ощущениями хирурга перед особенно сложной операцией или при внезапной остановке сердца больного… суровая решимость — а что еще остается? — закончить начатое. Сказать всю правду. Он дождался паузы в рыданиях.

— Я хотел поберечь твои нервы. Но ты права… что-то произошло.

Очень медленно она поднялась с пола и приложила ладони к щекам, не отрывая от него глаз.

— Кто она?

— Ты ее не знаешь. Имя не имеет значения.

— Она… и ты…

Он отвернулся.

— Я давно знаю ее. И думал, что все в прошлом. А сейчас в Лондоне выяснилось… что нет.

— Ты ее любишь?

— Уж не знаю, как назвать… то, что не позволяет отдать свое сердце другому человеку.

— Почему ты мне ничего об этом не сказал с самого начала?

Долгая пауза. Этот взгляд, читавший все его вранье, был просто невыносим.

— Я надеялся избавить тебя от боли, — пробормотал он.

— Или себя от стыда? Ты… ты чудовище!

Она осела на стул, глядя на него расширенными зрачками. А потом уткнулась лицом в ладони. Пока она плакала, он тупо рассматривал фарфоровую овечку на каминной полке. А в будущем всякий раз, когда он видел подобные фигурки, у него краснели щеки от самоедства. Но вот она заговорила, да с таким напором, что он аж вздрогнул.

— Если я сама себя не убью, то умру от стыда!

— Я не заслуживаю того, чтобы обо мне сожалеть хоть одну минуту. Ты встретишь других мужчин… не сломленных жизнью. Достойных мужчин, которые… — он замешкался, и у него само вырвалось: — Ради всего святого, обещай мне никогда не произносить вслух таких слов!

Она пришла в ярость.

— Ты думал, я тебя прощу?

Он молча покачал головой.

— Мои родители, мои друзья… что я им скажу? Мистер Чарльз Смитсон решил, что его любовница в конечном счете важнее, чем его честь, его обещания, его…

Звуки рвущейся бумаги. Даже не оборачиваясь, он догадался, что это она вымещает свой гнев на отцовском письме.

— Мне казалось, она навсегда исчезла из моей жизни. Но чрезвычайные обстоятельства…

Она как будто решала, обрушить ли на него всю свою ярость. Но ее голос прозвучал неожиданно холодно и язвительно.

— Ты нарушил свое обещание. У слабого пола есть только одно лекарство.

— И ты с полным правом можешь им воспользоваться. Мне останется лишь признать свою вину.

— Мир узнает про тебя всю правду. Ну и пусть.

— Мир так и так узнает всю правду.

Осознание того, что он совершил, потрясло все ее существо. Она только качала головой. Он сел напротив — рукой не дотянешься, зато можно обратиться напрямую к ее разуму.

— Неужели ты всерьез, хоть на одну минуту, готова предположить, что я останусь безнаказанным? Что это не самое ужасное решение из всех, какие мне приходилось принимать в моей жизни? Что это не мой проклятый час, который я буду помнить с глубочайшим раскаянием до последнего вздоха? Ты можешь меня считать… так и есть, я обманщик… но я не бессердечный. Иначе я не сидел бы сейчас перед тобой. Я отправил бы тебе письмо, сбежал бы за границу…

— Как жаль, что ты этого не сделал.

Он уставился на ее темечко, потом встал. Он поймал свое отражение в зеркале, и его двойник — он-то и был настоящим Чарльзом. А этот, в комнате, самозванец, как она выразилась… и всегда таким был в отношениях с Эрнестиной… человеком, выдающим себя за другого. И тут он прибег к еще одной из своих домашних заготовок.

— Я не жду от тебя ничего, кроме гнева и обиды. Я прошу лишь об одном… когда эти понятные чувства немного улягутся, чтобы ты поняла: никакое осуждение моих действий не идет ни в какое сравнение с суровостью моего собственного приговора… и единственное мое оправдание — это невозможность больше обманывать ту, к которой я питаю только уважение и восхищение.

Прозвучало фальшиво, да в основе и была фальшь, и Чарльз поежился, чувствуя ее рвущееся наружу презрение.

— Я пытаюсь себе *ее* представить. Наверняка титулованная… с претензиями аристократки. О… почему я не прислушалась к словам моего несчастного отца!

— То есть?

— Он много чего понял про вашу знать. У него даже есть про нее афоризм: «Хорошие манеры и

неоплаченные счета».

— Я не принадлежу к знати.

— Ты как твой дядя. Ты ведешь себя так, словно твой статус позволяет тебе не обращать никакого внимания на то, во что верим мы, обычные люди. И она такая же. Какой же надо быть низкой, чтобы заставить мужчину нарушить свою клятву! Нетрудно догадаться. — И Эрнестина тут же выдала свою догадку: — Она замужняя.

— Я не стану это обсуждать.

— Где она сейчас? В Лондоне?

Бросив на нее короткий взгляд, он развернулся и направился к выходу. Она встала.

— Мой отец изваляет твое имя в перьях… и ее тоже. Твои друзья и знакомые будут отвергать и презирать тебя. Ты будешь вынужден бежать из Англии, ты…

Он остановился у порога, открыл дверь. И эти действия — или невозможность придумать для него достойное проклятие — заставили ее остановиться. Она шевелила губами, но уже молча. Потом покачнулась, и какой-то несогласный внутренний голос произнес его имя… словно она до сих пор пребывала в ночном кошмаре и вдруг захотела услышать, что все, она проснулась.

Он замер. А она покачнулась и неожиданно

осела на пол рядом со стулом. Он инстинктивно чуть не бросился на помощь, но что-то во всем этом — то, как осторожно подогнулись ее колени и как ее тело аккуратно завалилось набок, — его остановило.

Он поглядел на лежащую фигуру и отметил всю условность оцепенелой позы.

— Я безотлагательно напишу вашему отцу, — сказал он.

Никакой реакции. Она лежала на ковре с закрытыми глазами, вытянув одну руку с довольно жалким видом. Чарльз подошел к камину, резко дернул за веревочку колокольчика и вернулся к распахнутой двери. Как только раздались шаги служанки, он сразу покинул комнату. Мэри бежала из кухни вверх по лестнице. Он показал пальцем на гостиную.

— У молодой хозяйки случился обморок. Вы должны все время находиться при ней. А я схожу за доктором Гроганом.

Казалось, Мэри сама сейчас потеряет сознание. Она схватилась за перила и уставилась на Чарльза выпученными глазами.

— Вы меня поняли? Ни при каких обстоятельствах не оставляйте ее одну.

Она кивнула и слегка качнулась, но не сделала

ни шагу.

— Это обычный обморок. Распустите ей шнуровку на платье.

Бросив на него очередной испуганный взгляд, служанка поспешила в гостиную. Чарльз подождал несколько секунд. Он услышал слабый стон, а потом голос:

— Мисс, мисс, это я, Мэри. Уже п'шли за доктором. Все будет хор'шо, мисс. Я вас не оставлю.

Чарльз на миг заглянул в комнату. Мэри, стоя на коленях, баюкала Эрнестину, чье лицо уткнулось в ее грудь. Служанка подняла на него глаза, в которых читался ясный запрет: не смотрите и не стойте здесь. И он подчинился этому простодушному приговору.

51

Как я уже говорил, в течение долгого времени устойчивая феодальная привычка к подчинению и почитанию продолжала сказываться на поведении рабочего класса. Но современный дух эту привычку почти свел на нет… все больше людей и целых групп по всей стране начинают утверждать и реализовывать на практике право англичанина делать, что ему заблагорассудится: гулять, где хочет, встречаться там, где пожелает, входить туда, куда нравится, выкрикивать, что в голову взбредет, угрожать и даже бить по своему усмотрению. Все это, замечу, ведет к анархии.

Мэтью Арнольд. Культура и анархия (1869)

Доктор Гроган, по счастью, не совершал обход пациентов. Чарльз отклонил предложение домохозяйки войти в дом и ждал на крыльце, пока к нему не примчался коротышка доктор. Отвечая на жест гостя, он вышел за дверь, чтобы их разго-

вор не могли услышать.

— Я только что расторг помолвку с невестой. Она очень расстроена. Прошу вас, не спрашивайте меня о причинах… просто поспешите на Брод-стрит.

Гроган бросил на гостя ошеломленный взгляд поверх очков и, ни слова не говоря, ушел в дом. Спустя несколько секунд он снова появился со шляпой и врачебным саквояжем. И они сразу отправились в путь.

— Это из-за?..

Чарльз кивнул. Коротышка доктор был настолько фраппирован, что потерял дар речи. Метров двадцать или тридцать они прошли молча.

— Она не такая, какой вам кажется, Гроган. Я в этом убедился.

— У меня нет слов, Смитсон.

— Я не ищу себе оправдания.

— А невеста знает?

— Только что есть другая. — Они свернули за угол и стали подниматься вверх по Брод-стрит. — Прошу вас, не называйте вслух ее имя. — Доктор искоса стрельнул в него укоризненным взглядом. — Ради мисс Вудраф. Не ради меня.

Доктор внезапно остановился.

— В то утро… если я правильно понял…

— Умоляю вас, идите. Я буду вас ждать в пивной.

Но Гроган продолжал на него таращиться, как будто он тоже провалился в ночной кошмар. Чарльз показал ему рукой в сторону вершины холма, а сам пошел в гостиницу «Белый лев» напротив.

— Господи, Смитсон…

Чарльз на секунду обернулся, чтобы выдержать сердитый взгляд ирландца, и молча продолжил путь. Доктор же глядел ему вслед, пока тот не скрылся под козырьком, и лишь затем двинулся дальше.

Чарльз успел из своего номера увидеть, как доктора впустили в дом тетушки Трантер. Мысленно он вошел вместе с ним, чувствуя себя одновременно Иудой, Эфиальтом[122] и прочими предателями со дня сотворения мира. От дальнейшего самоистязания его спас стук в дверь. На пороге стоял Сэм.

— Какого черта? Я тебя не вызванивал. — Сэм открыл рот и не издал ни звука. Эта страдальческая

---

[122] Примечания: 122

Эфиальт — грек-предатель, изменнически указавший персам обход в Фермопильском ущелье, по которому часть персидского войска прошла в тыл спартанцев.

гримаса была для Чарльза невыносима. — Раз уж пришел, принеси мне бокал бренди.

Но это была всего лишь отсрочка. Пригубив напиток, Чарльз вынужден был снова иметь дело со страдальческой физиономией.

— Это же не так, мистер Чарльз?

— Ты был в доме?

— Да, сэр.

Чарльз подошел к эркеру с видом на Бродстрит.

— Все так. Мисс Фриман и я… мы не поженимся. А теперь иди. И держи рот на замке.

— А как же я… и Мэри?

— Потом, потом. Не могу сейчас об этом думать.

Прикончив бренди, он подошел к письменному столу и достал лист бумаги. Прошло несколько секунд. Сэм не подавал признаков жизни. Точнее, его ноги. А вот глотка заметно раздувалась.

— Ты слышал, что я сказал?

У Сэма странно поблескивали глаза.

— Да, сэр. При всем ув'жении я должен при'мать во внимание мою ситуацию.

Чарльз резко развернулся.

— Это как понимать?

— Вы отноне будете жить в Лондоне, сэр?

— Я, скорее всего, уеду за границу.

— Тогда п'звольте вас пердупредить, сэр, что я не смогу вас с'провождать.

Чарльз аж подпрыгнул.

— Да как ты смеешь говорить со мной подобным образом! Проваливай!

Сэм сейчас напоминал бойцового петуха.

— Сначала я все ск'жу. В Эксетер я не вернусь. Я вам больше не слуга!

— Сэм! — это был выплеск ярости.

— П'скольку я не заслужил…

— Иди к черту!

Сэм весь подобрался. Он бы мог за милую душу поставить хозяину фингал (о чем позже так и сказал Мэри), но наш кокни сдержал бушевавший в нем пожар, решив, что у вышколенного слуги джентльмена есть в запасе оружие потоньше. Он приоткрыл дверь и окатил Чарльза ледяным надменным взглядом.

— Мне ост'ется только надеяться, что я не встречу людей вашего круга, *сэр*.

Дверь за ним закрылась, и нельзя сказать, что деликатно. Чарльз резким движением распахнул ее настежь. Сэм уходил по коридору.

— Как ты смеешь! Ну-ка, иди сюда!

Сэм обернулся с торжественной невозмути-

мостью.

— Если вам нужна помощь, позв'ните в колокольчик половому.

Сделав этот последний выстрел, от которого Чарльз просто онемел, Сэм свернул за угол и потопал вниз по лестнице. Ухмылка, с которой он отреагировал на хлопнувшую дверь, продержалась недолго. Он сделал то, что сделал. И чувствовал себя, как забытый моряк на пристани, провожающий взглядом свое судно. Даже хуже, он втайне отдавал себе отчет в том, что получил по заслугам. Боюсь, что бунтом на корабле его преступления не ограничивались.

Свою ярость Чарльз выместил на пустом бокале, который он швырнул в камин. Ему впервые показали, что значит облить холодным душем, и это, мягко говоря, не вызвало у него восторга. В какой-то миг он уже был готов помчаться через дорогу и броситься к ногам Эрнестины, покаяться в своем безумии и душевном смятении, попросить испытательной срок… Он несколько раз стукнул себя кулаком по ладони. Что он наделал и продолжает делать? Если даже слуги презирают и отталкивают его!

Он стоял, обхватив голову руками. Потом поглядел на часы. Он должен сегодня увидеть Сару.

Он представил себе ее лицо, нежное, умиротворенное, с тихими слезами радости, пока он прижимает ее к себе… и сразу успокоился. Он снова сел за стол и стал набрасывать черновик письма несостоявшемуся тестю. И все еще этим занимался, когда пришел доктор Гроган.

52

Гробом стань любовь моя,
И меня, красивую,
В нем похорони
Под зеленой ивою.

Сомерсетская народная песня «Под зеленой ивою»

В этой истории нам следует пожалеть тетушку Трантер. Она вернулась домой после ланча, ожидая увидеть Чарльза. А вместо этого увидела вселенскую катастрофу. В прихожей ее встретила Мэри, белая как полотно и в полном смятении.

— Что случилось, дитя мое?

В ответ Мэри только головой мотала. Наверху открылась дверь, и дама, подхватив юбки, побежала по лестнице, как юная девушка. На верхней площадке она увидела доктора Грогана, который сразу приложил палец к губам. Только после того как они оказались в злополучной гостиной и он усадил тетушку Трантер, доктор поведал ей о случившемся.

— Этого не может быть… этого не может быть.

— Дорогая моя, увы, увы… не только может, но и есть.

— Но Чарльз… такой любящий, такой внимательный… только вчера от него пришла телеграмма… — Она как будто перестала узнавать свою гостиную и доктора с опущенным лицом.

— Его поведение выходит за всякие рамки. Я сам не понимаю.

— Но какие он выдвинул причины?

— Она не говорит. Не тревожьтесь понапрасну. Ей нужен сон. Я ей дал все необходимое. Завтра она все объяснит

— Никакие объяснения не смогут…

Она заплакала.

— Поплачьте, моя дорогая, поплачьте. Слезы помогают.

— Бедняжка. У нее случится разрыв сердца.

— Не думаю. Я еще никогда не сталкивался с такой причиной смерти.

— Вы ее не знаете, как я… И что скажет Эмили? Вся вина ляжет на меня. — Речь зашла о ее родной сестре, миссис Фриман.

— Я считаю, что ей надо немедленно телеграфировать. Позвольте мне взять это на себя.

— О боже… и где я ее уложу?

Доктор едва заметно улыбнулся в ответ на этот

non sequitur[123]. Ему приходилось иметь дело с подобными случаями, и он знал, что самый лучший рецепт — это бесконечные женские хлопоты.

— А теперь, дорогая миссис Трантер, прошу выслушать меня внимательно. В ближайшие дни ваша племянница должна находиться под присмотром, днем и ночью. Если она захочет, чтобы с ней обращались как с инвалидом, ради бога. Если завтра захочет уехать из Лайма — пусть уезжает. Старайтесь ее развеселить. Она молодая, совершенно здоровая. Через шесть месяцев, гарантирую, она будет весело щебетать, как коноплянка.

— Какие жестокие слова! Она никогда не оправится. Этот бессердечный… да как он мог… — Она тронула доктора за рукав, озаренная внезапной догадкой. — У него есть другая женщина!

Доктор Гроган ущипнул себя за нос.

— Тут я не могу ничего сказать.

— Он чудовище!

— По крайней мере, он сам в этом признался. И потерял подругу, которую с жадностью проглотили бы другие чудовища.

— Да. Да. И на том спасибо. — Ее мозг разры-

---

[123] Примечания: 123
Алогизм (*лат.*).

вали противоречия. — Этого я ему никогда не прощу. — Тут случилось новое озарение. — Он еще в городе? Я пойду и скажу ему все, что я о нем думаю!

Доктор взял ее за руку.

— Я категорически возражаю. Он сам меня сюда вызвал. И сейчас ждет моего сообщения, что бедняжке ничего не угрожает. Мы увидимся, и, можете не сомневаться, я не стану с ним миндальничать. Я сниму с него три шкуры.

— Его следовало бы выпороть и заковать в колодки. В моей молодости так и поступали… Мой бедный, бедный ангел. — Она встала. — Я должна идти к ней.

— А я к нему.

— Скажите ему от меня, что он разрушил счастье самой милой и доверчивой…

— Да, да, да… успокойтесь. А заодно выясните, отчего ваша служанка в таком отчаянии. Можно подумать, что это *ей* разбили сердце.

Миссис Трантер проводила доктора, вытерла слезы и поднялась по лестнице в покои Эрнестины. Между задернутых штор пробивался дневной свет. Мэри сидела возле жертвы. При виде хозяйки она встала. Эрнестина глубоко спала, лежа на спине и повернув голову набок. Лицо на удивле-

ние спокойное, невозмутимое, дыхание легкое. На губах некое подобие улыбки. Ироническая изнанка этого умиротворения поразила миссис Трантер в самое сердце. Бедное дитя, когда она проснется… у тетушки снова брызнули слезы из глаз. Она их промокнула и только теперь обратила внимание на служанку. Мэри в самом деле походила на человека, ввергнутого в бездну трагедии, хотя так должна была бы выглядеть Тина… И тут она вспомнила несколько недовольный тон, прозвучавший в последних словах доктора. Она дала знак служанке следовать за собой, и они вышли на лестничную площадку, оставив дверь открытой настежь. Говорили они шепотом.

— Расскажи мне, дитя мое, что произошло.

— Мистер Чарльз меня п'звал, мэм. Мисс Тина лежала в оммороке, а он побежал за доктором. Мисс Тина открыла глаза, но ничего не гов'рит, я уложила ее в п'стель, мадам, и у нее началась изтерика, то смеется, то кричит, я прям так перпугалась. А п'том пришел доктор и ее упокоил. Ох, мэм.

— Ну все, все. Ты все правильно сделала, Мэри. Она ничего не сказала?

— Она меня спр'сила, куда ушел мистер Чарльз, я ск'зала, за доктором, тогда у нее началась из-

терика, мэм.

— Ш-ш. Ш-ш.

Мэри уже готова была перейти на крик, и наблюдались все симптомы истерики. Поскольку миссис Трантер испытывала сильное поползновение хоть кого-то успокоить, она обняла Мэри и погладила по голове. Конечно, нарушила этикет, но, думаю, небесный дворецкий не закроет врата перед ее носом. Тело девушки сотрясалось от беззвучных рыданий, которые она старалась контролировать ради другой страдалицы. Наконец, затихла.

— Ну и что стряслось?

— Сэм. Он был внизу, мэм. П'ругался с мистером Чарльзом и ск'зал, что от него уходит, мистер Чарльз ему не заплатит ни гр'ша. — Она подавила запоздалый всхлип. — И че теперь с нами будет?

— Поругался? Когда это случилось, дитя мое?

— Пер'д тем как он сюда пришел. Из-за мисс Тины, мэм.

— Но как это произошло?

— Сэм знал, что все так будет. Что мистер Чарльз… он плохой, он плохой, мэм. Мы хотели ей сказать, но не р'шились.

Из спальни донесся тихий звук. Миссис Трантер спешно заглянула внутрь… лицо спящей

оставалось спокойным. Тетушка снова вышла к поникшей служанке.

— Я с ней побуду, Мэри. А мы поговорим позже. — Девушка опустила голову еще ниже. — Этот Сэм… ты правда его любишь?

— Да, мэм.

— А он тебя?

— Иначе б он не отк'зался уехать вместе с хозяином, мэм.

— Пусть он подождет. Я хочу с ним поговорить. Мы ему найдем подходящее место.

Мэри подняла зареванное лицо.

— Я не х'чу никогда с ним не расставаться, мэм.

— И не надо… до самого дня свадьбы.

Миссис Трантер наклонилась и поцеловала ее в лоб. Потом ушла в спальню и села на кровать рядом с Эрнестиной, а Мэри отправилась на кухню. Оттуда, к явному неудовольствию поварихи, она помчалась во двор, чтобы за кустом сирени броситься в раскрытые объятья Сэма.

53

Мы же видим, куда это нас привело… настаивание на совершенстве отдельно взятой части нашей натуры, а не всей натуры в целом; выделение моральной стороны, связанной с подчинением; постановка строгой моральной ответственности во главу угла и откладывание на потом, в другой жизни, желание быть цельным во всех отношениях во имя полного и гармоничного развития человечества.

Мэтью Арнольд. Культура и анархия

— Она… ей лучше?

— Я погрузил ее в сон.

Доктор пересек комнату и остановился, руки за спину, перед окном с видом на улицу, ведущую к морю.

— Она… она ничего не сказала?

Доктор, не оборачиваясь, отрицательно покачал головой, немного помолчал, а затем резко повернулся к Чарльзу.

— Сударь, я жду объяснений!

И Чарльз их дал, скупо, не пытаясь себя выгораживать. О Саре он почти ничего не сказал. Его единственная попытка самооправдания была связана с обманом самого Грогана, который он связал с собственным убеждением, что поместить Сару в приют для душевнобольных было бы великой несправедливостью. Доктор его слушал, сохраняя напряженное, клокочущее молчание. Когда Чарльз закончил, Гроган снова отвернулся к окну.

— Жаль, что я не помню, какие именно наказания Данте уготовил для аморалистов. А то бы я прописал их вам.

— Я и без того буду достаточно наказан.

— По моим подсчетам, вряд ли.

Чарльз взял короткую паузу.

— Я отверг ваш совет после серьезных размышлений.

— Смитсон, отвергая советы, джентльмен остается джентльменом. Другое дело, когда он позволяет себе ложь.

— Я считал ее необходимой.

— Как и желание удовлетворить свою похоть.

— Я не могу согласиться с таким ярлыком.

— Привыкайте. Общество будет навешивать его на вас постоянно.

Чарльз подошел к столу и остановился, положив ладонь на столешницу.

— Послушайте, Гроган, вы бы предпочли, чтобы я прожил жизнь в притворстве? Или наш век недостаточно пронизан сладкоречивым лицемерием, восхвалением всякой фальши, заложенной в нашей природе? Вы бы хотели, чтобы я все это умножил?

— Я бы хотел, чтобы вы дважды подумали, прежде чем впутывать невинную девушку в процесс самопознания.

— Но если уж это знание нам дано, можем ли мы игнорировать его диктат? Какими бы отвратительными ни были последствия.

Доктор отвернулся с суровой гримасой. Чарльз видел, что он раздражен и взвинчен и не знает, как после этого обличения дальше воспринимать столь дерзкий вызов провинциальным условностям. В нем происходила борьба между Гроганом, прожившим четверть века в Лайме, и Гроганом, повидавшим мир. И были еще нюансы: его симпатия к Чарльзу и потаенное мнение (не слишком отличавшееся от позиции сэра Роберта), что Эрнестина хоть и симпатичная штучка, но достаточно поверхностная. А в его далеком прошлом остался эпизод, обнародовать который

мы не станем, лишь заметим, что из-за этого эпизода брошенная им фраза о похоти была не такой обезличенной, как могло показаться. Тон его продолжал оставаться осуждающим, но от вопроса о моральной стороне дела он постарался уйти.

— Смитсон, я врач. Я знаю только один верховный закон: всякое страдание есть зло. Иногда оно бывает вынужденное. Что не отменяет его фундаментальной природы.

— Не понимаю… откуда еще взяться добру, если не из зла? Как можно усовершенствовать свое «я»? Только на обломках старого.

— И попутно — на обломках несчастной девушки?

— Лучше ей один раз пострадать и от меня избавиться, чем… — Чарльз замолчал.

— Вот как. Вы уверены? — Чарльз ничего не ответил. Доктор разглядывал улицу. — Вы совершили преступление, и ваше наказание будет заключаться в том, чтобы помнить о нем всю жизнь. Не спешите отпускать себе этот грех. Все в руках смерти.

Доктор снял очки и стал их протирать зеленым шелковым платком. Пауза безнадежно затягивалась, но в конце концов он заговорил, и голос его, хотя по-прежнему неодобрительный, заметно

помягчел.

— Вы женитесь на другой?

Чарльз — метафорически — выдохнул. С момента появления Грогана он четко осознавал, что все его предыдущие умозаключения — дескать, я не дорожу мнением курортного доктора — не стоят ломаного гроша. Ирландец проявлял настоящую человечность, вызывавшую у Чарльза огромное уважение. В каком-то смысле Гроган олицетворял собой его идеал. И сейчас, понимая, что ждать полного отпущения грехов еще рановато, он смекнул, что отлучение от церкви ему все-таки не грозит.

— Это мое самое искреннее намерение.

— Она знает? Вы ей сказали?

— Да.

— И она, конечно, приняла ваше предложение?

— У меня есть все основания так думать.

Он пояснил обстоятельства, связанные с его утренним поручением Сэму. Доктор-коротышка повернулся к собеседнику.

— Смитсон, я знаю, что вы не порочный человек. Вы не пошли бы на это, если бы не поверили в искренность этой женщины со всеми ее эскападами. Но хочу вас предупредить: не будьте

таким доверчивым. А любое сомнение может в будущем бросить тень на защиту, которой вы ее обеспечиваете.

— Я уже принял это во внимание. — Чарльз позволил себе робкую улыбку. — Как и словесный туман, который мы напускаем в наших разговорах о женщинах. Они должны сидеть, точно куклы в магазине, а мы, мужчины, входим в гостиную, оцениваем их и показываем пальцем: вот *эта* мне понравилась. Если они нам такое позволяют, то мы называем их приличными, уважаемыми, скромными. Но не дай бог одной из этих кукол хватит наглости заговорить от своего имени…

— По-моему, она зашла гораздо дальше.

Чарльз не оставил выпад без внимания.

— Все ее действия считаются общепринятыми в высшем обществе. Я не понимаю, почему мы должны оправдывать жен в этом *milieu*, которые пятнают бесчестьем само понятие брака, а таким несть числа, в то время как… К тому же ее вина несоизмерима с моей. Она всего лишь послала мне свой адрес. Никто мне не мешал избежать последствий такого визита.

Доктор бросил мимолетный взгляд в его сторону. Что ж, честное признание. Он продолжал

смотреть на улицу. А заговорил он уже в своей прежней манере.

— Вероятно, это старость. Я знаю, подобные нарушения обязательств, вроде вашего, нынче настолько распространены, что, испытывая шок по этому поводу, ты выставляешь себя старым ретроградом. Но я вам скажу, что меня беспокоит. Я разделяю вашу неприязнь к словесному туману, будь то религиозному или правовому. Законы всегда казались мне белибердой, да и религия не многим лучше. Я не нападаю на вас с этих позиций и вообще не собираюсь на вас нападать. Я просто выскажу свое мнение. А заключается оно в следующем. Вы причисляете себя к касте избранных — рационалистов и ученых. Стоп, стоп, я знаю, что вы мне ответите… «Я не такой тщеславный». Допустим. И тем не менее вам *хочется* принадлежать к касте избранных. И я вас за это не осуждаю. Я сам всю жизнь этого хотел. Но, пожалуйста, запомните одну вещь, Смитсон. На протяжении всей истории человечества избранные делали акцент на своем избрании. Но Время ставит одно условие. — Доктор снял очки и повернулся к Чарльзу. — А именно. Избранные, какие бы обоснования для своего избрания они ни выдвигали, должны принести высокую мораль в

наш непросвещенный мир. А провалив этот тест, что они доказывают? Что они обыкновенные деспоты, султаны, искатели власти и наслаждений. Иными словами, жертвы собственных низменных желаний. Надеюсь, вы понимаете, к чему я веду и почему для вас, начиная отсчет с сегодняшнего грустного дня, это будет иметь особое значение. Если вы сумеете стать существом возвышенным и великодушным, то заслужите прощение. Но если станете закоренелым эгоистом… то вас ждет двойное проклятие.

Чарльз опустил глаза под этим взыскательным взором.

— Моя совесть, хотя и менее внятно, выразилась примерно так же.

— Тогда аминь. *Alea jacta est*[124]. — Он взял со стола шляпу и медицинский саквояж и направился к двери. Но уже на пороге остановился и протянул руку. — Хочу вам пожелать бодрого марша назад от Рубикона.

Чарльз ухватился за нее, как утопающий за соломинку. Он хотел что-то сказать, но не сумел. А Гроган стиснул его пальцы и уже открыл дверь. Потом в последний раз обернулся, и глаза его

---

[124] Примечания: 124
Жребий брошен (*лат.*).

блеснули.

— А если вы в течение часа не покинете город, то я вернусь с самым большим хлыстом.

Чарльз было напрягся, но, видя игривый блеск в глазах, выдавил из себя болезненную улыбку и кивнул в знак согласия. Дверь за доктором закрылась.

И он остался один на один со своим лекарством.

54

На горький север ветер дует,
А раньше дул на сладкий юг.

Артур Хью Клаф. Стихотворение (1841)

К чести Чарльза, прежде чем покинуть гостиницу «Белый лев», он велел разыскать Сэма. Ни в пивной, ни в конюшнях его не нашли. Чарльз догадывался, где сейчас слуга, но послать за ним туда не было никакой возможности, и, таким образом, он покинул Лайм, так его и не увидев. На постоялом дворе он сел в извозчичью карету и сразу задернул шторки. Пару миль он проехал, как в катафалке, и только потом раздвинул шторки и позволил закатным лучам осветить выцветшую краску и обивку внутри кареты.

Настроение улучшилось не сразу. Однако по мере того, как Лайм отступал все дальше, появилось ощущение, что с его плеч будто сняли тяжелый груз. Поражение состоялось, но он его сумел пережить. Суровое предупреждение Грогана — что всю оставшуюся жизнь ему предстоит доказывать справедливость содеянного — он при-

нял безоговорочно. Но среди роскошных зеленых полей и майских живых изгородей окрестностей Девона трудно было не различить плодоносное будущее — впереди новая жизнь и великие перемены, которые он должен оправдать. Его вина сейчас казалась почти благотворной, ведь ее искупление даст ощущение цели, коей его жизнь до сих пор была лишена.

В мозгу всплыла древнеегипетская картинка — скульптура из Британского музея, где фараон стоит рядом с супругой, которая одной рукой обняла его за талию, а другую положила ему на предплечье. Чарльзу она всегда казалась идеальной эмблемой брачной гармонии, не в последнюю очередь еще и потому, что обе фигуры вырезаны из одного камня. Он и Сара еще пока не вырезаны в такой гармонии, но они тоже из одного камня.

Его мысли обратились к будущему, к практическим материям. Сара получит в Лондоне достойное жилье. Как только он закончит первоочередные дела… избавится от дома в Кенсингтоне, складирует мебель… они уедут за границу… сначала в Германию, а зимой на юг, во Флоренцию или Рим (если семейное положение позволит), а может, в Испанию. Гранада! Альгам-

бра! Лунный свет, отдаленное пение цыган за окном и благодарность в ее нежном взгляде. Они будут лежать без сна в пропахшей жасмином комнате, обняв друг друга, бесконечно одинокие изгнанники, соединенные в своем одиночестве, неразделимые в своем изгнании.

Опустилась ночь. Чарльз высунул голову из окна кареты и увидел далекие огни Эксетера. Он крикнул кучеру, чтобы тот сначала отвез его в «Семейную гостиницу Эндикоттов». Потом снова откинулся на спинку и мысленно погрузился в предстоящую сцену. Разумеется, ничего плотского… ради Эрнестины и самой Сары. Он уже снова видел неподражаемую живую картинку: нежное молчание, он держит ее руки в своих ладонях…

И вот они приехали. Велев кучеру подождать, Чарльз вошел в гостиницу и постучал в дверь миссис Эндикотт.

— О, это вы, сэр.

— Мисс Вудраф ждет меня. Я сам к ней поднимусь.

Он уже направился к лестнице, когда услышал вдогонку:

— Но молодая дама съехала, сэр!

— Съехала? Вы хотите сказать «вышла»?

— Нет, сэр. Именно съехала.

Он смотрел на хозяйку, чувствуя, как у него подгибаются колени.

— Она уехала утренним поездом в Лондон, сэр.

— Но я… вы уверены?

— Как и в то, что я тут стою перед вами, сэр. Я отчетливо слышала, как она сказала кучеру: «На вокзал». Он спросил ее, какой поезд, и она так же просто, как я говорю с вами, ответила: «Лондонский». — Пухленькая пожилая дама подошла к нему поближе. — Я сама была удивлена, сэр. У нее же оплачены три дня вперед.

— И она не оставила адреса?

— Ни строчки, сэр. Не сказала мне ни слова, куда направляется. — Эта черная метка явно перечеркнула для хозяйки хорошую новость, что жиличка не потребовала назад свои деньги.

— Она мне не оставила письма?

— Я подумала, что она уезжает с вами, сэр. Это я позволила себе такую вольность.

Продолжать разговор было выше его сил.

— Вот моя визитная карточка. Если она напишет… дайте мне знать. Без промедления. Вот. За услуги и почтовые расходы.

Миссис Эндикотт благодарно разулыбалась.

— О, благодарю вас, сэр. Без промедления.

Он вышел… и тут же вернулся.

— Этим утром приходил слуга… с письмом и пакетом для мисс Вудраф? — Хозяйка глядела на него с непониманием. — Сразу после восьми.

Ее лицо по-прежнему ничего не выражало. Она позвала Бетси Энн и устроила ей допрос с пристрастием… пока гость внезапно не оставил их вдвоем.

Он сел в карету и закрыл глаза. Полное отсутствие воли, состояние абулии. Если бы не его щепетильность, если бы он сразу вернулся… но Сэм. Сэм! Вор! Шпион! Уж не соблазнился ли щедростью мистера Фримана? Или преступление стало следствием обиды из-за этих поганых трехсот фунтов? Только теперь Чарльз по-настоящему оценил ситуацию в Лайме: Сэм понимал, что его махинации раскроются, как только они приедут в Эксетер, и тогда он вскрыл и прочитал письмо… Чарльз густо покраснел, хотя в сумерках никто бы этого не заметил. Если они когда-нибудь увидятся, он свернет шею своему бывшему слуге. Он даже подумывал о том, чтобы обратиться в полицейский участок с обвинениями… в воровстве как минимум. Но тут же осознал бесполезность такого шага. И разве это поможет решить главную проблему — найти Сару?

В темноте, которая его обступила, забрезжил

слабый огонек. Она уехала в Лондон, она знала, что он живет в Лондоне! Но если бы она хотела постучаться в его дверь, как однажды предположил Гроган, то не логичнее ли было бы приехать в Лайм, где он как раз находился? И не он ли решил, что все ее намерения продиктованы соображениями чести? В ее глазах дело выглядело так, что он от нее отрекся и навеки для нее потерян. Огонек мигнул и погас.

В ту ночь он сделал нечто такое, чего не позволял себе много лет. Опустился рядом с кроватью на колени и совершил молитву. А молился о том, что рано или поздно он ее найдет. Даже если придется на это потратить всю жизнь.

55

– Ему снишься ты! – закричал Траляля и радостно захлопал в ладоши. – Если б он не видел тебя во сне, где бы, интересно, ты была?

– Там, где я и есть, конечно, – сказала Алиса.

– А вот и ошибаешься! – возразил с презрением Траляля. – Тебя бы тогда вообще нигде не было! Ты просто снишься ему во сне.

– Если этот вот король вдруг проснется, – подтвердил Труляля, – ты сразу же – фьють! – потухнешь, как свеча!

– Ну нет, – возмутилась Алиса[125].

Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье (1872)

На следующее утро Чарльз приехал на станцию на редкость удачно и, проследив за тем, как его вещи погрузят в багажное отделение (не джентльменское это дело), устроился в пустом

---

[125] Примечания: 125
Перевод Н. Демуровой.

купе первого класса и с нетерпением стал ждать отправления. Время от времени другие пассажиры заглядывали в окно и получали отпор, этакий взгляд Горгоны Медузы («Это купе не для прокаженных!»), которым так хорошо умеют пользоваться англичане. Наконец прозвучал свисток, и Чарльз подумал, что он добился-таки одиночества, о каком мечтал. Но в последний момент в окно заглянула бородатая физиономия. На ледяной взгляд мужчина ответил еще более ледяным, так как опаздывал на поезд.

Пробормотав «Извините, сэр», пассажир уселся в дальнем конце купе. Лет сорока, цилиндр надет ровненько, руки положил на колени, отдувается. В нем было что-то агрессивно защитное… может, он вовсе и не джентльмен, а амбициозный дворецкий (хотя дворецкие не путешествуют первым классом) или успешный проповедник без духовного сана — один из этих воинственных протестантских сектантов, будущий Сперджин[126], обращающий души тем, что бичует их дешевой риторикой о вечном проклятии. Исключительно неприятный персонаж, решил Чарльз, и доста-

[126] Примечания: 126

Чарльз Хэддон Сперджин (1834–1892) — представитель реформистской баптистской церкви в Англии, известный как «король проповедников».

точно типичный по нынешним временам. Если пожелает завязать разговор, то получит полный отлуп.

Как часто бывает, когда человек исподтишка на кого-то поглядывает, Чарльза поймали с поличным и недвусмысленно враждебным взглядом дали понять, чтобы он не зарывался. Чарльз тут же уставился в окно, утешая себя тем, что персонаж, по крайней мере, так же, как и он, избегает общения.

Очень скоро убаюкивающий ритм движения погрузил Чарльза в сладкий сон. Лондон, конечно, большой город, но ей же понадобится работа. А у него есть время, возможности и воля. Пройдет неделя-другая, и она появится у него на пороге или, возможно, подбросит в почтовый ящик свой новый адрес. Колеса отстукивали: она-не-так-жестока, она-не-так-жестока, она-не-так-жестока… Поезд рассекал зелено-рыжую равнину в направлении Калломптона. Чарльз увидел церковь, не зная, где она находится, и вскоре снова закрыл глаза. Предыдущую ночь он почти не спал.

Какое-то время пассажир не обращал внимания на спящего. Но по мере того как подбородок опускался все ниже и ниже — Чарльз не зря принял меры предосторожности, сняв шляпу, — мужчи-

на с бородой пророка стал пассажира откровенно разглядывать, понимая, что *его* любопытству ничто не угрожает.

Взгляд у мужчины был особенный: оценивающий, раздумчивый и более чем неодобрительный, как будто он знал, с кем имеет дело (вот так же и Чарльз видел его насквозь), и ни это знание, ни данная порода не вызывала у него никакого удовольствия. Сейчас, когда за ним не наблюдали, мужчина выглядел не столь холодным и авторитарным, но была в нем какая-то неприятная самоуверенность… или, во всяком случае, уверенность в своем праве судить окружающих: что можно от них взять, чего от них ожидать, как на них надавить.

Подобный беглый интерес вполне объясним. Дорога утомительная, почему бы себя не развлечь, подсмотрев за незнакомцем? Но этот взгляд был прямо-таки каннибалистским и не ограничился одной минуткой. Он вышел за пределы Тонтона, хотя и прервался ненадолго во время остановки в городке, когда Чарльза ненадолго разбудили голоса на платформе. Но стоило ему снова погрузиться в сон, как глаза пассажира повторно в него впились, точно пиявки.

Однажды и вы, столкнувшись с подобным

взглядом в контексте нашего не столь замкнутого века, можете задуматься. Въедливый наблюдатель даже не станет дожидаться, пока вы заснете. В этом будет что-то неприятное, даже сексуально-извращенное… желание узнать о вас нечто такое, чего не должен знать посторонний. Мой опыт подсказывает мне, что существует только одна профессия, которая предполагает подобный взгляд, соединивший в себе любопытство и авторитарность, иронию и домогательство.

Как я могу тебя использовать?

Что мне с тобой делать?

Таким я всегда себе представлял взгляд всемогущего бога — если бы подобный абсурд оказался реальностью. Не тот «божественный взгляд», о каком мы часто думаем, а откровенно низменного и двусмысленного морального свойства (на что указывают теоретики *nouveau roman*[127]). Именно таким представляется мне взгляд бородача, направленный на Чарльза. И я не собираюсь делать вид, что этого не замечаю.

Вопрос же, который я себе задаю, глядя на спя-

[127] Примечания: 127

«Новый роман» или «антироман» — название литературного направления во французской прозе, сложившегося в конце 1940-х — начале 1960-х годов и противопоставившего свои произведения социально-критическому.

щего, отличается от двух вышеназванных. И что теперь мне с тобой делать, черт тебя дери? У меня уже мелькнула мысль поставить крест на будущем Чарльза, распрощаться с ним в этом поезде, идущем в Лондон. Однако условности викторианской прозы не оставляют права на открытый, неопределенный финал, да и я уже ратовал за то, что персонажам должна быть предоставлена свобода. Проблема моя проста. Желания Чарльза нам ясны? Более чем. Но вот желания героини не столь очевидны, и я даже толком не понимаю, где она сейчас находится. Если бы эти двое были реальными лицами, а не плодами моего воображения, дилемма решалась бы просто: один жаждущий битвы столкнулся бы с другим, а там уж кто победит. Обычно беллетристика делает вид, что подстраивается под реальность: писатель помещает конфликтующие желания на ринге, а затем описывает схватку… хотя на самом деле показывает нам договорной матч, позволяя тому, кому он благоволит, одержать победу. А мы оцениваем писателя с точки зрения мастерства, с каким он предопределяет схватку (то есть делает вид, что ничего не предопределено), и характера победителя, на чьей стороне он оказался: хороший или злой, трагический,

смешной и так далее.

Но главный аргумент договорного матча — это показать читателю, каким автор видит окружающий мир, является ли писатель пессимистом или оптимистом, если на то пошло. Я делал вид, будто вернулся в 1867 год, но ведь это было добрых сто лет назад. И тут бесполезно демонстрировать оптимизм или пессимизм, ибо мы хорошо знаем, что с тех пор произошло.

Вот почему я продолжаю разглядывать Чарльза и не вижу никакой необходимости в том, чтобы устраивать договорняк. Это оставляет мне альтернативу: пускай схватка идет своим ходом, а я буду ее лишь фиксировать, либо я болею за обе стороны. Я смотрю на это несколько женственное, но не такое уж никчемное лицо. И по мере приближения к Лондону, кажется, я нахожу решение… сама дилемма фальшивая. Единственная для меня возможность не принимать участия в схватке — это показать обе версии. Но тут возникает проблема: я же не могу изложить две версии одновременно, а значит, вторая по счету будет выглядеть как окончательная и «реальная» — так уж велика тирания последней главы.

Итак, я достаю из кармана двубортного пальто бумажник и, положив флорин на ноготь большо-

го пальца правой руки, подбрасываю его на пару футов и ловлю монету левой рукой.

Да будет так. И вдруг я понимаю, что Чарльз открыл глаза и смотрит на меня. В его глазах я читаю не просто неодобрение, он считает меня то ли шулером, то ли умственно отсталым. Я ему возвращаю свое неодобрение… а заодно флорин в кошелек. Он берет шляпу, стряхивает невидимую пылинку (считайте, меня) и водружает ее на голову.

Мы въезжаем под огромные чугунные стропила, поддерживающие крышу Паддингтонского вокзала, и поезд останавливается. Чарльз спускается на платформу, подзывает носильщика. Дав указания, оглядывается. Но бородач уже растворился в толпе.

56

Дай нам, Христос, хотя б на час
Увидеть близкие нам души.
Как там живут они без нас?
Незнанье все смутней и глуше.

Альфред Теннисон. Мод

Частная контора под патронажем аристократии и личным контролем самого мистера Поллаки. Связана как с британской, так и с иностранной детективной полицией. ДЕЛИКАТНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРИВАТНО И БЫСТРО В АНГЛИИ, НА КОНТИНЕНТЕ И В КОЛОНИЯХ. СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ В ДЕЛАХ О РАЗВОДЕ И Т. Д.

Викторианское объявление

Пройдет неделя-другая, и она появится у него на пороге… Пошла уже третья неделя, а она так и не появилась. И никаких вопросов к Чарльзу.

Здесь и там, где только он ее ни искал.

Он нанял четырех детективов. Уж не знаю, находились ли они под личным контролем мистера Поллаки, но трудились в поте лица. А как иначе? Этой профессии было от роду одиннадцать лет, и она вызывала всеобщее презрение. В 1866 году считалось, что мужчина, зарезавший кого-то насмерть, совершил благое дело. «Если человек ведет себя как палач, — предупреждал «Панч», — пусть будет готов к последствиям».

Назначенцы Чарльза безуспешно обошли все агентства по найму гувернанток и педсоветы в церковных школах самых разных вероисповеданий. Он сам, наняв экипаж, часами бесплодно мотался по бедным лондонским кварталам, вглядываясь в каждое женское личико. Где-то здесь должна жить Сара: в Пекхаме, или Пентонвилле, или Патни. Он объехал десятки похожих районов с аккуратными недавно вымощенными дорогами и односемейными домами. Он помогал детективам проверять женские клерикальные агентства, которые росли как грибы. В них проявлялось общее враждебное отношение к Адаму, так как они вовсю сталкивались с мужскими предрассудками и являлись важными ростками будущего движения за эмансипацию. Этот опыт, пусть и

бесполезный в плане поставленной задачи, не прошел даром для Чарльза. Постепенно он начал лучше понимать Сару — ее горечь из-за несправедливости общества предрассудков, которые при желании можно искоренить.

Однажды он проснулся в глубокой депрессии. Страшная перспектива ухода в проститутки, о чем она когда-то намекнула, показалась ему явью. Вечером в состоянии паники он отправился в некогда им посещенный Хеймаркет. Уж не знаю, какие мысли посещали извозчика, но он наверняка подумал о том, что имеет дело с на редкость разборчивым мужчиной. За пару часов они изъездили эти улочки вдоль и поперек. А остановились лишь однажды при виде рыжей проститутки под газовым фонарем. Но два коротких стука трости в верх пролетки заставили возницу продолжить путь.

Другие последствия выбранной им свободы не заставили себя долго ждать. На отправленное в конце концов письмо мистеру Фриману десять дней не было ответа. И тут — пугающий знак! — ему персонально вручили послание от его поверенных, которое ему пришлось подписать.

В отношении мисс Эрнестины Фриман

Сэр, мистер Эрнест Фриман, отец вышеупомянутой мисс Эрнестины Фриман, уполномочил нас просить вас явиться по этому адресу в 3 часа дня в ближайшую пятницу. Ваша неявка будет рассматриваться как подтверждение права нашего клиента к принятию дальнейших действий.

Обри и Багготт

С этим письмом Чарльз обратился к своим поверенным, занимавшимся семейными делами Смитсонов с восемнадцатого века. Монтегью-младший, напротив которого сейчас сидел наш смущенный грешник, был не намного старше его. Когда-то оба учились в Уинчестере, и, хотя они никогда не были близкими друзьями, их связывали теплые отношения.

— Что все это означает, Гарри?

— Это означает, мой дорогой, что ты тот еще везунчик. Они сильно напуганы.

— Тогда зачем они хотят меня видеть?

— Они тебя просто так не отпустят, Чарльз. Не надейся. Я подозреваю, что они потребуют от тебя *confessio delicti*.

— Признание вины?

— Именно так. Боюсь, что тебя ждет довольно гадкий документ. И я тебе советую его подписать. Других вариантов у тебя нет.

В пятницу Чарльз и Монтегью прошли в комнату ожидания похоронного вида в здании одной из четырех лондонских школ барристеров. У Чарльза возникло такое чувство, что ему предстоит дуэль, а Монтегью — его секундант. Их заставили ждать до пятнадцати минут четвертого. Поскольку Монтегью предсказал вероятность этого предварительного покаяния, они к нему отнеслись как к забаве, хотя и несколько нервной.

Наконец их пригласили. Из-за большого стола встал низкорослый холерического вида пожилой мужчина. За ним, чуть поодаль, стоял мистер Фриман. Он сразу вперился в Чарльза холодными глазами, уже безо всяких веселых искорок. Чарльз ему кивнул, но ответа не последовало. Поверенные обменялись коротким рукопожатием. В комнате присутствовало еще одно лицо — высокий худощавый лысоватый мужчина с цепкими темными глазами, и при виде его Монтегью едва заметно вздрогнул.

— Ты знаешь барристера Мерфи?

— Что-то слышал, в общих чертах.

В викторианскую эпоху барристер высшего ранга считался лучшим поверенным, и этого Мерфи, адвоката-убийцы, боялись как огня.

Жестом пригласив вошедших занять стулья,

мистер Обри снова уселся. А Фриман продолжал стоять как изваяние. Мистер Обри перебирал бумаги, и это дало Чарльзу время оценить давящую атмосферу подобных заведений: заумные тома, свертки пергамента, перехваченные зеленой тесьмой, тоскливые коробки с мертвыми делами, возвышающиеся по всей комнате, как урны с прахом, и превращающие ее в этакий колумбарий.

Старый поверенный поднял суровое лицо.

— Мне кажется, мистер Монтегью, что сам факт столь вызывающего разрыва помолвки даже не обсуждается. Я не знаю, в каком виде ваш клиент представил вам свое поведение. Но он дал исчерпывающие свидетельства своей вины в письме мистеру Фриману, хотя, замечу, со свойственной ему наглостью попытался…

— Мистер Обри, подобные выражения среди…

И тут барристер Мерфи сделал выпад:

— Хотите услышать выражения, которые употреблю я, мистер Монтегью… в открытом суде?

Тот сделал вдох и опустил голову. Старый Обри смотрел на него с сильным неодобрением.

— Монтегью, я хорошо знал вашего покойного деда. Я полагаю, он бы дважды подумал, прежде чем браться за дело такого клиента… но оставим пока эту тему. Я считаю, что это письмо… — он

поднял его вверх, словно щипцами, — я считаю, что это постыдное письмо лишь добавляет дерзкое оскорбление к и без того грубой ране… Тут и бессовестная попытка самооправдания, и полное отсутствие ссылок на преступную и грязную связь, которая, как автору письма отлично известно, ложится черным пятном на то, что было им содеяно. — Обри посмотрел исподлобья на Чарльза. — Вы, сэр, видимо, полагали, что мистеру Фриману ничего не известно о ваших амурных делах. Вы ошибались. Нам известно имя женщины, с которой вы вступили в эти низкие отношения. У нас есть свидетель обстоятельств настолько непотребных, что я даже не рискую их обнародовать.

Чарльз густо покраснел. Мистер Фриман так и впился в него взглядом. Ему осталось лишь опустить глаза и мысленно послать проклятья Сэму. Тут подал голос Монтегью:

— Мой клиент пришел не затем, чтобы защищать свое поведение.

— Значит, вы не станете оспаривать иск?

— Как человек высокоавторитетный в нашей профессии вы должны понимать, что я не могу отвечать на этот вопрос.

Тут снова вмешался барристер Мерфи:

— Вы не станете оспаривать иск, если он будет подан?

— При всем уважении, сэр, я должен промолчать.

На губах барристера заиграла волчья ухмылка.

— Значит, мы не говорим о судебной тяжбе, мистер Монтегью.

— Мы можем продолжить, мистер Обри?

Мистер Обри глянул на барристера, и тот мрачно кивнул.

— Это не тот случай, мистер Монтегью, когда следовало бы до конца отстаивать свою позицию. — Он опять зашелестел бумагами. — Буду краток. Я ясно изложил мистеру Фриману свою позицию. За годы моей работы… долгие годы… я впервые столкнулся со столь вызывающим образцом бесчестного поведения. Даже если ваш клиент не осознавал всей суровости неизбежного наказания, я твердо считаю, что подобное злонамеренное поведение должно послужить уроком для остальных. — Он взял долгую паузу, чтобы его слова дошли до сознания. Щеки у Чарльза пылали, и он не мог с этим ничего поделать. Слава богу, мистер Фриман перестал сверлить его глазами, зато барристер Мерфи хорошо знал, как добивать смущенного ответчика. Как сказал бы

восхищавшийся им младший коллега, его лицо приняло выражение василиска, где одинаково выразительно сочетались ирония и садизм.

А мистер Обри, несколько меняя тон, торжественно продолжил:

— Однако мистер Фриман по причинам, в которые я не стану вдаваться, решил проявить неожиданное для такого дела милосердие. Он не намерен, если его условие будет выполнено, немедленно подавать в суд.

Чарльз сглотнул и посмотрел на Монтегью.

— Мой клиент, не сомневаюсь, будет ему премного благодарен.

— Следуя неоценимому совету… — мистер Обри кивнул в сторону барристера, и тот кивнул в ответ, не сводя глаз с несчастного Чарльза, — …я подготовил документ о признании вины. Уточняю, решение мистера Фримана не подавать в суд строго зависит от подписания вашим клиентом этой бумаги, прямо сейчас, в присутствии всех свидетелей.

Он передал бумагу Монтегью, тот быстро глянул в нее и обратился к мистеру Обри:

— Могу я попросить пять минут, чтобы обсудить это с моим клиентом?

— Я удивлен, что в данном случае требуется

какое-то обсуждение. — Мистер Обри несколько надулся, но Монтегью не отступал. — Ну хорошо, хорошо. Если вы настаиваете.

Чарльз и его поверенный снова оказались в мрачной комнате ожидания. Монтегью изучил документ и сухо передал его своему клиенту.

— Вот твое лекарство. Тебе придется его принять, мой дорогой.

И пока поверенный глядел в окно, Чарльз прочел свое признание вины.

Я, Чарльз Элджернон Генри Смитсон, будучи в полном здравии и ясном сознании, с единственной целью установить правду, признаю следующее:

1. Я дал брачный обет мисс Эрнестине Фриман.

2. Неповинная сторона (упомянутая мисс Фриман) не дала мне никого повода нарушить свою клятву.

3. Я был в полном объеме и во всех деталях извещен о ее положении в обществе, ее характере, ее приданом и перспективах еще до нашей помолвки, и то, что я узнал впоследствии о мисс Эрнестине Фриман, не отрицало и не противоречило сказанному ранее.

4. Я разорвал этот обет без каких-либо поводов или оснований, кроме моего собственного пре-

ступного эгоизма и безверия.

5. Я вступил в тайную связь с женщиной по имени Сара Эмили Вудраф, проживавшей в Лайм-Риджисе и Эксетере, и сделал все, чтобы об этой связи не узнали.

6. Мое поведение было бесчестным, и я навсегда утратил право считаться джентльменом.

Далее я признаю право потерпевшей стороны выдвинуть против меня обвинения *sine die*[128] и без предварительных условий.

Далее я признаю, что потерпевшая сторона вправе употребить сей документ по своему усмотрению.

Далее я заявляю, что я ставлю подпись по собственной воле, в полной мере понимая все перечисленные условия, полностью осознавая свое поведение и без какого-либо принуждения, без предварительного или будущего умысла, а также без права исправлять, опровергать, возражать или отрицать какие-либо пункты сего документа, ныне и впредь, соглашаясь со всеми перечисленными условиями.

— У тебя есть что сказать по этому поводу?

— Я полагаю, что вокруг этого текста были

---

[128] Примечания: 128

Без назначения даты, то есть без ограничения во времени (*лат.*).

споры. Никакому адвокату не понравился бы шестой пункт. Если дойдет до суда, то можно доказывать, что ни один джентльмен, даже самый глупый, не сделал бы такого признания, только под давлением. Все в руках защитника. Так что эта бумага даже нам на руку. Я удивлен, что Обри и Мерфи пошли на это. Могу предположить, что все исходило от папы. Он пожелал вытереть об тебя ноги.

— Какая мерзость.

Казалось, Чарльз сейчас порвет бумагу на клочки. Монтегью осторожно забрал у него листок.

— Закон не озабочен выяснением истины, Чарльз. Пора бы уже это знать.

— А… «потерпевшая сторона вправе употребить сей документ по своему усмотрению»… как прикажете понимать?

— Например, разместить его в «Таймсе». Кажется, что-то подобное проделали несколько лет назад. Но у меня такое ощущение, что старина Фриман не желает предавать дело огласке. Если бы он хотел упрятать тебя за решетку, то вызвал бы в суд.

— Значит, мне следует подписать.

— Если ты настаиваешь, я могу попробовать смягчить отдельные формулировки… чтобы у

тебя появились основания сослаться на смягчающие обстоятельства, если дело дойдет до суда. Но я бы тебе решительно не советовал. Их безапелляционный тон скорее играет тебе на руку. Лучше всего будет заплатить эту цену. Тогда, в случае чего, мы заявим, что документ был составлен чертовски жестоко.

Чарльз кивнул. Они немного постояли молча.

— Еще один момент, Гарри. Я хотел бы знать, в каком состоянии Эрнестина. Сам я не могу задать ему этот вопрос.

— Я попробую переговорить со стариком Обри по окончании. Он не такая уж скотина. Приходится подыгрывать папе.

Они вернулись, и признание было подписано — сначала Чарльзом, а затем всеми присутствующими. Исключительно стоя. А затем повисла неловкая пауза. И тут впервые заговорил мистер Фриман.

— Впредь, негодяй, не смейте омрачать мою жизнь. Если бы я был помоложе…

— Дорогой мистер Фриман!

Резкий окрик старика Обри заставил клиента умолкнуть. Чарльз, помешкав, кивнул двум поверенным и покинул комнату в сопровождении собственного. Уже за дверьми Монтегью ему

сказал:

— Подожди меня в экипаже.

Через несколько минут он сидел с ним рядом.

— Она в порядке, насколько это возможно. Его слова. Еще он дал мне понять, что предпримет Фриман, если ты затеешь очередные брачные игры. Он покажет подписанный тобой документ твоему новому тестю. Иными словами, он желает, чтобы ты оставался холостяком до конца дней.

— Я догадывался.

— А еще старик Обри мне намекнул, кому ты обязан своим условно-досрочным освобождением.

— Ей? Об этом я тоже догадывался.

— Он бы с удовольствием сделал из тебя отбивную, но, судя по всему, решения в этом семействе принимает молодая особа.

Экипаж проехал добрую сотню ярдов, прежде чем снова заговорил Чарльз.

— Моя репутация навеки испорчена.

— Мой дорогой Чарльз, если ты повел себя как мусульманин в мире пуритан, то не удивляйся такой реакции. Я, как любой мужчина, падок на красивые лодыжки. Так что я тебя ни в чем не виню. Только не говори мне, что цена неоправданно высокая.

Экипаж катил дальше. Чарльз угрюмо разглядывал улицу, залитую солнцем.

— Лучше было бы мне умереть.

— Тогда давай заедем в «Верриз» и разделаем парочку лобстеров. А заодно ты мне расскажешь перед смертью о загадочной мисс Вудраф.

Эта унизительная процедура угнетала Чарльза еще долго. Он отчаянно мечтал уехать за границу, и больше в Англию ни ногой. Элитный клуб, друзья-приятели… ни с кем не хотелось встречаться. Он дал строгие указания — никого не принимаю. Всего себя посвятил поиску Сары. Однажды частные детективы обнаружили некую мисс Вудбери, недавно поступившую в женскую академию в лондонском районе Сток Ньюингтон. Рыжая, по всем приметам похожа. Он провел мучительный час в ожидании перед академией. И вот вышла мисс Вудбери во главе крокодильего хвоста из юных барышень. На Сару она была похожа весьма отдаленно.

Наступил чудесный июнь. Чарльз не сбавлял обороты, однако к концу месяца он прекратил поиски. Хотя команда детективов сохраняла оптимизм, без оплаты далеко не уедешь. Помимо Лондона они обшарили Эксетер и даже послали человека в Лайм и Чармут, чтобы он там незамет-

но навел справки, но все впустую. Как-то вечером Чарльз пригласил Монтегью поужинать с ним в кенсингтонском доме и с жалостной откровенностью отдал свою судьбу в его руки. Что делать? Ответ последовал незамедлительно: уехать за границу.

— Но какую цель она преследовала? Отдаться мне… а потом от меня избавиться, как будто я для нее ничего не значу!

— Есть сильное предположение, уж прости, что ты попал в самую точку. Может, этот доктор был прав? Ты уверен, что ею руководила не мстительная жажда уничтожения? Разрушить твои планы… раздавить тебя, что она и сделала?

— Не могу в это поверить.

— Но, *prima facie*[129], ты *должен* в это поверить.

— За всеми ее баснями и обманами скрывалась искренность… честность. Может, она умерла. У нее не было денег. Не было семьи.

— С твоего позволения, я могу послать клерка просмотреть метрические книги.

Чарльз воспринял этот разумный совет почти как оскорбление. Впрочем, уже на следующий

---

[129] Примечания: 129
На первый взгляд (*лат.*).

день им воспользовался. Записи о смерти Сары Вудраф не обнаружили.

Еще неделю он тянул. И однажды вечером, внезапно, все-таки решил уехать за границу.

57

Нам в школе вторила судьба,
Что в жизни каждый за себя,
А двоечник – добыча черта!

Артур Хью Клаф. Стихотворение

А теперь давайте перенесемся на двадцать месяцев вперед. На дворе короткий февральский день 1869 года. За это время Гладстон добрался-таки до Даунинг-Стрит, 10;[130] в Англии состоялась последняя публичная казнь; вот-вот появятся эссе «Сегрегация женщин» Джона Стюарта Милля и Гиртон-колледж. Темза все такая же безрадостная глинисто-серая. Зато небо над ней презрительно синее, и, глядя вверх, можно подумать, что ты во Флоренции.

А если посмотреть под ноги, на новую набережную в Челси, то можно увидеть на земле следы снега. Но в солнечном свете угадывается призрак подступающей весны. Я уверен, что барышня, которая могла бы толкать детскую коляску (но пока не может, поскольку они появятся только

---

[130] Примечания: 130
Резиденция премьер-министра Великобритании.

через десять лет), никогда не слышала о Катулле, а даже если бы и слышала, осталась бы равнодушной ко всем этим сентенциям о несчастной любви. А вот к весне она была неравнодушна. Только что она оставила дома (в миле отсюда, если идти на запад) живой продукт предыдущей весны, забинтованный и спеленатый так, что он с успехом мог бы сойти за луковицу, предназначенную к посадке. И еще нетрудно заметить, при всей продуманности одежки, что она, как любая хорошая садовница, предпочитает сажать не одну луковицу. Есть что-то такое в неспешной замедленной походке будущей матери: вроде бы никакого вызова миру, а все-таки проглядывает.

Эта праздная и по-своему горделивая барышня ненадолго опирается на парапет и глядит на текущие серые воды. Розовые щечки и великолепные, прикрытые пшеничными ресницами глаза, совсем немного уступающие в синеве небесам над головой, но не в яркости. Такое невинное создание не могло родиться в Лондоне. Но когда она разворачивается и окидывает взором красивый ряд каменных домов, новых и старых, выходящих фасадами к реке, становится понятно, что она не имеет ничего против столицы. В ней нет никакой зависти при виде богатых особняков, только

наивная радость, что такая красота возможна.

Со стороны центрального Лондона приближается двухколесный экипаж. В сине-серых глазах промелькнуло непреходящее изумление, что подобные, вроде бы банальные элементы столичной жизни действительно существуют. Экипаж останавливается перед большим особняком напротив. Из него выходит женщина и достает из кошелька монету.

У барышни, стоящей на набережной, отваливается нижняя челюсть. Розовые щечки бледнеют, а затем покрываются румянцем. Кучер в благодарность трогает двумя пальцами поля шляпы. А его пассажирка быстро направляется к парадной двери. Наша барышня подходит к обочине, прячась за стволом дерева. Женщина открывает парадную дверь и скрывается в доме.

— Эт б'ла она, Сэм! Я видела ее, прям как тебя…

— Не м'гу поверить.

На самом деле может. Какое-то шестое или седьмое чувство ему давно подсказывало: что-то такое должно произойти. Приехав в Лондон, он наведался к старой поварихе миссис Роджерс и узнал от нее во всех подробностях о последних черных неделях Чарльза в Кенсингтоне. Это было уже давно. Внешне он разделял ее неодобрение

действиями их прежнего хозяина. Но в душе что-то свербело: одно дело сводить людей и другое дело разводить.

Сэм и Мэри смотрели друг на друга — она со смутным изумлением, он с таким смутным сомнением, — стоя в крошечной, но неплохо обставленной передней. В камине ярко полыхало. Тут дверь открылась, и вошла служанка-малютка, скромница лет четырнадцати, с отчасти распеленавшимся младенцем — последним достойным урожаем из того самого амбара, насколько я понимаю. Сэм сразу его забрал и давай нянчить под недовольные выкрики, что он проделывал всякий раз, возвращаясь с работы. Мэри вырвала у него драгоценный груз, ухмыльнувшись по поводу действий глупого папаши, а стоящая на пороге бывшая беспризорница заулыбалась им обоим. И вот сейчас-то стало особенно заметно, что Мэри хорошо беременна вторым ребенком.

— Любовь моя, пойду-ка я опр'кину рюмочку. А ты, Хэрриэт, г'товь ужин.

— Да, сэр. Через полчаса будет г'тов.

— Вот и умница. Мммм. — Он чмокнул Мэри в щечку с таким видом, будто у него нет ничего на уме, и пощекотал бочок младенцу.

Пять минут спустя, сидя в засыпанном опилка-

ми углу соседнего трактира со стаканом джина, разбавленного горячей водой, он уже не выглядел таким счастливым. Хотя казалось бы. Он не открыл свой магазин, но получил неплохое предложение. Первый ребенок оказался девочкой, но разочарование было недолгим, и он был уверен, что вскоре ситуацию удастся поправить.

В Лайме он разыграл партию как по нотам. Тетушка Трантер сразу дала слабину. Сэм, не без помощи Мэри, бросился к ее ногам. Разве он не потерял все, известив хозяина о своем уходе? Не благой ли вестью было обещание мистера Чарльза одолжить ему четыреста фунтов (всегда проси с запасом) под открытие бизнеса?

— О каком бизнесе шла речь?

— Как у мистера Фримана, мэм, только г'раздо скромнее.

И свою козырную карту — Сара — он выложил когда надо. Первые дни он держал рот на замке по поводу постыдных тайн своего бывшего хозяина. Тетушка Трантер проявила редкую доброту — полковник Лок из «Иерихонского дома» как раз искал слугу, так что Сэм недолго оставался безработным. И холостяком тоже, причем брачная церемония прошла за счет хозяйки невесты. Как он мог не отплатить ей тем же?

Как все одинокие пожилые дамы, тетушка Трантер постоянно искала, кого бы приютить и кому бы помочь. Ей не дали забыть о том, что Сэм мечтает заняться галантерейным бизнесом. И вот однажды, будучи в Лондоне у сестры, она решила завести разговор с зятем. Его первая реакция была «нет». Но тут она ему деликатно напомнила о том, как достойно себя повел молодой слуга, и он тотчас, лучше, чем миссис Трантер, смекнул, как можно в своих интересах использовать информацию Сэма.

— Хорошо, Энн. Я посмотрю, какие есть варианты. Может, и найдется вакансия.

Так, в результате, Сэм получил должность, самую что ни на есть низовую, в огромном магазине. Но для начала неплохо. Недостаток образования он компенсировал природной смекалкой. Опыт слуги помог ему в работе с покупателями. Одевался он безупречно. А однажды и вовсе сотворил нечто.

Был великолепный апрельский день, спустя шесть месяцев после его переезда в Лондон с женой и за девять месяцев до вышеописанного вечера, когда он сидел в трактире в разобранном виде. Мистер Фриман решил прогуляться пешком от Гайд-парка до своего магазина. И вот он прошел

мимо сомкнутых рядов окон и вошел внутрь под вывеской, от которой его работники на первом этаже вздрагивали, чесали репу или, наоборот, согласно кивали. Посетителей в этот ранний час почти не было. Он в своей привычной манере сеньора приветственно приподнимал цилиндр и вдруг, ко всеобщему изумлению, развернулся и снова вышел на улицу. Нервный завотделом помчался следом. Он увидел, что магнат стоит перед входом и таращится на витрину. Сердце служащего упало, и он скромно пристроился позади шефа.

— Эксперимент, мистер Фриман. Я немедленно прикажу это убрать.

Рядом остановились еще три человека. Бросив на них беглый взгляд, мистер Фриман взял завотделом под локоть и отвел подальше.

— Понаблюдайте, мистер Симпсон.

Они наблюдали минут пять. Люди проходили мимо других витрин и останавливались перед этой. Или, как ранее он сам, проскочив мимо, возвращались, чтобы хорошенько ее рассмотреть.

Боюсь, что мое описание только испортит впечатление. Но если бы вы видели другие витрины, однообразно заставленные и так же однообразно поданные, вы бы оценили разницу. И еще нужно

помнить, что, в отличие от нашего века, когда даже самые чудесные представители человечества поклоняются великому богу по имени Публичность, викторианцы придерживались абсурдной веры в то, что хороший товар сам себя хвалит и, стало быть, не нуждается в плюще[131]. На фоне простой драпировки из темного пурпура, в поражающем воображение разнообразии, висели на тонких проволочках мужские воротнички всех мыслимых форм, размеров и стилей. Но, что самое поразительное, из них складывались слова. И эти слова кричали, можно сказать, взывали к покупателям:

Фриман на выбор

— Вот лучшая витрина этого года, мистер Симпсон.

— Так точно, мистер Фриман. Очень смело. И завлекательно.

— «Фриман на выбор». Это именно то, что мы предлагаем, а иначе зачем столько товара? «Фриман на выбор» — отлично! Я хочу, чтобы отныне эти слова появились во всех наших рекламах и

[131] Примечания: 131

По старому обычаю трактирщики вывешивали ветки плюща в знак того, что в продаже имеется вино.

объявлениях.

Он направился к парадному входу. Завотделом улыбнулся.

— Этим во многом мы обязаны вам, сэр. Помните молодого человека, Фэрроу, которого вы лично приняли в команду?

Мистер Фриман остановился.

— Фэрроу… а по имени Сэм?

— Кажется, так, сэр.

— Приведите его ко мне.

— Он пришел в пять часов, сэр, специально, чтобы оформить эту витрину.

Вот так смущенный Сэм наконец оказался лицом к лицу с великим человеком.

— Отличная работа, Фэрроу.

Сэм низко поклонился.

— Я сделал это с уд'вольствием, сэр.

— Сколько мы платим Фэрроу, мистер Симпсон?

— Двадцать пять шиллингов, сэр.

— Двадцать семь и шесть пенсов.

Хозяин зашагал прочь, так что Сэм даже не успел его поблагодарить. А впереди его ждал новый сюрприз: когда он пришел за жалованьем в конце недели, в конверте лежали еще три соверена и карточка со словами: «Бонус за рвение

и выдумку».

За следующие девять месяцев его жалованье выросло до умопомрачительных тридцати двух шиллингов и шести пенсов. И, поскольку он вошел в команду оформителей витрин, у него зародилось сильное подозрение, что достаточно будет попросить прибавку, и он ее получит.

Сэм взял еще изрядную порцию джина и вернулся на место. Его беда — дефект, который его потомкам, играющим в публичные игры, удалось преодолеть — заключалась в том, что у него была совесть… или назовите это ощущением незаслуженного счастья и удачи. Фаустианский миф архетипичен для цивилизованного человека. И неважно, что тогдашняя цивилизация не удосужилась объяснить Сэму, кто такой Фауст; он был наслышан о пактах с дьяволом и об их последствиях. Поначалу у тебя все идет отлично, но в один прекрасный день дьявол потребует расплаты. Фортуна — тот еще надсмотрщик, она стимулирует воображение, которое способно предсказать потери, да еще приписать их зачастую своей доброте.

А еще его мучило то, что он так и не рассказал Мэри о своих подвигах. Других секретов у них не было, и ее суждения он ценил. Время от времени

изначальное желание стать хозяином собственного магазина овладевало им с новой силой. Разве он не доказал, что у него есть природные способности? Но Мэри с ее трезвым крестьянским подходом к тому, на какой поляне лучше всего играть, мягко — а пару раз даже и не очень мягко — посылала его назад к жерновам на Оксфорд-стрит.

Статус сладкой парочки, пусть даже это пока не отражалось в их акценте и словарном запасе, рос как на дрожжах, в чем оба отдавали себе отчет. Для Мэри это был сон наяву. Быть замужем за мужчиной, зарабатывающим больше тридцати шиллингов в неделю! Тогда как ее родной отец, ломовой извозчик, не поднимался выше десяти! Жить в доме, где аренда стоит девятнадцать шиллингов в год!

И, самое удивительное, Сэм недавно отбирал из одиннадцати кандидатов одного на вакантное место, которое сам же занимал всего два года назад! Но почему из одиннадцати, недоумевала она. Боюсь, что в глазах Мэри настоящей хозяйкой могла считаться только та, чьи желания было трудно удовлетворить — тут она брала пример не столько с тетушки, сколько с племянницы. А при найме служанки она прибегла к процедуре,

весьма распространенной среди девушек, коим достались молодые привлекательные мужья. Ее выбор основывался не на сметке и полезности, а главным образом на внешней непривлекательности. И когда она призналась супругу, что предложила Хэрриэт шесть фунтов в год из жалости, это было не так уж далеко от истины.

Вернувшись к ужину из бараньего рагу после двойной порции джина, Сэм приобнял жену за пухлую талию и поцеловал, а затем его взгляд упал на мозаичную брошь в виде цветка у нее на груди. Эту брошь она всегда носила дома и перед выходом снимала, а то еще, не дай бог, задушит какой-нибудь ворюга.

— Как п’живают наша жемчужина с опалом?

Она улыбнулась и чуть вздернула грудь.

— Рад’ются тебе, Сэм.

Они разглядывали эмблему своей удачи — в ее случае заслуженной; в его случае наконец полностью оплаченной.

58

Я искал, но вотще.
Душою ее
Уже не согрелось
Сердце мое!
Ушла навеки, навеки.

Томас Харди. В приморском городе

А что же Чарльз? Мне жаль детектива, которому бы пришлось выслеживать его на протяжении этих двадцати месяцев. Он ненадолго засветился чуть ли не в каждом европейском городе. Его засекли египетские пирамиды и Святая земля. Он обозрел, при этом ничего не видя, тысячу местностей и окрестностей, включая Грецию и Сицилию, которые были для Чарльза всего лишь тонкой стеной, отделявшей его от небытия, воплощением пустоты и бесцельности. Если он где-то задерживался чуть подольше, его охватывали невыносимая летаргия и меланхолия. Он впал в зависимость от смены мест, как наркоман от опиума. Обычно он путешествовал один, в лучшем случае в сопровождении драгомана

или местного курьера-прислужника. Изредка он присоединялся к компании форестьеров — как правило, французов или немцев, — но через несколько дней они ему надоедали. Англичан он избегал как чумы, а когда все-таки сталкивался с толпой дружелюбных соотечественников, сразу останавливал их холодным взглядом.

Палеонтология, отныне слишком эмоционально связанная с событиями фатальной весны, его больше не интересовала. Перед тем как выставить кенсингтонский дом на продажу, он разрешил Геологическому музею приложить руку к его коллекции, а что осталось — раздал студентам. Мебель отправилась на склад. Монтегью получил указание снова сдать в аренду дом в Белгравии, когда нынешняя закончится. Сам он жить в этом доме не будет уже никогда.

Он много читал и вел дневник своих путешествий, но это был взгляд вовне, на достопримечательности и происшествия, а не внутрь себя — просто способ заполнить время долгими вечерами в безлюдных караван-сараях и *alberghi*[132]. Единственным способом самовыражения стали для него стихи. Он открыл в Теннисоне величие,

---

[132] Примечания: 132
Гостиницы (*итал.*).

сопоставимое с дарвиновским в его области. Правда, не там, где его находили современники, если говорить о поэте-лауреате. Поэма «Мод», повсеместно презираемая, считавшаяся недостойной мастера, стала его любимейшей. Он перечел ее раз десять, а отдельные отрывки и вовсе раз сто. С этой книгой он не расставался. Его собственные вирши не шли ни в какое сравнение, и он скорее бы умер, чем показал их кому-либо. Вот короткий отрывок, дающий представление о том, каким он себя видел в период добровольного изгнания.

Жестокие моря, враждебные вершины,
Чужие города мелькают предо мной,
И то, что для других – счастливые картины,
Воспринимаю я треклятою дырой.
Я жизни задаю вопросы снова, снова:
Ну почему я здесь? Что привело сюда?
Я от стыда бегу? Или закон суровый
Погнал, погнал меня из дома навсегда?

А теперь, когда вы попробовали на вкус эти строчки, позвольте мне процитировать действительно великие стихи, заученные Чарльзом

наизусть, и тут мы бы с ним сошлись: возможно, это лучшее стихотворение викторианской эпохи.

Мы в океане, как в ограде,
Проливом разъединены.
Мы – острова на водной глади,
Мы, смертные, живем одни.
И узнаем лишь по отливам,
Как мир безбрежен – вот цена
Всем этим лунным переливам.
Но вдруг – нежданная весна!
Свои божественные трели
Заводят в рощах соловьи,
И в этом сладостном похмелье
Мы оживаем, и свои
Мольбы отчаянно и страстно
К таким же островам мы шлем.
Ведь были на заре прекрасной
Одним большим материком…
Что помешает нам однажды
Вновь берега соединить?
Ужель не утолить нам жажды,

Не протянуть былую нить?
Но есть Божественная воля,
И всем нам до скончанья лет
Лежать одним под толщей соли.
Есть приговор – спасенья нет[133].

Но, даже пребывая в этом сбивающем с толку мраке, Чарльз ни разу не подумал о суициде. Рисуя себе радужную перспективу освобождения от своего возраста, предков, социального класса и родной страны, он толком не понимал, какую свободу олицетворяла собой Сара, мечтавшая о совместном изгнании. В собственную свободу он уже не верил, считая, что он просто поменял западни или тюремные камеры. Впрочем, даже в его самоизоляции было за что держаться: он изгой, он не такой, как другие, результат решения, на которое мало кто отважится, вне зависимости от того, мудрое оно или глупое. Порой при виде какой-нибудь супружеской пары он вспоминал об Эрнестине. И заглядывал себе в душу. Он им завидует или сочувствует? Сам он не испытывал особых сожалений. Сколь бы горькой ни была его судьба, она выглядела достойнее, чем та, какую

[133] Примечания: 133
Мэтью Арнольд. Маргарите (1853).

он отверг.

Эти европейские и средиземноморские скитания продолжались пятнадцать месяцев, и за все это время его нога ни разу не ступила на родную землю. Он ни с кем не переписывался, отправляя лишь редкие деловые письма Монтегью — инструкции, куда высылать деньги, и тому подобное. Периодически его поверенный должен был печатать объявления в лондонских газетах: «Если Сара Эмили Вудраф или кто-то из ее знакомых сообщат адрес проживания…» Но отклика так и не последовало.

Сэр Роберт с огорчением воспринял письменное известие о расторжении помолвки, но со временем, купаясь в сладкой патоке собственного грядущего счастья, махнул рукой на это дело. Какие его годы, черт побери, найдет себе еще не одну невесту, наверняка и получше, к тому же избавил дядю от сомнительного родства с этим Фриманом. Перед отъездом из Англии племянник приехал познакомиться с миссис Беллой Томкинс. Дама ему не понравилась, и он искренне пожалел дядюшку. От повторного предложения «Маленького дома» он отказался. Имени Сары не упоминал. Он пообещал вернуться на свадьбу, но потом придумал прекрасную отговорку: маля-

рия. Близнецы, вопреки его фантазиям, на свет не появились, зато, когда пошел тринадцатый месяц его изгнания, у дяди родился сын и наследник. К тому времени он так далеко зашел в своей безнадежности, что после отправки поздравительного письма испытывал лишь одно желание — чтобы его нога больше не ступала на землю Уинсайетта.

Если чисто технически Чарльз не блюл себя — в лучших европейских отелях было хорошо известно, что английские джентльмены выезжают за границу, чтобы оттянуться, и такие возможности им предоставлялись, — то эмоционально он сохранял целомудрие. Он совершал (или извращал) половой акт с молчаливым цинизмом… примерно так же, как взирал на древнегреческие храмы или принимал пищу. Гигиеническая процедура. Мир без любви. Порой в какой-нибудь церкви или художественной галерее он на мгновение воображал, что Сара рядом. И вдруг распрямлялся, делал глубокий вдох. Он не только запретил себе роскошь бесплодной ностальгии; он уже все хуже понимал, где проходит граница между реальной Сарой и Сарой его грез: если первая — назовем ее Евой — олицетворяла все таинства, глубинные смыслы и саму любовь, то вторая была

полусумасшедшей интриганкой-гувернанткой из затерянного приморского городка. А представляя себе их случайную встречу, полагал, что не увидит в ней ничего, кроме собственной дури и заблуждений. Хотя публикацию объявлений в газетах он не отменил, но все чаще склонялся к мысли: не откликается — ну и хорошо.

Его главным врагом была скука, и именно она как-то вечером в Париже подсказала, что этот самый Париж ему надоел, и снова тащиться в Италию, или Испанию, или еще куда-то неохота, и тут-то он и решил, что пора домой.

Вы наверняка подумали, что я имею в виду Англию, но нет. Для Чарльза она перестала быть домом, хотя он туда и съездил на неделю после Парижа. Так получилось, что из Леггорна в Париж он ехал в компании двух американцев — пожилого джентльмена и его племянника из Филадельфии. Может, все объяснялось удовольствием от разговоров на не совсем чужом языке; в общем, Чарльз проникся к ним симпатией. Их примитивные реакции на достопримечательности — он лично водил их по Авиньону и привез повосхищаться аббатством Везле, — само собой, приводили в изумление. Зато никакого лицемерия. Они не производили впечатление глупых

янки, которые, в представлении викторианцев, населяли Штаты. Их простоватость сводилась исключительно к полному незнанию Европы.

Старший филадельфиец в действительности был человек начитанный и тонкий знаток жизни. Однажды после ужина они с Чарльзом затеяли длинную дискуссию (племянник выступал в роли слушателя) касательно перспектив Англии и ее взбунтовавшихся колоний, и критические, хотя и вежливо сформулированные, замечания американца о родине-матушке затронули душевные струны нашего героя. За американским акцентом скрывались взгляды, мало чем отличавшиеся от его собственных. Он даже разглядел вдали, пускай смутно и только с помощью дарвинистских аналогий, как Америка обгоняет старые виды. Это вовсе не означает, что он стал подумывать об эмиграции, хотя тысячи английских бедняков ежегодно отправлялись за океан. Но Ханаанская земля, которую они себе представляли (тут срабатывала самая наглая ложь в истории рекламы), сильно отличалась от той, какая виделась ему: страна, где живут трезвомыслящие, простые в обращении джентльмены — вроде этого филадельфийца и его племянника, слушающего их с прилежным вниманием. Дядя сформулировал

свою мысль предельно четко: «Мы, в целом, говорим, что думаем. А из Лондона, уж простите, мистер Смитсон, я унес впечатление такое: *только не говори, о чем ты думаешь, и да поможет тебе Бог»*.

Но это еще не все. Чарльз поделился своими мыслями с Монтегью во время их ужина в Лондоне. К Америке тот отнесся с прохладцей.

— Я сомневаюсь, что там много златоустов на один акр, Чарльз. Ты не можешь выступать как доверенное лицо отбросов общества из Европы и одновременно представлять цивилизованный слой. Хотя, вероятно, их старые города будут поприличнее. — Он сделал глоток портвейна. — А кстати, *вот где* она могла бы оказаться. Такая мысль наверняка приходила тебе в голову. Я слышал, дешевые пакетботы заполнены женщинами в поисках мужей. Для *нее*, конечно, есть другие резоны, — поспешил он добавить.

— Я об этом не думал. По правде сказать, в последние месяцы я вообще о ней редко думаю. Все надежды рухнули.

— Тогда поезжай в Америку и утоли свою печаль на груди какой-нибудь прекрасной По-

кахонтас[134]. Говорят, у родовитого английского джентльмена при желании есть отличный выбор из числа самых красивых девушек. *Pour la dot comme pour la figure*[135].

Чарльз улыбнулся. То ли при мысли об особенно красивых девушках, то ли вспомнив об уже заказанном билете через океан, о чем он еще не успел сказать Монтегью… сие оставим нашему воображению.

[134] Примечания: 134

Покахонтас (1595–1617) — «маленькая проказница», прозвище индейской принцессы Матоака, жившей на территории современной Виргинии.

[135] Примечания: 135

К выбору приданого надо подходить, как к выбору фигуры (*фр*.).

59

Устал уже в себе копаться —
Кем стал и должен быть какой.
Так пусть корабль несет по морю
За путеводною звездой.

Мэтью Арнольд. Независимость (1854)

Переход из Ливерпуля в Бостон выдался не слишком удачным. Чарльз частенько склонялся над чашей для морской болезни, а когда его не тошнило, снова и снова задавался вопросом, за каким чертом его понесло на другой, куда более примитивный край света. А может, оно и к лучшему. Он представлял себе Бостон как жалкое скопление срубов, поэтому реальность, когда в одно прекрасное солнечное утро его взору предстали дома из теплого кирпича и с белыми деревянными шпилями, не говоря уже о впечатляющем золотом куполе, его приятно удивила. И первое впечатление не оказалось обманчивым. Как когда-то он запал на двух филадельфийцев,

так сейчас его обворожило бостонское общество с его милотой и открытостью. Не сказать, чтобы его чествовали, но за неделю два или три рекомендательных письма привели к приглашениям в несколько приличных домов. Его позвали в «Атенеум»[136]; он, на минуточку, обменялся рукопожатием с сенатором; он пожал морщинистую лапу поистине значительной фигуры, пусть и не столь пугающе красноречивой, — старика Дейне, родоначальника американской литературы, коему на тот момент пошел восьмидесятый год. А вот с куда более знаменитым автором, с которым было бы интересно поговорить, получи он доступ к кругу Лоуэлла в Кембридже, — тот как раз подумывал о прямо противоположном решении, если иметь в виду мотивы и предрасположение, а речь, в общем-то, идет о корабле, стоящем пока на якоре, но готовом поплыть в обратном направлении и совершить изнурительный и локсодромный переход до поистине богатой, хотя и заиленной, гавани английского Рая (нет, мне не следует обезьянничать, подражая мастеру), — так вот, с Лоуэллом Чарльз так и не встретился.

Хотя он отдал долг вежливости, посетив «Колы-

---

[136] Примечания: 136
Научное общество.

бель свободы» в Фэньюэл-холле, ему пришлось столкнуться с определенной враждебностью, поскольку Британии так и не простили ее недавнего окольного участия в Гражданской войне, и существовал стереотип — Джон Булль, такой же вульгарно упрощенный, как дядя Сэм. Однако Чарльз явно не вписывался в этот образ: он утверждал, что война за независимость была справедливой, он восхищался Бостоном как центром американской науки, движением против рабства и много чем еще. Он отвечал на допросы с пристрастием по поводу «Бостонского чаепития»[137] и «красных мундиров»[138] невозмутимой улыбкой и тщательно подбирал слова, дабы не выглядеть снисходительным. Мне кажется, его особенно порадовали две вещи: восхитительная новизна природы (незнакомые растения, деревья, птицы) и, после посещения Гарварда на противоположной стороне реки, названной его именем, некоторые удивительные, доселе незнакомые образцы окаменелостей. И

[137] Примечания: 137

В 1773 году партия чая была сброшена в море с английских кораблей в знак протеста против беспошлинного ввоза англичанами чая в Северную Америку.

[138] Примечания: 138

Прозвище английских солдат.

еще одна радость — сами американцы. Поначалу он обратил внимание на некоторое отсутствие иронии, и пару раз ему пришлось выкручиваться после неловкого *contretemps*[139], когда с юмором брошенные фразы были восприняты буквально. Зато какие плюсы… Откровенность, прямые подходы, прелестное любопытство в сочетании с открытым гостеприимством… наивность, но с таким здоровым цветом лица после набеленных европейских лиц. И почти сразу в женском ракурсе. Молодые американки были куда более свободными в обращении, чем их европейские современницы. Заокеанское движение эмансипации насчитывало уже добрых два десятка лет. Их прямота казалась Чарльзу необыкновенно привлекательной.

И они отвечали ему взаимностью. Превосходство социальных вкусов по женской части, по крайней мере в Бостоне, по-прежнему с готовностью демонстрировалось Лондону. Он, того и гляди, потерял бы сердце, но его держал в клещах убийственный документ мистера Фримана, который мысленно вырастал между ним и всяким невинным женским личиком. Лишь одно лицо

---

[139] Примечания: 139
Непредвиденное осложнение (*фр.*).

могло бы его простить и прогнать видение.

К тому же во многих американках ему чудилась тень Сары — тот же вызов, та же прямота. В каком-то смысле они воскресили ее образ. Эта удивительная женщина чувствовала бы себя здесь как дома. Он все чаще возвращался к гипотезе Монтегью… может, она и правда где-то здесь? До этого он провел пятнадцать месяцев в странах, где национальный колорит как во внешности, так и в манере одеваться редко вызывал в памяти родной образ. А тут его в основном окружали женщины англосаксонского и ирландского происхождения. В первые же дни он раз десять вздрагивал, заметив рыжие волосы особого оттенка, или свободную походку, или характерную фигуру.

Однажды, идя через пустырь в «Атенеум», он увидел впереди девушку на незаметной тропинке. Он пошел за ней прямо по траве, настолько был уверен. Но нет, не Сара. Пришлось пробормотать извинения. Он шел дальше, сам не свой от эмоциональной встряски. На следующий день он дал объявление в бостонской газете. После этого он давал объявления в каждом городе, где оказался.

После того как выпал первый снег, Чарльз

взял курс на юг. Он посетил Манхэттен, и там ему понравилось меньше, чем в Бостоне. Затем провел очень приятную неделю у своих друзей, с которыми познакомился во Франции, и шутка «Первый приз — неделя в Филадельфии, второй приз — две недели в Филадельфии» не показалась ему справедливой. Оттуда он двинул дальше на юг: Балтимор, Вашингтон, Ричмонд, Роли. Постоянная радость от новизны природы и климата… только не политического (на дворе декабрь 1868 года), который был далек от приятного. Чарльз побывал в городах, где царила разруха и жители, жертвы реконструкции Юга, не скрывали своей горечи. Никудышный президент Эндрю Джонсон вот-вот должен был передать полномочия совсем уже провальному Улиссу Гранту. В Виргинии Чарльз снова почувствовал себя англичанином, хотя по иронии судьбы — впрочем, он ее не оценил, — предки джентльменов, с которыми он вел беседы в этом штате, а также в Северной и Южной Каролине, входили в немногочисленную колониальную аристократию, которая в 1775 году поддерживала революцию. Он даже своими ушами слышал невероятные разговоры о выходе из федерации и воссоединении с Великобританией. Ему удалось дипломатично выйти без послед-

ствий из этих передряг, и, не очень-то понимая, что происходит, он про себя отмечал поражающую воображение необъятность территории и энергию недовольства разделенной нации.

Его чувства, возможно, не слишком отличались от того, что испытывает современный англичанин, оказавшийся в Соединенных Штатах. Столько хорошего и столько отталкивающего; столько прямодушия и столько крючкотворства; столько брутальности и насилия… и такая тяга к более совершенному обществу. Январь он провел в разбитом Чарльстоне — и там впервые задумался: я путешествую или эмигрировал? Он заметил, что все чаще употребляет отдельные обороты местной речи и интонации, что принимает ту или иную сторону… а точнее, разрывается, как сама Америка: считает правильной отмену рабства и при этом симпатизирует разгневанным южанам, отлично понимающим, что́ в реальности стояло за призывами «саквояжников»[140] к эмансипации негров. Он чувствовал себя как дома что среди милых дам, что в компании злобных капитанов и полковников. Но потом вспоминал

[140] Примечания: 140

Северяне, добившиеся влияния и богатства на юге после Гражданской войны 1861–1865 гг.

Бостон… розовые щечки и совсем белые души… или назовем их пуританскими. Там, если подводить итоги, он был счастливее. И, словно в доказательство от противного, отправился еще дальше на юг.

Он уже не скучал. Американский опыт — или, уточним, Америка того времени дала ему (или, лучше сказать, вернула) веру в свободу. Решимость, которую он видел вокруг себя, взять в свои руки судьбу нации, как бы неудачно все поначалу ни складывалось, производила скорее раскрепощающий эффект, чем депрессивный. Он начал видеть подчас смешную провинциальность американцев как оборотную сторону отсутствия лицемерия. А очевидные свидетельства глухого недовольства и желание взять закон в свои руки — процесс, неизбежно превращающий судью в палача, — короче, эндемия насилия, спровоцированная заточенной под свободу конституцией, получила до какой-то степени оправдание в его глазах. Юг весь проникся духом анархии, но даже это казалось Чарльзу предпочтительнее, чем жесткое, железобетонное правление в его родной стране.

Но все это он признавал наедине с собой. Однажды тихим вечером, еще в Чарльстоне, он стоял

на мысе лицом к Европе, от которой его отделяли три тысячи миль. И там написались стихи — несколько получше тех, что вы прочли недавно.

За высшей правдою приплыли,
Что в Альбионе на замке?
Иль молодые были, в силе?
Мы лишь гадаем вдалеке.
Стою, чужак в стране далекой,
Но мне идеи их близки.
Их будущее светлооко,
Придут счастливые деньки,

Когда на этих голых скалах,
Где слышен ненависти лай,
Где разнобой больших и малых,
Построен будет вечный рай.
Зачем сегодня мать смеялась
Над неуклюжим малышом?
А завтра, вымахав, в отместку
Он посрамит ее и резко
Навек покинет отчий дом?

И сушу наводнят пришельцы,
И будет поступь их тверда.

А глядя на восток в смятенье,
Осанну пропоют теченью,
Их всех прибившему сюда.

Вот давайте там, в окружении ямбических морей и материков, наедине с риторическими вопросами и оставим на пять минут «чужака в стране далекой».

Прошло почти три месяца с тех пор, как Мэри сообщила сногсшибательную новость, — и вот уже конец апреля. А за это время Сэм еще больше задолжал Фортуне, которая подарила ему столь желанное «второе издание», мужское. На дворе был воскресный вечер с золотисто-зелеными почками и колокольным звоном, а в доме на первом этаже позванивала посуда — молодая, уже ходячая жена вместе со служанкой накрывали стол для ужина, пока маленькая девочка пыталась встать на ноги, а рядом ее трехнедельный братик лежал на животе. Его темные, ничего не соображающие глазенки, вызывавшие восхищение у отца («Хитрый, обезьянка такая»), выдавали явно не бостонское происхождение последнего.

Двумя днями позже Чарльз, к тому времени перебравшийся в Новый Орлеан, вернулся в го-

стиницу после прогулки по Vieux Carre[141]. Клерк вручил ему телеграмму:

ЕЕ НАШЛИ. ЛОНДОН. МОНТЕГЬЮ

Чарльз прочел и отвернулся. Сколько же воды утекло… Он смотрел на оживленную улицу, ничего не видя. На глаза, словно из ниоткуда, навернулись слезы. Он вышел на крыльцо и закурил дешевую американскую сигару. Через пару минут он вернулся к стойке.

— Когда отплывает ближайший пароход в Европу?

[141] Примечания: 141
Старый уголок (*фр.*), более известный как Французский квартал.

60

И вот Лалаж идет,
И вот она пришла!

Томас Харди. В ожидании ее прихода

У моста он отпустил экипаж. Последний день мая, теплый, изобильный, фасады домов закрыты купами деревьев, синее небо наполовину затянуто белыми облаками. Тень от одного такого облака на минуту закрыла район Челси, а пакгаузы по ту сторону реки по-прежнему были освещены солнцем.

Монтегью подробностей не знал. Информация пришла по почте — листок бумаги, а на нем только имя и адрес. Стоя возле стола своего поверенного, Чарльз вспомнил предыдущий адрес, полученный им от Сары… но этот был выведен твердыми печатными буквами. И только в краткости проглядывал ее почерк.

Следуя полученному по телеграфу приказу Чарльза, Монтегью действовал с величайшей осмотрительностью. К ней не подходить, чтобы не спугнуть и не дать повода к очередному бегству. Клерк в роли детектива, со словесным

портретом героини в кармане (таким же располагали настоящие детективы), позже доложил, что молодая женщина, отвечающая этому описанию, действительно живет по данному адресу под именем миссис Рафвуд. Изобретательная перестановка слогов развеяла всякие сомнения по поводу достоверности информации… и, после первого короткого шока, перечеркнула мысль о замужестве. Подобная стратегия была достаточно распространена среди одиноких женщин в Лондоне и лишь доказывала обратное. Сара не вышла замуж.

— Я вижу на конверте лондонский штемпель. У тебя есть предположение…

— Письмо здешнее — стало быть, отправитель читал наши объявления. Адресовано оно лично тебе — то есть он знает, на кого мы работаем, но при этом не заинтересован в предлагаемой награде. Из чего, мне кажется, следует, что за этим стоит сама молодая леди.

— Но тогда почему она так долго не объявлялась? К тому же это не ее почерк.

Монтегью молча изобразил недоумение.

— Ваш клерк раздобыл еще какую-нибудь информацию?

— Он следовал инструкциям, Чарльз. Я ему

запретил задавать какие-либо вопросы. По счастливому случаю он расслышал, как сосед пожелал ей доброго утра. Так мы узнали ее фамилию.

— А что за дом?

— Уважаемая семейная резиденция. Слова клерка.

— Наверное, она там служит гувернанткой.

— Весьма вероятно.

Чарльз отвернулся к окну и очень вовремя, поскольку, судя по взгляду поверенного, тот был с ним не до конца откровенным. Да, он запретил клерку задавать вопросы, но себе-то он не запретил допрашивать клерка.

— Ты думаешь с ней встретиться?

— Дорогой Гарри, если я пересек Атлантику… — Чарльз извинительной улыбкой загладил резкий тон. — Я знаю, о чем ты хочешь спросить. У меня нет ответа. Это слишком личное, уж прости. Сказать по правде, я и сам сейчас плохо разбираюсь в своих чувствах. Мне кажется, я что-то пойму, только когда ее снова увижу. Пока могу сказать одно… наваждение продолжается. Я *должен* с ней поговорить… ты меня понимаешь.

— Задать вопросы Сфинксу.

— Можно сказать и так.

— Главное, не забывай, что случилось с теми,

кто не смог решить его загадку.

Чарльз отреагировал кислой гримасой.

— Если альтернативой является смерть или полное молчание, то можешь приготовить похоронную речь.

— Я все-таки подозреваю, что она не понадобится.

И оба улыбнулись.

Но сейчас, подходя к дому Сфинкса, Чарльз не улыбался. Он совсем не знал этот квартал — возможно, это такой ухудшенный вариант Гринвича, место, где вышедшие на пенсию морские офицеры заканчивают свои дни. Викторианская Темза была погрязнее, чем сегодня, и каждая волна выбрасывала на берег кучу мусора. Однажды запах стал до того непереносимым, что члены Палаты лордов покинули зал заседаний. Во всем обвиняли холеру. Так что дом на реке вовсе не являлся признаком социального статуса, как в наш дезодорированный век. При этом Чарльз про себя отметил, что дома довольно красивые. Если их жителей еще можно было обвинить в извращенном вкусе в плане выбора среды обитания, то, по крайней мере, их сюда привела не бедность.

Наконец, с внутренней дрожью, бледным

лицом и ощущением собственной униженности, — его новое американское «я» отступило перед грозным закоренелым прошлым, и он смущенно осознал себя джентльменом, пришедшим к служанке, стоящей выше него, — он подошел к роковым воротам из ковкого чугуна. От них дорожка вела к высокому кирпичному дому, который почти целиком, до самой крыши, спрятался под роскошным покровом глицинии, как раз начавшей открывать первые бледно-голубые цветочные гроздья.

Он взялся за медное кольцо и стукнул два раза. Секунд двадцать подождал и стукнул дополнительно. На этот раз дверь открылась. Перед ним стояла служанка. За ее спиной он увидел широкий зал с таким количеством картин, что это больше смахивало на художественную галерею.

— Я бы хотел поговорить с миссис… Рафвуд. Она здесь живет, если не ошибаюсь.

Перед ним стояло стройное юное существо с большими глазищами и без привычного кружевного чепца на голове. Если бы не передник, он бы вообще не знал, как к ней обращаться.

— Простите, как вас зовут?

Он отметил, что она не добавила «сэр». Может, она и не служанка, слишком уж хороший у нее

акцент. Он вручил ей свою визитную карточку.

— Пожалуйста, скажите ей, что я проделал немалый путь, чтобы ее увидеть.

Она, нисколько не смущаясь, прочла визитку. Все-таки не служанка. Похоже, она заколебалась. И тут из темноты послышались шаги. Появился мужчина лет на шесть-семь постарше Чарльза. Девушка повернулась к нему с благодарностью.

— Этот джентльмен желает видеть Сару.

— Вот как?

Он держал в руке гусиное перо. Чарльз, стоя на пороге, снял шляпу.

— Если вы не возражаете… личные мотивы… Я знал ее задолго до ее переезда в Лондон.

В придирчивом, хотя и беглом взгляде мужчины промелькнуло что-то неприятное… показная демонстрация своей небрежной лощености с еврейским налетом… такой молодой Дизраэли. Мужчина перевел взгляд на девушку.

— Она сейчас…

— Кажется, они просто разговаривают.

«Они»… очевидно, «с детьми», ее подопечными.

— Тогда проводи гостя наверх, дорогая. Сэр…

Мужчина слегка кивнул Чарльзу и исчез так же неожиданно, как появился. Девушка сделала

знак следовать за ней, предоставив ему самому закрыть за собой дверь. Пока она поднималась по лестнице, он успел разглядеть отдельные картины и рисунки, а их здесь было предостаточно. Будучи знаком с современным изобразительным искусством, Чарльз узнал школу, к которой принадлежали многие работы, и знаменитого автора, чья монограмма стояла на отдельных полотнах. Фурор, вызванный его творчеством лет двадцать назад, изрядно поутих, а то, что тогда требовали сжечь, сейчас стоило немалых денег. Стало быть, мужчина с гусиным пером — коллекционер провокационного искусства и уж точно человек с достатком.

Перед Чарльзом маячила стройная женская спина, а стены встречали его новыми картинами провокационных художников. Но теперь он был слишком озабочен другими мыслями, чтобы обращать на них внимание. Они прошли еще один пролет, и тут он рискнул задать вопрос:

— Миссис Рафвуд служит гувернанткой?

Девушка остановилась и с удивлением, словно он ее позабавил, на него посмотрела, прежде чем опустить глаза.

— Она уже не гувернантка.

И, бросив на него быстрый взгляд, продолжила

путь наверх.

Вот и вторая лестничная площадка. Его гид, юная Сивилла, подошла к двери.

— Пожалуйста, подождите здесь.

Она ушла, оставив дверь нараспашку. Чарльз разглядел открытое окно и кружевную занавеску, слегка колышущуюся от летнего ветерка, а за шелестящей листвой где-то там угадывалась река. Доносились приглушенные голоса. Он переместился для лучшего обзора. Теперь он увидел двух джентльменов. Они стояли перед картиной на мольберте, поставленном так, чтобы свет падал из окна. Высокий мужчина нагнулся, дабы получше рассмотреть какую-то деталь, и стоящий за ним встретился взглядом с Чарльзом. Мужчина сделал едва заметное движение, а затем перевел взор на кого-то в другом конце комнаты.

Чарльз оторопел.

Это лицо было ему знакомо. Когда-то он добрый час выслушивал его разглагольствования, сидя рядом с Эрнестиной. Невероятно, но… и этот мужчина, встретивший его внизу! Эти картины и рисунки! Он спешно отвел глаза в сторону высокого окна в конце лестничной площадки с видом на зеленый сад позади дома. Он чувствовал себя так, словно провалился в забытый ночной

кошмар. Он не видел ничего, кроме абсурда собственной убежденности, что падшие женщины должны и дальше падать. Разве не за этим он сюда пришел — чтобы совладать с законом земного тяготения? Потрясение, которое он испытал, было сравнимо с потрясением человека, узревшего мир, стоящий на голове.

Какой-то шорох.

Он повернул голову. Перед ним стояла *она*. Рука лежит на медном набалдашнике — закрыла за собой дверь, резко перекрыв солнечный свет, и черты лица не сразу удается толком разглядеть.

Но платье! Настолько неожиданное, что он даже засомневался, она ли это. Мысленно он всегда представлял ее в старых обносках… затравленное лицо в черном вдовьем обличье. А тут вдруг Новая Женщина, дерзко отвергающая все формальные ограничения современной моды! Юбка цвета индиго, перехваченная малиновым пояском с золотой пряжкой в виде звезды, шелковая блузка в бело-розовую полоску, вся разлетающаяся, с длинными рукавами, с изящным воротничком из белого кружева, к которому пришпилена маленькая камея. Волосы, подвязанные красной лентой, свободно раскинулись по спине.

Это наэлектризованное богемное видение

вызвало у Чарльза две немедленные реакции: первая — что она выглядит не старше на два года, а на два года моложе, и вторая — что в каком-то непостижимом смысле он не в Англию вернулся, а, сделав разворот, снова оказался в Америке. Именно так одеваются там передовые молодые женщины. После всех этих кошмарных турнюров, корсетов и кринолинов они выбирают простоту и привлекательность. Американский стиль с его подковырками и парадоксально кокетливыми намеками на эмансипацию Чарльз находил весьма привлекательным. И вот сейчас, когда вспыхнули новые подозрения, его щеки приобрели оттенок, не слишком отличающийся от гвоздичного цвета полосок на блузке Сары.

Но вместе с шоком — вот она теперь какая! — он испытал облегчение. Глаза, губы, подспудный вызов… все это никуда не исчезло. Она была все тем же удивительным созданием из его счастливых воспоминаний — только черная куколка расцвела, реализовалась, окрылилась.

Долгих десять секунд оба не проронили ни слова. Но вот она сомкнула руки поверх золотой пряжки на груди и опустила глаза.

— Как вы здесь оказались, мистер Смитсон?

Она не присылала ему своего адреса. И не испы-

тывала благодарности по поводу его прихода. Он не вспомнил, что она в точности повторила его вопрос двухлетней давности, когда неожиданно на него наткнулась на береговой отмели, зато почувствовал, что их позиции странным образом перевернулись. Теперь он проситель, а она его неохотно выслушивает.

— Моему поверенному сообщили, что вы живете здесь. Кто сообщил, не знаю.

— Вашему поверенному?

— Вы знали, что я разорвал помолвку с мисс Фриман?

Теперь уже она испытала шок. Вперила в него взгляд, а затем опустила глаза. Для нее это было открытие. Он шагнул к ней и, понизив голос, сказал:

— Я обшарил весь этот город. Каждый месяц я давал объявления в надежде…

Теперь они оба глядели себе под ноги на красивый турецкий ковер, покрывавший всю лестничную площадку. Он постарался взять контроль над собственным голосом.

— Я вижу, вы… — дальше слов не нашлось, а имел он в виду ее новый статус.

— Жизнь была ко мне благосклонна.

— Джентльмен в комнате… это ваш?..

Она кивнула, и ее молчаливый ответ относился к неназванному имени в его изумленных глазах.

— И этот дом принадлежит…

Тон его голоса был таким осуждающим, что ей пришлось набрать в легкие воздуха. Он вспомнил досужие сплетни. Нет, не о мужчине в комнате, а о том, кто вышел к нему в прихожей. Неожиданно Сара шагнула на лестницу, которая вела еще выше. Чарльз не шелохнулся. Она неуверенно глянула на него сверху.

— Прошу вас.

Он поднялся следом за ней и вошел в комнату, выходящую окнами на север, с видом на большой сад. Это была студия художника. На столе разбросаны рисунки; мольберт с начатым портретом — набросок молодой женщины с печально опущенным взглядом, а за ее спиной намек на листву; повернутые к стене картины; висящие на крючках платья, шарфы и шали всевозможных цветов; большой керамический кувшин; стол с атрибутами — тюбики, кисти, баночки с красками. Барельеф, скульптурки, напольная ваза с камышами. Кажется, ни одного пустующего квадратного метра.

Сара стояла у окна, к нему спиной.

— Я его личный секретарь. Помощница.

— А также модель?

— Иногда.

— Я вижу.

Но он ничего не видел… ну разве что краем глаза разглядел одну из зарисовок на столе: обнаженная… обнаженная выше пояса, с амфорой у бедра. Лицо как будто не ее, хотя под этим углом не очень-то хорошо видно.

— Вы здесь поселились после переезда из Эксетера?

— Я здесь живу последний год.

Подмывает спросить: как они встретились? что их связывает? Поколебавшись, он положил на стул шляпу, трость и перчатки. Теперь ее волосы, доходившие почти до талии, предстали перед ним во всем своем великолепии. Она казалась миниатюрнее, чем ему помнилось, и стройнее. На подоконник перед ней хлопотливо уселся голубь, испугался и тут же улетел. Где-то внизу открылась и захлопнулась дверь. Донеслись смутные мужские голоса. Чарльза и Сару разделяла комната. Их все разделяло. Молчание становилось невыносимым.

Он явился в доспехах, с копьем наперевес, чтобы убить дракона и вытащить ее из нужды, спасти от никчемной работы в никчемном доме…

а дама все испортила. Ни цепей, ни рыданий, ни протянутых в мольбе рук. Он выглядел, как мужчина, который пришел на светский раут, полагая, что это будет бал-маскарад.

— Он знает, что вы незамужняя?

— Я считаюсь вдовой.

Следующий вопрос вышел совсем уж неуместным, но он потерял всякое чувство такта.

— Кажется, его жена умерла?

— Да. Но не в его сердце.

— И он больше не женился?

— Он здесь живет вместе со своим братом.

И тут она назвала имя еще одного обитателя этого дома, тем самым как бы давая понять Чарльзу, что его почти не скрываемые подозрения ни на чем не основаны. Вот только при одном упоминании этого имени уважающие себя викторианцы вздрагивали. Ужас, вызываемый его поэзией, публично выразил Джон Морли[142], один из тех важных особ, которые словно родились златоустами (то есть пустозвонами) той эпохи. Чарльз вспомнил самую изюминку из его гневной филиппики: «похотливый лауреат

[142] Примечания: 142

Джон Морли (1838–1923) — английский историк, редактор либеральной газеты, неоднократный номинант Нобелевской премии по литературе.

шайки сатиров». А хозяин дома! Ведь поговаривают, что он принимает опиум. И вот уже в голове Чарльза возникла оргиастическая картина — *ménage à quatre*… или даже *à cinc*[143], если считать девушку, впустившую его в дом. Правда, в облике Сары не проглядывало ничего оргиастического. Скорее упоминание имени поэта говорило о ее невинности. И вообще, что мог разглядеть через закрытую дверь знаменитый лектор и критик, склонный к преувеличениям, хотя и широко уважаемый, даже вызывающий восхищение? А тем более мог ли он побывать в этом притоне порока?

Я слишком выделяю худшую, а-ля Морли, половину сознания Чарльза; лучшая же его половина, та, которая разглядела в Саре ее истинную природу, несмотря на все злословие Лайма, отчаянно сопротивлялась этим гнусным подозрениям.

Он начал ей тихо рассказывать, а другой, потаенный голос отчитывал его за формальный подход, за внутренний барьер, не позволяющий поведать о бесконечной череде одиноких дней и ночей, когда ее дух был с ним рядом, витал над ним и перед ним… о слезах, невыразимых

---

[143] Примечания: 143
Любовь вчетвером… впятером (*фр.*).

словами. Он рассказал о том, что произошло в Эксетере в ту ночь. О своем решении. О страшном предательстве Сэма.

Он все ждал, что она обернется. Но она продолжала смотреть в окно на зелень, на играющих детей. Он замолчал и подошел к ней поближе.

— То, что я говорю, для вас ничего не значит?

— Для меня это значит так много, что я…

— Прошу вас, продолжайте, — тихо попросил он.

— Я не могу подыскать слова.

Она отошла на несколько шагов, как будто не могла глядеть ему прямо в глаза. И посмотрела, только оказавшись возле мольберта. Прошептала:

— Я не знаю, что сказать.

Но это было сказано без эмоций, без растущей благодарности, которой он так отчаянно жаждал. С простотой и некоторым замешательством, если уж называть вещи своими именами.

— Когда-то вы признались, что любите меня. Вы дали мне самое важное для женщины подтверждение, что… чувства, которые нами овладели, не были просто симпатией и взаимным притяжением.

— Я это и не отрицаю.

В его глазах промелькнула обида. А она опустила глаза. На этот раз он отвернулся к окну. В комнате повисло молчание.

— Но вы нашли новые и более сильные интересы.

— Я не думала, что когда-нибудь снова вас увижу.

— Это не ответ.

— Я себе запретила сожалеть о несбыточном.

— Это тоже не…

— Мистер Смитсон, я не являюсь его любовницей. Если бы вы его знали, знали трагедию его личной жизни… вы бы не… — она не договорила. Он слишком далеко зашел и теперь стоял с побелевшими костяшками сжатых пальцев и горящими щеками. Она продолжила, уже спокойно: — Да, я нашла новые интересы. Но никак не связанные с тем, на что намекаете вы.

— Тогда я не понимаю, как интерпретировать ваше очевидное смущение.

Ответа он не получил.

— Я легко могу себе представить, что у вас появились… друзья… куда более интересные и забавные, в отличие от меня. — Он поспешил добавить: — Вы меня вынуждаете выражаться так, что мне самому противно. — Она продолжа-

ла молчать. Он горько усмехнулся. — Теперь я понимаю. Я стал мизантропом.

Признание сработало. Смерив его озабоченным взглядом, она поколебалась и наконец приняла решение.

— Это не входило в мои планы. Я хотела как лучше. Я злоупотребила вашим доверием, вашим великодушием, я… да, я отдалась вам, навязала себя, прекрасно понимая, что у вас есть другие обязательства. Мною овладело безумие. Только в Эксетере я отдала себе в этом отчет. Худшее, что вы тогда обо мне подумали… все правда. — Она замолчала, он ждал. — С тех пор я видела не раз, как художники уничтожали свои работы, которые любителю показались бы отменными. Однажды я запротестовала. На это мне сказали, что если художник не является сам себе суровым судьей, то он недостоин звания художника. Я с этим согласна. Я поступила правильно, уничтожив то, что было между нами. За этим скрывалась ложь…

— В том не было моей вины.

— Я вас и не виню. — Помедлив, она продолжила, уже мягче: — Мистер Смитсон, недавно я для себя отметила одну фразу у мистера Раскина. Он написал о непостоянстве концепций. К естественному подмешивается искусственное, к

чистому — нечистое. Именно это, мне кажется, и случилось два года назад. И мне ли не знать, какую роль я во всем сыграла, — произнесла она совсем тихо.

В нем снова проснулось странное ощущение ее интеллектуального равенства. А также их всегдашнего диссонанса, связанного с языком: формализованным в его случае, что особенно наглядно проявилось в любовном послании, которое она так и не получила; и безо всяких околичностей — у нее. Два разных языка. В одном сквозят пустота и глупые потуги — о чем, собственно, она и сказала: «искусственные концепции», — а в другом есть субстанция и чистота мысли и суждений; разница между незатейливыми выходными данными в конце книги и какой-нибудь страницей, разрисованной Ноэлем Хамфризом[144], — замысловатые завитки, тщательная проработка, рококошный ужас пустоты. Тут они полностью не совпадали, хотя по доброте душевной — или из желания от него избавиться — она старалась этого не показывать.

— Могу ли я продолжить метафору? Нельзя ли еще вернуться к тому, что вы называете концеп-

[144] Примечания: 144

Генри Ноэль Хамфриз (1810–1879) — английский иллюстратор и натуралист.

цией, в которой изначально были естественность и чистота?

— Боюсь, что нет, — сказала она, избегая встречаться с ним взглядом.

— Я находился отсюда в четырех тысячах миль, когда до меня дошло известие, что вас нашли. Это было месяц назад. С тех пор не было часа, чтобы я не думал о нашем разговоре. Вы… вы не можете мне отвечать исключительно наблюдениями об искусстве, пусть даже идущими вразрез с моими.

— Они имеют прямое отношение к жизни.

— То есть вы хотите сказать, что вы никогда меня не любили.

— Я этого не говорила.

Она отвернулась. Он снова к ней приблизился.

— Так скажите! Скажите: «Я была ведьмой, я видела в нем только полезный инструмент для расправы. И сейчас мне нет дела до того, что он меня по-прежнему любит, что за все время своих скитаний он не встретил женщины, которая могла бы сравниться со мной, что он всего лишь призрак, тень, получеловек, лишь бы держался от меня подальше». — Она опустила голову. Он понизил голос. — Скажите: «Мне нет дела до того, что все его преступление состояло в нерешитель-

ности, которая продлилась несколько часов, что в искупление этого греха он пожертвовал своим добрым именем, своей…». Хотя это все неважно, я бы принес жертву в сто раз бóльшую, если понадобится… Дорогая моя Сара, я…

Он уже был на грани слез. Он осторожно протянул руку и коснулся ее плеча, но она тотчас напряглась, и рука упала.

— Да, *есть* другой.

Он бросил бешеный взгляд в сторону отвернутого лица и, сделав глубокий вдох, направился к выходу.

— Постойте. Я должна вам еще кое-что сказать.

— Самое главное вы уже сказали.

— «Другой» — это не то, о чем вы подумали!

В ее тоне прозвучало что-то новое и такое напряженное, что рука, потянувшаяся к шляпе, остановилась на полпути. Он обернулся и увидел раздвоенную личность: прежнюю Сару-обвинителя и Сару, умоляющую ее выслушать. При этом она глядела в пол.

— Есть другой… в вашем понимании. Он… художник. Мы познакомились здесь, и он зовет меня замуж. Я его уважаю, я им восхищаюсь как мужчиной и как художником, но я никогда за него не выйду. Если бы сейчас меня поставили

перед выбором: мистер… он или вы… вы бы не покинули этот дом отвергнутым. Можете мне поверить. — Она сделала шажок навстречу, глядя ему прямо в глаза, и он ей поверил и смущенно отвел взгляд. — Соперник у вас с ним один… я. Я не хочу выходить замуж. Не хочу… во-первых, из-за моего прошлого, приучившего меня к одиночеству. Раньше я его ненавидела. А сейчас я живу в мире, где его так легко избежать. И я научилась его ценить. Я не хочу делить мою жизнь с кем-то. Я желаю быть такой, какая я есть, а не какой меня пожелает видеть муж, даже самый снисходительный.

— А вторая причина?

— Вторая причина связана с моим настоящим. Я не думала, что когда-либо буду счастлива. И вот я счастлива, здесь и сейчас. У меня разнообразная и приятная работа, настолько приятная, что я даже не считаю это работой. Я ежедневно общаюсь с гением. И у них есть свои изъяны. Свои пороки. Но совсем не те, какие рисует мир. Люди, с которыми я здесь столкнулась, открыли мне круг, где существуют достойное поведение и благородные помыслы, о чем я ранее и не подозревала. — Она отвернулась к мольберту. — Мистер Смитсон, я счастлива, что наконец нашла

себя… по крайней мере, мне так кажется. Говорю об этом со всей скромностью. Сама я не гений, я лишь обладаю скромными и ограниченными способностями помогать гению. Вы, наверное, сейчас думаете, какая мне выпала удача. Я это понимаю лучше других. И, полагаю, теперь долг за мной. Я не должна искать удачу на стороне. Я считаю ее случайной и не могу себе позволить ее потерять. — После паузы она посмотрела ему в глаза. — Вы вправе обо мне думать что угодно, но я не желаю себе иной жизни, кроме этой. Даже когда меня добивается мужчина, которого я уважаю, который трогает мое сердце сильнее, чем я даю понять, тем более его преданной и благородной любви я не заслужила. — Она опустила глаза. — И я прошу меня понять.

Несколько раз Чарльза так и подмывало прервать этот символ веры. Утверждения Сары казались ему ересью, но в глубине души только росло его восхищение еретичкой. Она была ни с кем не сравнима — сейчас особенно. Лондон и новый образ жизни незаметно изменили ее, отшлифовали словарь и акцент, обострили интуицию, придали еще большую ясность ви́дению, укоренили, чего не было раньше, концепцию жизни и ее роли в ней. Яркий наряд поначалу

сбил его с толку. Сейчас же он осознал, что это лишь еще один фактор ее нового самосознания и самообладания. Униформа ей больше ни к чему. Он все это видел… и не видел. Он сместился ближе к центру комнаты.

— Но вы не можете отвергать то, для чего женщина была сотворена. А что взамен? Я не имею ничего против мистера… — он махнул рукой в сторону картины на мольберте, — …и его круга. Но вы не можете ставить свою службу им выше законов природы. — Он продолжал давить. — Я ведь тоже изменился. Я многое про себя понял… свою прежнюю фальшь. Я не ставлю никаких условий. Нынешняя мисс Сара Вудраф может оставаться такой же и в роли миссис Смитсон. Я вас не лишу вашего нового мира и удовольствия, которое вы от него получаете. Я всего лишь предлагаю раздвинуть границы вашего счастья.

Она отошла к окну, а он приблизился к мольберту, не спуская с нее глаз. Она полуобернулась.

— Вы не понимаете. Дело не в вас. Вы очень добры. А меня трудно понять.

— Я это уже слышал. Мне кажется, в вас говорит гордость.

— Речь о том, что я сама себя не всегда понимаю. И мне кажется, уж не знаю почему, но мое

счастье зависит от этого непонимания.

Чарльз невольно улыбнулся.

— Какой абсурд. Вы мне отказываете, поскольку я могу помочь вам понять себя.

— Я вам отказываю, как отказала другому джентльмену, поскольку вы не понимаете, что для меня это не абсурд.

Она снова повернулась к нему спиной. У него забрезжила надежда — в том, как она сняла что-то с белой фрамуги, сквозило характерное смущение своенравного ребенка.

— Пустая увертка. Вы бы сохранили все свои тайны. Я бы считал это святым делом.

— Я не вас боюсь, а вашей любви. Мне ли не знать, что от этого «святого дела» ничего не остается.

Он ощущал себя человеком, которому отказали в получении огромного состояния из-за какой-то пустячной фразы в завещании, жертвой победы иррационального закона над разумным целеполаганием. Вот только она не намерена внимать разуму; может, перед чувством она окажется более отзывчивой? Поколебавшись, он решил поддавить.

— Вы меня часто вспоминали?

Она смерила его суховатым взглядом, словно

предвидела направление новой атаки и в каком-то смысле даже этого желала. Но уже через миг она отвернулась к окну, устремив взор на соседние крыши.

— Да, поначалу я вас часто вспоминала. И потом, через полгода, когда впервые прочитала объявление в газете…

— Так вы были в курсе!

Но она твердо продолжала:

— Это и вынудило меня сменить место жительства и фамилию. Я навела справки и узнала, что вы не женились на мисс Фриман.

Он застыл в изумлении на долгих пять секунд, а она глянула на него исподтишка. В этом взгляде он как будто уловил торжество: она держала в запасе свою козырную карту и, еще хуже, выложив ее, теперь ждала, какой расклад у него на руках. Она тихо отступала, и в этой тишине было больше угрозы и откровенного безразличия, чем в самом перемещении. Он следил за ее движениями. И, кажется, наконец стал проникать в ее загадку. У него на глазах чудовищно извращалась сексуальная установка человеческого рода: идет битва не за любовь, а за владение территорией, и в этой битве он всего лишь пехотинец, просто пешка. Копаем глубже: дело не в том, что она

ненавидит мужчин или презирает его больше других, ее маневры — это тоже оружие, еще один инструмент для достижения цели. Копаем еще глубже: ее так называемое обретенное счастье — не более чем ложь. В душе она продолжает страдать по-прежнему… вот ее сокровенная тайна, и она так боится, что он ее разгадает.

После затяжного молчания он произнес:

— Тогда вы не просто разрушили мою жизнь. Вы получили от этого удовольствие.

— Я понимала, что очередная наша встреча не принесет ничего, кроме несчастья.

— Лжете. Вы предвкушали мои страдания. Я думаю, вы и прислали моему поверенному это письмо. — Ее гневное отрицание во взгляде он встретил холодной гримасой. — Вы забываете, я отлично знаю… и заплатил за это высокую цену… какой вы умеете быть великолепной актрисой, когда вам надо. Могу догадаться, почему вы вызвали меня сюда — чтобы нанести *coup de grace*[145]. Очередная жертва. Я в последний раз утолил вашу ненасытную неженскую ненависть к мужскому полу… и теперь меня можно отпустить на все четыре стороны.

---

[145] Примечания: 145
Смертельный удар (*фр.*).

— Вы несправедливы.

Она произнесла это спокойным тоном, словно подтверждая его обвинения и, может быть, в глубине души, даже издевательски их смакуя. Он горько покачал головой.

— Нет. Все так, как я говорю. Вы не просто вонзили кинжал в мою грудь, вы еще с удовольствием его провернули. — Она на него таращилась, как загипнотизированная, словно против воли, такой дерзкий преступник в ожидании приговора. И он его произнес: — Наступит день, когда вас призовут к ответу за то, что вы со мной проделали. И если существует справедливость на небесах, то ваше наказание не ограничится даже вечностью.

Слова мелодраматичные, но иногда важны не сами слова, а вложенные в них чувства. Чарльз вложил все свое отчаяние, поэтому в них звучала трагедия. Она продолжала на него таращиться, и в ее глазах отражался выплеск его ярости. А потом вдруг поникла.

Его колебания продлились последнее мгновение. Его лицо напоминало дамбу, готовую обрушиться от грома вселенской анафемы. Но стоило ей повинно склонить голову, как челюсти его сомкнулись, он развернулся и зашагал прочь.

Она подхватила юбки одной рукой и бросилась следом. Он развернулся на звуки за спиной. Она в растерянности приостановилась, но уже в следующую секунду загородила ему выход.

— Я не могу вас отпустить с такими мыслями.

Ее грудь вздымалась, словно от нехватки дыхания, а взглядом она пыталась пригвоздить его к полу. Он сделал недовольный жест рукой, и тут она заговорила.

— В этом доме есть женщина, которая знает меня и понимает лучше всех на свете. Она хочет вас увидеть. Прошу вас, не отказывайте ей. Она вам объяснит мою природу… гораздо лучше меня. И вы поймете, что мое поведение по отношению к вам совсем не такое недостойное, как вы себе это представляете.

Он испепелял ее взглядом. Дамба вот-вот рухнет. Он предпринял нелегкую попытку взять себя в руки, загасить пламя, вернуть голосу ледяной оттенок… и ему это удалось.

— Я не верю своим ушам. Вы полагаете, что какая-то незнакомка оправдает ваше поведение в моих глазах. Так вот…

— Она ждет. Она знает, что вы здесь.

— Да будь она хоть сама королева! Я не желаю ее видеть.

— Я оставлю вас вдвоем.

Ее щеки пылали, почти как у него. В первый и последний раз в жизни у Чарльза появилось искушение применить физическую силу к слабому полу.

— Позвольте мне пройти!

Но она помотала головой. Слова уже не нужны, все решает воля. Сара стояла в напряженной, почти трагической позе, зато в ее глазах читалось нечто странное… между ними как будто повеяло ветерком из другого мира. Похоже, она поняла, что загнала его в тупик — напуган, не знает, что делать дальше, но при этом пропала враждебность. Словно за внешним фасадом теперь скрывалось любопытство: чем закончится эксперимент? Чарльз сдал назад. И опустил глаза. Вспышка ярости не отменяла убежденности, что он ее все еще любит, а если потеряет, то себе этого не простит. Он обратился к ее золотой броши.

— И как мне все это понимать?

— Джентльмен попроще уже давно бы догадался.

Он попытался что-то прочесть в ее глазах. Нет ли там озорного огонька? Вряд ли. Точно нет. Она выдержала его взгляд, а затем подошла к камину, где висел шнурок с колокольчиком. Путь свобо-

ден, но он не двигался с места, наблюдая за ней. «Джентльмен попроще…» И что теперь ему грозит? Другая женщина, знающая ее лучше, чем она сама… ненависть к мужчинам… обитатели этого дома… страшно даже подумать. Она дернула за шнурок колокольчика и снова подошла к нему.

— Сейчас придет. — Сара открыла дверь и бросила мимолетный взгляд. — Пожалуйста, выслушайте ее… и проявите уважение к ее возрасту и положению.

С тем и ушла. Но ее последние слова содержали важный ключ. Он сразу догадался, с кем ему предстоит увидеться. С сестрой хозяина, поэтессой (не стану больше скрывать ее имени), мисс Кристиной Россетти. Ну конечно! Разве не находил он в ее стихах, когда они изредка попадали ему в руки, загадочный мистицизм? Страстную недоговоренность, проявления закрытого и запутанного женского сознания, до абсурда запутавшегося в границах человеческой и божественной любви?

Он приоткрыл дверь. Сара стояла перед дверью в конце лестничной площадки, вот-вот войдет. Она обернулась в его сторону, и он уже открыл рот, чтобы что-то сказать. Но тут послышались шаги, кто-то поднимался по лестнице. Сара приложила палец к губам и скрылась за дверью.

После секундного колебания Чарльз вернулся в студию и подошел к окну. Теперь понятно, кто скрывается за ее философией жизни. Та, которую «Панч» назвал плачущей аббатисой, истеричной старой девой «Прерафаэлитского братства». Господи, какая нелегкая его сюда привела! Нет бы навести еще справки, прежде чем впутываться в эту дурацкую ситуацию! Но раз уж он здесь, то хотя бы можно с мрачным наслаждением подумать о том, как не дать этой поэтессе добиться своего. Ведь он для нее не более чем песчинка на пляже или скучный сорняк в этом экзотическом саду…

Послышались какие-то звуки. Чарльз обернулся с каменным лицом. Но это была не мисс Россетти. На пороге стояла девушка, встретившая его внизу. С крохой на руках. Видимо, она просто заглянула по дороге в детскую, так как дверь была открыта настежь. Она явно удивилась, увидев его одного.

— Миссис Рафвуд вышла?

— Она дала мне понять, что одна леди… хочет поговорить со мной наедине. Она как раз пошла за ней.

Девушка кивнула.

— Понятно.

Но вместо того чтобы уйти, как предполагал

Чарльз, она вошла в комнату и усадила дитя на ковер возле мольберта. Достала из кармана передника тряпичную куклу и вручила малышке. Ненадолго опустилась на колени, желая убедиться, что та всем довольна. Потом встала и легкой походкой направилась к выходу. Чарльз, судя по выражению лица, был одновременно оскорблен и озадачен.

— Я полагаю, что леди скоро появится?

Девушка обернулась. На ее губах появилась улыбка. Она выразительно посмотрела на дитя, сидящее на полу.

— Уже появилась.

Секунд десять, после того как дверь за ней закрылась, Чарльз таращился на дитя. Это была девочка с темными волосиками и пухленькими ручками. Уже не младенец, но еще не ребенок. Девочка, вдруг осознав, что Чарльз живое существо, протянула ему куклу с ничего не выражающим звуком. В ее серьезных глазах с серыми радужницами сквозило робкое сомнение… это кто еще такой?.. и вот уже он опустился рядом на ковер и попытался ей помочь встать на нетвердые ножки, при этом изучая маленькое личико, как археолог, только что откопавший первый образчик утраченного древнего свитка. Девочка была

явно недовольна таким пристрастным разглядыванием. А может, он чересчур сильно сжал хрупкие ручки. Он поспешил достать карманные часы, как он это уже делал однажды в схожих обстоятельствах. Эффект получился столь же удачным, и вскоре он уже сумел поднять девочку без всякого протеста и отнести к окну. Там он сел на стул и усадил ее к себе на колени. Пока она не отрывалась от серебряной игрушки, он штудировал ее лицо, ручки, каждую мелочь.

А также все, что было сказано в этой комнате. Язык — он как переливчатый шелк: многое зависит от угла зрения.

Он слышал, как тихо открылась дверь. Но не обернулся. Через несколько мгновений на заспинный поручень деревянного стула легла женская рука. Он молчал, как молчала обладательница руки. Молчало и дитя, увлеченное часами. В отдаленном доме какая-то ученица с тикающим метрономом, только не в пальцах — исполнение было так себе, и спасало лишь большое расстояние — заиграла на пианино мазурку Шопена, пробивавшуюся через стены, листву и солнечный свет. Только неуклюжие музыкальные рывки говорили о некоем движении вперед. Если бы не они, можно было бы подумать, что История

остановилась, превратилась в фотографию.

Наконец девочке надоели часики, и она потянулась к матери. Ее взяли на руки, приласкали и отнесли на несколько шагов. Чарльз еще довольно долго смотрел в окно. Затем встал и повернулся к Саре с ее грузом. Хотя глаза ее были по-прежнему серьезны, в них угадывалась легкая улыбка. А Чарльза разрывало. Но он бы преодолел не четыре тысячи, а четыре миллиона миль ради таких терзаний.

Между тем девочка потянулась к лежащей на полу кукле. Сара нагнулась, взяла куклу и отдала дочери. Последив за тем, как та увлеченно играет, сидя у нее на локте, она перевела взгляд на ноги Чарльза. Посмотреть ему в глаза она не решалась.

— Как ее зовут?

— Лалаге. — Так, с дактилическим ударением и твердым «г», она произнесла имя Лалаж, по-прежнему не поднимая головы. — Мистер Россетти однажды подошел ко мне на улице. Он давно наблюдал за мной, хотя я этого не знала. Он попросил разрешения меня нарисовать. Я тогда была беременна. Он проявил необыкновенную доброту, когда узнал о моих обстоятельствах. Это он предложил так ее назвать. Он ее крестный

отец. Я понимаю, звучит странно. — Последние слова она произнесла почти шепотом.

Странными, уж точно, были ощущения Чарльза, а самым странным было ее желание узнать его мнение о такой мелочи, с учетом всех экстраординарных обстоятельств. Это как если бы его корабль наскочил на риф, и кто-то поинтересовался его мнением, правильный ли выбрали материал для обивки кают. Он онемел, но нашел в себе силы сказать:

— Это греческое имя. От *lalageo*… пузырящийся.

Сара молча кивнула, словно благодаря его за этимологическую справку. А он глядел на нее, слыша, как трещат мачты и кричат тонущие моряки. Нет, он ей этого не простит.

— Вам оно не нравится? — прошептала она.

— Я… — Он сглотнул. — Да, красивое имя.

Она еще раз кивнула. Он был не в силах пошевелиться, оторвать глаза, пока идет этот допрос. Так человек глядит на рухнувшую стену, которая его похоронила бы, пройди он мимо мгновением раньше. По случайности именно это свойство, которое наше сознание обычно отправляет в чулан как пустую мифологию, помогло стоящей перед ним раздвоенной фигуре обрести плоть.

Ее глаза, оттененные черными ресницами, были опущены. Однако он увидел — или угадал — наворачивающиеся слезы. Он невольно сделал два или три шага навстречу. И остановился. Он не мог, не мог… но слова, пусть даже едва слышные, сами вырвались изо рта.

— Но почему? Почему? А если бы я не…

Она еще ниже опустила голову. Ее ответ он с трудом расслышал.

— Так было нужно.

Ну что тут не понять: все в руках Божьих, в том числе прощение за наши грехи. Он вглядывался в ее почти невидимое лицо.

— А эти жестокие слова, которые вы произносили… и вынуждали меня отвечать тем же?

— Без них нельзя.

Наконец она подняла глаза, в них стояли слезы. Все нараспашку. Такое случается в жизни раз или два, когда кто-то готов это воспринять и с нами разделить, — и тогда тают целые миры, прошлое растворяется, в такие моменты мы понимаем (здесь сокрыты наши глубинные потребности), что скала времени есть не что иное, как любовь, здесь и сейчас, в этих сомкнутых руках, в этом слепом молчании, когда голова приникает к груди, — и это молчание, после спрессованной

вечности, Чарльз прервал вопросом не столько высказанным, сколько выдохнутым:

— Смогу ли я когда-нибудь постичь твои притчи?

Голова, лежащая у него на груди, молча вздрагивает. Тишина. Губы, прижатые к рыжей копне волос. В далеком доме бесталанная ученица в порыве раскаяния (или под нажимом истерзанного призрака Шопена) перестает играть. А Лалаж, словно получив возможность задуматься о музыкальной эстетике благодаря этой милосердной передышке, всерьез задумалась и несколько раз стукнула тряпичной куклой по склоненной щеке, как бы напоминая отцу, — самое время, — что тысячи скрипок уже вовсю пиликают, не касаясь струн смычками.

61

Эволюция – это просто процесс, когда случай (произвольные мутации в спирали нуклеиновой кислоты, вызванные природным излучением) взаимодействует с естественным законом для создания живой материи, все более приспособленной к выживанию.

Мартин Гарднер. Двуручная вселенная (1967)

А благочестье сводится к деянью,
Без коего никак нельзя прожить.

Мэтью Арнольд. Из записных книжек (1868)

Старое правило романиста — в конце книги не вводить нового персонажа, разве что третьестепенного. Я надеюсь, Лалаж мы простим. А вот некто весьма представительный, наблюдающий последнюю сцену с парапета набережной напротив дома № 16, где проживает Данте Габриэль

Россетти (который, кстати, умер от приема внутрь хлорала, а не опиума), на первый взгляд, грубо нарушает это правило. Вообще-то я не собирался его представлять, но поскольку он из тех, кто привык красоваться в лучах прожекторов и путешествовать исключительно первым классом, да и не знает он других порядковых числительных, кроме «первого», а я из тех людей, кто привык не вмешиваться в законы природы (даже самые худшие), так уж получилось, что этот персонаж вышел на сцену или, как он сам бы уточнил, вышел на сцену *в собственном обличье*. Я бы не стал из этого делать вывод, что раньше он выходил на сцену в чужом обличье, и, следовательно, не является по-настоящему новым персонажем. Но смею вас заверить: несмотря на свою внешность, он достаточно мелкая фигура… я бы даже сказал, минималистская, что-то вроде гамма-частицы.

В собственном обличье… и тот еще фрукт. Некогда патриархальная борода, продемонстрированная в вагоне первого класса, нынче подстрижена, как у хлыща-французика. Одежда, включая изысканно расшитую летнюю жилетку, три кольца на пальцах, длинная тонкая сигара в янтарном мундштуке, трость с малахитовым набалдашником… во всем намек на показуху.

Вид как у человека, ранее читавшего в церкви проповеди, а затем ушедшего в оперу, где у него гораздо лучше получается. Одним словом, этакий успешный импресарио.

Небрежно опершись на парапет, он прихватывает кончик носа костяшками закольцованного большого и среднего пальца. Складывается впечатление, что происходящее в доме мистера Россетти его крайне забавляет, и он с трудом сдерживает эмоции. Он смотрит на сцену с видом финансового туза, купившего театр и уверенного в том, что зрительный зал будет заполнен. И в этом смысле он не изменился, по-прежнему считает мир своей собственностью, которой можно управлять по своему усмотрению.

Но вот он распрямляется во весь рост. Это *flanerie*[146] в районе Челси, конечно, вещь приятная, но есть дела поважнее. Он достает брегет и, выбрав маленький ключик из многих, висящих на золотой цепочке, переводит стрелки часов. Похоже, они ушли вперед на целых пятнадцать минут… очень странно, если учесть, что он их покупал у лучшего часовщика. Странно вдвойне, так как рядом нет других часов, с которыми он

---

[146] Примечания: 146
Фланерство (*фр.*).

мог бы сверить время и обнаружить ошибку. Но о причине нетрудно догадаться. Он самым бесстыдным образом заранее готовит отмазку своему опозданию на деловое свидание. Его высокий патрон не терпит безалаберности даже в мелочах.

Он живо подает знак тростью открытому ландо, ожидающему его в ста ярдах поодаль, и оно тотчас подкатывает. Лакей спрыгивает с козел и открывает ему дверцу. Наш импресарио забирается внутрь и, вольготно откинувшись на алую кожаную спинку, отмахивается от коврика для ног (с именной монограммой), который ему предложил лакей. Последний запирает дверцу на щеколду и, поклонившись хозяину, снова забирается на козлы. Получив указание, кучер исполнительно трогает рукояткой хлыста свою шляпу с кокардой.

И экипаж быстро набирает ход.

— Нет. Все так, как я говорю. Вы не просто вонзили кинжал в мою грудь, вы еще с удовольствием его провернули. — Она на него таращилась, как загипнотизированная, словно против воли, дерзкий преступник в ожидании приговора. И он его произнес: — Наступит день, когда вас призовут к ответу за то, что вы со мной проделали. И если существует справедливость на небесах, то ваше

наказание не ограничится даже вечностью!

Его колебания продлились последнее мгновение. Его лицо напоминало дамбу, готовую обрушиться от грома вселенской анафемы. Но стоило ей повинно склонить голову, как челюсти его сомкнулись, он развернулся и зашагал прочь.

— Мистер Смитсон!

Он сделал еще пару шагов, остановился, оглянулся через плечо и с отчаянием — никогда не прощу! — уставился в пол. Послышалось легкое шуршание платья. И вот уже она стоит за его спиной.

— Разве это не доказывает правоту моих слов? Что нам лучше никогда больше не видеть друг друга.

— Вы исходите из логики, что я знал вашу истинную природу. А я ее не знал.

— Вы в этом уверены?

— Я считал вашу хозяйку в Лайме эгоисткой и лицемеркой. Теперь я понимаю, что она святая в сравнении со своей бывшей компаньонкой.

— А если бы, зная, что не смогу любить вас, как положено жене, я сказала, что вы можете жениться на мне, то я не была бы эгоисткой?

Чарльз смерил ее ледяным взглядом.

— Было время, когда вы говорили обо мне как

о вашей последней защите. Как о вашей единственной надежде в жизни. Все перевернулось на 180 градусов. У вас для меня нет времени. Очень хорошо. Но не пытайтесь защищаться. Вы только добавляете соли в открытую рану.

Он давно держал это в голове: свой самый сильный и одновременно самый жалкий аргумент. И, приведя его, уже не мог скрыть дрожь от собственной ярости — человек на пределе. Бросив в ее сторону последний затравленный взгляд, он решительно шагнул к выходу и уже хотел открыть дверь.

— Мистер Смитсон!

Опять. Он почувствовал прикосновение ее руки. И во второй раз застыл, ненавидя эту руку и себя за то, что его так легко можно парализовать. Она словно пыталась ему что-то сказать, но не словами. Может, просто жест сожаления или молчаливого извинения. Хотя если бы это было так, то она сию же минуту убрала бы руку. А она его удерживала — не только психологически, но и физически. Он ме-е-е-дленно обернулся — и, к изумлению своему, увидел… даже не на губах, а в глазах… подобие той улыбки, которую он впервые увидел, когда Сэм и Мэри наткнулись на них в амбаре. Что это, ирония? Не принимай

жизнь всерьез? Или прощальное злорадство по поводу его терзаний? Но пока он отвечал ей страдальческим, лишенным всякого юмора взглядом, она, опять же, должна была бы отнять руку. А он ощущал ее давление. Она как будто говорила: ну же, неужели ты не видишь, что решение существует?

А потом до него стало что-то доходить. Он поглядел на женскую руку, на женское лицо. В ответ ее щеки порозовели, из глаз исчезла улыбка. Рука бессильно повисла. Они словно лишились одежды и стояли друг перед другом нагие, но для него это была не столько сексуальная, сколько клиническая нагота, когда скрытая до поры раковая опухоль предстает во всей своей отталкивающей реальности. Он искал в ее глазах свидетельство истинных намерений, а находил исключительно дух, готовый пожертвовать всем, но не собой — правдой, чувствами, может, даже благопристойностью, лишь бы только сохранить собственную неподкупность. И эта возможная жертва на мгновение ввергла его в искушение. За осознанием того, что она сделала ложный жест, скрывался страх, и принять ее предложение платонической — а там, как знать, может быть, и физической, но не освященной узами брака

— дружбы значило бы нанести ей смертельное оскорбление.

И еще он себе живо представил реальность таких отношений — он станет для этого места разврата мишенью тайных нападок, чопорным *soupirant*[147], домашним осликом. Он вдруг увидел, в чем его превосходство над ней: не в знатном рождении или образовании, не в интеллекте или половой принадлежности, а в способности отдавать и неспособности к компромиссам. Она могла дать с одной лишь целью — завладеть таким, как он… то ли ради самого факта обладания, а это постоянно требует новых жертв, победы как таковой мало, то ли… но он не знал и никогда не узнает: просто обладания им ей было недостаточно.

И еще понял: она знала, что он откажется. С первого дня она им манипулировала. И продолжала бы это делать до конца.

Он бросил на нее горящий взгляд, означавший бесповоротное «нет», и вышел вон. На этот раз она не пыталась его остановить. Он шел, глядя прямо перед собой, и картины на стенах были молчаливыми зрителями. Последний настоящий

---

[147] Примечания: 147
Поклонник, воздыхатель (*фр.*).

мужчина, идущий на эшафот. Его распирали слезы… нет, никаких слез в этом доме. Когда он оказался в прихожей, из комнаты вышла все та же девушка, с ребенком на руках. Она хотела что-то сказать, но диковатый холодный взгляд гостя заставил ее закрыть рот. Чарльз покинул дом.

Выйдя из ворот, где будущее стало настоящим, он понял, что не знает, куда дальше. Он словно заново родился — со всеми способностями и памятью взрослого человека, но с беспомощностью младенца. Все надо начинать с начала, всему учиться с чистого листа! Он пересек улицу по диагонали, точно слепой, не оборачиваясь назад, пока не дошел до набережной. Ни одной живой души, только удаляющееся ландо, которое вскоре скрылось из глаз.

Сам не зная почему, он уставился на серую реку, поднявшуюся из-за прилива. Итак, надо возвращаться в Америку; итак, тридцать четыре года в борьбе за саморазвитие потрачены впустую, впустую, впустую, впустую; итак, подобно ей, отныне он обречен на целибат, можно не сомневаться… Все эти «итак», как завтрашние, так и прошлые, обрушились на него, подобно черной лавине. Наконец он обернулся к дому, недавно им покинутому. Кажется, в эту секунду открытое

окно на верхнем этаже прикрыла белая тюлевая занавеска.

На самом деле просто показалось; ее всколыхнул майский ветерок. А Сара в это время находилась в студии и смотрела вниз на ребенка и, вероятно, молодую мать, сидевшую на траве и сплетавшую венок из маргариток. Глаза Сары влажны от слез? С такого расстояния мне не разглядеть, да она уже не более чем тень перед оконным стеклом, в котором отражается летнее небо.

Конечно, вы можете считать, что, не приняв скрытое предложение, на что намекала удерживавшая его рука, Чарльз совершил фатальную глупость и что этим жестом Сара дала некоторую слабину. Вы можете считать, что она доказала свою правоту: ее битва за территорию была законным бунтом захваченной против вечного захватчика. Главное, не считайте это не самой убедительной концовкой их истории.

Потому что я, хитрован, вернулся к своему изначальному принципу: за тем, что мы видим, — смотри первый эпиграф этой главы, — не ищите руки бога. Есть наша жизнь в пределах тех или иных способностей, и мы сами творим эту жизнь, определяемую Марксом как *действия*

мужчин (и женщин), *преследующих свои цели*. Фундаментальный принцип, который должен направлять эти действия и который, смею думать, руководил действиями Сары, я заложил во втором эпиграфе. Современный экзистенциалист наверняка заменил бы «благочестье» на «человечность» или «аутентичность», но целеполагание Арнольда он в любом случае оценит.

Река жизни с ее таинственными законами и таким же таинственным выбором течет мимо безлюдной набережной, по которой сейчас идет Чарльз вслед за невидимым ландо, увозящим его собственный труп. Он идет навстречу имманентной, самопровозглашенной гибели? Я так не думаю. Ведь он наконец обрел крупицу веры в себя, в свою уникальность, есть на чем строить. Собственно, до него уже стало доходить, — хотя он с горечью стал бы это отрицать, вот, видите, глаза на мокром месте, — что жизнь, как бы выгодно Сара ни смотрелась в роли Сфинкса, это не символ и не загадка, когда, не ответив, ты рискуешь головой, это не единственное лицо, которое ты должен носить и с которым тебе придется расстаться, проиграв партию в кости, — она вписывается, пусть неадекватно, пустовато и безнадежно, в железное сердце города. А потом

он ее снова выплюнет в безмерное просоленное отчужденное море.